Виктория Бабенко-Вудбери

ОБРАТНО К ВРАГАМ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Автобиографическая повесть. Судьба героини, история ее семьи, вплетенная в историю страны 20-40-х годов XX столетия, не оставит равнодушным читателя любого возраста.

Детство и довоенная юность Виктории Бабенко-Вудбери прошли в советской Украине. Все издержки сталинского режима семья Бабенко испытала на себе.

В годы фашистской оккупации Виктория, как и тысячи ее ровесников, была вывезена на работы в Германию.

Пройдя через ужасы рабства, побег, мытарства возвращения домой, она вновь решилась на разлуку с родными, смертельный риск обратного пути на Запад, на уничижительное отношение родины к людям, брошенным ею же на милость врага.

Эта книга — дань любви Украине, пронесенной автором через годы и расстояния, вклад в историческую память украинцев.

Книга рассчитана на самый широкий читательский круг.

- Виктория Бабенко-Вудбери
  - Предисловие
  - Часть первая
    - Детство
    - В новом доме
    - Первые предвестники перемен
    - Мой первый день в школе
    - Мы переезжаем опять
    - Остхейм
    - Приезд дяди
    - Арест отца
    - Мои новые учителя
    - Потапов и катастрофа
    - Илья Петрович и его друзья
    - Школьные каникулы
  - Часть вторая
    - Война
    - Свидание
    - Перед приходом немцев
    - Одна среди чужих
    - Опять вместе
  - Часть третья
    - Поездка в неизвестное
    - Шура влюбляется

- Нам выдают «ОСТ»
- Черная гора
- Рыжий майор
- Лида, наша странная переводчица
- Забастовка
- Свидание с Геней
- Запах свободы
- Шура и я влюбляемся
- Грузинский доктор
- Побег
- В гестапо
- Жизнь в Тироле
- Опять арест

○ Часть четвертая
- Роберт
- Прощание с американцами
- В советском транзитном лагере
- В лагерной больнице
- Допрос
- Путь домой

○ Часть пятая
- Мы находим бабушку и дедушку
- Дома
- Побег обратно
- В Праге
- В американской зоне

Виктория Бабенко-Вудбери
Обратно к врагам

Эта книга посвящается девушкам и женщинам, юношам и мужчинам, живым и мертвым, разделившим мою судьбу в нацистской Германии.

Предисловие

В книге описывается детство и юность в советской Украине — Золотая Балка, Бажановка, Никополь, Запорожье, Краматорск и пр. Говорится о моих родителях, родственниках и друзьях 1920–1930-х гг., о том, как, будучи ребенком и отроком, я реагировала на трагические обстоятельства моей родной стороны во время голода 1930-х гг. и больших чисток, в результате которых огромное количество людей, включая моего отца, исчезло навсегда или очутилось в сибирских концлагерях. Я также описываю годы моей учебы в Запорожье в одной из лучших школ страны, которая тоже не избежала последствий чисток, но все же осталась в моих воспоминаниях светлым пятнышком во тьме коммунистического режима.

Немецкая оккупация застала нашу семью в Краматорске на Донбассе. Жестокость фашистов по отношению к населению, нужда и горе в разгар войны заставили нас бежать в родные места южной Украины, откуда в июне 1942 года немцы забрали меня на работы в Германию.

Во второй части книги дается невероятная картина рабского труда остарбайтеров и военнопленных — украинских, русских и других национальностей — на заводах и фабриках фашистов. Далее описывается мой побег (1943 г.) с подругой-студенткой из Винницы, наш арест в Чехословакии и тюремное заключение в гестапо. Затем — наша жизнь в австрийском Тироле под фальшивыми именами и встреча с моей сестрой. Здесь также описывается мой повторный арест летом 1944 г. и заключение в тюрьму гестапо в Инсбруке, и мое «чудесное» освобождение благодаря одному австрийскому прокурору.

Наконец — приход американцев в Тироль 1945 г., конец войны и добровольная репатриация в Советский Союз. В процессе репатриации описывается моя работа медсестрой в репатриантом лагере в Венгрии, где мне представились ужасные трагические судьбы тысяч моих соотечественниц, изнасилованных советскими воинами, допросы в НКВД и, наконец, встреча с родными, возвращение отца — теперь инвалида Великой Отечественной войны.

На родине я опять вижу страшную картину расправы советских властей с «немецкими коллаборатораами» — бывшими остарбайтерами и военнопленными, возвратившимися из Германии. Я вижу замкнутость и страх моего отца при малейшей критике режима даже в семейном кругу. И, наконец, когда на допросе в НКВД я выразила желание учиться дальше и мне

ответили: «Учиться будут те, кто был с нами, а не с врагами», я окончательно решила уйти обратно «к врагам».

Возвращение на Запад в конце 1945 года похоже на фантастическое приключение. Невероятным образом мы с сестрой проскочили через границу в Польшу, так же — в Чехословакию, где прожили месяц в прекрасной Праге и были свидетелями, как чехи праздновали победу русских — «Безумству храбрых поем мы песню!». И, наконец, при помощи симпатичного еврейского бизнесмена, бывшего узника немецких концлагерей, нам удалось пробраться из советской оккупационной зоны в американскую. А оттуда через леса мы пришли в баварский городок, где находился лагерь для беженцев. На этом заканчивается книга.

Несколько лет я жила в немецких лагерях для беженцев, а в 1952 г. поступила в Гамбургский университет, где изучала славистику и философию. В 1959 г. защитила диссертацию и получила титул доктора философии. До 1968 г. я работала в разных местах в Германии, затем эмигрировала в США, где до 1989 г. преподавала в университете штата Огайо и колледже Вильям и Мэри. За это время я опубликовала 2 книги стихов на русском языке, около ста статей и рецензий в американских, английских и канадских журналах. В 1979 г. я вышла замуж за Джеймса Вудбери, который перевел эту книгу на английский язык. Мы живем в Вильямсбурге, — штат Вирджиния.

Первый набросок этой книги (1960 г.) в немецком переводе я предложила одному видному издательству в Германии, где мне ответили, что книга «очень интересная, но, к сожалению, немецкий народ еще не готов принять этот аспект войны…». В 2002 г. я отредактировала манускрипт этой книги на русском языке. Я хочу выразить свою благодарность Ларисе Романовой-Глэд из «Голоса Америки», советы которой помогли мне в редактировании первой части книги. Я также благодарна Валерию Головскому из Александрии, штат Вирджиния, который сделал компьютерный набор манускрипта. Моя глубокая признательность профессору Науму Зобину за дружескую помощь в пересылке издательству фотографий электронной почтой. Особой благодарности заслуживает мой двоюродный брат, Юрий Михайлович Хорунжий, за то что посоветовал мне обратиться к директору уважаемого киевского издательства «КМ Академія» Вере Иосифовне Соловьевой, которой я также искренне благодарна за теплый прием, интерес и желание напечатать мою книгу — как маленький вклад в освещение трагической истории Украины XX века.

Д-р Виктория А. Бабенко-Вудбери

Часть первая

Детство

Деревня, в которой я родилась, называется Золотая Балка. К сожалению, ее больше нет на земле. После Второй мировой войны советское правительство затопило несколько сел вдоль Днепра — от Каховки и почти до Запорожья, — там теперь большое Каховское водохранилище. Но тогда, когда я была еще маленькой, в середине двадцатых годов, Золотая Балка была одним из чудных уголков мира. Такой она осталась и до сих пор в моем воспоминании. Это был уголок счастья и радости.

Золотая Балка была расположена на юге просторных украинских степей. Почти в середине деревни находилось большое имение моей бабушки. Сад, двор и дом были окружены каменной оградой. С задней стороны двор выходил прямо в степь, а дальше протекал Днепр. С улицы в каменной стене были ворота для въезда тачанок, бричек, возов; рядом — дверь для людей. С одной стороны дома были большие амбары, где хранилось зерно, стояли машины, а дальше — конюшня. Под амбарами, величиной с заезжий двор, был подвал. Там обыкновенно стояли бочки с квашеными овощами, медом, сушеной и соленой рыбой и мясом. Я хорошо помню эти места, ушедшую навсегда романтику, где я ребенком с соседскими детьми играла в прятки или гонялась с кошками за мышами, которых здесь было довольно много. Вообще, за этой каменной стеной был свой особый мир, и попасть в него было нелегко. Как только раздавался скрип входных ворот, привязанный на цепи Трезор набрасывался на входящего, своим страшным басистым лаем принуждая его захлопывать двери с той стороны, откуда он входил. Если же это был свой человек, Трезор прыгал ему на грудь, сваливая его обыкновенно от порыва радости и лизал ему лицо и руки. После такого приветствия — бури и натиска — человек отправлялся в дом, сопровождаемый прыжками собаки. Но нас, детей, Трезор недолюбливал. Он, как умная собака, понимал, что мы не хозяева дома. Он часто был свидетелем того, как нам попадало то от деда, то от кухарки, то даже от работников деда. Поэтому Трезор ограничивал свои приветствия нам тем, что полупрыжком сваливал нас на землю и, презрительно посмотрев, отходил, бросив нас на произвол судьбы.

Мой дед — отец моей матери — считался когда-то самым богатым в окрестности. Ему принадлежали поля, виноградники и два озера, где он создал целый рыбный промысел. Рассказывают также, что его отец был женат на какой-то родственнице князя Святополка-Михайловского, и все эти земли получил как часть

приданого жены. Говорят также, что Михайловская — так ее называли в тех краях — была своенравная и капризная. Но никто из князей не хотел, чтобы она выходила замуж за какого-то казака-разбойника, каким считали моего прадеда. Он был вольным казаком и слыл удалым красавцем-наездником, отличившимся когда-то в войне против турков. Но для аристократки его считали неподходящим. Княжна же настояла на своем: он или никто. Чтобы отделаться от строптивой и не позорить весь род, сам князь решил дать ей одну четвертую приданого, и то только для того, чтобы не пустить по миру женщину. Злые сплетники в деревне утверждали даже, что сначала он не хотел давать ей ничего, то есть грозил прямо лишить ее приданого. Но капризная барышня не испугалась и категорически заявила, что ей все равно, что князья ей давно надоели и что жизнь с ними так или иначе не имеет никакого смысла, и она готова забыть их всех навсегда.

Те же злые сплетники говорили, что познакомилась она с прадедом в лесу, когда каталась на лошади. Там что-то с ней непонятное случилось, и прадед мой привез ее в дом князей почти без чувств на своей лошади, в совершенно испачканной одежде. Некоторые утверждали, что от нее даже попахивало водкой. Еще рассказывали и такое, что я не хочу об этом и писать, чтобы не запятнать память моего славного прадеда. Но что бы там между ними ни произошло, он женился на ней, а его сын, Иван Хорунжий, получил приданое Михайловской в наследство. Кажется, мой дед был умнее моего прадеда, потому что он еще больше разбогател, благодаря своему уму и умению вести хозяйство. Его поля и рыбный промысел в озерах и на реке давали хороший доход. Он знал, как вести хозяйство, и работники любили его. Но во время Первой мировой войны он заболел тифом и умер. А его жена, моя бабушка Марфа Савельевна, вскоре после войны вышла замуж за другого, за бывшего мореплавателя, капитана корабля, который в годы военного коммунизма случайно попал в нашу деревню.

Моего второго деда звали Илья Петрович. Спокойный, умный и практичный, он взялся за бабушкино хозяйство и во время НЭПа не только все сохранил, но еще увеличил доход. Все дети бабушки, два сына и три дочери, полюбили его и относились к нему, как к родному отцу. Но после НЭПа советское правительство объявило, что хозяйство бабушки переходит в руки народа. Кроме дома, все имение было коллективизировано. Вскоре Илья Петрович и все другие увидели, что колхоз не мог так хорошо вести хозяйство, как он. Не было хороших работников, не хватало машин, лошадей. В это время мой дед

часто стоял в саду и задумчиво смотрел далеко в степь на запущенные поля и огороды. А когда он возвращался в дом, то часто говорил: «Чтоб тебя, проклятый, сырая земля не приняла». Это он ругал Сталина, который начал радикально вводить коллективизацию по всей стране. При этих словах, которые обычно сопровождались потоком иных ругательств, все шарахались от дедушки, а бабушка говорила:

— Перестань же. Кто-нибудь из чужих может услышать.

Из чужих в доме была только Федора, кухарка бабушки. Она не захотела уходить от нее, когда большевики объявили всем «порабощенным» свободу, И, в сущности, ее все считали своей.

Но советская власть всеми методами начала укреплять свои позиции, и каждый, хотел он этого или нет, должен был приспосабливаться к новой системе. К новой жизни. Это также касалось и семьи моей бабушки. Ее дочери, одна за другой, повыходили замуж за парней нового пролетарского класса. Старшая, Фрося, нашла себе какого-то агронома, правда, в партии он не был. Средняя, Анюта, вышла замуж за бывшего моряка, который во время Октябрьской революции был произведен большевиками в красные офицеры; а самая младшая, моя мать, связала судьбу с «красным партизаном», как, с оттенком презрения, называла моего отца бабушка, когда его, конечно, не было поблизости. Ей не нравилось, что он был сыном бедного моряка, годами бросавшего семью на произвол судьбы. Он был из соседней деревни. Его мать вынуждена была сама воспитывать своих двух сыновей — Сашку, моего отца, и Федьку, его брата. Их сестра, двадцатилетняя девушка, умерла в годы войны к великому горю моей бабушки Марии, которая всегда утверждала, что сыновья ее были не очень послушными детьми, особенно старший, Сашка, а дочка была удивительной красоты. И вот поэтому, говорила бабушка, Бог ее принял к себе.

Неспокойные годы гражданской войны уже прошли, — на Украине они продолжались чуть ли не до середины двадцатых годов, — когда оба мои дядьки, сыновья Марфы, возвратились в деревню. Им, как выходцам из «враждебного класса», запретили поступать в университет. С их возвращением весь дом наполнился шумом и суетой. Все родственники съехались на большой семейный совет, чтобы решить, что дядькам делать дальше. Мой отец отсутствовал, его, как красного партизана, советское правительство направило учиться в город. Но на совет пришли представитель партии, муж тети Анюты, и представитель пролетариата, агроном Марков, муж тети Фроси. И, таким образом, под нажимом партии и диктатуры пролетариата было принято мудрое решение: дядьки должны отказаться от их образа

жизни и обычаев и согласиться строить коммунизм.

Семейный совет заседал несколько часов, и не один самовар был выпит, и не одна пачка папирос была выкурена. В большой бабушкиной столовой воздух был так густ, что его можно было ножом резать, а раскрасневшаяся Федора не отходила в кухне от печки. Заседание семейного совета было окончено к вечеру. Партия и пролетариат — хотя и в меньшинстве — оказались в большинстве. Они убедили и бабушку, и Илью Петровича, что от такого решения им не станет ни хуже, ни лучше. Что единственное, с чем надо будет на время смириться, — это потерпеть со свиданиями. Вернее, не делать их такими официальными. — Пусть дядьки поживут временно в больших городах, не навещая свою бывшую мелкобуржуазную среду. А там — все можно будет устроить. Стратегия и тактика коммунизма — гибки.

Но бабушка и Илья Петрович оказались довольно восприимчивыми к новым идеям. Позже я всегда удивлялась их спокойствию и здравому уму. Особенно тому, как впоследствии бесстрастно они расстались со своим добром и даже с домом. Мне часто приходилось наблюдать невозмутимость души бабушки, как она реагировала на все невзгоды времени.

После отъезда дядек в доме остались, кроме Ильи Петровича, только женщины: бабушка Марфа, хозяйка дома, моя мать, кухарка Федора, прабабушка Евгения, мать моего настоящего деда, который умер во время войны от тифа, и я. Прабабушка Евгения занимала самую тихую часть дома: две комнаты, выходящие в сад. Она была уже старенькой, хрупкой и бледненькой старушкой и редко показывалась в семейном кругу. Помню, что ее комнаты были полны цветов и света. Она любила цветы и могла часами сидеть возле какого-нибудь растения и изучать его листья, ветки и цветы. Я редко видела мою прабабушку. Мне строго приказывали не входить в ее комнаты и не тревожить ее. Но иногда, когда Федора вносила обед, я открывала ей дверь и вместе с Федорой входила к прабабушке. Она обыкновенно сидела у окна, поворачивала к нам голову, приподнималась, подходила иногда ко мне и клала мне на голову свою легкую, прозрачную руку. При этом она заглядывала мне в глаза и что-то говорила, не помню что. Знаю только, что она и все ее окружение внушали мне уважение, смешанное с любопытством. Все вокруг нее казалось мне слишком чистым и светлым, так что в ее присутствии я иногда боялась даже пошевельнуться. Ее мир был для меня каким-то другим, остановившимся, застывшим. Книги, вазы, цветы и картины, находившиеся в ее комнате, как будто тоже застыли, излучая

странную тишину и покой. Летом бабушка в сопровождении Федоры выходила в сад и сидела в тени на скамеечке. Она там пила чай и рассматривала иллюстрации в книге. Иногда я тоже проводила несколько часов в саду, но когда ко мне приходили соседские дети, Федора выгоняла нас за ворота на улицу, и мы обыкновенно играли вокруг большого фонтана или же целой ватагой уходили за деревню, в степь. Фонтан стоял посреди деревни и изображал маленького белого мальчика, который бесстыдно все время писал в воду. Когда я однажды спросила, почему он это делает, то кто-то из взрослых мне ответил, что это просто искусство. Этот ответ мне абсолютно ничего не говорил, но я знала, что воду из фонтана пить нельзя, если мальчик делает такие неприличные вещи.

Но больше всего нам нравилось играть в степи. Там было много места, чтобы бегать, и никакие брички и повозки с лошадьми не мешали нам. Степь влекла меня. У каждого из нас были свои представления о ней, и мы часто делились ими друг с другом. Мы знали, что где-то далеко в степи ходят какие-то странники, что там живет тоже невидимый и всесильный Бог. Особенно летом, когда стояла сильная жара, нам казалось, что мы слышим далекие голоса и даже пение. Помню, как однажды после обеда мы ушли в степь. Деревня осталась далеко позади, и вокруг нас был бесконечный простор. Вдруг со всех концов начали надвигаться черные тучи и стал греметь гром. Раскаты грома становились все сильнее и сильнее, и молнии сверкали все ярче и ярче. В то же время поднялся страшный ветер. Целые столбы желтой пыли неслись один за другим, так что мы едва видели друг друга. Нигде не было ни деревца, ни кургана, где мы могли бы приютиться. Сильный дождь, как стена, с невероятной быстротой начал бежать за нами и, наконец, настиг нас. Со страху мы как овцы сбились в кучу. Мы все дрожали и при каждом ударе грома падали на землю, затем вскакивали и бежали дальше под хлест дождя. А он хлестал нас по маленьким тельцам так, что было даже больно. Но вот дождь прекратился, и тучи исчезли так же мгновенно, как и пришли. Все еще дрожа, мы остановились. Небо совсем прояснилось, и солнце еще сильнее засияло на нем.

Мы стали осматривать друг друга. Насквозь промокшие рубашки и платья прилипали к нашим телам. Один из мальчиков подошел к Вале, моей соседке-подруге, и громко хлопнул ее по животику. Она засмеялась, и ее смех, как колокольчик, раскатился по степи. Мы побежали обратно к деревне, смеясь и выкрикивая разные звуки, имитируя птиц. Гроза и страх были забыты.

Но больше всего я любила играть с моей подругой Валей в

большой бабушкиной столовой, особенно в те дни, когда к нам приходили полотеры. Они весь день ерзали на маленьких дощечках по полу, а мы, путаясь у них под ногами, просили, чтобы дали нам покататься. Иногда они разрешали, и мы с Валей с большим удовольствием старались подражать им. Чаще же всего мы ограничивались тем, что стояли или сидели у стены и смотрели на них, слушая, как они в такт движениям затягивали какую-нибудь унылую песню. И стук дощечек по паркету, и их унылое пение, — все это как-то странно изменяло строгую атмосферу большой холодной столовой с ее дубовыми столами, шкафами, буфетами, стульями и креслами. Мы с Валей всегда с нетерпением ожидали, когда полотеры придут опять.

Вообще эта комната была для меня самая неприятная, именно из-за ее величины, из-за слишком тщательной чистоты и блеска посуды в высоком буфете за стеклом. Я никогда не могла ни к чему притронуться, все находилось слишком высоко. А в другом конце столовой во всю стену, от потолка до полу стояли книги. Весь этот конец задвигался раздвижной дверью, когда ужинали. Мне никогда не разрешали притрагиваться ни к книгам, ни к посуде. Но мы с Валей все же ухитрялись иногда поесть варенья, стоявшего в хрустальной вазочке высоко на буфете за стеклом. Мы обыкновенно подставляли к буфету стул, кто-нибудь из нас взбирался на него и нагибал спину, а другой становился на спину согнувшегося, и таким образом можно было открыть шкаф и — варенье наше!

Очень забавно было также ловить мышей. В одном из углов в старом паркете мы обнаружили маленькую дырочку, из которой иногда выбегала мышка. Илья Петрович сделал ловушку: в двух концах столовой стояли опрокинутые горшки, одна сторона которых была приподнята кусочком деревянного косячка с нанизанным на него ломтиком сала. Валя и я, притаившись вблизи горшка, поджидали, пока выбежит из норки мышка, подбежит к горшку и начнет дергать сало. В ту же минуту горшок падал и накрывал ее. Тогда кто-нибудь из нас садился на горшок и ездил по паркету, дразня мышку. А кот со вздыбленной шерстью бегал за горшком. Иногда мышке удавалось убежать, если ее не смог поймать кот. Так мы с Валей проводили весь вечер, пока не приходила Федора и не выгоняла нас на улицу.

Но иногда эта громадная столовая превращалась в самое оживленное место в доме. Это случалось тогда, когда к бабушке приезжали портные. Тогда они раздвигали все столы, на которых раскладывали свои вещи, кроили материю и шили. Их было обычно человека три или четыре. Некоторые из сшитых вещей тут же запаковывались и посылались в города, где учились мои

дядьки. Позже я узнала, что посылки высылались по фиктивным адресам, чтобы затереть мелкобуржуазные следы, ведущие к родителям.

Однажды я играла возле сада, где находилась летняя уборная. Один из портных вышел из дома и направился туда. Случилось так, что мне тоже надо было зайти «куда царь пешком ходит». Я открыла дверь и вошла, но портной вытолкнул меня. Я обозлилась и закрыла снаружи его на задвижку и ушла дальше. Задвижка всегда закрывала дверь, чтобы ее не оторвал ветер. Заигравшись, я совсем забыла о нем. И только в обед, когда все собрались в кухне перекусить, одного портного не оказалось.

— Где же он? — спрашивали и другие.

— А я его видела в уборной, — сказала я.

— Когда?

— Утром.

Все всплеснули руками, и Федора побежала к саду. Через несколько минут она возвратилась вместе с портным, который, как мне показалось, выглядел немного бледным. Но к моему удивлению, он даже не был сердит. Бросив на меня косой взгляд, он молча сел за стол. Взрослые же о чем-то громко между собой заговорили, поглядывая на меня. А я подумала, что хорошо ему отомстила за то, что не пустил меня. Впрочем, я не думала запереть его на такое долгое время. Я просто забыла о нем.

В новом доме

Но в один прекрасный день пребывание мое в доме бабушки внезапно закончилось. Дом вдруг опять наполнился шумом: дядьки приехали упаковывать свои книги и некоторые вещи. С ними приехал и мой отец после долгого отсутствия. Приезд дядек официально мотивировался тем, что им надо было забрать свои вещи, все еще находившиеся в мелкобуржуазном сословии. Они пробыли всего два дня и под всхлипывания бабушки и Федоры быстро уехали — один в Москву, а другой — в Херсон. А после их отъезда моя мама подошла ко мне с большим платком, укутала меня и сказала: — Мы едем домой. У нас теперь есть свой дом.

При этом она посадила меня на подводу, ожидавшую во дворе, и все мы, отец, мать, маленькая сестричка Нина, извозчик и я, двинулись в путь. Оказалось, что отец окончил финансовое училище — после Октябрьской революции все шло быстрыми темпами — и его направили на работу в соседнее село. Все еще благодаря Ильичу, мелкая собственность стала опять в моде, и, таким образом, отец приобрел новый дом.

Расположение дома давало почувствовать полет фантазии новой эпохи. Дом был построен на холме и обнесен низкой каменной оградой. Внизу, как у подножья крепости, проходила главная дорога — она же была и единственная в деревне. Параллельно с дорогой шел крутой обрыв к берегу Днепра, который был в этом месте так широк, что за маленькими плавнями не было видно противоположной стороны. Отец недаром выбрал это место: он был страстным охотником и с детских лет слыл необыкновенным стрелком. А во время гражданской войны за то, что никогда не промахнулся, стреляя по врагу, получил почетное звание Красного партизана. Хотя по традиции и по службе он должен был презирать частную собственность, в новом дворе у него, как на псарне, вдруг появилось полдюжины собак и две лошади.

Сразу же за домом под горой находился сад. Фруктовые деревья были насажены ступенчато: один сорт следовал за другим — абрикосы, яблони, сливы, вишни, груши. По левую сторону дома были сараи для лошадей, коровы, овец, гусей и кур, а также домик для собак. Затем был расположен огромный ток, который служил нам площадкой для игр, потому что он весь зарос высокими кустами какой-то травы, из которой моя бабушка — мать моего отца — делала метлы. Дальше за током простирался большой огород, похожий на целое поле, где летом росли всевозможные овощи: свекла, капуста, фасоль, мак, лук, арбузы,

дыни и прочее. А с правой стороны дома, сразу же за крыльцом, росла большая груша. Весной она чудесно цвела, и мы часто пили под ней чай. Дальше под окнами росли цветы. Перед домом во дворе была летняя кухня. Деревянный навес защищал ее от дождя. За садом, где кончался подъем, расстилалась широкая степь. И здесь, как везде на моей родине, она казалась бесконечной. Смотришь вдаль — и нигде ни горки, ни деревца, за что мог бы зацепиться взор. Только небольшие кругловатые бугры, поросшие сухой степной травой или низким кустарником, монотонно тянутся один за другим. Можно часами идти, и не встретишь ни одного человека. Если бы не случайно выскочивший из кустов заяц или степная крыса, или пение степных птичек и жужжание всяких козявок и жучков, то может показаться, что ты вместе с одинокими тучками плывешь в какую-то бесконечность. Но эти на первый взгляд незаметные зверьки со своими неясными звуками говорили о том, что и степь жила своей жизнью, так же разнообразной и богатой, как и всякая жизнь. Даже зимой, когда степь была покрыта снегом и казалась мертвой пустыней, вой голодных волков под снежную бурю напоминал об опасностях, притаившихся в ней.

В новом доме нас встретила другая бабушка, мать моего отца, бабушка Мария. Эта бабушка совершенно отличалась от бабушки Марфы. Бабушка Марфа была среднего роста, с плавными медленными движениями. Она носила шелковые блузки с кружевами, а по воскресеньям и шляпы. Бабушка Мария поразила меня своей простотой и подвижностью. Она была стройной и высокой. Ее гибкое тело могло конкурировать с телом любой молодой девушки. А одевалась она по-крестьянски. С утра до вечера она хлопотала по хозяйству: ухаживала за скотом, варила пищу, нянчила нас, детей, выгоняла на пастбище корову и овец, давала приказы работнику, который приходил к нам днем. Лицо и руки ее были смуглые, загорелые от солнца и ветра. Серые глаза придавали ее спокойному, независимому выражению лица с прямым, красивым носом, теплоту и добродушие. До ее переселения к нам она жила в соседнем селе, в старой полуразрушенной хате. Ее муж, отец моего отца, безвестно пропал во время гражданской войны, а она осталась одна с двумя сыновьями, Сашкой, как она называла моего отца, и Федей, его младшим братом. Жили они так бедно, что даже крестьяне в деревне с каким-то снисхождением относились к ним. Хотя бабушку Марию не считали красавицей, все же несколько мужиков сватались к ней. Она же не хотела связываться ни с кем, и жила тем, что садила свой крошечный огород, делала таким образом запас на зиму, держала корову, гусей, полдюжины курей

и пару овец. Летом она удила рыбу, сушила ее на зиму, и это был весь ее капитал в покосившейся избе. Но детей она настойчиво посылала в школу, хотя старший, мой отец, очень неохотно посещал ее. Позже она рассказывала нам, что ей не раз приходилось с палкой выгонять его. Он же нередко прятал свои книги где-нибудь во дворе, одевал коньки и шел кататься на Днепр. За это, конечно, ему приходилось не раз расплачиваться. Федор же, моложе отца на два года, учился прилежно, был послушным и тихим парнем. После прихода большевиков, когда их власть еще не установилась окончательно, оба брата попали в партизаны. Отец быстро выдвинулся в герои, благодаря своему таланту в стрельбе, искореняя таким образом врага. Но брат Федор такого геройства не проявил. Он был более склонен к рассудительности и осторожности.

Когда стало немного спокойнее в стране и надежды некоторых на падение большевиков рухнули окончательно, бабушка Мария первая явилась в сельсовет и заявила, что хочет вывести своих хлопцев в люди, но не знает, как это сделать. Председатель сельсовета приказал привести хлопцев ему на глаза, осмотрел их, как рассматривают молодых, брыкающихся жеребцов на ярмарке, — бабушка Мария с палкой стояла рядом же — и составил рапорт в райком. В этом рапорте он изложил незапятнанное пролетарское происхождение Александра и Федора Дмитриевичей Бабенко, подробно изложил их склонности и интересы, описал их внешность, приложил личную рекомендацию и, пожав крепко руку бабушке Марии, сказал, что из ее хлопцев советская власть сделает людей.

Решение райкома долго не задержалось. Через три недели пришло в сельсовет письмо с соответствующими указаниями когда и куда направить парней. Так как у моего отца не было никаких особенных желаний, а усовершенствовать свои стрелецкие способности он категорически отказался, то было решено отдать его в финансовую школу. Здесь, конечно, были приняты во внимание его отметки в школе. Все они были довольно незавидные, кроме математики. По математике отец имел всегда «отлично». Он с легкостью мог решать сложнейшие задачи даже без бумаги. Федор же, к большому удивлению всех, решил пойти в военное училище. Может, в этом решении таились более глубокие психологические причины, о которых, кроме моей мамы, никто не догадывался. Мама, тогда еще барышня, знала и Федора, и Сашку, — оба они за ней ухаживали. Когда же мать начала уделять больше внимания смелому и задиристому Сашке, то Федор решил, вероятно, доказать ей, что и он может стать таким же, и, таким образом, согласился поступить в военное

училище, куда, в сущности, и было направление для обоих. Но, к сожалению, это ему не помогло. Через год отец приехал на каникулы. Весь он так изменился — стал еще выше ростом, крепче телосложением, а главное, вел себя так, как будто для него сам Бог открыл все двери рая. Все девки окружающих деревень были от него без ума. Тогда он сделал предложение маме и получил ее согласие. После женитьбы отец опять уехал в школу оканчивать учебу, а мать моя несколько лет жила у бабушки в Золотой Балке. Федор же, приехав позже в отпуск и узнав о таком исходе дела, дал маме слово большевика, что он никогда не женится на другой и этим докажет, что он только ее любит. Слово большевика оказалось твердым. Он действительно ни на ком не женился всю свою жизнь. После замужества мамы между братьями установился мир, уже без ревности. Дядя Федя, как мы стали его называть, всегда приезжал к нам во время своих каникул из разных военных школ, пока не окончил Военную академию имени Фрунзе в Москве.

Несколько лет спустя, как-то сидя за чайным столом во дворе под грушей, бабушка Мария рассказала нам забавную историю о своих сыновьях, когда те были еще совсем молодыми парнями и ухаживали за мамой.

Ни тому, ни другому не нравилось, когда мама назначала одному из них свидание. И вот однажды молчаливый Федя решил проучить своего брата. Мама жила в соседней деревне, и со свидания с ней надо было возвращаться домой поздно ночью через кладбище. Федя стащил дома простыню, построил себе ходули и притаился на кладбище, поджидая отца. Когда, наконец, он увидел вдали возвращающегося со свидания брата, он стал на ходули и в белой простыне, как вставший из гроба покойник, направился ему навстречу. Привидение так напугало моего отца, что он бросился бежать, издав какой-то приглушенный звук совсем изменившимся голосом. Федя же шествовал за братом, ускоряя шаг. Сначала отец бежал, не оглядываясь. Но когда он упал, споткнувшись о крест, и привидение почти настигло его, инстинкт самосохранения подсказал ему запустить в белого преследователя камнем. Так как и при этих обстоятельствах отцу помог его талант партизанского снайпера-наводчика, камень попал дяде прямо в голову, отчего тот вскрикнул, упал с ходулей, схватился за больное место и бросился бежать в обратную сторону. Отец же, постояв с минуту в недоумении, пока убегающее привидение не скрылось в кустах, направился домой. А на следующее утро у брата на лбу появилась громадная шишка. Братья молча посмотрели друг на друга. А бабушка Мария добилась все же признания от молчаливого Феди, — он рассказал

ей всю историю ночного происшествия.

Но вот бабушка Мария в нашем доме, и ей предстояло жить под одной крышей с женщиной, которая стала судьбой ее сыновей. Ей, привыкшей к простой жизни, нелегко было терпеть в доме «белоручку». Так она называла мою маму даже в ее присутствии, давая ей этим понять, что она «несозвучна эпохе», в то время когда такие, как бабушка Мария и ее сыновья, — то есть те, «кто был ничем, тот станет всем», — строят новый мир. Исполнить желание отца — перебраться в наш новый дом — она согласилась только при условии, если возьмет с собой весь свой инвентарь, живой и мертвый. Несмотря на то, что о ее бедности в деревне рассказывали всякие басни, например, что у нее «и нитки нет» за душой, она притащила с собой больше, чем моя мама. Вместе со старыми сундуками и горшками во двор въехал целый зоологический сад: две овцы, корова, куры, гуси, утки, свинья, не считая отцовских собак. Только с пчелами — несколькими ульями — ей пришлось расстаться. Все это поместилось в амбарах и специально пристроенном к дому помещении. Привыкшая всю жизнь работать, бабушка Мария вставала еще до зари и хлопотала по хозяйству. Первое время совместной жизни с мамой она хотела ее перевоспитать, показывая ей своим поведением пример трудящегося человека. Но мама вставала позже, чем бабушка, завтракала с нами, детьми, — бабушка чаще всего предпочитала завтракать одна в кухне — и только после ухода отца в контору принималась за хозяйские дела. А по вечерам она садилась в кресло, брала гитару и под аккомпанемент пела нам песни. Мы, дети, с восторгом слушали ее и думали, какая красивая наша мама. Со временем наша семья увеличилась: кроме меня и Нины, родились еще брат Иван и сестра Клава. Бабушка, сидя в стороне и прислушиваясь к песенкам мелкобуржуазного пошиба, искоса посматривала на маму.

Однажды пришло известие, что к нам в гости приезжает дядя Федя. Никто не радовался так сильно этому событию, как бабушка Мария. Она как бы помолодела: лицо ее сияло радостью и счастьем, а ее стройное, гибкое тело не знало усталости. Она хлопотала по хозяйству, приготавливала всякие любимые блюда дяди, пекла печенье и пироги и чистила весь дом.

И вот он приехал в новой, красивой военной форме, в блестящих мягких сапогах, в шинели, с чемоданом в руке. На воротничке шинели и гимнастерки блестели лейтенантские кубики, а через плечо, в кожаной кобуре, висел револьвер. Мы восторженными глазами смотрели на него и не понимали кто это: наш дядя, брат отца, сын бабушки, или сам осколочек красной звезды, вечно горящей на Кремлевской башне. Вот во что

превращают большевики людей!

По деревне сразу же распространился слух о его приезде, и наш дом с утра до вечера наполнялся людьми. Все, кто знал его еще мальчишкой, хотел увидеть его своими глазами. А больше всех гордилась им бабушка Мария. Люди разговаривали между собой, наперебой расспрашивали его о далекой Москве, о новых царях в Кремле. А дядя всех поучал, что царей больше нет, что теперь все равны и что советская власть строит коммунизм. Некоторые наклоняли головы, слушая его, другие не обращали на все это внимания, они думали, что это просто так, пустые фразы, что дядя, мол, нахватался там всяких выражений и хочет немного похвастаться. Были и такие, что горячились и вступали с дядей в спор. А он, глядя на них с улыбкой, хлопал их по плечу и говорил:

— Поживем, увидим.

Из всех их разговоров я понимала очень мало, зато ясно чувствовала, что с приездом дяди к нам в дом вошло что-то новое, небывалое. Даже бабушка Мария, не переставая радоваться, заметно изменилась. Она вдруг перестала по вечерам с нами, детьми, молиться Богу перед иконами в углу. Раньше не было такого утра и вечера, чтобы она не брала нас, детей, за руки и не ставила перед иконами, заставляя нас повторять за ней молитвы. И мы послушно вставали на колени и вполголоса повторяли молитвы, которым она нас учила. Все это прекратилось с приездом дяди. Позже я узнала, что дядя как-то увидел нас перед иконами, молча стоял и смотрел, пока мы закончили, а потом ушел на кухню к бабушке и долго доказывал ей, что религия — опиум для народа и что она, бабушка, не должна отравлять нас. И пока дядя гостил у нас, молитвы прекратились, но я слышала, как бабушка одна молилась на кухне. Все это ее очень опечалило. Она не могла себе представить, как можно жить, не веря в Бога. А когда после отъезда дяди некоторые деревенские бабы, встречая бабушку, говорили ей, что ее сын сделался совсем красным и продал душу антихристу, то она только отмахивалась и говорила:

— Я день и ночь молюсь за него, чтобы Бог простил ему его грехи и взял его на том свете в Царство небесное.

С отъездом дяди Феди наша жизнь пошла по-прежнему. По субботам и воскресеньям отец с друзьями ездил на охоту и возвращался обыкновенно вечером весь увешанный дичью. Мама и бабушка не особенно были рады его возвращению в таком виде, — им предстояло много работы: ощипывать перья, варить и жарить мясо. Все это занимало много времени. Но иногда бывало и так, что отец уходил на охоту дня на два и возвращался без ничего.

— Плохой знак, — говорила бабушка. — Он прокутил все время с друзьями. Эти друзья, какие-то незнакомые мужчины, появлялись время от времени в нашем доме, и отец угощал их водкой и едой. Бабушка не любила их и называла дармоедами. Подавая им на стол еду, она почти швыряла им тарелки, отчего вздрагивали и подпрыгивали на столе стаканы, а мужчины косились на нее, но не говорили ни слова. Оказалось, что бабушка была права. Они действительно были дармоедами, так как никто из них не имел постоянной работы. Дома говорили, что это были партизаны еще с тех времен, когда в стране царило безобразие, громили Колчака, Деникина, Врангеля и других белогвардейцев. Мама и бабушка предполагали, что некоторые из них были то там, то сям, меняли окраску так часто, как менялся ветер. Когда же кончились романтические времена революции и гражданской войны, многие из них так никуда и не устроились. Они считали себя профессиональными революционерами и не понимали, что «профессии» этой пришел конец и надо перестраиваться. Они просчитались, и теперь хватались за старых друзей и по прежней привычке ожидали «дружеской помощи».

Отца ругала и мать, и бабушка за его излишнее великодушие и чрезмерную добросердечность, но отец не мог отказать бывшим соратникам, и когда они появлялись, давал им есть и пить. Иногда они останавливались у нас по нескольку ночей, хотя спали, правда, во дворе, на сене.

Но мы от этого не беднели. В последние времена ленинского НЭПа пищи еще было достаточно. Может, этот НЭП и был самым лучшим периодом в советском коммунизме. По крайней мере, мне, тогда еще ребенку, этот период запомнился как один из лучших за все существование советской системы. Во всем, что меня окружало, я видела источник радости и веселья — в доме, во дворе, в саду, на реке, в обилии пищи, в поведении людей. Позже, конечно, гораздо позже, все изменилось. Но и теперь не забыть мне наших поездок в плавни, когда мы всей семьей и с друзьями выходили из лодки на берег и на белом как снег песке, в тени деревьев раскладывали на большом одеяле всевозможные яства, устраивая пикник. Взрослые шли на прогулку, а мы, дети, под присмотром часами купались в Днепре.

Одно время нас на прогулки всегда сопровождал какой-то знакомый родителей, музыкант. Мы его называли «дядя Василий». Он почти каждый день после обеда приходил к нам домой, усаживался в кресле против мамы и играл ей на скрипке. Мы, дети, в это время терпеть его не могли, — нам запрещалось шуметь. По комнате мы должны были ходить только на цыпочках и громко не разговаривать. Кроме мамы, он нам всем страшно

надоел, так что мы очень обрадовались, когда он, наконец, уехал. Позже я узнала, что он был прислан в нашу деревню из Пролеткульта, чтобы организовать кружки самодеятельности красной молодежи. Он упорно хотел сагитировать мою маму руководить хором, так как она с детских лет пела в церкви. Но мама не хотела. Ей почему-то совсем не по вкусу приходились новые коммунистические интернационалы и гимны. Вероятно, она не могла отделаться от своего «мещанского» вкуса, все еще увлекаясь песнями прошедшего века, и, таким образом, не попадала в шаг с современностью.

После отъезда дяди Василия у нас остался маленький чемоданчик, к которому привинчивалась кривая труба и — о чудо! — из нее выходила музыка.

— А кто делает музыку? — спрашивали мы маму, обступив чемоданчик со всех сторон.

— Это дядя Василий спрятался в трубе и играет, — отвечала она. И мы наперебой заглядывали в трубу в надежде, что оттуда выйдет дядя Василий. То, что он не мог поместиться в трубе, нам не приходило в голову. Только бабушка Мария относилась к чемоданчику скептически. Она утверждала, что чемоданчик, из которого выходит музыка, — дьявольское дело, и что это ничего хорошего не принесет. А мы смеялись над ней. Мы уже тогда начали чувствовать отсталость бабушки от времени.

Так протекала наша жизнь в Бажановке, как называлась наша деревня. Игры во дворе с собаками, кошками, со свиньей; прогулки по лесу, в плавни, купанье в Днепре. Нередко мы вместе с бабушкой выгоняли на пастбище корову, овец, гусей, уток. Все это осталось в памяти на всю жизнь, как живое, и сейчас, когда я думаю об этом, мне становится радостно, как будто мне кто-то дал драгоценный подарок, наполняющий мою душу счастьем.

Еще я помню очаровательные вечера, когда мы всей семьей сидели у крыльца на ступеньках и в бинокль следили за далеко на той стороне Днепра проплывающими пароходами. Иногда мы ожидали отца, который после командировки по службе должен был возвратиться на одном из них. Тогда мы неустанно следили за пароходами, а отец обязательно выходил из каюты и махал нам платочком. Все радовались его возвращению, и жизнь шла таким же путем дальше.

В это время нас еще не тревожили всякие слухи о новых планах большевиков. Всякие семилетки, пятилетки, рационализации и электрификации были для нас пустыми фразами. Разве «советская власть плюс электрификация всей страны» может изменить нашу жизнь? Мы думали, что все это пойдет своим путем, а наша жизнь своим. Какое нам дело до того,

что задумали большевики? Разве кто мог тогда допустить, что программы и схемы нового режима могут перестроить политику, экономику и весь уклад жизни, даже самого человека? Но — «вначале было слово», а пока наша жизнь текла своим чередом среди простора, солнца и чудесного синего, бесконечного неба. Мы жили полнотой этой уравновешенной, устроившейся жизни, не подозревая, что со стороны этого же нового правительства — «советская власть — индустриализация плюс электрификация» — нам грозит опасность.

Первые предвестники перемен

В одно светлое раннее утро в мае — это было в 1929 году — когда все еще спали, а в открытое окно несся запах степной травы, смешивающийся с пением птиц, криком петуха и лаем собак, мы услышали тревожный крик бабушки. Этот крик совсем не гармонировал ни с чем: ни с пением птиц, ни с лаем собак, ни с запахом травы. В этом крике были страх и отчаяние. Это был необычный крик, и мы все выпрыгнули из-под одеял и в чем спали бросились во двор. Перед входом в дом мы увидели бледную и запыхавшуюся бабушку. Беспорядочно размахивая руками, она показывала в конец двора, к воротам, и произносила имя отца. Увидев всех нас, она бросилась бежать к воротам, а мы пустились за ней. Мама, накинув на себя халат, бежала последней. И вдруг, очутившись за воротами, мы все остановились и застыли: на траве, с раскинутыми руками, лежал отец. Глаза его были закрыты, а бледное лицо покрывали растрепанные черные волосы. С левой стороны, на виске, сочилась маленькая струйка крови.

Мы все стояли растерявшись, и только через несколько минут, придя опять в себя, начали громко плакать. На наш крик сбежались соседи и ранние прохожие. Общими силами отца перетащили в дом и уложили в койку. Что произошло дальше, я не знаю. Бабушка всех нас, малышей, загнала в кухню и строго приказала не выходить. А когда нас выпустили, то в прихожей, где уложили отца, толпились люди. Доктор в белом кителе держал руку отца и смотрел на часы. Другой человек, в военной форме, что-то записывал в блокнот, держа портфель на коленях. У всех были серьезные лица. Мы, дети, сразу же почувствовали важность дела и, пробравшись сквозь ноги взрослых, выстроились в ряд перед койкой отца. Но никто из нас, конечно, ничего не понимал. Отец лежал с забинтованной головой и что-то рассказывал записывающему в блокнот человеку. Только некоторое время спустя, когда приходивших официальных и неофициальных лиц в доме стало меньше, нам нашли нужным объяснить самое необходимое. Оно заключалось в том, что на отца набросились какие-то мужчины, когда он на рассвете возвращался с пристани домой после очередной командировки. Они выпрыгнули из-за кустов и бросили в голову отца большой камень. Отец упал и потерял сознание, и так пролежал, пока его не увидела бабушка, когда выгоняла на пастбище корову. Кто были набросившиеся на отца, мы так и не узнали. Милиция вела расследование, но, вероятно, из этого ничего не вышло. В деревне

же начали ходить разные слухи. Одни утверждали, что отца хотели ограбить, так как он, обыкновенно, возвращался из командировки с портфелем, набитым государственными деньгами. Но эти слухи легко было опровергнуть — портфель валялся недалеко от него, и ни один рубль из него не исчез. Также все документы в бумажнике оказались в целости. Другие говорили, что это были обозлившиеся на отца друзья со времен партизанских. Они как будто бы требовали от отца чего-то, что он не мог исполнить. Отец, хотя и был великодушен, но всякому великодушию есть тоже свой предел, особенно в условиях советской власти. Сам же отец ничего об этом не говорил, не допускал никаких предположений. Когда его спрашивали, как выглядели эти мужчины, то он и этого не мог вспомнить. Сказал только, что их было двое, что они были в пиджаках нараспашку и среднего роста. Лиц же их он не успел разглядеть из-за полутьмы на рассвете.

Через некоторое время отец поправился и все успокоилось. Но этот случай повлек за собой целый ряд других неприятных событий.

Некоторые друзья-сотрудники моего отца были внезапно арестованы. Их обвинили в том, что они во время гражданской войны поддерживали Петлюру, крайнего шовиниста, бандита, противника большевиков. Говорили, что их цель была отделить Украину от Советского Союза. Петлюровцы были неимоверно жестоки. Деревни и города, куда входил Петлюра, подвергались грабежам и опустошению, а члены партии и революционеры безжалостно отправлялись на тот свет. На борьбу с петлюровцами были мобилизованы целые отряды Красной армии, но они долго не могли справиться с ним. Петлюровские агенты сидели везде и подрывали всякую организацию нового режима. В сущности, среди украинцев было много таких, которые относились к петлюровцам с большой симпатией, особенно после Брест-Литовского договора, когда окончательно исчезла надежда на независимость Украины от Советского Союза. Украина стала Советской Социалистической Республикой. Но это была республика с более древней культурой, чем московская. Славное прошлое Украины, воспетое известными поэтами и писателями, даже московскими, не могло исчезнуть и при большевиках. И это мешало московским вождям свести украинский народ к презренному сталинскому названию «нацмены». Новым правителям вскоре стало ясно, что с Украиной они должны как-то считаться, что на Украине, как нигде, жив еще дух непокорности, и многое идет вопреки кремлевским планам. Поэтому назначение Молотова Первым секретарем ЦК Коммунистической партии

Украины в 1920 году не было случайным. Он, верный соратник Ленина, уже тогда считался одним из лучших и непреклонных партийных деятелей. Также Каганович, который занимал эту должность с 1925 по 1928 год, был послан Москвой на Украину потому, что партийный контроль поручался самым способным партийным политикам. Ведь в Москве стало скоро известно, что во время гражданской войны почти вся интеллигенция Украины находилась в лагере «самостийныкив», приверженцев независимости Украины.

Один из родственников моей матери, двоюродный брат, занимавший должность профессора украинской истории в Киевском университете, стал первой жертвой арестов 1929 года. О нем мы никогда больше не слыхали. Но и среди украинских коммунистов многие остались в сердце украинскими патриотами. Одним из самых известных украинских патриотов был, без сомнения, Микола Скрыпник, профессиональный революционер ленинской школы. Он был Народным Комиссаром Просвещения Украины и вместе с группой коммунистов-единомышленников — Постышевым, Косиором, Петровским, Чубарем — выступал за определенную независимость Советской Украины. Среди большевиков еще долго рассказывали о его смешных столкновениях с Никитой Сергеевичем Хрущевым, которого в те годы прислали на Украину в качестве Народного Комиссара Пропаганды, чтобы направить развитие культуры украинского народа по верному пути, то есть, чтобы изжить остатки буржуазно-капиталистического прошлого и внушить украинскому народу высокие идеи марксизма-ленинизма.

Сразу же после прибытия Никиты Сергеевича было созвано собрание украинских партийных руководителей, на котором он произнес речь и указал на свою миссию. Как только Никита Сергеевич окончил говорить, слово взял Микола Скрыпник; он сказал:

— Перед тем как мы перейдем к дискуссии, я переведу речь товарища Хрущева на украинский язык.

Он начал переводить, а миссионер Народного Комиссариата Пропаганды сидел, как будто ему дали пощечину. Затем Микола Скрыпник обратился при всех к Хрущеву и с язвительной улыбочкой спросил его, когда же он, наконец, изучит украинский язык; он сказал, что это просто позор, не знать родного языка! Позже Скрыпник обратился даже в московский ЦК с протестом, что для пропаганды прислан человек, который, хотя сам украинец, не говорит по-украински. В то время Хрущев вынужден был капитулировать — на его место прислали другого. Но Скрыпнику он этого не простил. В 1933 году очередная волна

арестов и уничтожения старых большевиков коснулась и группы Скрыпника. Все они жестоко поплатились за унижение Хрущева. А Скрыпника открыто обвинял его бывший товарищ комиссар-пропагандист в контрреволюционной и шпионской деятельности! Скрыпник избежал смертной казни сталинских чисток — он покончил жизнь самоубийством, что было единственным выходом из «чудовищной лжи государственной политики», как он сам об этом выразился. Все это произошло уже после первой волны сталинского террора, уничтожившего тысячи жизней сынов и дочерей гордого своим прошлым украинского народа.

Неспокойные времена для нашей семьи начались с лета 1929 года. Спустя два месяца после странного случая с отцом он сам был внезапно арестован и отправлен в херсонскую тюрьму. В доме поднялся переполох. Теперь разным предчувствиям и предзнаменованиям мама и бабушка предавали много значения. Через некоторое время маме разрешили навестить отца в тюрьме. Однажды она взяла с собой и меня. Это была моя первая поездка в большой город.

Тюрьма, где сидел отец, состояла из трех огромных зданий из красного кирпича. Эти здания были довольно старые, по крайней мере, так они выглядели. Там, наверное, томились узники еще при царизме. Тюрьма была окружена высокой каменной стеной, а вход был через железные ворота, где в будке сидел часовой. Он открыл узкую дверь в воротах и впустил нас во двор. Оттуда мы вошли в одно из зданий. Там, в громадном длинном коридоре за перегородкой-решеткой уже ждал нас отец.

Я совсем его не узнала. Он очень похудел, щеки его ввалились, лицо было небритое, заросшее бородой. Увидев нас, он протянул к нам обе руки, и глаза его вспыхнули и засветились радостью. Мы подошли вплотную к нему и он погладил меня по голове. В то же время я заметила, какой он вдруг стал жалкий и беспомощный. Его рука еле заметно дрожала. Он долго говорил что-то маме, поглядывая в сторону, где стоял тюремный наблюдатель. Казалось, что наблюдатель ни за кем не следит и ничего не слышит, но взор его то и дело шнырял от одного к другому. — В коридоре многие разговаривали через решетку с узниками, как мы с мамой.

По пути домой я спросила маму, кто посадил отца в тюрьму, но она ничего не ответила. Я замолчала и начала раздумывать о том, кто имел право забрать его от нас? Кому он сделал какое зло? Почему кто-то нарушает наш покой, вмешивается в наши семейные дела? Но на все эти возникающие в моей голове вопросы я не имела никаких ответов.

Дома нас встретила тревожным взглядом бабушка:

— Ну что Сашко? — спросила она маму и удалилась с ней на кухню. Через некоторое время она позвала и меня. Стол был накрыт, и мы втроем сели есть. Было поздно. Другие уже спали. Бабушка и мама прочли молитву и перекрестились. Их лица были спокойные и серьезные. Особенно лицо бабушки, как мне казалось, выражало доверие и непоколебимость. После нашего приезда она по-прежнему работала и хлопотала по хозяйству. А нам, детям, она говорила:

— Верьте, детки, в Бога. Он все видит, все слышит и все знает. — И каждый вечер она долго молилась перед иконами и ставила нас на колени вокруг себя.

За ужином мы не говорили об отце, а впоследствии я узнала, что отец был единственный, кого забрали из Бажановки. Конец НЭПа нуждался в жертвах. Сталин задался целью создать централизованную промышленность в стране, а сельское хозяйство должно сделаться базой и поставщиком продуктов. Поэтому оно должно быть также включено в централизацию, сделаться коллективным. Но политика проведения коллективизации в деревнях натолкнулась на упорное сопротивление со стороны украинских крестьян. Целые армии специально уполномоченных были посланы Москвой в деревни, чтобы «чрезвычайными методами» проводить коллективизацию. Доносчики и пропагандисты были везде, агитируя за сдачу продуктов и скота и выдавая сопротивляющихся. Крестьяне ничего не хотели отдавать государству. Они прятали зерно, резали скот и продавали свое добро. До определенной степени это коснулось и нас. Сначала, во время отсутствия отца, мы зарезали овцу и свинью. Другую овцу и лошадей у нас забрали. Гусей и уток пришлось тоже отдать в совхоз, но куры еще у нас оставались. Из шести собак нам оставили двух, одну охотничью, другую дворняжку, сторожить наш дом. За корову пришлось и бабушке, и маме вести с колхозом целую войну. Когда специально уполномоченные коллективизаторы пришли к нам и описали все наше имущество, движимое и недвижимое, и установили, что мы должны отдать, мама упорно запротестовала: корова нужна для детей, дети маленькие, и им нужно молоко. Его неоткуда взять, так как отец в тюрьме и не зарабатывает. На это уполномоченный ответил, что отец, вероятно, скоро выйдет из тюрьмы и будет опять зарабатывать.

— Когда он выйдет, тогда будет другой разговор, — отрезала мама.

— Кажется, мадам, вы вообще не можете обойтись без коров, — сказал, вставая, товарищ большевик, намекая этим маме на ее не совсем чистое в идеологическом понятии

происхождение. — Корова завтра должна быть в колхозе, — добавил он категорически.

Мама продолжительно посмотрела на него, и щеки ее зарумянились, нельзя сказать от чего — от стыда за свое происхождение или от возмущения. Ей пришла на помощь бабушка Мария. Все это время она стояла в углу и молча слушала. Сделав шаг вперед, она в упор подошла к уполномоченному:

— Ты мне, сукин сын, не указывай, когда я должна отдать корову. Корова моя! Корову я получила от советской власти! И коровой распоряжаюсь я! А ты пойди в сельсовет и наведи справки, иначе я доберусь и до тебя! — При этом бабушка со сверкающими молниями зелеными глазами и поднятым над головой кулаком надвигалась на уполномоченного, который медленно начал отступать к двери. Когда он спиной уперся в дверь, бабушка, раскрасневшись, кричала ему прямо в лицо:

— Антихристы! Головорезы! Грабители! Убирайтесь вон, чтобы духу вашего здесь не было!

Ошеломленный такой вспышкой с неожиданной стороны, представитель коллективизации смотал свои удочки. Но на следующий день были присланы два мужика угонять корову. Когда бабушка узнала об этом, она взяла коромысло и, размахивая им, подошла к мужикам. Те стояли и таращили на нее глаза. Но через пару минут они опомнились и, повернувшись к ней спиной, пошли в сарай. Бабушка вдруг бросила коромысло и отвязала дворняжку и охотничью собаку. Она что-то им сказала, и те с громким лаем бросились за мужиками в сарай. Через минуту они тащили их за галоши и рвали их одежду. Альма, немецкая овчарка, была громадного роста и прыжками бросалась то на одного, то на другого. Мужики испугались и отступили к воротам. На лай собак мы, дети, повыскакивали из дома и с палками тоже бежали за мужиками. Только когда мужики были уже за воротами, бабушка прикрикнула на собак, и те возвратились, все еще оглядываясь и гаркая на коллективизаторов. Корова осталась у нас.

Вскоре возвратился отец. Его выпустили через шесть месяцев, не найдя за ним никакой вины. Сообщение о его приезде было для всех нас большой радостью. Мы не знали точного времени его приезда и с нетерпением каждый час поглядывали на ворота. За два часа до его приезда Альма убежала со двора. Она возвратилась вместе с отцом, и когда он вошел во двор, она бешено вертелась вокруг него, бросалась каждому из нас на грудь и сильными своими лапами валила нас, детей, на землю.

Отец оставался дома только одну неделю. Его назначили на

новое место в другом районе. А через месяц и нам пришлось навсегда расстаться с домом. Дом перешел во владение колхоза, корова тоже, только курей мы смогли порезать и несколько продать. Бабушка оставила пару куриц и петуха на развод. С собой мы взяли также обеих собак. Все вещи мы погрузили на большую колхозную подводу, которую нам дали для переезда, и направились к пристани, к пароходу. К вечеру мы прибыли в Паньковку, где нас встретил отец. От пристани мы еще ехали километров десять подводой к деревне. Путь наш шел через лес, дорога была песчаная, и лошади медленно продвигались вперед.

Уже совсем стемнело, когда мы остановились у небольшого, окруженного рощей домика.

— Вот мы и приехали, — сказал отец, соскакивая с подводы.

За ним слезла мама, затем кучер начал помогать им снимать нас, детей. Младшая сестра, Клава, уже спала. Внутри домик оказался просторнее, чем можно было предполагать. В нем было несколько комнат, большая кухня и коридор. Везде было чисто, и была даже некоторая мебель, главным образом плетеная из лозы; она была совсем новая, еще пахнущая краской.

На следующий день я все внимательно разглядела, и мне наш новый дом понравился. Он стоял немного вдали от других домиков и как будто прятался от окружающего мира в сосновой роще. Позже я узнала, что в таких уютных и красивых домиках живут важные лица Паньковки: директор мебельной фабрики, где работал отец по финансовой части, председатель партячейки и другие служащие. Наш поселочек находился приблизительно в двух километрах от деревни. Вся деревня была как-то бессмысленно растянута. Но в центре деревни были магазины, там жили рабочие фабрики, и по воскресеньям там же был базар, недалеко от церкви, которая также стояла в центре деревни. Конечно, церковь теперь была закрыта. Двери ее — забиты гвоздями. Но иногда ее открывали и показывали проезжающим туристам. В сущности, теперь там был музей.

Уже на следующий день я познакомилась с Тасей, дочерью директора фабрики. Она была моих лет. Они жили недалеко от нас. Ее отец мне не понравился: это был высокий, худощавый человек, ходил он всегда насупившись, никогда не улыбался и редко разговаривал. У Таси была еще старшая сестра, красавица, она училась в городе, и брат. Брат Таси был немного старше ее и принадлежал к ватаге лоботрясов, которых я вскоре узнала поближе. Большинство из них были мальчишки-головорезы, еще хуже наших прежних соседей, с которыми у меня всегда случались драки. Излюбленным занятием этих мальчишек в Паньковке было взбираться на деревья и забирать птичьи яйца,

гонять кошек и, конечно, дразнить чужих собак. Бабушка скоро очень невзлюбила мою новую компанию и гнала нас прочь, как только мы показывались вблизи домика. Кроме Таси и еще двух мальчиков, братьев Гени и Толи, она никого не пускала в дом.

— Мне не нужны здесь разбойники, — говорила она. — Я люблю послушных детей.

Геня и Толя были послушными детьми. Я никогда не могла понять, почему. Казалось бы, должность их отца — он был председателем партячейки — давала им возможность никого не бояться. Непослушные дети были тогда в моде. Таким мы всегда завидовали, особенно, когда их не наказывали. Но Геня и Толя превосходили всякий идеал послушности. Вдобавок ко всему они выглядели бледными, хрупкими мальчиками, напоминая комнатные растения, которые видят мало солнца. Это уже никак не подходило к советскому идеалу здоровых и бодрых детей. Да и родители их не совсем походили на людей практичных. Они всегда вели себя уж слишком прилично. Геня и Толя редко играли с остальными детьми; они чаще играли вдвоем, а иногда с девочками. Вероятно потому, что девочки их не обижали. Как бы там ни было, но Толю и Геню бабушка стала нам ставить всегда в пример.

Как-то однажды Тася, Геня, Толя и я попали на фабрику, и там мы увидели, как делают мебель. Вообще фабрика была окружена забором и туда никого не пускали. Но Тасю, как дочь директора, знали сторожа, и под предлогом, что мы идем в контору ее отца, нас пустили.

Конечно, мы не шли в контору. Мы сразу же задержались на дворе возле громадных котлов, врытых прямо в землю, под которыми горел огонь и вода в них кипела. В эту горячую воду рабочие бросали длинные молодые прутья, они называли их лозой, затем вынимали их и сдирали с них кожицу. Дальше прутья несли внутрь фабрики, где их обрабатывали и резали специальными машинами. Только тогда из них плели мебель, которую потом красили, сушили и лакировали. Отец рассказывал дома, что вся эта мебель шла на экспорт. Только иногда, перед большими праздниками, рабочие могли кое-что купить для себя. Хотя домик, в котором мы поселились, был почти весь меблирован из этой фабрики. А ко дню рождения мамы, помню, отец подарил ей большое, красивое плетеное кресло. Интересным было то, что оно качалось.

Скоро у родителей появился крут новых знакомых. Мать подружилась с женой председателя партячейки, Екатериной Кузнецовой, с которой она сначала два раза в неделю ходила на базар. Со временем женщины начали посещать друг друга и дома,

чаще всего после обеда и по вечерам, и так началась их дружба.

Частым гостем в нашем доме стал также секретарь отца, толстый молодой человек по фамилии Балабушкин. Родители называли его просто «балабушка», на что он вовсе не обижался. Когда мы по воскресеньям всей семьей плавали в лодке по Днепру, отец, издали увидев в другой лодке Балабушкина, громко кричал:

— Ба-ла-бушка! Ба-ла-бушка! — Мы тоже подтягивали хором: Ба-ла-бушка! Ба-ла-бушка! Ба-ла-бушка!

— Эй-эй! — отзывался обыкновенно громовым басом Балабушкин, направляя свою лодку к нам.

Все с шумом тогда высаживались на берег, к нам присоединялись Кузнецовы, и пикник начинался. Центром общества был всегда, конечно, веселый, добродушный и смешной Балабушкин. С ним всегда шутили взрослые, над ним подтрунивали, а мы, дети, восхищались его удивительной силой: он швырял нас так ловко в воду и на песок, как будто бросал маленькие камушки.

Мой первый день в школе

Н а второй год нашего пребывания в Паньковке я начала ходить в школу. Каждый год первого сентября в школьном дворе обычно собирается пестрая толпа детей всех возрастов: старшеклассники, средние и начинающие первый год в школе. Все дети приходят без родителей. Какой позор для того, кого приводят родители! На него все смотрят, как на диковинку, а школьнику становится неудобно. Нужно показать, что ты уже взрослый, значит родители здесь лишние.

В этом году сентябрь был очень жарким, и в школу я явилась в одних трусиках, так, как игралась во дворе с детьми. Помимо всего, первый школьный день не представлялся мне чем-то особенным. Но большая толпа во дворе школы меня поразила. Более того: кроме меня, никто не был в трусиках. Все были одеты довольно прилично. Даже празднично. Хотя меня это мало волновало, я все же растерялась.

Школьники стояли маленькими группами и разговаривали друг с другом. Я никого не знала и ни к кому не могла примкнуть. Тася, Геня и Толя ушли уже раньше, и я их нигде не видела. Я стояла в стороне, не зная, что делать. Вдруг одна из толпы девушек-старшеклассниц, которые стояли вблизи меня, показывает на меня пальцем и говорит:

— А нас учат в классе, что нет диких людей! Я не верю этому. Посмотрите! Вот дикий человек! Посмотрите, как он оброс! Какие у него длинные волосы на теле. — Все повернулись в мою сторону и громко рассмеялись. Я чувствовала себя совершенно уничтоженной. В первый раз я посмотрела на свое тело: оно было худое и костлявое. Руки и ноги были покрыты длинными золотистыми волосами. Мое лицо вспыхнуло. Как это я не заметила раньше? Неужели я дикий человек? Но этого не может быть! Мысли эти вертелись в моей голове, и я не знала, что делать. Вдруг я бросилась бежать домой. Еле переступив порог, я разрыдалась. Бабушка подбежала и начала утешать меня. А мама, узнав в чем дело, сказала:

— Так тебе и надо. Кто идет полуголым в школу? Девушка права, что назвала тебя дикарем. Завтра оденешь платье и пойдешь снова.

— Никогда! — ответила я, твердо решив не идти больше в школу. Но на следующий день, когда я одела светлое, легкое платье, все выглядело иначе, и я опять направилась в школу.

Мои школьные годы в Паньковке не отличались ничем особенным. Сразу же в первом классе мне стало безумно скучно.

Я уже умела и читать, и писать, и могла решать простые задачи. Все это я выучила дома с отцом, мамой или бабушкой Марфой, и многое мне показал Илья Петрович. Через три недели меня решили пересадить во второй класс, несмотря на то, что по годам мне еще рано было идти даже в первый.

Сразу же нас назвали «октябрятами», то есть мы были самыми младшими коммунистами. После уроков мы часто оставались в школе и принимали участие в разных кружках самодеятельности. Помню, как почему-то меня назначили руководить хором младшеклассников. Я не особенно любила пение и скоро его бросила. Больше всего мне нравилось гонять по степи или проводить целые дни у Днепра, особенно летом, во время каникул. Я хорошо плавала и иногда заплывала очень далеко, куда даже взрослые не решались заплывать. Днепр был здесь широк, но я совсем одна переплывала на другую сторону. Теперь, когда я об этом думаю, мне просто не верится, что я могла делать такие вещи. Иногда я даже удивляюсь, как я не утонула в Днепре? Вероятно потому, что я была слишком худенькой, слишком легкой, вода меня держала на поверхности.

Помню, как однажды я собрала кучу детей, посадила их всех в лодку и мы поплыли по середине Днепра. Кто-то нас заметил и доложил родителям детей. Те сбежались на берег и подняли целую панику. Вызвали моего отца. Прибежав на берег, отец снял пояс и угрожая мне, мчался вдоль берега за лодкой и кричал, чтобы я сейчас же причалила к берегу. А я кричала в ответ, что причалю, если он уйдет. Когда он ушел, мы высадились на берег. Родители расхватали своих детей, а я убежала в рощу, чтобы отец меня не нашел.

Таких случаев было много. За мое отчаяние меня прозвали «рыжая команда», потому что вокруг меня всегда была целая орава ребят. Мы взбирались на деревья, разоряли птичьи гнезда, качались на верхушках, — все это нам казалось отважным и забавным. В школе я училась хорошо. Мне было легко учиться и даже скучновато. Но все шло своим путем. Родители жили своей жизнью: ходили в гости или принимали гостей у себя дома. Было весело и мирно.

Но вот я стала замечать, что многие дети не приходят в школу. Почти во всех классах организовали группы школьников, которые должны ходить по домам отсутствующих, говорить с родителями и «притягивать» детей в школу. Меня тоже назначили в одну из таких групп. И вот однажды после занятий мы пошли в деревню «притягивать» отсутствующих из нашего класса. Мы ходили от дома к дому, где жили наши одноклассники. Иногда нас не пускали в дом, говорили, что ребенок болен и скоро

придет в школу. Другие сердились и посылали прочь без всяких объяснений. Только немногие говорили истинную правду: нечего есть. Они показывали нам школьников, лежащих на печи с раздутыми животами и опухших. И только теперь мне стало ясно, что не везде все было благополучно, как тогда у нас дома. Отец имел хорошую должность и принадлежал к классу привилегированных. Поэтому у нас был и белый хлеб, и сливочное масло, и другие продукты. Большинство же населения в начале 30-х годов умирало с голоду. Люди ели траву, собирали всякие семена с бурьяна, «кашку» с цветов акации и делали хлеб.

Школы в это время почти опустели. Чтобы привлечь детей к учебе, в школе организовали горячие обеды. Всем посещающим раз в день выдавали горячий обед. Он состоял обычно из густого пшенного супа и чечевицы. Каждый должен был приносить свою тарелку и ложку. И вдруг опять школа наполнилась детьми. Школьники начали приводить своих братишек и сестер, чтобы и те получили что-нибудь поесть.

Кроме этого, были также организованы бригады по сбору колосьев в поле. После жатвы в поле много колосьев валялось на земле. Обычно люди шли туда и собирали их для себя. Но государству был нужен хлеб. Таким образом колосья собирали и отдавали государству. Некоторые дети прятали колосья и приносили домой, несмотря на «мораль», которую нам читали преподаватели, что, мол, нельзя обманывать государство. Но так как колхозников не хватало, чтобы собирать колосья, школьная администрация должна была мириться с некоторым «утаиванием» их. По крайней мере, на сбор колосьев приходило даже больше детей, чем в нормальное время.

Хотя в нашей семье было достаточно пищи и никто из нас, детей, ничего не подозревал о голоде, некоторые случаи, как бы между прочим, заставляли меня задуматься о странности какой-либо ситуации. Помню, как однажды, придя со школы, я взяла большой кусок белого хлеба с маслом и салом и хотела идти на улицу. У порога меня задержала бабушка:

— Съешь хлеб, а потом иди на улицу. Нельзя есть хлеб на улице, — строго сказала она.

Я села у стола и съела свой хлеб, подчиняясь странному взгляду бабушкиных глаз. Да, на улице, где я играла с детьми, никто не ел белого хлеба. Белый хлеб был в то время роскошью. Некоторые дети рассказывали мне, как они вместе с родителями ходят в степь собирать курай, колючее степное растение. Когда оно высохнет, из него выпадают черные мелкие зерна, из которых люди в то время делали блинчики, кураинники. Я никогда их не пробовала, но вряд ли они были вкусными. Но люди ели их. Ели

также эту «кашку» с акации, от которой раздувало живот.

Другой странный случай тоже запомнился мне на всю жизнь. Как-то мама и мы все дети вместе с Кузнецовой и ее двумя мальчиками, Теней и Толей, пошли в лес собирать ягоды. Бабушка осталась дома. В лесу было много кустов, и мы рассыпались по ним с корзинками. Все были в чудном настроении и перекликались друг с другом. Было прохладно и приятно в лесу на свежем воздухе. До этого мы устроили маленький пикник, во время которого много смеялись и шутили. Теперь же каждый старался набрать побольше ягод в корзинку и похвастаться перед другими. Вдруг откуда-то послышался встревоженный крик нашей мамы. Я выбежала из-за кустов на поляну, где она стояла и, бледная, дрожащими губами что-то говорила шепотом, показывая на ближний куст. Вся наша компания, которая сразу же сбежалась на ее крик, сбилась вокруг нее. Все растерялись и в испуге пристально всматривались в куст, куда она показывала. Через несколько минут оттуда вынырнула лохматая голова с заросшим лицом огромного мужчины. Он как-то дико смотрел на нас. В руках он держал ржавую консервную банку. Он тоже как бы в нерешительности глядел на нас, сбившихся как бараны в кучку. Затем резко повернулся и быстро убежал прочь. Мы успели только заметить, как мгновенно заколыхались кусты, и все опять затихло.

Постояв минуты две, мы все, не отходя теперь друг от друга, начали выходить из леса. К счастью, дорога была недалеко, и все мы легче вздохнули, когда очутились вне леса. Теперь мы прибавили шагу и быстро пустились домой. Ягод мы так и не насобирали в этот день.

После этого случая в лесу мы перестали ходить по ягоды. Старшие говорили, что теперь стало опасно в лесу — везде рыскают голодные люди и — все может случиться. Это «все может случиться» долго оставалось для меня загадкой. Я часто замечала, что взрослые всегда чего-то недосказывают, как бы что-то скрывают от нас, детей, и поэтому мир казался мне каким-то таинственным, недоступным для меня, именно потому, что я не была «взрослой». Только еще один случай, который тоже запомнился на всю жизнь, объяснил мне, что это «все может случиться» значило.

Несмотря на хорошую жизнь в Паньковке, мы все, дети, болели малярией. Особенно она трепала нас летом и осенью. На меня набросилась она с необыкновенной яростью. Помню, как однажды осенью, когда уже началась школа, я часто вынуждена была оставаться дома. Изнуренная и высохшая от высокой температуры и сильных приступов, я бессильно лежала в кухне на

диване, где, обыкновенно, днем было весело, потому что там всегда кто-то был. Однажды я была там с мамой. Она месила тесто для хлеба. Вдруг в дверях показалась группа детей, — я тотчас же узнала своих одноклассников. Оказалось, что они пришли «притягивать» меня в школу, так как я не была уже почти неделю. При виде их яркая краска ударила мне в лицо. Мне было стыдно. Когда-то я была в такой же бригаде по притягиванию в школу, а теперь и меня пришли притягивать.

Бригадир спросил, почему я не являюсь в школу. Я лежала и молча смотрела на них. Мама же рассердилась:

— Разве вы не видите, — сказала она сердито, — она больна. Если выздоровеет, придет и сама. Не нужно мне всяких притягиваний!

Дети молча стояли у порога и смотрели на белое тесто — признак роскоши в то время. Мама заметила их взгляды и замолчала. Дети начали собираться уходить.

— Не приходите больше. Она сама придет, — бросила мама вслед с таким негодованием, которое я часто слышала раньше от других родителей.

Но, в сущности, не этот случай дал мне понять многое о голоде. Это случилось вскоре после прихода бригады в наш дом. Я все еще не шла в школу. Казалось, что малярия решила доконать меня. Приступы повторялись и днем, и вечером. Я совсем потеряла силы и перестала есть. Однажды ночью, после страшно высокой температуры, я потеряла сознание. Очнувшись, я заметила, что лежу на матраце в спальне родителей. Отец быстро одевался, мать стояла возле него, подавая ему одежду. Он говорил:

— Если мы ничего не предпримем, ребенок умрет. Надо немедленно в город. Я еще успею. Два часа до отхода парохода.

Отец оделся, завернул меня в одеяло и, взяв мое легкое тельце на руки, вышел из дому. Была еще темная ночь.

Я помню, как он долго нес меня через лес, по песку. От его близости мне стало тепло. От быстрого хода он вспотел и от этого мне стало еще теплее. Мы были единственные на дороге. По обе стороны стояли высокие деревья и, казалось, весь лес тихо насторожился и таинственно охранял нас от злых духов. Теперь мне совсем не было страшно в лесу, среди этих молчаливых деревьев. Изредка какая-то ночная птица вдруг вскрикивала, нарушая таинственную тишину.

Начало рассветать, когда мы пришли к пароходу. Он уже стоял у пристани, и мы сразу же сели на пароход. Отец вошел в маленькую каюту и положил меня на кроватку. Я тут же уснула.

Часам к десяти утра мы прибыли в Никополь. Отец снова взял

меня на руки, но я опять уснула и очнулась только в приемной врача, куда меня и привез отец. Доктор в белом халате внимательно осматривал мое тело, давил на живот, стучал молоточком по суставам и через некоторое время произнес свой приговор:

— Переменить климат. Да, обязательно надо переменить климат. Это единственное, что поможет.

Он дал какую-то записочку отцу и еще что-то долго ему говорил. Потом я выпила горький порошок в стакане воды, и мы ушли.

На улице сияло солнце. Был прекрасный теплый день. Гул повозок и людей наполнял воздух. Отец сказал:

— А теперь пойдем завтракать.

Мы зашли в один ресторан, где за маленькими столиками сидели люди, ели и пили чай. Другие сидели у стойки и тоже ели и пили. Под стеклом в буфете были разложены белые булочки и разная колбаса. Мы тоже сели у маленького столика, и отец заказал пищу. Через несколько минут нам подали чай, тонко нарезанный хлеб, и на отдельной тарелке — тонкие и толстые кусочки колбасы. Мы начали с аппетитом есть и пить чай. Вдруг после нескольких минут отец сказал:

— Не ешь эту колбасу, — он показал на широкие, толстые кусочки.

— Почему?

— Она нехорошая.

Я неохотно положила широкий кусочек колбасы обратно на тарелку. После того как мы окончили завтрак (был уже почти полдень), отец подошел к буфету платить и взял тарелочку с нарезанной широкой колбасой. Он подал ее буфетчику:

— Уберите эту колбасу вообще.

Я заметила, что он особенно подчеркнул слово «вообще» и, как ни странно, буфетчик только посмотрел на него и, ничего не ответив, унес колбасу.

Когда я дома рассказывала о нашем завтраке и о широких ломтиках колбасы, которую папа возвратил буфетчику, кто-то из взрослых заметил:

— А говорят, что в городе едят человеческое мясо. Люди умирают с голоду больше в деревнях. В городе же можно еще пробиться. В деревнях все отбирают у крестьян. Кроме того — неурожай.

— Да, — сказала бабушка, — слыхали, что случилось с Шишковыми? Это наши бывшие соседи в Бажановке. Муж и жена и шесть человек детей. Мать и отец ушли в город на добычу пищи. Детей одних оставили дома. Двое старших — мальчик и

девочка — смотрели за ними. Родители не вернулись из города.

Вероятно, где-то умерли в пути. А дети съели самого младшего, шестилетнего.

Теперь взрослые говорят об этом открыто, не прячась от нас, детей. Это тоже поразило меня. И я поняла, что «все может случиться» в голод.

После приезда от врача отец начал советоваться с мамой и бабушкой насчет меня. Говорили о перемене климата, как советовал доктор, но это казалось невозможным, так как отец не мог уйти с работы. Но скоро невозможное стало совсем возможным. Голод добирался ко всем и пробирался всюду. Отцу скоро объявили, что фабрика закрывается из-за недостатка рабочих (голод). Конечно, всех служащих сократили, и мой отец остался без работы. Я все еще глотала горькие пилюльки хинина и временно даже оглохла. Но вот появилась надежда, что мы уедем, переменим климат и — малярия исчезнет.

После увольнения отца нам пришлось освободить казенный дом. И, хотя мы еще никуда не собирались уезжать, надо было искать другую квартиру. Нам очень не хотелось расставаться с нашим уютным особняком, с зеленой рощей вокруг него, с тишиной и красотой окрестности. Нас перевели в квартиру с тремя комнатами, более простое жилище. Все же и это считалось еще привилегией. Наш же дом заняли какие-то более важные государственные служащие. Хотя отец уже был уволен, он все еще ходил в контору «сдавать дела». Только после двух-трех недель он уехал в город искать новую работу. Мы остались одни, и дома стало печально. К нам перестали ходить друзья родителей, кроме маминой подруги. Бабушка Мария была особенно удручена, — она все беспокоилась о будущем. Ей снились странные сны, которые она нам рассказывала, и в которые она верила. Но мы часто ее утешали:

— Не верь, бабушка, снам. Ведь это только сны.

В школе меня учили не верить снам и всяким суевериям, и я смотрела с некоторым пренебрежением на бабушкину «отсталость». Только теперь, когда я пишу эти строки, я сожалею о своей глупости и о том, как я могла так слепо верить тому, чему нас учили тогда в школе. А бабушка Мария не много посещала школу, но ее жизненный опыт был во многих отношениях лучшей школой.

В это время в нашей школе организовывали бригады по разоблачению «опиума для народа». Небольшими группами мы должны были ходить в деревне от дома к дому и говорить людям, чтобы они снимали и жгли свои иконы, потому что это тьма и безграмотность. Некоторые люди слушали нас с любопытством и

только качали головами, даже обещали поснимать иконы. Другие делали резкие, неодобрительные замечания:

— Ишь ты, чему их учат в школе! Рано вам еще указывать взрослым, что делать. Уходите, чтоб мы и духу вашего не видели!

В этих бригадах были, главным образом, старшеклассники, но также несколько «октябрят», то есть из второго и третьего класса. Моя обязанность была убедить бабушку снять иконы. Но она, конечно, и слушать не хотела об этом. И это ей до определенной степени удавалось. Она рассказывала нам, детям, страшные истории о тех, кто не верил в Бога, о том, как неверующие будут гореть в огне и что ожидает всех грешников. Она говорила, что Бог вечный, что он «все видит, все знает и все слышит».

В деревне у нас была большая и красивая церковь. Ее давно закрыли. Службы там уже не было. Возле церкви каждое воскресенье был базар. Мама и бабушка тоже часто ходили туда покупать продукты. Особенно теперь, во время голода, продуктов было мало и все было дорого. Бабушка каждый раз, проходя мимо церкви, останавливалась и крестилась.

— Верьте, дети, в Бога. Он все видит, все слышит и все знает, — заканчивала она всегда, о чем бы ни говорила, своим любимым выражением.

— Но есть люди, которые не верят в Бога и ругаются, — начал как-то однажды брат Иван, — и им ничего!

— Это только до поры до времени, — отвечала бабушка. — Грешника всегда Бог накажет. Вот где-то в этой же деревне жил один человек. Он никогда не крестился, а, наоборот, всегда глумился над Богом, когда проходил мимо храма. Иногда он даже останавливался возле церкви и громко ругался, чтобы другие слыхали. И вот однажды он шел мимо храма и вдруг ему на голову упал кирпич. Он тотчас же был убит. Вот как Бог может наказать.

Мы, дети, сидели вокруг бабушки и слушали ее рассказы, и каким-то чудом крупинки непонятного страха перед Богом западали глубоко в наши души. Стоя после этого в группе по «разоблачению опиума для народа» в чьей-нибудь квартире, трудно было испытывать настоящее презрение к тем, кто не хотел снимать иконы. Со временем нас окрестили в деревне «безбожниками», и люди, узнав о нашем приходе, запирали дома или же гнали нас прочь, или просто громко, не стесняясь, ругали. Многие потом просто лгали, говорили, что уже поснимали иконы, на самом же деле они прятали их туда, где их не видно пришельцам. Наша миссия проходила не очень успешно.

Отцу все еще не удавалось найти новой работы, да и время

было тяжелое. Вскоре он сообщил нам, чтобы мы переезжали в Бобрынец, — небольшой городок недалеко от Днепропетровска. Все же в городе легче перенести голод, чем в деревне. В некоторых деревнях население стало вымирать от голода. Люди уходили в города, бросая дома и все нажитое. В городе можно было ухитриться достать кусок хлеба. И вот мы погрузили на подводы наш багаж, мебель и всякую домашнюю утварь и поехали к пароходу. Опять переезд, опять мы меняем место жительства, опять нас ждет что-то неизвестное.

Бобрынец был некрасивый город, по крайней мере, там, где мы жили. Мы сняли на время две маленькие комнатушки, которые загрузили мебелью. Вокруг все было голо: не было ни деревьев, ни воды вблизи. По булыжной мостовой с грохотом ездили телеги и машины. Везде только каменные дома, без зеленых рощ, и красные черепичные или железные крыши. Все нам казалось здесь чужим, необычным. Мы привыкли к простору, к деревьям, к воде. Особенно несчастной была бабушка Мария. Здесь ей совсем нечего было делать. Ей не хватало движения во дворе, хлопот по хозяйству. Ей не хватало реки, куда она ходила раньше каждый день и собирала наплывшую лозу для топки. Не было ни сада, ни огорода. Изо дня в день она сидела в маленькой квартире, как в тюрьме. Уход за младшей сестричкой Клавой был ее единственным утешением. Теперь она чаще, чем раньше, молилась Богу и просила его, чтобы он принял ее душу. Нина и я должны были продолжать учиться в школе. Школа была далеко от нас, и мы ходили пешком. Пищи и денег у нас не было, и мама начала продавать мебель и другие более ценные вещи. Обыкновенно после школы мы с Ниной шли на базар, где стояла мама и продавала наши вещи. На базаре было очень много продуктов, чему мы очень удивлялись, так как и в городе многие голодали. Там было также много всяких вещей: мебели, одежды и прочего барахла, но также и много народу. Бобрынец считался еврейским городком, евреев было везде полно, особенно на базаре. Они оживленно разговаривали, торговались и наполняли всю площадь какой-то живой пестротой, даже весельем. Мне казалось, что еврейские женщины как-то отличались от русских и украинок. Они были лучше одеты, их речь была более громкой, сопровождаемая темпераментным жестикулированием. Как только они замечали что-то интересное в продаже, они тотчас же окружали продавца и наперебой набивали цену. Наша красивая мебель, которую мы приобрели в Паньковке, всем очень нравилась, и маме не приходилось долго ждать покупателей. Все тут же покупали еврейки. Как только мама получала деньги на руки, она сразу же шла в продуктовую часть базара, где покупала

пищу. А дома ее ожидала голодная ватага — четверо детей и бабушка. Отец все еще разъезжал в поисках работы.

Однажды к маме на базаре подошла толстая красивая еврейка. Она спросила мамин адрес и сказала, что хочет прийти и посмотреть все, что мама имеет еще на продажу. Мама, конечно, дала ей адрес, и на следующий день она приехала на небольшом грузовичке. Она внимательно осмотрела все: качающееся кресло, которое отец подарил маме в Паньковке, две плетеные кушетки, стол, комод, зеркало. Затем она все купила, погрузила на грузовичок — ей помогал парень, с которым она приехала, и мы больше ее не видели. В нашем распоряжении оставались еще две кровати и небольшой стол. Самое необходимое для нас.

Но деньги, полученные за нашу мебель, скоро ушли на питание. И вот опять нечего было есть. Теперь мама несла на базар свои красивые платья. Все пошло на продукты. Так мы прожили в Бобрынце лето и осень. Приближалась зима, холодная и голодная. Отец все еще не получал работы. Уже мы лишились почти всего, что у нас было, и теперь каждый день мы были голодны. Только после полудня, когда маме удавалось продать кое-что из одежды, она приносила домой хлеб и масло. По утрам же Нина и я шли в школу голодными.

Однажды после уроков я собирала свои книги из-под парты и вдруг почувствовала что-то твердое. Я вынула сверток — оказалось, внутри был засохший ломоть хлеба. Я сразу же схватила его обеими руками и побежала в коридор, где меня ожидала Нина. Вместе мы съели твердый хлеб и пошли домой. С этих пор я всегда после уроков старалась последней выходить из класса, чтобы проверить все парты, не осталось ли что-нибудь съедобное. В школьном дворе, во время перерыва, я тоже искала хлеб. Иногда мне удавалось найти засохший кусок. Но я заметила, что, кроме меня, и другие дети искали то же.

Наше положение немного улучшилось на время, когда моя одноклассница, еврейка Дина, пришла к нам и попросила меня пойти с ней к ним. Дома ее мама сказала мне, чтобы я помогала ей делать домашние задания. За это я буду получать обед. Я, конечно, согласилась. Дина была красивая и хорошо одевалась. У нее была масса подруг, с которыми она всегда после школы играла во дворе. Я же приходила к ним каждый день и делала ее задания. Дина и не думала присутствовать при этом. Она предпочитала общество своих друзей. Ее мама, милая и приятная дама, всегда угощала меня обедом. Узнав, что у меня есть еще брат и две сестры, она заворачивала мне что-нибудь домой — вареное сало, хлеб или еще что-нибудь. А в школе Дина вела себя так, как будто меня не знает. На переменках она играла с

другими и явно избегала меня. Сначала я обижалась, но потом мне стало все безразлично. Мне не нравилась эта школа. У меня не было здесь друзей. В свободное время я обычно стояла одна в углу и смотрела, как другие дети веселились.

Но однажды учительница заметила, что Дина сама не делает домашние задания. С тех пор прекратился и мой маленький источник пищи.

Весна уже подходила к концу, когда отец прислал нам деньги, чтобы мы ехали к нему в Запорожье, где он нашел себе работу. Мы продали последние остатки мебели — две кровати и стол. Упаковали, что осталось, и двинулись в путь.

В Запорожье жили также наши бабушка и дедушка, Марфа Савельевна и Илья Петрович. По просьбе отца они подыскали нам небольшую мазанку с двух комнат, которую отец и купил для нас. Место, где находились эти мазанки, называлось Первомайским поселком. Почему этот поселок так назывался, было совсем непонятно. Это название подходило бы лучше какому-нибудь новому жилому району, построенному в духе социализма и коммунизма. Вместо этого, на большой глиняной горе, расположенной в трех километрах от центра новой части города, возвышалась хаотическая масса глиняных мазанок и землянок — невероятных трущоб, напоминающих скорее всего какое-нибудь китайское селение, чем советский поселок нашей страны. Но самое интересное было то, что за этим чисто коммунистическим именем притаились подозрительные, в коммунистическом смысле я бы сказала даже «враждебные», элементы советской власти, место которым было, скорее, в Сибири: здесь были и раскулаченные, у которых власть все отобрала, как у моих бабушки и дедушки, здесь скрывались и те, которых преследовало еще правительство, бывшие фабриканты, помещики, когда-то богатые люди и менее богатые, — в общем, народ всяких сословий. Запорожье, как растущий промышленный город, предоставлял идеальную возможность многим скрыться от невзгод судьбы. Эта масса «враждебных элементов», скопившихся на глиняной горе, состояла из людей самых различных национальностей: здесь можно было встретить и греков, и татар, и евреев, украинцев, русских с далекого Севера. Этот пестрый сбор людей чаще всего бросался в глаза в центре поселка, у фонтана, откуда все носили воду (канализации в землянках не было). Конечно, не обходилось и без ссор у фонтана. Ссорились чаще женщины. Самые задиристые были татарки. Их никто не любил. Высокие, темные и тонкие, как старые лошади, с длинными волосами и грязноватые на вид, они ссорились с особой яростью. Они таскали друг друга за волосы, разрывая друг

другу блузки, плевались, при чем глаза их горели, как угли. Все это кончалось только тогда, когда несколько сильных мужчин разгоняли их в стороны. Эти ссоры женщин являлись своего рода развлечением на поселке. Вокруг фонтана всегда толпилось много людей — детей и взрослых. Там всегда что-то случалось, оттуда приносили новости о разных событиях, о них говорили дома, — в общем, жизнь на поселке никогда не была скучной.

Но были и более приятные стороны жизни. На нашем поселке жила одна из самых красивых девушек — стройная, темноволосая еврейка Сара. Все мужчины тайно желали с ней встречи, но Сара ни на кого не обращала внимания. Когда она проходила через поселок, везде можно было слышать шепот:

— Сара, Сара идет!

И все бросались или на двор, или к окну, чтобы ее увидеть. Но она была горда и неприступна. Ее отец, старик-еврей, продавец в продовольственном магазине поселка, строго оберегал ее от всяких неприятных случайностей.

Деревья и цветы были редкостью на поселке. Но Илья Петрович ухитрился посадить у себя в крошечном дворике несколько подсолнухов и пару кустов картофеля. Свою мазанку он огородил высоким забором из досок, так что она напоминала маленький кораблик. И, как на корабле, на крыше из-под навеса дымила большая труба летней кухни. Почти весь дворик был под навесом, как палуба парохода. Здесь был использован каждый сантиметр. Везде было чисто и уютно. Под навесом был деревянный стол и лавки, где часто сидели друзья бабушки и дедушки и пили летом чай. Несмотря на бедность и примитивность, здесь было очень приятно. По сравнению с этим маленьким миром, где чувствовались тишина и покой, наша мазанка была голой и некрасивой. Илья Петрович смастерил нам стол и две скамьи, которые мы поставили в комнату. Несколько меховых ковриков и одеял составляли наш ночлег. Только бабушка Мария, как самая старшая в семье, спала на узкой кроватке в кухне. Отец жил в старой части города, далеко от нас и приезжал только в конце недели на пару дней. Кроме того, он часто был по работе в отъезде. Оказалось также, что его работа не была постоянной, а только временной, и денег, которые он зарабатывал, не хватало нам всем на питание. Был все еще голод, продукты были дорогие, и здесь мы тоже нередко шли спать голодными. Но опять-таки, больше всех страдала бабушка Мария. Она часто отдавала свою порцию еды нам, детям. Иногда мы шли к бабушке Марфе и приносили оттуда остатки их обеда и вообще все, что они могли оторвать от себя.

Через реку от нас, на правом берегу Днепра, жил дядя Костя,

наш дальний родственник. Он был женат на сестре жены маминого брата, дяди Мити, который проживал в Киеве. Дядя Костя был директором больницы в Запорожье и, конечно, принадлежал к привилегированному классу. У него была своя дача за городом и большой сад. У него также была машина с шофером. Он жил на даче со своими родителями, милыми стариками, с женой Евгенией и сыном моих лет, Колей. Его жена была тихопомешанной. Иногда бабушка Марфа брала меня с собой к ним в гости. Тогда я игралась с его сыном.

— Почему тетя Евгения такая? — спросила я маму после моего первого визита к ним.

— Бедняжка, не могла перенести революционные годы, — ответила мама. — Раньше она была очень богатой. Когда у нее все отобрали, она стала немного ненормальной.

Мне казалось тогда непонятным то, что из-за богатства можно потерять ум. Но тетя Евгения была «тихопомешанной», как ее называли, и поэтому она находилась дома, а не в официальной лечебнице.

Бабушка Мария стал еще печальнее в Запорожье. Она все жаловалась на то, что она «никому не нужна», и вечно молилась Богу, чтобы он принял ее к себе. Ей, конечно, и здесь не хватало хозяйства: животных, за которыми она могла бы ухаживать, сада, реки, куда она любила ходить собирать дрова. Правда, она иногда ходила к Днепру, но возвращалась всегда без дров. Ходить гулять, ничего не делая, она не могла. Единственным ее утешением была младшая сестра Клава, которую она всегда нянчила. Мы все ходили в школу и больше не стояли с ней перед иконами и не молились Богу все вместе, как раньше. И она теперь чувствовала себя лишней. Однажды после ее молитвы я заметила, как у бабушки по щекам катятся слезы.

— Бабушка, почему ты плачешь? — спросила я.

— Я хочу, чтобы Бог меня принял к себе, — ответила она. — Но он не хочет и не хочет. Вероятно, согрешила я. — Она верила в то, что только грешные люди живут долго, а праведных Бог забирает к себе рано. Когда я пишу теперь эти строки, мне невольно вспоминаются сталинские времена, когда люди не жили, а мучились. И мне кажется, что философия моей бабушки в то время была правильной.

— Если бы мне хоть разок еще увидеть Федю, — часто говорила она, — тогда можно и помирать.

И она просила маму написать дяде Феде, чтобы он приехал. А когда однажды пришло от него письмо, и он писал, что не сможет приехать, я видела, как лицо бабушки вытянулось и стало печальным. А большие серые глаза наполнились слезами,

которые тихо катились по ее щекам. На одной щеке у нее возле носа была крошечная дырочка, диаметром с иголку. Однажды я спросила ее, почему у нее дырочка. Она ответила:

— Это от Бога.

По ее мнению, все было от Бога.

— Верьте, детки, в Бога. Он за все спросит у вас ответа, — говорила она часто.

— А почему других Бог не наказывает, — спрашивал опять Иван.

— Все только до времени. Придет пора, и Бог его накажет, — отвечала она.

И опять она рассказывала нам историю неверующего, на которого свалился кирпич, когда он проходил мимо церкви. При этом ее серьезные глаза задумчиво глядели на нас и мы тоже задумывались над ее странными рассказами. Эти рассказы всегда производили на нас сильное впечатление, несмотря на то, что нам в школе говорили другие вещи о Боге. Бабушка внушала нам чувство уважения и страха перед всесильным и невидимым Богом. Но она также учила нас быть честными и справедливыми в жизни.

Итак, Запорожье не очень улучшило наше положение. Может, самым хорошим было то, что мы жили недалеко от бабушки Марфы и Ильи Петровича. Кроме того, моя малярия почти совсем прекратилась здесь. Но в первый же год малярией заболели младшая сестра Клава и бабушка Мария. Клава проболела несколько месяцев и выздоровела. Но бабушка все больше и больше слабела, и скоро совсем перестала вставать с постели. Она тихо молилась Богу, а со временем совсем затихла. Мама вливала ей в рот чайной ложкой молочко. И однажды вечером она нас позвала к себе и сказала:

— Идите к бабушке в кухню и попросите у нее прощения за непослушание. Сегодня ночью она, вероятно, умрет.

Мы все замолчали. «Умрет!» — как часто мы слышали это слово, которое всегда было связано с плачем и печалью. Но сама смерть для нас была чем-то загадочным, далеким и таинственным. Никто из наших близких не умер, и никто из нас, детей, не видел близко мертвеца. Хотя бабушка часто говорила о смерти, это звучало так отдаленно, как будто никого из нас не касалось. А теперь нам сделалось страшно, потому что эта смерть пришла к нам в дом. Мы молча стояли вокруг мамы, и никто первым не решался идти к бабушке.

— Нина, — говорит мама, — иди ты первой, бабушка тебя любила больше всех.

Наклоня голову, Нина вошла к бабушке в кухню. Дверь была

приоткрыта, и мы слыхали, как Нина сказала:

— Прости меня, моя дорогая, милая бабушка, за все, что я тебе плохого сделала. Пусть Бог тебя с миром примет к себе.

После Нины вошел Иван. Он прошептал что-то, что мы не могли расслышать. Потом подошла я к бабушкиной постели. От невероятного страха и смущения я не знала, что говорить. Мне кажется, что я прошептала, чтобы бабушка меня простила, но я была абсолютно уверена в том, что бабушка меня не простит, — я была очень дерзкой и непослушной. А бабушка уже не смотрела на меня. Ее взгляд был уже обращен вдаль, вероятно, к небесам.

Бабушка умерла на первый день Пасхи.

— Счастливая женщина, — говорили соседи.

В народе было поверье, что тот, кто умирает на Пасху, попадает прямо в рай. Если кто заслужил рай, то это моя бабушка Мария. Конечно, она тоже хотела умереть. Но я верю, что она умерла потому, что был голод и она ослабела. Кроме этого, вырванная из родного сельского окружения, она чувствовала себя в этой тесной городской жизни лишней, никому больше не нужной, бесполезной. А могла ведь жить еще долго. Кроме малярии, она никогда ничем не болела. Она была всегда в движении, ее тело было гибким и стройным, как у девушки, лицо красивое, хотя и в морщинках.

Ее похоронили на третий день Пасхи. Печальным был и последний путь: только немного людей, главным образом соседи, провожали ее на пути до кладбища. Но кладбище было далеко на краю города и только отец поехал за ее гробом до конца. Много лет спустя, уже взрослой девушкой, я навестила Запорожье опять и захотела посетить ее могилу. Но там уже никого не было, кто мог бы сказать, где она. Отец, единственный, кто знал, находился далеко, в холодных лесах Сибири.

Мы переезжаем опять

Вскоре после смерти бабушки отец получил новую работу в другом городе. И опять мы упаковали вещи, если их можно было назвать вещами, и поехали на станцию к поезду. Голод был еще в самом разгаре. На станции была масса народу. Многие люди были пухлые и не могли двигаться от слабости. Везде шныряли воры и разбойники, рыская за добычей, и станции были их излюбленным местом. Нередко даже днем они шайками нападали на пассажиров, хватали все, что только могли схватить, и быстро скрывались. Чемоданы и узлы нельзя было выпускать из рук. Государственные власти ничего с ними не могли сделать. Эти шайки были хорошо организованы. Они скрывались в лесах, куда в это время люди боялись ходить, и оттуда действовали. Даже милиция их боялась. Они были настолько смелыми, что грабили даже торгсины, которые очень тщательно охранялись властями. Торгсины — торговые синдикаты — это специальные магазины, где можно было купить все, чего душа желает, но только за иностранную валюту, золото, драгоценные камни и прочие редкие металлы. Помню, как однажды мы с дедушкой пошли в один торгсин. Он понес бабушкину золотую брошку менять на продукты. В то время как дедушка договаривался насчет цены, я смотрела через стекло, где на прилавках были разложены самые невероятные вещи: белая мука, хлеб, сахар, рис, колбаса, шоколад и разные сушеные фрукты, все, чего мы уже давно не видели. Но кто мог себе все это позволить? Первыми потребителями этих товаров были иностранцы, которых советское правительство пригласило на работы: разные специалисты, архитекторы, инженеры, машиностроители, дипломаты. На их деньги они, конечно, могли все купить. Кроме того, и все, кто имел драгоценные вещи, могли обменять их здесь на продукты. Путем торгсинов государство выжимало из жителей все «остатки роскоши», как выражался мой дедушка. Чтобы не умереть с голоду, люди поневоле приносили сюда все семейные ценности, которые, может, иногда передавались из поколения в поколение. А на дворе, перед витринами, часто можно было видеть группы школьников. Плотно прижав носы к стеклу, они жадно смотрели на разложенные там продукты, пока всех их не разгонял милиционер. Мне кажется, что именно в это время и создались разные «блатные» песенки, которые стали так популярны в Советском Союзе даже и много лет спустя. Особенно любимой была в то время песня о Мурке. В этой песне говорилось о красивой девушке, по имени Мурка, которая стал

предводительницей одной из самых опасных банд. Днем, элегантная и красивая, она расхаживала по городу, намечая цели для набегов. А ночью ее отряды очищали банки, магазины, дома. Иногда она ездила в поезде первым классом, заводя знакомства с видными партийными деятелями. Плененные ее красотой, они часто рассказывали ей, где живут, куда и откуда едут, давали ей адреса. Эта операция была особенно популярной на пути Москва — Крым или Кавказ, куда ездили в отпуск или в дома отдыха. Приехав домой, эти видные партийные деятели часто находили свои квартиры «очищенными». Многие и не подозревали, что это было делом их очаровательной спутницы.

Ни милиция, ни НКВД не могли справиться с этими разбойничьими шайками. А песни о Мурке распевались по всей стране. Особенно молодежь любила их петь. Взрослые же считали эти песни вульгарными и запрещали их петь детям. Язык песен был, конечно, непристойным, насыщен разными блатными выражениями и похабными словечками. Тем не менее, молодежь увлекалась ими. В них также было немало критики в адрес советской власти. Но, главное, образ Мурки был окружен каким-то ореолом геройства и романтики. Даже ее смерть стала предметом целого ряда песен. В одной из них говорилось, что Мурка влюбилась в молодого милиционера. Он был идеалист и предан советской власти. Он сумел убедить ее в том, что ее жизнь была не только непристойной, но и вредной всему народу. И вот из-за этой любви Мурка предала своих соратников и променяла свою роскошную жизнь, полную риска и приключений, на скромную судьбу простой рабочей девушки. Ее ближайшие друзья в одно прекрасное утро подкараулили ее и убили, приговаривая:

Ты зашухерила всю нашу малину,
А теперь маслину получай…

Но и без Мурки банды продолжали свое дело. Во время нашего переезда в Никополь — новое назначение отца — машинист вдруг прошел по вагонам, выкрикивая:

— Закрывайте окна, приближаемся к станции О.! Закрывайте окна, приближаемся к станции О.!

Этот крик разбудил всех уснувших или задремавших: одно за другим, окна с шумом начали захлопываться. При этом каждый скорее хватал свои чемоданы и отодвигался от окон. Было известно, что банды забрасывали специальные крюки в открытые окна и вытаскивали все, что попадалось. Даже людей иногда вытаскивали. Но на этот раз все обошлось хорошо, и мы благополучно проехали эту опасную станцию. В Никополе мы

выгрузились.

Сегодня 15-е мая — десятилетие кончины моего отца. Я пишу эти строки и вижу его совсем еще молодым, красивым, веселым. Он всегда был окружен друзьями. Часто под рюмку они вспоминали прошлое.

Бойцы вспоминают минувшие дни,
И битвы, где вместе рубились они…

Отец пережил две войны. В гражданскую войну он отличился на фронте и получил награду и почетное звание «Красного партизана». Во Вторую мировую он был призван «защищать родину» из Сибири, куда его та же родина сослала как «врага народа». Но он и там выслужился: его ранили на фронте в Прибалтике, где, между прочим, погиб также и его брат, наш дядя Федя. Отец пролежал в госпитале год, все не хотел, чтобы ему ампутировали ногу. Но ногу все же пришлось отрезать. Он вернулся домой, и с одной ногой, как «инвалид Отечественной войны» прожил еще 30 лет… Сегодня день его кончины. Я думаю о нем, и на меня находит безумная печаль. Ему еще не надо было умирать. Он мог бы еще долго жить. Но советские неопытные доктора, молоденькие девушки, которых массами выпускают из мединститутов, как теплые булочки из печки, не могли установить, что с ним. Они не определили, что у отца двигался камень из почки, причиняя боль, которой его сердце не выдержало…

Но теперь мы в Никополе. В новом кирпичном доме, похожем на барак или казарму, нам дали две комнаты. Напротив нас жил главный редактор местной газеты. Во второй половине дома находилось бюро отца и его сотрудников. Недалеко от дома возвышалось большое красивое здание школы, выстроенное немецкими архитекторами по последней моде. Нина и я посещали эту школу. Все это было в быстро растущей новой части города.

Мы очень скоро подружились с нашими соседями. Особенно отец и главный редактор газеты стали неразлучными. Как только один приходил с работы, сразу же появлялся и другой, нередко с четвертушкой. Их разговорам не было конца. Иногда сосед заходил к отцу даже ночью, когда все другие уже спали. Тогда они сидели далеко за полночь и долго еще разговаривали. Но иногда я просыпалась и сквозь полусон слышала, как наш сосед ругал советскую власть. Были случаи, когда он даже с работы приходил под хмельком. Тогда он не только сильно стучал дверью, но и громко декламировал «Оду свободе» Пушкина. А

наутро его жена и мама сходились и советовались, что им делать. Они боялись, что их разговоры о политике и советской власти может кто-то подслушать. Тогда, конечно, всем им крышка. Но как-то Бог миловал и ничего не случилось.

Мне нравились занятия в нашей школе. После уроков я часто оставалась для участия в кружках самодеятельности — танцы, театр, гимнастика. Однажды отец спросил меня:

— Ты бы хотела посещать балетную школу?

— Я и так занимаюсь в школьном балете, — ответила я.

— Нет, настоящую балетную школу, — сказал он. — Городские власти решили создать балетную школу. Для этого выписана настоящая балерина из Москвы, чтобы преподавать. Не каждый может поступить туда. Но если ты хочешь, я тебя запишу.

— Ну хорошо, запиши.

Так через пару недель я стала учиться в настоящем балете. Теперь нас учила профессиональная балерина из московского Большого театра. Но преподавание в балете мне сначала совсем не понравилось. Первые два месяца мы ничего не делали, кроме разных упражнений и ходьбы.

— Ходить! — стонали мы, — как будто мы не можем ходить!

О том, что надо знать, как ходить и как стоять, прежде чем танцевать, мы, конечно, не имели ни малейшего понятия. Эта подготовка занимала большую часть времени, и только после двух месяцев мы начали изучать некоторые танцы.

Наш балет состоял из двух групп. В балете были, главным образом, дети партийных и высших служащих города. Хотя мой отец не был в партии и не принадлежал к высшим руководителям города, по своей работе он часто имел с ними разные дела, и его знали, как хорошего специалиста, поэтому он мог пользоваться некоторыми привилегиями. Этому также содействовало его чисто пролетарское происхождение и отличия во время войны.

В каждой группе выстроены мы были по росту: самая высокая девушка шла в начале. В первой группе примой была Алла, красавица, дочь местного видного партийца. Во второй группе первенство вела Маня, дочь заведующего универмагом. Я, как самая маленькая, плелась в хвосте. С Маней мы подружились. Когда группа танцевала в обратную сторону, то первой бывала я. Я не только была маленькой, но ко всему и довольно некрасивой: красноволосая, с веснушчатым лицом. Моя худоба и все остальное никак не подходили к обществу этих красивых девушек. Даже дома, когда я кому-нибудь надоедала, меня называли «рыжая команда». А на улице, когда я проходила мимо ватаги ребят, они кричали мне вослед:

— Рыжий красного спросил: чем ты бороду красил?

— Я ни краской, ни замазкой, я на солнышке лежал…

Иногда мне было обидно. Но вопреки всему я решила стать успешной танцовщицей. Порой мне даже казалось, что балерина поставила меня в самый хвост именно потому, что я была некрасивой. «Чтоб меня не видно было» — думала я. Мне же хотелось доказать, что и некрасивые девушки могут хорошо танцевать. Поэтому я начала особенно тщательно упражняться.

Через полгода наша балерина, как мы все ее называли, обратила на меня внимание. Она заметила, что я легче всех могла делать самые трудные упражнения и па, и часто ставила меня в пример другим. Затем она объявила, что группу теперь будет вести самая маленькая. Не знаю, что мне помогло выделиться, мое упорство в занятиях или моя «беспутность», как говаривала иногда бабушка Мария. Она имела в виду то, что я «гоняю» по двору, лажу на деревья или целыми днями пропадаю на Днепре без еды.

А через год занятий наша руководительница решила выпустить нас на сцену городского театра, чтобы таким образом показать городскому совету и всем жителям результаты ею созданного балета. Выбраны были два танца, русский и африканский. Наше выступление назначалось после представления маленькой пьесы, которая ставилась однажды вечером в местном театре.

Костюмы должен был готовить каждый сам. Для их изготовления или покупки балет не имел средств. Город оплачивал только балерину. Она объяснила нам как делать костюмы, и несколько недель до начала выступления все занимались шитьем. Для африканского танца костюм был прост, материи не надо было много. Но для русского боярского танца нужна была красивая парча и разные блестящие украшения. У нас ничего не было. В магазине кое-что было, но дорого. Пришлось звать на помощь бабушку Марфу из Запорожья. Она прислала некоторые свои «старомодные» юбки и блузки, из которых мама пошила мне роскошный костюм.

Наконец настал долгожданный день нашего первого выступления. Зал был переполнен. В первых рядах сидели, конечно, большие шишки города, а дальше — зрители. Среди них, где-то в середине зала, были и мои родители. В маленькой комнате за кулисами мы переодевались. Наша балерина нервничала. Она бегала от группы к группе и говорила:

— Если представление удастся, то школа получит деньги, на которые мы сможем купить костюмы для наших дальнейших выступлений.

Как раз перед выходом на сцену я вдруг почувствовала, как у

меня дрожат колени. Я не могла их удержать. Но грянула музыка, и я впереди группы выскочила на сцену. И вдруг все преобразилось: не было больше дрожания колен; музыка, танец, зал, люди, — все слилось в одну чудесную мелодию. Я ничего не видела вокруг, только двигалась как очарованная в такт музыке. Я не помню, как мы опять очутились за кулисами. Гром аплодисментов отрезвил меня. Они не прекращались, и нам пришлось повторить африканский танец. Тогда наша балерина схватила меня за руку и вывела на сцену обе группы. А зрители все хлопали и хлопали. Лицо нашей балерины сияло. А дома мои родители не скрывали своей гордости:

— Ну, рыженькая, ты довольна? — говорил отец.

Я, конечно, была довольна.

Но работа в балете продолжалась еще упорнее. Теперь мы давали представление каждые два месяца. А после двух лет занятий — так говорила наша балерина — каждый из нас имеет право сдавать экзамены в высшую балетную школу, в Киеве или в Москве. Я не знаю, кто из нас поступил учиться дальше. Через два года мои родители опять переехали в другое место, куда отец был направлен на работу. А много-много лет спустя я прочла фамилию Мани в одной иностранной газете. Она принадлежала к труппе балета, который давал гастроли в Лондоне. Во время нашего пребывания в Никополе Маня и я тесно дружили. Благодаря этой дружбе наша семья не раз была снабжена нужными вещами. Так как Манин отец был заведующим универмагом, мы могли кое-что купить «по блату».

— Завтра будут продавать галоши, — шепнула мне однажды в школе на переменке Маня. — Если вам нужны, приходи после обеда к нам. «К нам» значило в универмаг, который по этому поводу был закрыт до после обеда — продавщицы сортировали галоши. Я, конечно, сообщила эту новость дома и, получив деньги, отправилась сейчас же к Мане. Через задний ход мы вошли в отдел обуви. В этот важный день даже отец Мани был там. Она подошла к нему и, указывая глазами на меня, начала ему на ухо что-то говорить. После этого нам было отложено четыре пары галош разных размеров. А на дворе, еще до открытия магазина, собралась огромная толпа людей. Когда магазин открыли, эта толпа так рванулась внутрь, что все прилавки затрещали и отодвинулись к стенам. Продавщицы испугались — их чуть не раздавили — и убежали внутрь магазина в другие комнаты. Отец Мани вызвал милицию. Только после ее прихода был более или менее установлен порядок: прилавки отодвинули на место и в магазин начали впускать только по нескольку человек. Чтобы всех лучше видеть, продавщицы стали на

прилавки, а Маня и я подавали им нужные размеры. Целый лес рук, толстых и тонких, смуглых и белых, протянулся им навстречу. Продажа была окончена через два часа. Но далеко не все получили галоши. Люди расходились ругаясь.

В последний год нашего пребывания в Никополе мое посещение школы прекратилось еще за несколько месяцев до начала каникул. Нам объявили, что школа должна закрыться для ремонта. Это всех удивило. Ведь школа была совершенно новой. Ее выстроили всего пару лет тому назад. Какой мог быть ремонт? Дома, когда мы сообщили эту новость за обедом, отец иронически сказал:

— Ну, конечно. Нужен ремонт. Школа построена врагами Советского Союза: ведь здание представляет собой фашистский знак. Это очень заметно, если смотреть из самолета. Ее строили под руководством немецких архитекторов. Теперь весь строительный комитет арестован. После этого мне не раз приходилось слышать вечерами, как наш сосед-редактор злорадствовал по этому поводу:

— Посередине города — фашистский знак! Так им и надо! Наши дураки и не замечали, какие чертежи им подсовывали друзья-немцы.

Начался «ремонт». Часть школьного здания снесли, а другие части начали перестраивать. Мне очень жаль было этой школы. Жаль, что раньше времени прекратились занятия. Жаль, что больше нельзя ходить в красивые, большие залы школы, где, кроме занятий, можно было смотреть фильмы, играть в разные игры, заниматься в кружках самодеятельности, сидеть в тихой и уютной библиотеке. Школа представляла собой особый маленький городок. А после, в новую перестроенную школу мне уже ходить не пришлось. Отца направили работать в другой район, и мы опять пустились в путь.

Остхейм

На этот раз отца направили в провинцию, недалеко от Азовского моря. Остхейм, как назывался наш городок, значило дом или родина на востоке. Раньше здесь было много немцев — отсюда и немецкое его название. Немцы занимались главным образом скотоводством и молочной промышленностью. И сейчас многие из них еще жили в Остхейме, продолжая заниматься своим промыслом. Конечно, их объединили в так называемый совхоз (советское хозяйство), но до определенной степени каждый еще имел какую-то долю частной собственности, за которую он платил государству налоги. Из разных деревень в Остхейм привозили молоко, которое на молочном заводе перерабатывалось на сыр и другие продукты. Затем все эти молочные продукты увозились в города на продажу. Наряду с немцами большую часть населения составляли греки. Они, как и немцы, когда-то давно переселились сюда, на Украину. Многие из них сохранили не только свои обычаи, но и язык. Очень часто можно было слышать на улице и в магазине греческую речь. Даже местный врач был тоже грек. Хотя Остхейм нельзя было назвать городком — в нем была только одна главная улица — помимо молочного завода здесь была еще большая машинно-тракторная станция, театр, кино (в одном здании), большая школа-десятилетка, партийный комитет, НКВД, милиция и финотдел, где работал отец. И опять нам отвели двухкомнатную квартиру в казенном доме. В том же подъезде, через коридорчик, жил секретарь отца, молодой еще человек, с женой и маленьким ребенком. Несмотря на то, что квартира была небольшая, она казалась нам гораздо лучше прежних.

Недалеко от нас перед домом протекала маленькая речушка, было много деревьев, большой двор. Рядом с домом находилась совхозная конюшня, где стояло несколько государственных лошадей, за которыми ухаживали конюхи. Мы, дети, быстро подружились с ними, и они часто брали нас с собой кататься на тачанке, а то и просто верхом. Часто мы играли в огромном дворе на сене или упражнялись на турнике, который висел между деревьями. Скоро мы завели здесь несколько курей и приобрели большого черного кота Ваську. Куры ночевали в сарае во дворе. Там были и гнезда, где они неслись. Позже мы заметили, что наш кот Васька — он вырос, стал огромным, как собака, — воровал их яйца и ел. Однажды мама заметила:

— Теперь, когда у нас все есть, нет бабушки. Здесь ей было бы хорошо.

Общество в Остхейме было небольшое, и почти все знали друг друга, как обычно в маленьких городках. Скоро у мамы появилась новая подруга, Белкина, жена начальника сельскохозяйственного отделения, интересная блондинка, с тремя небольшими дочерьми, такими же светленькими, как и мать, за что их и прозвали «белочками». Но первой дамой нашего района считалась недавно прибывшая в Остхейм директор школы. Это была дама городского типа, элегантная и вежливая. Она была вдова и жила с единственной дочерью и горничной, которую привезла с собой. Они занимали отдельный домик рядом со школой. Она также была членом партии и принимала активное участие в общественной жизни района. К элите городка принадлежала также семья местного судьи. Его две дочери, выхоленные и всегда нарядные, посещали нашу школу. И судья, и директор совхоза, Дымов, и председатель комитета партии, Данин, все, как и директор школы, занимали отдельные виллы. Беспартийным сотрудникам, как моему отцу, были предназначены простые квартиры.

В школе я сидела рядом с Галей, дочерью местного мельника. Галя тоже жила в отдельном домике с родителями, но этот домик был их собственный. Я немного завидовала Гале — она была красивая, и за ней ухаживал сын остхеймского врача Борис, который и мне нравился. Но, конечно, я и думать не могла, чтобы он обращал на меня внимание, — я была самой некрасивой в классе. Борис был старше Гали и учился классом выше нашего, но его сестра Катя была нашей одноклассницей. И у Кати был друг, Иван, сын председателя комитета партии Данина. А сестра Ивана Нина слыла самой замечательной девушкой в районе. Она ходила уже в девятый класс, только год до выпуска, и, как все старшеклассники, считалась уже взрослой. Небольшого роста, изящная, смуглая, она отличалась тем, что прекрасно танцевала, за что ее называли Кармен.

Еще тогда, в сравнительно начальных классах, иметь друга было тайной мечтой каждой девушки. В этом мы особенно завидовали старшеклассницам. Такие, как Нина Данина, были для нас идеалом взрослой девушки. Вне школы она даже красила себе губы, что нам казалось особенно интересным. Когда она, окруженная поклонниками, шла по улице, мы, младшие, провожали ее завистливыми взглядами и желали поскорее вырасти. Влюбленных всегда можно было узнать: они везде держали друг друга за руки, или же смотрели друг на друга иными глазами, а на школьных представлениях сидели обычно рядом.

На день рождения Кати, дочери нашего местного врача,

пришла также Таня, дочь нашей директора школы. Таню не очень любили девушки. Она держала себя спокойно, даже немного независимо. Несмотря на то, что она выглядела не хуже всех наших красавиц, а то и лучше, у нее не было друга. Да и мать редко разрешала Тане играть с нами или приходить к кому-то из нас в гости. Чаще всего она сидела дома и занималась. Только во время праздников Таня могла во всем принимать участие: быть в театре или танцевать на общих увеселениях. И, как ни странно, ее всегда нарасхват приглашали танцевать молодые парни. Это не очень нравилось нашим «официальным» красавицам — Кате, Нине или Гале. Таня не была красивой в их смысле. Ее особенность заключалась главным образом в ее непосредственности, в ее очаровательной улыбке, в какой-то доверчивости и доброте ко всем, с кем бы она ни говорила. Когда она смеялась, невозможно было не смеяться и другим. В ее лице не было ни малейшего женского кокетства, которое уже так заметно было в лицах других девушек.

Доктор Шевели — такой была фамилия нашего врача, отца Кати, тоже присоединился к нам на Катин день рождения. Мы все знали и очень уважали его. В начале каждого учебного года он всегда во всех классах проводил медицинский осмотр, так было положено по закону: ежегодно перед началом занятий мы длинной чередой выстраивались в школьном дворе к комнате доктора Шевели, который тщательно осматривал каждого из нас, заглядывая в рот, глаза, постукивая по суставам и выслушивая сердце.

Мать Кати, милая гречанка, приготовила чудесные угощения греческой кулинарии. Особенно ее молочный пирог — никогда в жизни я больше не ела такого пирога — был бесподобный. Прошло много лет, а я и сейчас не могу забыть вкус этого пирога, секрет приготовления которого мне так и не удалось никогда нигде узнать. Нас было всего человек пятнадцать, главным образом дети местной партийной и районной интеллигенции. Стол был уставлен разными яствами. Мать Кати сама все готовила. У них была даже своя корова, которую она тоже сама доила. В жизни районного общества она мало принимала участие. Только иногда ее можно было видеть на родительских собраниях или на представлениях. Сам доктор тоже мало вращался в районном обществе.

Мы долго сидели за столом, наслаждаясь изысканными блюдами. А после обеда, когда взрослые ушли, мы начали обычные игры, которые всегда устраиваются на чей-нибудь день рождения или именины. Сначала были игры — отгадывание загадок, что проходило под громкий общий смех, потом начались

танцы. Все мое внимание было обращено, конечно, на Бориса, брата Кати. Я была очень счастлива, что могла его видеть так близко, хотя он, казалось, вовсе не замечал меня. Он все время следил за Галей, своей подругой, и всегда приглашал только ее на танцы. Как я ни старалась обратить его внимание на себя, это мне мало удавалось. Он проходил мимо, направляясь только к Гале. Но я уже довольствовалась тем, что сидела за одной партой с Галей, которую любил Борис. В сущности, Борис был причиной того, что я решила сбрить свои волосы, в надежде, что после этого вырастут не рыжие, а другого цвета. Мне так хотелось иметь другие волосы, не рыжие, чтобы меня не дразнили, и я всегда думала, что когда вырасту, обязательно перекрашу их в другой цвет. Я и до сих пор не могу забыть все унижения и насмешки, которые мне пришлось перетерпеть из-за моих волос. И вот однажды я пришла к нашему местному парикмахеру, где сидело четверо мужчин. Туда ходили главным образом мужчины. Он встретил меня довольно неприветливо:

— Ну, что тебе надо?

— Я хочу сбрить волосы.

— Что у тебя, вши?

— Нет. Я просто так.

— Нет? Ну, сядь сюда на скамейку.

Через несколько минут он подошел ко мне. Я закрыла глаза и сидела так, пока не кончилась процедура. Когда я открыла глаза и посмотрела в зеркало, — я испугалась: на меня смотрело некрасивое мальчишеское лицо, в веснушках, с красным, облезлым от солнца носом и большими ушами. Дома меня хорошенько выругали, а в школе я еще больше стала предметом насмешек и глумлений. Ко всему, когда появился у нас новый учитель, он всегда принимал меня за мальчишку, к общему смеху всего класса. Но делать было нечего. Теперь я не могла дождаться, пока мои волосы вырастут опять. А когда через несколько месяцев на голове показалась маленькая щетинка, она была такого же рыжего цвета, как прежде.

Катин день рождения прошел хорошо, несмотря на мое разочарование насчет Бориса. Зато в этот день началась моя странная дружба с Таней. Как я уже раньше заметила, ее не очень любили, и она и здесь держалась немного в стороне. В сущности, по разным причинам, мы обе были немного лишними в этой компании. Хотя мать Тани не пускала ее в наше ребячье общество, — мне казалось, что она считала свою дочь лучше других и хотела уберечь ее от дурных влияний, — все же Таню тянуло к ребятам, и иногда ей удавалось выскочить из-под надзора гувернантки. Тогда Таня мчалась ко мне и мы убегали с

ней в поле за Остхейм, или же шли к берегу речушки, где я учила ее карабкаться на деревья или гонять лошадей. Однажды Таня разорвала свою всегда чистую одежду и, к ужасу «надзирательницы», как я называла ее гувернантку, даже поцарапала себе ноги. Гувернантка не замедлила прийти к моему отцу и пожаловаться на мое «разбойничье» поведение. Когда я проходила мимо их дома, где Таня сидела под надзором, я останавливалась перед окном и махала ей рукой. Иногда она открывала окно и мы с ней переговаривались, пока окно не захлопывалось сильными, большими, не Таниными руками. — Это был для меня знак отправляться дальше. На переменках в школе мы часто виделись и говорили об уроках или школьных кружках самодеятельности, а иногда договаривались где-нибудь встретиться.

Наша жизнь в Остхейме шла довольно беззаботно. Еды теперь у нас было достаточно, отец хорошо зарабатывал, только почему-то одного хлеба было всегда недостаточно. Обыкновенно хлеб продавали в специальном хлебном киоске, куда его привозили из пекарни каждый день. Перед киоском за хлебом всегда стояла большая очередь. Когда киоск открывался, то эта очередь превращалась в настоящий хаос. Продавец был грек, и большинство покупателей были тоже греки. Они громко по-гречески кричали какие-то фразы, которые, вероятно, значили: «Дай хлеба!». Иногда родители посылали меня в киоск за хлебом, тогда я тоже, вызубрив эту греческую фразу, наперебой со всеми кричала: «Дай хлеба!» — и протягивала свои худые руки с зажатыми в кулак деньгами продавцу. Он сначала как-то странно на меня смотрел, но иногда брал деньги из моих рук и совал мне буханку хлеба. Правда, хлеб можно было купить и на базаре. Но там он был гораздо дороже, потому что это был «домашний» хлеб, лучше магазинного. Базар был по субботам возле нашей школы. Кроме хлеба, можно было купить на базаре и молочные продукты, овощи и фрукты. Но все было не так обильно, что-то все еще чувствовалось не то; вероятно страна не успела еще оправиться от голода.

Интересным местом в Остхейме была маленькая пивная во дворе машинно-тракторной станции. Сюда заглядывали чаще всего трактористы, хотя иногда заходили и другие, просто «на рюмочку». Здесь можно было встретить людей «всякого сброда» — разных сословий и профессий, также разных национальностей: русских, украинцев, греков, немцев, даже евреев, хотя их было в Остхейме сравнительно мало. В этой пивной всегда было накурено. Люди сидели у стойки или за маленькими столиками и обсуждали разные политические или бытовые события.

Однажды поздним вечером отец вернулся из командировки. В доме не было никакой пищи, и мама послала меня в этот кабак купить колбасы. Когда я вошла в это полубогемное место, там было полно народу, и так накурено, что ничего не было видно. За стойкой сидел Матвей, «старый казак», как он себя называл, несмотря на то, что служил в милиции. Матвей считался любимцем всех остхеймцев. Его странный вид всегда был предметом насмешек и шуток. У него были длинные усы, которые свисали вниз на старый казацкий манер. Вне службы он носил широкие брюки, «шаровары», над чем все тоже подсмеивались. Один особенный случай стал причиной того, что он оказался еще более известным во всем городке.

У Матвея была собака, и однажды она сбежала. Матвей пошел искать ее и обнаружил, наконец, в другом конце Остхейма. Вероятно, собака очень не хотела возвращаться, и Матвей должен был то и дело оборачиваться и звать ее. И все прохожие слышали странные выкрики Матвея: «Сталин, Сталин, на! на! Сталин, Сталин, на! на!» Скоро вокруг Матвея собралась большая толпа ребят и даже некоторые взрослые. Ребята бежали за собакой и тоже стали выкрикивать: «Сталин, Сталин, на! на!» Эти выкрики превратились в какое-то странное шествие, не то в честь, не то в насмешку над Сталиным. Но вот как раз напротив здания НКВД пес сел и не хотел двигаться с места. Ни крики детворы, ни уговоры Матвея — ничего не действовало. Тогда Матвей вынул ошейник и потащил пса домой. А на следующий день, когда весь Остхейм уже знал, что имя собаки Матвея Сталин, его вызвали в НКВД. Там ему приказали сейчас же переименовать собаку. А когда его спросили, почему он назвал его Сталиным, он ответил:

— Потому что она умнее всех собак.

Как бы там ни было, умнее или глупее Сталина, но Матвей категорически отказался переименовывать пса. Возвратясь домой, он застрелил его.

С тех пор каждый раз, когда мальчишки видели его на улице, они кричали ему во след:

— Сталин, Сталин, на! на!

Но Матвей не обижался. Он только посмеивался в усы и с хитренькой улыбкой грозил им пальцем.

В кабак трактористов он любил заходить на стакан пива. Иногда он выпивал немного больше, чем следовало. Тогда он вставал из-за стойки и направлялся домой. Идя по улице, он распевал во все горло «Ще не вмерла Украина!». Эта песня была запрещена, но никто не доносил на Матвея, потому что никто не принимал его всерьез. Кроме того, услышав эту песню, все знали, что Матвей немного «нахлестался». Но он пел эту песню не

только тогда, когда был выпивши. Он часто пел ее даже будучи трезвым, хотя, правда, не так громко. О Матвее ходили разные слухи в Остхейме. Некоторые говорили, что во время гражданской войны он принимал участие в борьбе за независимость Украины и принадлежал к «петлюровским бандам». И как бы в подтверждение этим слухам Матвей иногда громко говорил в кабаке:

— Придет еще время, когда одену мои шаровары, широкие, как Черное море, и пойду гнать кацапов с Украины!

Кацапами украинцы называли русских из-под Москвы и северной части России. Часто, когда Матвей заходил в кабак и все места были заняты, он громко кричал под общий смех трактористов:

— Геть кацапив с Украины!

Конечно, трактористы сразу же вскакивали и давали ему лучшее место у стойки. В сущности, милиционеров мало кто любил. Но Матвея, даже в его форме милиционера, все уважали и любили. Как других милиционеров, его не считали «лягавым» (это была кличка для всех милиционеров), а наоборот, мягкосердечным и добрым. Эту его мягкосердечность и доброту даже мне пришлось однажды испытать на себе.

Как-то летом после обеда я с целой толпой ребят играла во дворе возле конюшни. В это время конюхи были заняты тем, что возили с поля сено и тут же его сваливали во дворе в большую скирду. Мы, конечно, толклись на этом сене, втаптывали его и резвились, что в сущности было на руку конюхам, так как им было меньше труда сбивать сено в плотную скирду. Тогда мы попросили конюхов взять нас с собой в поле, и они согласились. Мы весело расселись по разным подводам и поехали на край Остхейма. В поле мы помогали конюхам накладывать на возы сено, затем опять пристраивались на подводах, кто к конюхам впереди, кто просто на сено. Обратно мы проезжали мимо совхозных садов, которые в это время были полны спелыми вишнями и абрикосами. Мы попросили конюхов чуть-чуть замедлить езду, чтобы мы могли нарвать немного фруктов. Они согласились, и мы всей оравой рассыпались между деревьями. Когда наша операция с фруктами кончилась, мы опять уселись на подводы и конюхи припустили лошадей. Но все это нам не обошлось даром. К сожалению, совхозная администрация заметила нашу проделку. Некоторые из них в это время обозревали поля и сады. Они сели на тачанки и устроили за нами погоню. Наши конюхи припустили лошадей, но те не отставали. Приехав во двор конюшни, мы, детвора, хлынули на берег речушки и забрались на деревья. А бедным конюхам ничего не

оставалось делать: они вынуждены были назвать наши фамилии. После этого совхозная администрация уведомила наших родителей. А через некоторое время к берегу прибежал отец. Он знал, где я, считавшаяся в таких случаях главарем, скрывалась. Угрожая мне ремнем, он кричал, чтобы я сейчас же слезла с дерева. Но я, забравшись на самую верхушку, начала сильно раскачивать ее:

— Я слезу, когда ты уйдешь.

Отец испугался, что ветка может сломаться и я грохнусь на землю и убьюсь. Он ушел. Все дети рассыпались в разные стороны. Нина и я, узнав, что отца нет, шмыгнули тихонько домой и улеглись в постель, притворяясь спящими. А спящих, конечно, не бьют.

Это спасло нас от побоев отца, но не от наказания со стороны властей. На следующий день всех нас вызвали в милицию. Когда мы с братом и сестрой явились, там уже стояли все, участвовавшие в набеге на совхозный сад. Все мы молча стояли в углу комнаты и смотрели на инспектора, который сидел за письменным столом и перелистывал какие-то бумаги. Напротив него, в другом конце комнаты сидел Матвей. Он спокойно набивал свою трубку и время от времени весело подмигивал нам своими серыми глазами. А мы все чувствовали себя преступниками. Наконец инспектор встал из-за стола и подал Матвею список наших фамилий. Матвей тогда подошел к нам и начал вызывать каждого по фамилии. Нас было двенадцать человек. Когда он закончил, воцарилось тяжелое молчание. А инспектор смотрел на нас строгими глазами. После минутного молчания он начал читать нам «мораль». Это продолжалось минут десять. Он говорил о том, что наш поступок является позором не только для нас самих и наших родителей, но и для школы и для советского общества.

— Государство тратит на вас деньги. Государство посылает вас в школу, чтобы сделать вас честными гражданами Советского Союза и верными слугами народа. Все это стоит государству много денег. Очень много денег. Эти деньги принадлежат народу. А вы? Вы портите социалистическое добро! Вы позорите честь пионерской организации! Вы недостойны тех забот, которые оказывает вам наша страна!

Инспектор говорил убежденно, четко. После каждого предложения он останавливался и смотрел на каждого из нас, как бы пронизывая нас насквозь взглядом.

— Разве вы не понимаете, что ваше поведение недостойно высокого звания советского гражданина? Наш великий вождь и учитель беспокоится о вас, а вы? Вы не понимаете, что значит

жить в самой счастливой стране мира! Вы не понимаете, что значит беречь государственное добро, которое принадлежит всем! — так окончил свою речь инспектор. К концу его речи я действительно почувствовала себя ничтожной, недостойной нашей великой социалистической родины.

В наказание каждый из нас должен был являться две недели подряд, после школы, для уборки улиц и разных предприятий — все это под надзором Матвея. И мы, как стадо ягнят, каждый день после обеда собирались у здания милиции, откуда в сопровождении Матвея отправлялись на работы. Матвей часто заговаривал с нами. Это было каким-то облегчением.

А однажды он принес нам целую фуражку спелых, сочных вишен и угощал нас, посмеиваясь себе в усы. Мы были настолько ошарашены его добротой, что не посмели даже спросить, откуда он взял эти вишни, которые, в сущности, напоминали наш позорный поступок. Когда наше наказание кончилось, мы месяца два не смели даже смотреть в сторону совхозных садов. Но к осени, во время каникул, — уже поспели арбузы и дыни, — мы опять возобновили наши налеты Тамерлана. Обычно это происходило следующим образом: мы играли в разбойников или делали татарские набеги. Все это, конечно, было взято из книг о разбойниках или из учебников по истории. Приблизительно человек двадцать детей собиралось на краю селения, где формировали две группы, или шайки, человек по семь. В каждой шайке был главарь, но мы выбирали и главного предводителя, которому давали имя какого-нибудь знаменитого исторического лица или разбойника. Мы обсуждали цель нападения. Чтобы игра стала интересной, мы ставили себе настоящую цель. И часто нашей целью были совхозные поля или сады. Мы, конечно, вооружались большой палкой, чтобы отгонять сторожевых собак. Затем в обеденное время, когда сторожа обыкновенно уходили от жары в свой курень, чтобы вздремнуть, мы налетали на сады и баштаны. По знаку предводителя (чаще всего Тамерлана) мы бросались на землю и ползком добирались к цели. Как доказательство того, что все были в саду или на баштане, каждый должен был принести с собой какую-нибудь добычу — дыню, арбуз или другие фрукты. Если же нам угрожала опасность — раздавался легкий свист Тамерлана, и мы с палками в зубах, по монгольскому обычаю, отползали от сада. Если наш набег проходил успешно и мы были вне опасности, тогда — по знаку Тамерлана, — как татарская орда, мы вдруг подымались из травы и, размахивая палками, с невероятным шумом, чтобы разбудить сторожа, бежали прочь. Нас, конечно, сопровождал лай собак. А сторож часто был настолько ошеломлен нашим появлением из

«ниоткуда», что стоял как оцепенелый и не знал, что делать. Иногда даже собаки боялись нас, потому что мы дико размахивали палками и орали, что есть мочи. Если налет оказывался успешным, то предводитель выбирался еще раз. Так проходило наше лето с интересными, хоть и опасными, играми. Эти игры пробуждали в нас бодрость и смелость и интерес к необыкновенным, рискованным предприятиям. Иногда мне представлялось, что все мы играем в «кошку и мышку» с нашей великой и самой счастливой страной.

Приезд дяди

Совсем неожиданно нас навестил в Остхейме дядя Федя. Он приехал в новой, красивой военной форме. На воротничке его блестели три красные шпалы, на боку, в кожаной кобуре, висел револьвер. Его сапоги были из мягкого хрома, на нем была также серая шинель из тонкого сукна.

Дядя Федя окончил свое образование в Академии Красной Профессуры, и теперь его направили политическим руководителем в армию. Он был молод и красив, и я тайно восхищалась им. После того как мы видели его в последний раз, он как будто возмужал и стал крепче и сильнее. Теперь он часто смеялся, и в его темных глазах сверкали искорки.

— Ну, братишка, — говорил ему отец, — ты мне здесь всех красавиц переполошишь. Почему ты не женишься?

— А я не нашел еще никого, на ком мог бы жениться, — отвечал дядя, улыбаясь. Услышав это, я обрадовалась: «Когда я вырасту, дядя Федя влюбится в меня и мы поженимся», — думала я.

Но дядя Федя гостил у нас только неделю. Две другие недели он хотел провести на родине, то есть посетить наши родные места. С ним уехала и мама. Отец работал и не мог отлучиться. Мы остались одни. За нами ухаживала наша соседка, жена секретаря отца. Но та неделя, когда у нас гостил дядя, осталась для всех нас, детей, незабвенной. Он много шутил с нами и играл в разные игры во дворе. Каждое утро он упражнялся на турнике, который был во дворе. Он и нас учил упражняться, и мы весело подражали ему. А вечером он присоединялся к нам, и мы все вместе гоняли нашего кота Ваську, который воровал куриные яйца в сарае. Однажды дядя и мама пошли на наш местный базар. Дядя в своей красивой военной форме сразу же обратил на себя внимание всех женщин. И сразу же все узнали, что он брат отца. После посещения базара к нам вдруг начали заходить разные женщины по разным непонятным причинам. Все они смотрели на дядю и смеялись его шуткам. А вечером отец дразнил его тем, что он действительно взбудоражил всех местных красавиц. Я же еще больше гордилась дядей, — моим будущем мужем.

После возвращения мамы и дяди из поездки «на родину» дядя все же остался у нас еще несколько дней. Но теперь он был совершенно иной, он как-то внезапно изменился, и мы не понимали почему. Теперь он редко смеялся, был задумчив, молчалив. Он часами разговаривал с мамой, а когда кто-нибудь из нас, детей, входил в комнату, разговор сразу же прекращался.

Но я догадывалась, что они говорили о «родине».

— Ну, как же в деревне, мама? — как-то спросила я.

— Плохо. Ты бы ее не узнала. В нашем доме живут какие-то колхозники. Сад почти вырублен. Каменный забор почти весь растаскан. Все изменилось.

— А знакомых и соседей ты видела?

— Почти никого. Многие умерли с голода. Другие переехали в город, неизвестно куда. В селе много новых людей.

Все это было сказано с печальным лицом. А дядя все молчал. Через три дня он уехал, а наша жизнь приняла свой образ, пока не настал 1937-й год…

Арест отца

Все началось с весны. Почти каждый день отец приносил домой кипу газет и все читал и читал. Иногда после чтения он что-то обсуждал со своим секретарем-соседом, и на их лицах я замечала какую-то не то тревогу, не то печаль. Даже во время еды отец не разлучался с газетой, и со временем в его лице появилась какая-то неуверенность в чем-то. А газеты каждый день приносили новые сенсации об арестах «врагов народа», о разоблаченных троцкистах, которые наказаны Высшим судом страны и приговорены к расстрелу или ссылке в Сибирь. Люди еще не совсем отделались от шока, когда в начале 1936-го года объявили, что арестованы Зиновьев, Каменев, Евдокимов. Это были верные соратники Ленина. Позже их расстреляли. А когда осенью того же года удалили Ягоду, который был Наркомом Внутренних Дел, и на его место назначили Ежова, — все вздохнули легче. Хотя он был до того никому не известен, по крайней мере, широким массам, все надеялись, что сумасшедшие аресты прекратятся. Но эти надежды не оправдались. Целая цепь процессов против «шпионов», «диверсантов» и «врагов народа» возобновилась еще с большей силой. Еще каждый помнил Кирова и Куйбышева. Ходили странные слухи о смерти Горького — говорили, что его отравили по приказу свыше. Никто не верил, что старые революционеры — Троцкий, Зиновьев, Каменев, Бухарин — были преступниками, заграничными агентами. Фантастические детали о «признаниях» этих преступников были напечатаны целыми страницами в газетах. Они вызывали у людей не только недоразумение, но и замешательство, и неуверенность в том, что все это нужно для того, чтобы строить коммунизм.

Скоро после назначения Ежова Наркомом Внутренних Дел начался новый процесс против группы Бухарина, Пятакова, Рыкова и Радека. И теперь уже никто больше не верил в прекращение разоблачительных процессов, наоборот, казалось, что им не будет конца. Ежовские лапы (но, конечно, по приказу свыше) теперь направлялись на Чубаря, Эйхе, Рудзутака, Постышева, Петровского, Косиора. Это были старые коммунисты, которые тесно сотрудничали со Скрыпником, представителем Украины. Все они в 1936-м году голосовали против арестов группы Бухарина. А позже сообщение о расстреле Косиора шокировало весь Остхейм.

Еще несколькими неделями раньше отец, как-то придя домой, сказал:

— Сегодня прибудет товарищ Косиор в Остхейм. Созван

тайный партийный митинг. Он будет здесь в четыре часа дня.

— А нам можно его увидеть? — спросила я, имея в виду всех детей.

— Если хотите, бегите к клубу.

Ровно в четыре часа к зданию клуба подъехали три темнозеленых лимузина. Их сопровождали четыре милиционера на мотоциклах. Напротив клуба, через улицу, собралась небольшая толпа ребят, тех, чьи родители были посвящены в тайну приезда Косиора. Когда прибывшие направились в здание клуба, мы сразу же узнали Косиора: он был маленького роста, с бритой головой, в черном кожаном пальто. Таким мы всегда видели его на фотографиях в газетах и на портретах вождей. Председатель комитета партии, Данин, вышел ему навстречу. Всех их было человек шесть, и все они были в черных кожаных пальто. Когда они вошли в здание клуба, дверь за ними закрылась, а снаружи стали четыре милиционера — охрана. Кроме членов партии, никого не впускали в клуб. А через два часа он уехал. О чем был митинг — было известно только членам партии.

Это было только месяц назад. А теперь все газеты трубили о том, что Косиор — «враг народа». Кроме того, все газеты постоянно писали о чистке в партии. И жертвами этих чисток были не только бывшие коммунисты (что, в сущности, было не только смешно, но и невероятно), но люди самых различных профессий и сословий. Чистке подвергались бывшие буржуа, кулаки, бывшие офицеры царской армии, члены разных оппозиционных организаций, члены духовенства и другие, которые были теперь членами партии. Но чистки распространялись почему-то не только на членов партии, а также и на беспартийных. Среди них жертвами были даже красные партизаны, как мой отец, ударники труда (стахановцы) и офицеры Красной армии. И они были антисоветскими диверсантами, шпионами, врагами народа. Их «судили», затем или же расстреливали, или же ссылали на принудительные работы в Сибирь, без права переписки с родственниками. Так как количество этих «врагов» превышало тысячи, в каждой республике, области, крае были организованы специальные суды, которые судили даже заочно. Газеты ежедневно сообщали в длинных статьях о «разоблачении и осуждении» врагов народа. Под лозунгом «критики и самокритики», что стало теперь в большой моде, НКВД работало везде: на каждой фабрике, в каждой школе, шахте, в каждом колхозе, совхозе, культурном центре, научном учреждении, даже в больших магазинах. И каждая из таких ячеек по разоблачению врагов народа как бы

соревновалась друг с другом. Доносы в НКВД о «врагах» напоминали распространение чумы: брат выдавал брата, сын — отца, жена — мужа. Эти доносы привели административные учреждения в провинции к полному хаосу: администрация уже не могла справиться с доносами. В помощь им были учреждены специальные группы из центральных комитетов и НКВД. Эти группы имели полномочия от Сталина и Ежова. Из областей в районы им подавались списки людей, на которых пало малейшее подозрение. Таким образом, с врагами теперь расправлялись очень быстро: тройка, состоящая из начальника местного НКВД, председателя местного комитета партии и судьи, одних отправляла в Сибирь, других приговаривала к расстрелу. А родственникам приговоренных коротко сообщалось: расстрелян как враг народа или сослан в Сибирь без права переписки.

К осени 1937-го года начались аресты и в Остхейме. Сначала арестовали всех главных членов партии, затем удалили Дымова, директора совхоза. После его ареста поднялась суматоха: НКВД начал искать его жену, которая вдруг пропала неизвестно куда. Оказалось, что сразу же после ареста мужа она получила паспорт на свою девичью фамилию и уехала из Остхейма. Девушка, которая работал в НКВД в паспортном отделе, подверглась за это кратковременному аресту тоже. Ее допрашивали, но, очевидно, она ничего не подозревала, когда выдавала паспорт жене Дымова. У Дымовых не было детей. Они занимали чудную дачу рядом с домом, где находилась наша квартира. Я помню, как однажды я рвала груши рядом в садике. Вышла приветливая старушка, которая работала в доме Дымовых, и пригласила меня на чашку чая. Когда я вошла в дом, я была поражена чистотой и красотой вещей и изяществом обстановки в этом доме. Конечно, старушка заботилась о чистоте и порядке. Мебели было немного. Но на полу лежали дорогие ковры и на стенах висело несколько интересных картин. Везде было много цветов: они стояли на широких подоконниках, на полу и на специальных этажерках. Жена Дымова была элегантной женщиной, хотя и не отличалась особой красотой. Она очень мало вращалась в районном обществе и часто бывала в отъезде. После ареста Дымова их дачу и все, что в было в ней, конфисковали. А старушку выдворили, и она ушла неизвестно куда.

В этом году, осенью, должна была состояться районная олимпиада народного творчества. Еще с Никополя я не забыла балет и здесь, в Остхейме, часто принимала участие в разных школьных и местных выступлениях. От нашей школы меня первую выдвинули танцевать. Я готовила часть из «Умирающего лебедя», который был одним из самых трудных, но в то же время

самым любимым моим танцем. В маленьком местечке, как наш Остхейм, вряд ли кто знал этот танец, и я спокойно могла рассчитывать на успех.

Олимпиада состоялась в районном клубе, в два часа дня. Когда настал долгожданный день, мама особенно тщательно крахмалила и гладила мой костюм. Отца не было дома, и мы ожидали его к 12 часам из командировки, куда он поехал три дня тому назад. К полудню приехал отец. Но не успел войти в комнату, как к нам ворвались шесть милиционеров и сказали, что отец арестован. Мама бросилась в плач. Мы, дети, совершенно онемели и в недоумении смотрели на милиционеров, которые метались по квартире и рылись во всех уголках, делая обыск. Один из них схватил мой балетный костюм и спросил:

— Что это?

Мама объяснила ему, что дочь принимает участие в олимпиаде. Он швырнул костюм на пол. Я подбежала, схватила его и прижала к себе.

— Ну, пойдем! — сказал один из милиционеров отцу.

— А что же с олимпиадой? — спросила мать, прощаясь с отцом.

— Пусть идет, — ответил отец, — это какое-то недоразумение, меня через час выпустят, я буду на олимпиаде.

Когда уводили отца, соседка испуганно смотрела в окно и плакала. Он был добрый, искренний человек, его все любили. Мы надеялись и верили, что отец скоро придет обратно.

Наш дом был как раз напротив клуба. Уже был слышен шум съезжающихся автомашин и говор людей, направляющихся в клуб. К двум часам зал был переполнен. Сидели и стояли по сторонам и у прохода. Окна и двери были раскрыты, и около них с улицы толпились люди. В первом ряду за столом сидело жюри: по окончании олимпиады лучшим участникам должны были присуждаться премии. Первый приз — определение в высшую школу искусств.

Мой номер был не скоро, и я сидела среди зрителей. Помню, что я невнимательно слушала, как декламировали стихи о Сталине, о родине, пели песни, выступали музыканты со скрипкой, гармошкой. Время от времени я посматривала на дверь — моего отца все еще не было. Подходила моя очередь. Я быстро ушла домой, надела костюм и возвратилась на сцену. Раздалась музыка, и я вылетела на сцену как птица. Я больше не волновалась. Я чувствовала, что танцую хорошо. Все мои чувства слились с музыкой. Мельком глядя в зал, я видела жадно устремленные на себя глаза зрителей. Они вытягивали шеи, приподнимались, чтобы лучше увидеть; их глаза блестели от

удовольствия. Но среди них я не видела милых глаз отца — он не пришел.

Танец кончился, и меня приветствовала буря аплодисментов. Не успела я скрыться за кулисы — навстречу мне бросился конферансье, один из наших школьных учителей.

— Вот кто получит первый приз! — он пожал мне руку. Меня несколько раз вызывали. Пришлось танцевать еще раз. Когда я закончила, лицо мое было печально. Улыбаться, как нас учили в балетной школе, я не могла. Первый приз получил юноша за сочиненное им стихотворение о Сталине. Из нашего местечка получила премию дочь местного прокурора за танец «Яблочко».

Помню, как негодовали зрители. Когда расходились домой, они громко говорили между собой, как несправедливо распределили премии. Музыкант, который играл на скрипке, подошел ко мне и сказал:

— Лучшая награда — громкие аплодисменты! Ты была лучше всех, и ты заслужила первый приз.

На пути домой за мной толпой шли дети и взрослые. В этой глуши Остхейма я казалась им чем-то необыкновенным. Им нравился мой танец и пышный костюм. А дома меня ожидал страшный сюрприз — арест отца. После этого всегда, когда вижу балет, мне невольно вспоминается 1937-й год… и мой последний танец. Но к балетному искусству я и сейчас неравнодушна. Когда приходится смотреть балет — я чувствую себя не на земле, а окончится представление — провожу бессонную ночь. Иногда случится прочесть на улице рекламу о предстоящем балете — и мое сердце начинает биться… И всегда встает это горькое воспоминание.

На следующий после олимпиады день мать понесла отцу в милицию, где он сидел в камере, передачу. Но ее не пустили к нему. После школы я с Ниной и братом Иваном пошла к зданию милиции и начала «играться» с другой стороны, где из подвала выходили маленькие окна с решеткой. Потом я подошла к одному из окон и заглянула внутрь: внизу, посреди большой камеры, сидело человек шесть мужчин, между ними — наш отец.

— Папа! — крикнула я негромко внутрь. Лица всех сидящих повернулись в мою сторону. Отец узнал меня и подошел к окну. — Маму не пустили к тебе. Вот возьми! — и я сунула ему через решетку небольшой сверток, жареную курицу. Отец взял сверток, и я заметила, что его глаза стали влажными. Он тотчас же отошел от окна, подошел к группе сидящих и разделил курицу на всех.

— Мы придем завтра опять, — шепнула я отцу, и мы ушли домой.

Так на протяжении трех недель мы почти каждый день ходили к отцу на свидание и через подвальное окно передавали ему передачу. Иногда он совал нам в руки маленькую записочку для мамы. Но через три недели его увезли в районный город Сталино, где должно было состояться следствие. Отец не был членом партии, и, в сущности, ему еще повезло в том, что его подвергли следствию. Но он никогда больше не вернулся в Остхейм. Спустя два месяца после его отъезда — более подробно в нашей районной газете — было сообщение, что в Остхейме «группа диверсантов и немецких агентов разоблачена во вредительстве и представлена перед Верховным судом…». Далее шло перечисление имен и фамилий. Дымова и еще одного коллегу отца приговорили к расстрелу. Данин и еще шесть человек получили десять лет Сибири. Белкин, жена которого была подругой мамы, и отец осуждались на пять лет Сибири с лишением права голоса на год.

Родственники репрессированных начали покидать Остхейм. Вскоре мы тоже погрузили наши вещи на грузовик, который мама наняла, и двинулись опять в путь. К сожалению, по дороге наш кот Васька выпрыгнул из машины и остался в Остхейме. А мы приехали в Краматорск — один из промышленных городов на Донбассе. Туда, еще до сообщения в газетах о разоблачении «диверсантов и немецких агентов», уехала жена Белкина, подруга мамы. Она звала туда и нас. Оказывается, она нашла там маме работу на строительстве — единственное место, где не спрашивали, кто ты и где твой муж. Обычно найти работу для члена семьи репрессированного было нелегко. Маме ничего больше не оставалось делать, — надо идти работать.

В рабочем поселке в баракоподобном доме нам отвели квартиру из одной комнаты и маленькой кладовой. Белкина жила недалеко от нас, правда, в гораздо лучшем доме. С ней были ее три белочки, красивые милые дети. Через неделю мама начала работать на строительстве. От Белкиной мы узнали, что и жена Данина со своими двумя детьми, красавицей-дочерью «Кармен» и сыном Иваном, тоже поселилась недалеко от нас, в этом поселке. Даже она, жена бывшего председателя партийного комитета, не могла найти себе более приятной работы, не говоря уже о квартирных условиях. Только жена Белкина устроилась довольно хорошо — она работала в рабочей столовой заведующей каким-то отделом. По рассказам мамы, у нее были какие-то связи, поэтому ей не только повезло в работе, но и удалось получить лучшую квартиру, состоящую из двух больших комнат и кухни. Так началась новая полоса в нашей жизни — без отца.

Мои новые учителя

К зиме 1937-го года я уехала в Запорожье, к бабушке и дедушке. Они взяли меня к себе, чтобы облегчить жизнь мамы, заработок которой был, конечно, мизерным. Ей никогда не хватало денег, чтобы прокормить нас всех. Брата забрала одна из теток, по той же причине. Только во время летних каникул мы опять собирались вместе у мамы. В это время мы, дети, работали в совхозе по сбору ягод или овощей. Таким образом мы могли не только заработать лишнюю копейку, но и прокормить себя. Собирая ягоды или овощи, мы, конечно, украдкой ели все, что нам вздумается, а в совхозной столовой, во время обеда, мы могли купить по довольно дешевой цене тарелку превосходного супа или вареного картофеля — все, чего у нас не было дома. Так обычно мы проводили все лето. Работа в совхозе была приятной. Мы уходили рано утром и, как правило, до обеда работали в поле. Женщины часто затягивали песни, и было весело и легко работать. Когда стояла жара, мы иногда делали маленький перерыв, ложась под кусты малины или крыжовника, и отдыхали. А вечером, идя домой, мы всегда несли несколько огурцов или дынь, если нас не видел сторож. Все рабочие относились к нам, детям, довольно приветливо. Вероятно, все знали, почему нам надо работать, хотя нас никто ни о чем не спрашивал. А к осени я опять возвращалась в Запорожье, где продолжала учиться.

Мои последние годы в школе были самыми интересными, я бы сказала, самыми замечательными в воспоминаниях о моей юности в Советском Союзе. Это были годы, когда я испытывала всю полноту всевозможных чувств, грез и впечатлений. Эти годы в Запорожье сыграли немалую роль в формировании моего характера и моих мыслей. В этом большую роль играл также мой дедушка, Илья Петрович, который заменял мне отца. Самым интересным в школе было то, что каждый предмет преподавал другой учитель. Ни в какой школе я не училась с таким интересом, с таким упорством и восхищением. Я поступила в семилетку. Нас было приблизительно двадцать шесть человек в классе. Одна из преподавательниц — она же преподавала нам украинский язык и литературу — была старостой нашего класса. Это значило, что она была ответственна за все, что творилось в нашем классе: она отвечала за поведение в классе, за наши успехи или неуспехи, она назначала собрания родителей и ставила нам отметки за поведение. Если кто-то из преподавателей не мог решить, какую окончательную отметку выставить данному ученику, то спрашивали ее мнение. Она была

важным человеком во многих вопросах, и поэтому мы уважали ее. Несмотря на то, что она была еврейкой, у нее были черты типичной украинки: темнорусая, немного полноватая, но здоровая и сильная на вид, она была просто, но со вкусом одета, без всяких претензий на что-то особенное.

Полной противоположностью ей была преподавательница русского языка и литературы. Это была хрупкая, маленькая, изящная блондинка. Почти каждый день она меняла свои платья, одно красивее другого. И мы все удивлялись, откуда она брала такую красивую одежду. Больше всего она любила легкие, плавные ткани, что еще больше подчеркивало ее хрупкость и тонкость. Ее голос тоже был мягок и нежен, она говорила как бы вкрадчиво, за что мы прозвали ее «Кицинькой». Ей было нелегко с нами справиться. Она всегда была спокойной и уравновешенной. Нас это как-то задевало, и мы делали все возможное, чтобы вывести ее из этого спокойствия и равновесия. Но на наши попытки она не реагировала. Обыкновенно она сидела на своем стуле и ждала, пока мы утихнем. Затем продолжала лекцию, как будто ничего не случилось. И вот мы упорно решили добиться своего.

Однажды, как только она появилась в классе, мы все хором начали громко мяукать. Она остановилась в дверях с испуганным личиком, и ее красивый, пухленький ротик еле слышно прошептал:

— За что?

Она стояла в дверях одно мгновение совершенно неподвижно. Затем повернулась — мы все еще беспрестанно мяукали — и ушла. Конечно, мы знали, куда она ушла. Через несколько минут она возвратилась с самим директором школы. Этого мы не ожидали. Все вдруг замолчали. Нам действительно не приходило в голову, что наша хрупкая, нежная «Кицинька» позовет директора школы, грозного «Лорда», как мы все его называли.

— Что здесь творится? — спокойно спросил директор. При этом он смотрел на всех своими строгими глазами. А мы не смели произнести ни слова и молча, с опущенными головами, глядели вниз. Никто не смел даже взглянуть на него. Постояв так молча несколько минут, «Лорд», не сказав ни слова, вышел, а «Кицинька» невозмутимо начала вести занятия. С этих пор мы больше не решались раздражать нашу «Кициньку».

Сам «Лорд» преподавал в нашем классе географию. Его уроки были интересные, оживленные и проходили так быстро, что мы совершенно не замечали времени. В то же время он был очень требователен и строг с отметками. За все годы его преподавания

никто, кроме меня, не получал у него «отлично» по географии. И то только потому, что я узнавала много дополнительно от дедушки, который обожал географию и прекрасно знал ее. Недаром он был всю свою жизнь мореплавателем. Он посетил много стран и рассказывал мне обо всем, что он там видел и испытал. Этого, конечно, не было в нашем учебнике. «Лорд» никогда не проверял меня, но если никто не мог ответить на его вопрос, тогда он спрашивал меня. Обычно я всегда знала ответ, за исключением немногих случаев; тогда он сам объяснял нам. Имя «Лорд» он получил у нас тогда, когда рассказывал нам о географии Англии. Характеризуя затем политическую структуру страны, он страшно ругал господство лордов в Англии. Говорил, что это самые заядлые эксплуататоры, рассказывал нам об их огромных поместьях, их праздной жизни за счет бедных, а также об их обычаях и укладе, даже об их одежде. Здесь, к нашему удивлению, мы заметили, что он сам одевается как лорд. В отличие от коллег-учителей, которые почти все ходили без галстуков и шляп, на нем всегда был галстук, шляпа и прекрасно сшитый костюм. А когда он шел на прогулку, брал с собой элегантную трость. Да, он был похож на лорда во всех отношениях, конечно, только внешне. Его стройное тело и красивые движения говорили нам о строгой внутренней дисциплине, что, по-нашему, делало его благородным. Кличка «Лорд» так и осталась за ним навсегда. Он жил со своей семьей в здании школы. Его красивая жена вела нашу школьную библиотеку, а две их девочки иногда играли с нами в школьном дворе во время перемен.

Через год наша «Кицинька» ушла от нас. Она ожидала ребенка и хотела временно остаться дома. На ее место назначили Анну Александровну Башкирову, которая раньше преподавала в другой школе. По одежде и по характеру Анна Александровна совершенно не была похожа на «Кициньку». Она была чуть выше среднего роста, немного полноватой и одевалась с небрежной элегантностью. В сущности, она принадлежала к тем женщинам, которые всегда выглядят отлично, что бы они ни надели. Чаще всего она носила пуловеры и толстые шерстяные юбки, обтягивающие ее красивые бедра. В отличие от «Кициньки», которая во время урока степенно сидела на стуле в своем плавно спадающем на пол платье, Анна Александровна садилась на край стола, положив ноги на кресло, или же стояла, или ходила по классу. И все, что она нам рассказывала о писателях или поэтах и их трудах, отображалось на ее живом, классически красивом лице. Вдохновение ее лекций по литературе производило на нас большое впечатление. Мы глотали каждое ее слово, следили за

каждым ее взглядом, движением и запоминали все, что она нам рассказывала. Ее уроков мы ждали с нетерпением. Русская литература сделалась нашим любимым предметом. То же произошло и с преподаванием русской грамматики, которую мы все недолюбливали раньше. Но Анна Александровна сделала интересное «введение» в преподавание грамматики — она показала нам на интересных примерах, что язык — одно из важнейших орудий мастерства в литературе. Она умело выбирала лучшие образцы русских классиков, демонстрируя нам, что сделали из этого языка такие писатели, как Пушкин, Гоголь, Тургенев и Толстой. Она сумела заинтересовать нас и в этой области, так что уроки русской грамматики стали для нас почти такими же интересными, как и уроки литературы. Благодаря вдохновению Анны Александровны, почти каждый из нас был записан в городской библиотеке. Нередко сразу же после уроков мы, сломя головы, летели туда и, перегоняя друг друга, кричали, кому первому получить книгу, которую упомянула Анна Александровна на уроке. Многие из нас старались прочесть все, что рекомендовала Анна Александровна. При этом нужно заметить, что труды большинства из наших современников, то есть советских писателей, интересовали нас меньше всего. Анна Александровна тоже мало говорила о них. Мы их просто «проходили». Исключением был Михаил Зощенко. Его рассказы смешили и веселили нас. Но его трудно было получить. Он всегда был нарасхват. Большинство из нас читало русских классиков, но также и иностранных. На уроках иностранной литературы мы также внимательно следили за французскими, английскими и американскими писателями и старались прочесть все, что у нас было в библиотеке. Герберт Дж. Уэллс пользовался у нас особой популярностью. Мы все зачитывались его современными «сказками» и утопическими романами. Часто во время переменки мы горячо обсуждали судьбу его героев. Особенно нам понравился американский фильм, сделанный по его роману «Человек-невидимка». Многие из нас видели его несколько раз.

Как-то однажды, идя домой после фильма, мы начали обсуждать, что бы каждый из нас сделал, если бы стал невидимкой.

— Я бы залез в банк, забрал все деньги и раздал бы их бедным на улице, — сказал красавец Леня, и его большие голубые глаза засияли в восторге.

— А я, — крикнул Йося, — я бы в тетрадь учителя поставил всем хорошие отметки! — Мы все громко рассмеялись. Все знали, что у Йоси, кроме математики, везде отметки слабоваты. Он был довольно умен, способен, но невероятно ленив. Его реплика

выразила, конечно, его тайное желание получить «хорошо» или «отлично» и по другим предметам без излишнего труда.

— А я залез бы во время конференции в Кремль и наделал бы прямо на стол, — закричал еще громче Кузьменко. И опять все засмеялись. Нашим фантазиям не было конца. Рассуждая таким образом о том, что бы мы сделали, если бы стали невидимками, мы скоро совсем забыли о времени и долго еще стояли на улице, разговаривая и качаясь от смеха.

Нам, девушкам, тоже нравились иностранные фильмы, особенно те, где мы могли видеть красивых женщин в прекрасных нарядах — все то, чего у нас не было. Но нам всем нравились и некоторые советские фильмы, главным образом такие, где показывали героическое прошлое нашей страны — борьбу против белогвардейцев или против иностранных захватчиков: «Петр Первый», «Александр Невский», «Броненосец «Потемкин»», «Чапаев» и другие.

Кроме Анны Александровны и «Лорда», были и другие преподаватели, которые пользовались всеобщим уважением. Никак нельзя, например, забыть нашего преподавателя по обществоведению и конституции. Это был еще довольно молодой, красивый человек, военный, в чине младшего лейтенанта.

Он всегда приходил на уроки в своей изящной форме. Высокий и стройный, всегда в прекрасном настроении, он был любимцем всех девушек. Он рассказывал нам об устройстве нашей страны, о том, что это самая счастливая страна в мире, и мы должны были изучать целые параграфы из конституции наизусть. Все это было невероятно скучно и неинтересно. Но как ни странно, его уроки были интересными именно потому, что их преподавал он, и никто другой. Он был умен и прекрасно видел, что мы не настолько глупы, чтобы верить во все эти теоретические сказки. Он тоже хорошо знал, что каждый из нас думает о советской действительности. Стоило только посмотреть из окна на улицу, где перед универмагом всегда стояла огромная очередь за продуктами. Каждый из нас обитал в тесной квартире; часто в одной комнатушке ютилось несколько человек. Мы пользовались общими кухнями и ванными в коммунальных квартирах. Каждый из нас потерял если не отца, то другого родственника во время чисток, которые все еще продолжались.

Со временем между нами и преподавателем установился своего рода тайный язык, — он знал, что мы думаем о процессах против «врагов народа» и «диверсантов». Но он умел заинтересовать нас своим изложением государственных принципов, о борьбе за власть, об организации и прочее. От себя самого он никогда не употреблял в классе шаблонных изречений

наших вождей о «самом счастливом детстве», о «самом мудром вожде и учителе Сталине» и пр., и пр. Здесь же, глядя в окно, каждый из нас сразу мог убедиться в «самой счастливой жизни в Советском Союзе». Нас, в сущности, меньше всего интересовала в то время новая конституция, которая вышла год тому, ибо мы знали, что те права, которые написаны в конституции для каждого советского гражданина, ничего собой не представляют, кроме пустой болтовни. Так же обстояло дело и со свободой слова. Все это мы каждый день видели в печати на примерах «добровольных признаний врагов народа».

Мы все ценили его за то, что он никогда никому не ставил плохих отметок, даже если кто не знал урока. Этот неприятный момент он всегда старался превратить в какую-нибудь шутку.

— Почему же вы не выучили урока? — спрашивал он обыкновенно, — может, вы вздыхали на Луну?»

Мы все, конечно, смеялись, потому что своим замечанием «вздыхали на Луну» он намекал нам на очень тогда популярную песенку, в которой говорилось, что весной даже самые серьезные люди «вздыхают на Луну», то есть влюбляются. Мы очень ценили его также и за то, что он не требовал много. Если кто отвечал минимум из того, что требовалось, он получал хотя бы удовлетворительную отметку. Несмотря на эту снисходительность с его стороны, он вел себя в классе с большим достоинством. Мне казалось, что именно своим юмором и хорошим настроением он старался смягчить жестокость нашего быта и немного сузить пропасть между теорией и практикой советской действительности.

Была еще преподавательница химии, красавица, которую, вероятно, никто из нас не забудет. Все мальчишки были влюблены в нее, а девушки желали быть, как она. Стройная, с красивыми каштановыми волосами, большими серыми глазами, всегда изящно одетая, она выделялась из серой массы преподавателей и обращала на себя внимание всех, кто ее видел. Вне школы, когда она шла по улице, многие оборачивались и смотрели на нее. Она была замужем за каким-то важным городским руководителем, членом партии, у которого была даже машина. Девушки завидовали ей. Но наша преподавательница химии знала свое дело. Ее уроки были очень интересными, и она умела заинтересовать нас металлами и химическими процессами так, что многие из нас серьезно думали стать химиками. Нередко мы с ней шли в большую лабораторию, где она демонстрировала нам всевозможные кислотные растворы, показывала колбы, разные приборы, в которых что-то кипело и переливалось из одного сосуда в другой.

Но кроме наших любимых и уважаемых преподавателей, были, конечно, и такие, на уроках которых мы абсолютно ничего не делали. Одним из таких уроков было черчение. Почему-то во всех классах черчение считалось «свободным временем». Никто не относился к этим урокам серьезно. Каждый вел себя, как будто преподавателя вообще не было в классе. У нас на уроках черчения стоял полнейший хаос. Одни делали бумажные самолетики и запускали их в воздух или в кого-то. Другие играли в мушкетеров и фехтовали линейками друг с другом, стоя на партах. Я особенно любила эту игру и принимала в ней живое участие. Третьи взбирались на окна и прыгали оттуда через скамьи вниз. Была также небольшая группа школьников, которые сидели молча и наблюдали за тем, как один из них старался прицепить учителю сзади тряпку. Только тогда, когда наш необыкновенно терпеливый учитель терял свое терпение и шел за «Лордом», воцарялась на несколько минут полнейшая тишина. Мы все притворялись, что сидим над нашими чертежами. Но как только «Лорд» удалялся, сразу же начиналось то же самое. Ведь каждый из нас был уверен в том, что к концу года получит даже неплохую отметку. Ставить плохие отметки по черчению считалось несерьезным. К тому же мы все сдавали вовремя чертежи и, более или менее, выполняли задание учителя. Он же, в свою очередь, смирялся с хаотическим положением в нашем классе и тоже, вероятно, хорошо понимал наш «отдых» от других уроков. Йося даже как-то заметил ему по этому поводу:

— Товарищ преподаватель, мне нравятся ваши уроки. На них можно хоть отдохнуть.

Мы, конечно, все рассмеялись, преподаватель тоже.

Вообще наш класс был дружен. Дружба также имела свои неписанные законы. И никто не смел их нарушать. Если какой-нибудь наш проступок доходил до директорской и сам «Лорд» являлся и спрашивал, кто виноват, весь класс молчал. Никто не смел предать товарища. Если же кто-то когда предал товарища, то за ним на все время оставалась позорная кличка «сексот». Этого никто не хотел. Каждый считал наказание, даже вызов родителей, лучше, чем слыть сексотом.

Потапов и катастрофа

Однажды в школе нам объявили, что в Запорожье приезжает Каганович. Он посетит несколько школ в нашем городе, в том числе и нашу, и будет держать речь.

Лазарь Моисеевич Каганович прибыл в пятницу, в три часа после уроков. Все старшеклассники собрались в большом зале. Он сидел посередине сцены, за длинным столом, слева и справа — наши преподаватели. Несомненно, Кагановича можно было назвать красивым мужчиной. На его экспрессивном, с крупными чертами лице горели, как угли, выразительные глаза. Особенно выделялась белизна его высокого лба, обрамленного черными волосами, темными, ровными как нить бровями. Он производил впечатление человека, уверенного в себе. Да и кто в то время мог быть увереннее в себе, чем Каганович? Он, как свояк Сталина — его сестра Роза была женой Сталина — занимал ряд важных постов в советском правительстве: был председателем ЦК Коммунистической партии Московской области, членом Организационного бюро при ЦК, членом Политбюро ЦК Компартии СССР. Он руководил транспортной системой и промышленностью всей страны, перестройкой советской железной дороги, строительством метро и другими проектами.

Наш «Лорд» приветствовал Кагановича от имени всех нас, после чего Каганович держал короткую речь о заданиях и ответственности советской молодежи. Он начал издалека:

— Владимир Ильич Ленин обратил внимание на каждую науку, в особенности на партийную науку. Ленин не признавал авторитетов. Но если нужно было защищать марксистскую науку, то он своими аргументами мог разоблачить не только врагов, но и друзей. Если мы хотим быть его преданными учениками, то мы должны быть непоколебимыми против тех, которые воображают, что могут учить не только нас, но и самого Ленина.

Каганович говорил с энтузиазмом, убедительно. К концу речи он коснулся процессов «диверсантов» и «врагов народа».

Он напомнил нам о том, что мы, как молодая гвардия партии, несем большую ответственность как перед партией, так и перед народом, и поэтому должны быть начеку перед всеми враждебными элементами. Он закончил свою речь лозунгом:

— Да здравствуют пионеры! Да здравствуют комсомольцы! Да здравствует наш великий вождь и учитель, Сталин!

В сущности, Каганович не сказал ничего нового. Так он часто говорил и раньше — все это было известно нам из газет. Наш директор поблагодарил его за речь, затем каждый мог задать

Кагановичу вопросы. Но все молчали. Никто не задавал вопросов, и уже все ждали заключительных слов нашего «Лорда», как вдруг Потапов, редактор нашей школьной газеты, поднял руку. В зале сделалось совершенно тихо.

— Пожалуйста, — сказал директор, и Потапов встал.

— Товарищ Каганович, в вашей речи вы вот коснулись процессов против врагов народа. Вы сказали, что мы, молодежь, должны обращать все наше внимание на разоблачение враждебных элементов, вы также коснулись вопроса критики и самокритики. Я бы вас, товарищ Каганович, хотел спросить следующее: как, например, относиться к такому случаю, который произошел в школе Х. Там сначала арестовали директора школы, как врага народа. Через некоторое время его выпустили, оправдали. Затем опять арестовали и опять оправдали. Всем, конечно, ясно, что этот человек невиновен. Но разве эти аресты не подорвали его авторитет? Я не говорю уже о его личном страдании, которого можно было бы избежать при тщательном расследовании дела. А сколько подобных случаев в наших судебных учреждениях? Не падает ли здесь тень на все советское правительство?

Потапов окончил и сел. В зале стояла мертвая тишина. Можно было слышать дыхание человека. Случай в школе Х. был всем известен. Но никто не посмел бы говорить об этом партийному функционеру! Теперь все смотрели на Кагановича. Он же, наклонив немножко влево свою голову, улыбнулся едва заметной улыбочкой, которая как-то странно скривила его рот. Затем он выпрямился и, уже не скрывая улыбки, сказал:

— Лес рубят — щепки летят. Так и у нас. Мы строим коммунизм.

После этого всем стало ясно, что Каганович, который мог прекрасно говорить, за словом в карман не полезет. Дискуссия окончилась. Директор еще раз от всех поблагодарил Кагановича. А через две недели исчез Потапов. На наши вопросы, где Потапов, нам отвечали, что он переменил школу.

Исчезновение Потапова произвело на меня глубокое впечатление. Он был честный, хороший товарищ, а как редактор в нашей школьной газете он был незаменим. Кроме своей редакторской работы, он еще руководил литературным кружком, а также принимал участие в руководстве школьным театром.

Несмотря на то, что он был уже в десятом классе, то есть считался уже выпускником и, конечно, имел много работы со своими уроками, он никогда не отказывался от дополнительных нагрузок. Он часто вносил оригинальные идеи в эти кружки. Даже «Лорд» нередко привлекал его к сотрудничеству. Так как я

регулярно подавала свои стихи в школьную газету, за последнее время я часто встречалась с ним. И в результате этих встреч началась между нами странная дружба.

— Почему ты не пишешь стихов о Сталине? — как-то спросил меня Потапов.

— О нем уже так много написано, — ответила я, — мне ничего не приходит в голову.

— Это плохой признак, значит, у тебя бедная фантазия, — сказал он и сразу добавил:

— О пустыне Каракумы, где ничего нет, ты смогла найти что писать, и слова, и идеи!

— Туда, товарищ Потапов, — ответила я на это с легкой насмешкой, — был сослан мой любимый поэт Шевченко, как вы, вероятно, знаете. Его дух может оживить пустыню.

Потапов спокойно и насмешливо смотрел на меня, а я продолжала:

— Теперь вам ясно, товарищ редактор, почему я нашла и слова, и идеи поэтизировать пустыню. Или вы хотите во что бы то ни стало выжать из меня стихотворение о Сталине?

— Такое стихотворение меня очень заинтересовало бы! — бросил он в конце разговора и ушел.

Через неделю я встретила его в коридоре на переменке и дала ему стихотворение о Сталине:

— Совершенно секретно, товарищ! — сказала я и сразу же повернулась на каблуках так, что мои рыжие косички ударили его в лицо, и убежала. Это было стихотворение об ужасах «нашего великого вождя и учителя», стихотворение, за которое меня сейчас же арестовали бы, если бы Потапов его напечатал. В этот день, после обеда, Потапов подошел ко мне во время перерыва и отозвал в сторону. Мы стояли одни под лестницей на нижнем этаже. Он протянул мне маленькую бандерольку, — мое стихотворение, свернутое в узкую трубочку, и коробок спичек.

— Высшая цензура приказывает: немедленно сжечь крамольный манускрипт под наблюдением его величества.

— Ваш приказ будет сейчас же исполнен, — ответила я и зажгла бумажную трубочку. Мы оба смотрели, как она превратилась в пепел.

— Вот так, товарищ, — сказал он медленно, затем положил свою руку на мое плечо и спросил:

— У тебя есть время пойти со мной в кино на этой неделе?

Его вопрос меня вдруг совершенно смутил. Я стояла несколько минут молча, наклонив голову и разглядывая мои громадные бабушкины ботинки и заплатанные толстые чулки.

— Я должна спросить дедушку.

— А отца у тебя нет, что ли? — ответил он, встряхивая своими спускающимися на лоб волосами. — Я зайду за тобой в пятницу, после уроков, здесь, в школе, — бросил он на прощанье. И ушел. А я еще стояла под лестницей и смотрела ему вслед: высокий и стройный, он удалился легким шагом. Я почти прослушала звонок и побежала в класс.

Мне было страшно и странно. — Не было смелости просить разрешения пойти в кино с молодым человеком. Я знала, что дедушка откажет. Это было против его философии: сначала надо выучиться, а потом думать о кавалерах. Поэтому я решила солгать:

— В пятницу после уроков я остаюсь на репетицию в театральном кружке.

— А как долго это будет длиться? — сразу же спросил дедушка.

— Я не знаю.

— Смотри, не приди очень поздно.

В пятницу, — это было как раз за две недели до комсомольского собрания с Кагановичем, — я надела белое шелковое платье, единственное, которое я хранила для особенных событий, и пошла в школу. После окончания уроков Потапов ожидал меня внизу у выхода. Мы пошли по улице в направлении кино, которое находилось недалеко от берега Днепра. В этом новом, большом, красивом Доме культуры было все: и кино, и театр, и разные залы для всевозможных игр. Так как он находился недалеко от Днепрогэса, одной из громадных электрических станций страны, то там можно было слышать шум воды, падающей по турбинам.

— Я передумал, — сказал Потапов, — мы не пойдем в кино, а пойдем к Днепру. У меня есть маленькая лодка, и мы покатаемся. Согласны, уважаемый товарищ?

Когда он говорил с иронией или не хотел быть серьезным, он всегда говорил мне «Вы» и «товарищ». Я же обращалась к нему на «Вы», так как он считался старшим.

— Только я не должна вернуться поздно домой, а то дедушка будет ругаться.

— А скажи, кстати, что ты делаешь с той библиотекой, которую ты получила на вечере рецитации. Уже все прочла?

— Уже давно, — ответила я.

Теперь мне стало вдруг ясно, что премия, которую я получила однажды, была присуждена мне по инициативе Потапова. Он был членом жюри. И это были все труды Тараса Шевченко, знаменитого украинского поэта. В то время я почти не была знакома с Потаповым.

— За такие стихотворения, одно из которых я имел честь прочитать, — сказал Потапов с иронией, — вам могут преподнести другую премию. Ясно, товарищ?

— А ведь оно вам понравилось?

— Да… Было что-то там. У тебя вообще все как-то тяжело прорывается. Тебе нужно больше вдохновения. Поэтому ты и убегаешь в разные пустыни.

Так разговаривая, то шутя, то всерьез, мы очутились у Днепра. Там Потапов отвязал свою лодку, и мы поплыли по реке. Он направил ее по тихому течению и бросил весла. Лодка сама плыла спокойно по течению.

— Прочитай мне некоторые свои стихотворения, — сказал он безо всякой иронии в голосе. Он смотрел на меня своими голубыми глазами так, что я почувствовала к нему полное доверие. Мне стало легко и хорошо.

— Какое стихотворение вы бы хотели? — спросила я.

— Какое хочешь, или свое или чужое.

— Сначала чужое. Чье?

— «В долине Дагестана» — это мое любимое.

Это было также мое любимое. Я начала декламировать. Я никогда его не учила на память, но слова сами как-то складывались, как нужно. Когда я окончила, Потапов сказал:

— Если бы ты знала, какая ты красивая, когда декламируешь! Еще какое-нибудь. Знаешь «Импровизатора» Пушкина? Да, «Импровизатор»! Это было длинное, но замечательное стихотворение. И опять слова сами приходили и укладывались, где надо. Мы плыли по течению и декламировали стихотворения. Когда мы закончили декламировать, оба на время замолчали. Потапов сидел, задумавшись, и смотрел в воду. А легкий плеск воды как бы продолжал декламацию. И лучи солнца сверкали на воде, искорками отражаясь в его голубых глазах.

Уже начало темнеть, когда мы направили лодку к берегу. Затем Потапов проводил меня домой. Мы шли рядом, держась за руки, и я чувствовала себя, как будто шла с братом, которого встретила после долгой разлуки. Мы говорили немного. Потапов положил руку на мое плечо и слегка прижимал меня к себе. Теперь я ему рассказала, что мой отец в Сибири, и он понял, почему я написала такое стихотворение о Сталине.

Через неделю мы увиделись опять. На этот раз мы пошли в кино. Потапов положил свою руку на мои плечи, и так мы сидели все время. На прощанье он поцеловал меня в щеку, а я склонила голову и молчала.

— Ничего, Виля, — сказал он, глядя на меня нежно своими искристыми глазами, — дедушка не узнает, — и мы рассмеялись.

Кто-то из моих одноклассников видел меня в кино с Потаповым и распространил слух, что я «встречаюсь». Мальчишки начали как-то странно смотреть на меня, а девушки спрашивали, кто он. Я же только краснела и отвечала, что это «так, просто так». Когда же Потапов исчез после рокового комсомольского собрания с Кагановичем, я почувствовала себя сиротой. Потапов был первый, кто приглашал меня в кино, гулять или просто на свидание. Он первый обратил на меня внимание как на девушку. Он первый поцеловал меня. Меня все считали некрасивой, и я давно смирилась с этим. Быть рыжей и веснушчатой значит не иметь никаких шансов нравиться. И я утешала себя лозунгом Ленина: «Учиться, учиться и учиться!» Но исчезновение Потапова навеяло на меня странные мысли: казалось, что умнейшим и талантливейшим комсомольцам нет места в обществе. Газеты, где было имя Потапова, сняли со стены и положили в архив.

К концу учебного года Анна Александровна задала нам задание: сочинение на тему «Характеристика моего товарища». Нам предоставлялась полная свобода фантазии.

Дома я задумалась над этой темой: кого мне взять объектом моего описания? Многие девушки в нашем классе имели постоянных поклонников, дружба с которыми заключалась в невинных интимностях. Вокруг моей подруги Рули, красивой еврейки, вертелось даже два поклонника, оба — первые ученики в классе, рыжеватый Кузьменко и спокойный, тихий Данильченко. Даже красавец Леня, в которого почти все девушки были влюблены, иногда ухаживал за ней. Женя, самая красивая, веселая и жизнерадостная, имела несколько поклонников. А у Нюры, замечательной физкультурницы, был даже «постоянный» друг и не из нашего класса. Они всегда встречались на переменках, шептались и пожимали друг другу руки. Также вокруг Лизы, считавшейся самой богатой, потому что она красиво одевалась и часто носила шелковые платья, вертелась целая стая мальчишек. И только у меня никого не было. Единственный, который заметил меня, должен был так внезапно оставить наш круг. И… память о нем была для меня слишком дорога, чтобы «вынести ее на базар». И одета я, конечно, была хуже всех. Мои платья, блузки и юбки были старые, заплатанные, переделанные из бабушкиных, и обувь была всегда не по мне. Мои волосы не были в пышных локонах, как у Рули, что в то время было в моде, а прямые, как солома. Они свисали вниз в двух косичках, или же я связывала их в лошадиный хвост, за который меня дергали на переменах мальчишки. Кроме того, у меня был слишком высокий лоб и скуластое в веснушках лицо. Кто мог заинтересоваться мной? Поэтому мне было нелегко найти друга, которого я могла

бы описать.

И вот мне пришла в голову сумасшедшая идея: описать Леню, нашего красавца. Да, именно его, который не удостаивал меня ни единым своим взглядом. Именно его, потому что он так много воображал о себе. Иногда мне даже казалось, что он был оскорблен уже тем, что я смотрела на него. Да, даже тогда, когда я у доски отвечала на вопросы учителя и он не мог не смотреть на меня, потому что сидел за первой партой, даже тогда мне казалось, что взгляд его говорил: «Если бы ты даже была гением, я бы все равно не заинтересовался тобой».

И я начала писать о нем. Сначала я подчеркнула тот факт, что он очень красив и всем нравится. Конечно, я не называла его по имени, а описывала большие голубые глаза с длинными, темными ресницами, мягкие локоны его каштановых волос, детально останавливаясь не некоторых особенностях его привычек, поведения, но так, что каждый мог узнать, о ком шла речь. Как бы между прочим, я сказала, что он прекрасно знает себе цену. Я подчеркнула его особенности и интересы, и написала, что несмотря на то, что он не был отличником — для этого он был слишком красив, и это мешало ему концентрироваться на занятиях более упорно, — все же у него был талант к политике. «Несомненно, — писала я, — из него выйдет когда-нибудь замечательный и галантный дипломат. А когда постареет и отпустит себе козлиную бородку а ля Петровский (один из наших вождей), он еще больше будет пользоваться успехом у женщин». Сочинение вышло в четыре страницы.

Через две недели Анна Александровна принесла наши тетрадки и начала раздавать сочинения, делая при этом некоторые комментарии к каждому. Мы все сидели в напряженном ожидании. Урок уже подходил к концу, а я все еще не получила свою тетрадь. Мое сердце начало стучать сильнее. Узнала ли она всю атмосферу класса? Догадалась ли, о ком идет речь? Как она его оценила? Наконец она взяла последнюю тетрадь и сказала:

— Одно сочинение — отличное! — При этом немного улыбнулась. — Я вам его прочту.

Анна Александровна не сказала, чье это сочинение. Она начала читать, но не успела она прочесть и нескольких строк, как все начали поглядывать на Леню. Она читала, подчеркивая каждую деталь ироническим оттенком, при чем ее лицо оставалось совершенно серьезным. Весь класс начал громко смеяться. Уже прозвенел звонок, но никто не двигался с места. Все сидели, прикованные к ее словам, сопровождая их громкими

раскатами смеха. Леня чувствовал себя уничтоженным. Тут начали спрашивать, чье это сочинение. Я же притворялась, что не мое, и смеялась вместе со всеми. Но Данильченко и Кузьменко начали чаще поглядывать на меня. Они заметили, что я не получила свою тетрадку. Я перестала притворяться, и скоро всем стало ясно, что сочинение — мое. А когда дело дошло до «козлиной бородки», Леня повернулся ко мне, показал кулак и прошептал:

— Я тебя убью.

Теперь испугалась я. А Анна Александровна все читала и читала, сопровождаемая взрывами громкого смеха. Наконец и Леня не выдержал и начал смеяться вместе со всеми. А я почувствовала облегчение — будто камень упал с души, и его слова «я тебя убью» потеряли свое значение.

Мое сочинение Анна Александровна взяла с собой, чтобы читать в других классах. Это, конечно, подняло мой авторитет. А с тех пор между Леней и мной установились простые, дружеские отношения.

Мой дедушка очень гордился моими успехами в школе. Он всегда интересовался, сделала ли я все домашние задания, и приказывал бабушке не загружать меня домашней работой. Все свободное время я должна была уделять чтению и книгам. Нередко Илья Петрович даже помогал мне решать задачи по математике или алгебре, если я сама не могла с ними справиться. Иногда он переписывал задачу и брал ее с собой на работу, где мобилизовал всю команду инженеров-конструкторов, чтобы ее решить. Его коллеги охотно это делали. Это напоминало им школьные годы.

Помню, как однажды учительница по алгебре задала нам очень трудную задачу. Два дня я сидела над ней и не могла решить. Наконец дедушка нашел ошибку учительницы, которую она сделала, переписывая условие на доску. Когда я пришла в класс, оказалось, что никто не сделал задания. Алгебра была вторым уроком. После первого урока я пошла во двор на свежий воздух. Возвратившись, я заметила, что почти никто не выходил из класса на переменку. Все сидели и что-то писали. Я села за парту и хотела вынуть свою тетрадь по алгебре, но ее не оказалось в моей сумке. Кто-то вытащил мою тетрадь, и все, конечно, сидели и списывали.

Начался урок. Учительница вызвала некоторых к доске. После этого она вдруг спросила:

— У кого вы все списали?

Молчание.

— Кто может объяснить решение?

Кроме меня, никто не поднял руки.

— Дайте мне, пожалуйста, вашу тетрадь и идите к доске, — сказала она.

— У меня ее нет, — ответила я.

Одно мгновение продолжалось молчание. Вдруг поднялся Йося и бросил мне на парту мою тетрадь:

— Вот возьми, я не успел списать.

Все рассмеялись, учительница тоже. После этого напряжение спало, и всем стало легче. Учительница прочла моральное наставление и простила на этот раз списывание.

Илья Петрович и его друзья

У моего дедушки было несколько близких друзей в Запорожье. Обыкновенно раз или два в неделю они собирались вечером у нас и обсуждали разные проблемы мира, политические и экономические, всевозможные происшествия, события и прочее. К этому кругу принадлежала одна интересная женщина, которую все называли «Николаевной». Когда-то при царе она была очень богатой, но советская власть все у нее отобрала, и так она очутилась в Запорожье. Она жила недалеко от нас, всего через три домика, у своего зятя, который был членом партии и занимал какое-то видное место в городе.

Второй член дедушкиного кружка был молодой милиционер, наш сосед. Он был женат на дочери нашей соседки, которая работала в столовой. Ее мать была там же поваром. Еще был другом дедушки бывший фабрикант, теперь пекарь в городской пекарне.

В те вечера, когда у нас собирались, бабушка заваривала чай и пекла маленькие коржики, которыми всех угощала. Иногда кто-нибудь из друзей приносил что-нибудь. Их дискуссии продолжались до поздней ночи. Я, обычно приютившись в углу, сидела и слушала их.

Сначала разговор шел о незначительных событиях в городе, затем переходил на более серьезные и политические темы. Как правило, дискуссия становилась все более жаркой и заканчивалась спором о советском режиме. Дедушка, Николаевна и пекарь (бывший фабрикант) вспоминали лучшие старые времена, сравнивали их с современным положением в стране и старались доказать молодому их другу, милиционеру, совершенную несправедливость и подлость советского режима. При этом дедушка часто так расходился, что бабушка и я дрожали от страха и по очереди ходили вокруг дома, чтобы убедиться, что нас никто не подслушивает. Когда же все слишком повышали голоса, бабушка поднимала руки и показывала на стены «с ушами и глазами». Однажды и я не выдержала и на дедушкину ругань сказала:

— Дедушка, ведь наша страна еще молодая. Поэтому не все хорошо. Мы только начинаем строить новую жизнь.

На мои слова никто не обратил внимания. Мне стало немного стыдно, и я замолчала. Когда же все ушли, дедушка обратился ко мне спокойно и тихо:

— Если ты еще раз скажешь хоть слово, когда взрослые разговаривают, то я запру тебя на весь вечер в сарай. Вообще, ты

должна быть довольна тем, что тебе разрешают здесь сидеть и слушать. Если ты не глупая и будешь внимательно слушать, то ты можешь многому научиться. Но вмешиваться в разговоры взрослых тебе еще рано. — Он замолчал, потом через минуту добавил:

— То, что ты здесь слышишь, никто не должен знать. Понимаешь?

Да. Это я, конечно, понимала. Все, что говорил дедушка, было для меня законом. Иногда, когда он приходил с работы недовольным или усталым или когда он был просто в плохом настроении, он всегда облегчал душу тем, что ужасно ругался и все, что ему попадалось под руку, бросал на пол (но только вещи, которые не разбивались). Его ругательства были настолько оригинальными, что я часто не могла скрыть своего смеха, когда была «вне опасности». На одной стене у нас висел портрет Ленина, на другой — противоположной — Сталина. Дедушка повесил их только для того, чтобы изливать на них свою злость. Обычно, когда он был не в духе, он стоял посреди комнаты и, поворачиваясь то к одному, то к другому портрету, кричал:

— Чтоб тебя, сукин сын, выбросило из гроба! — это портрету Ленина.

— А тебя, паразита, чтоб сырая земля не приняла!

Как правило, такие сцены продолжались недолго. Во время этих вспышек бабушка и я убегали во двор и смотрели, нет ли опасности вблизи. Я быстро привыкла к дедушкиным выходкам и перестала их бояться.

Однажды, возвратясь из школы, я заметила на столе письмо.

— Твой отец, — сказал дедушка, показывая на письмо.

Я быстро схватила письмо и начала рассматривать его со всех сторон.

— Наконец письмо от отца! Сколько лет! — Невольно из глаз моих хлынули слезы. Вдруг я заметила, что дедушка и бабушка с напряжением смотрят на письмо. Я разорвала конверт и начала читать.

— Что он пишет? — спросил дедушка каким-то странно слабым голосом.

— Читай, — протянула я ему письмо.

Он взял письмо и начал смотреть на него сосредоточенно. Наконец он проговорил:

— Владивосток!.. Владивосток! У черта на куличках. — Затем добавил:

— Но не так плохо все же. Слава Богу, что он там работает по своей специальности… Но шесть лет! Господи! Так много!

Мы еще долго сидели и смотрели на письмо, то опять

перечитывали, как будто старались узнать что-то новое, чего не заметили раньше. Но ничего нового больше не было.

Заканчивалась последняя четверть учебного года. Все ожидали майских праздников. Первое мая — всегда большой праздник в нашей стране. К этому празднику готовились все школы, все производства, военные и гражданские. Все с нетерпением ждали этого чудесного праздника весны. Первое мая считалось не только праздником трудящихся, но, главным образом, праздником красоты природы. Уже было все в цвету, и люди старались одеться как можно красивее, по возможности в белое, что подходило к цветам и свету. Большинство людей весь месяц май носили белую одежду. Это была своего рода традиция не только в нашем городе, но и во многих других городах.

Первомайский парад начался в десять часов утра. Сначала в колоннах по четыре несли громадные портреты вождей. За ними шествовали отдельные производства и предприятия, каждый показывал свои достижения: гимнасты делали упражнения, театральные труппы показывали сценки, танцоры танцевали, музыканты играли, и хор пел песни. Некоторые предприятия несли свои изделия или везли их на грузовиках. Затем шли военные в красивой форме. А по обе стороны главной улицы стояли толпы празднично одетых зрителей.

Дедушка тоже пришел посмотреть парад. Он надел свою белую форму морского капитана и выглядел молодым и красивым. Все искрилось праздничным блеском — сияло солнце, день был теплый, деревья все в цвету. Я шла в колонне с моим классом, и в конце улицы, почти у Днепра, где наш марш закончился, я встретилась с дедушкой, который ждал меня здесь недалеко. Вместе мы еще постояли с час, глядя на уходящих людей, потом пошли домой. Понемногу все начали расходиться. В конце улицы, где кончалось шествие, лежали в кучах флаги, портреты вождей, лозунги. Все это грузилось на машины и увозилось. Было так странно: еще часом раньше — какой размах коммунистической пропаганды! А теперь — обломки всей напыщенной роскоши! — Куча хлама, на который никто не обращал внимания.

По дороге мы с Ильей Петровичем хотели зайти в ресторан что-нибудь перекусить. Но везде было полно народу, и мест не было.

— Проклятая власть! — выругался дедушка. — С пустым желудком маршируй.

Я заметила, что на нас многие оглядываются. Это, конечно, на Илью Петровича. Он был действительно красив в своей белой морской форме. И мне было приятно идти рядом с ним. Я

гордилась своим красивым дедушкой.

Когда мы проходили через небольшой мостик, разделявший залив реки, мы заметили толпу людей. Подойдя ближе, мы увидели двух молодых татарок, лежащих на земле. Оказалось, что они купались в Днепре и чуть не утонули. Одну успели откачать, а другая еще лежала без сознания. Потом их обеих забрала скорая помощь. Когда все расходились, кто-то из толпы заметил:

— Так им и надо, этим глупым, грязным татарам!

Школьные каникулы

В конце июня школьные занятия закончились, и я поехала в Краматорск, где жила мама с сестрами и братом. Они жили все там же, в доме, похожем на барак, и ютились в одной большой комнате. Но города я почти не узнала. Я была просто поражена, как изменился его облик за такое короткое время. Особенно изменилась новая часть города. Огромные новые заводы возвышались за поселками рабочих. Утром они заглатывали массу трудящихся, а вечером выбрасывали их, голодных и грязных. Большой ров или, вернее, искусственная река, куда стекала вода из заводов после промывания и охлаждения стали, разделял всю новую часть города на три рабочих поселка. Один из них назывался цыганским поселком, потому что там главным образом жили цыгане. Советское правительство принудило их бросить кочевую жизнь и заняться какой-нибудь работой. Правда, им разрешили оставить себе своих лошадей и повозки, конечно, при условии, что они будут работать на них в колхозах и совхозах. Цыгане согласились. Да что им, вообще-то, оставалось делать? Рано или поздно советская власть все равно доберется и до них.

В поселке, отведенном специально для них, они начали строить домики из глины и соломы. Таким образом, вырос целый район. Но все же им, вероятно, нелегко было привыкать к оседлой жизни. Когда бы кто ни проходил мимо их поселка, в любое время их можно было видеть на улице. Даже вечерами они сидели до поздней ночи перед своими мазанками, разводили костры, готовили пищу, громко переговаривались, пели и танцевали. Огни их костров превращали весь поселок в настоящий цыганский табор. Ржанье коней, которые стояли возле их домиков, крик детей, пение, танцы, гаданье на картах — все смешивалось во что-то нереальное, фантастическое. Тем не менее, это была реальная жизнь. Иногда они отрывались от своей оседлости и группами ходили в другие поселки, где за плату давали представления. Платили им местные власти. Так как прямо с людей брать деньги запрещалось законом. Тогда молодые цыганки в пестрых юбках и роскошных, наброшенных на плечи платках танцевали с бубенцами, а их мужья играли или тоже плясали. Мы очень любили эти представления. Каждый раз там были целые толпы людей.

В другом, соседнем с цыганским поселке жили в основном русские из далеких северных районов России. Их тоже прислали работать на Украину, в промышленные центры, конечно, не без

задней мысли русифицировать Украину. Но среди них было и много украинцев из Галиции. Их прислали сюда на работы в 1939 году, после того как Советский Союз занял территорию Польши. Это были главным образом холостые мужчины и женщины.

В третьем поселке, где жили мы и наши друзья из Остхейма, то есть семьи репрессированных, было больше семейных. В одном из бараков находился детский сад, куда рабочие женщины отводили своих детей.

Все дома, или, скорее, такие же бараки, как и везде, были построены самым примитивным образом. В каждой квартире было по одной или по две комнаты, редко по три. Кроме большой комнаты, у нас была еще маленькая кладовочка. Но для нас, пяти человек, места было все же мало. В комнате стояла только одна кровать. Мы, дети, спали на полу. Это было бы еще ничего, если бы не армии клопов, которые заедали нас ночью. И с этим ничего нельзя было сделать, так как они приползали от соседей или из других домов. Деревьев в поселке почти не было. Все было голо, некрасиво, неуютно, серо.

Километра на два дальше от этих бедных поселков вырастал еще один — в сущности, новая часть города. Дома и здания здесь сильно отличались от рабочих, наскоро сколоченных бараков. Это были высотные жилые дома со всеми удобствами. Вокруг каждого дома сажали деревья, кусты, клумбы, делали дорожки со скамейками и столиками, где можно было сидеть в летнюю жару и отдыхать. Еще здесь строили кинотеатры, библиотеки, школы. Целый комплекс зданий, окруженный со всех сторон деревьями, — почти отдельный городок — был отведен для больницы со всеми современными исследовательскими лабораториями.

В этом поселке жила городская интеллигенция и испанские эмигранты, которые во время Испанской гражданской войны приехали в Советский Союз. Хотя многие из них работали на заводах, как и все другие рабочие, им предоставлялись самые удобные квартиры. Многие из них прекрасно изучили русский язык и работали в конторах. Несмотря на то, что жили они в нашей стране уже больше года, они все еще отличались от наших людей. Их одежда была красивее и элегантнее нашей. Кроме того, они отличались от нас своей немного темноватой кожей и особенно гордым выражением лица, таким типичным для испанцев.

Мама работала на строительстве. Да, она строила эти прекрасные, удобные квартиры для других, а мы ютились в одной комнате с клопами. Ее зарплата была мизерная. Тяжелая работа и недоедание наложили свой отпечаток на ее лицо. На лбу у нее

появились две глубокие морщины. Чтобы облегчить ее заботы о нас, мы, дети, шли летом работать в совхоз. Конечно, мы тоже зарабатывали немного, но это было не так важно. Главное, что мы могли есть в совхозе, собирая огурцы, помидоры, малину. А вечером, идя домой, мы иногда ухитрялись прихватить кое-что с собой, хоть брать домой овощи и фрукты строго воспрещалось. За этим следил бригадир, разъезжая по полю верхом на лошади. Самым важным для нас был обед в совхозной столовой: там за копейки мы могли вкусно и питательно поесть. И это было куда лучше, чем деньги, на которые мы, так или иначе, ничего не могли купить.

Так обычно проходили наши летние каникулы. Вечерами мы вместе сидели на крыльце и обсуждали письма отца, которые теперь приходили регулярно, раз в месяц. Иногда мы получали посылки от дяди Феди. Чаще всего это были сухие продукты или одежда и обувь. Но он отсылал их под чужим именем. Теперь он был нашим единственным спасителем. Без него мама никогда не смогла бы нас ни прокормить, ни одеть. Но навестить нас он не мог. Как комиссару армии, ему нельзя было иметь связь с семьями репрессированных. Много лет спустя, после окончания войны и смерти Сталина, мы узнали, что дядя был обязан своим положением в армии, во время пребывания отца в Сибири, простому случаю. Когда шла очередная проверка высшего офицерского состава, в наш район, где родились дядя и отец, послали для заполнения анкеты. Там был вопрос, есть ли родственники, из которых кто-нибудь сослан в Сибирь как враг народа или заключен в тюрьму? На этот вопрос кто-то из служащих районного отделения ответил «нет». Позже, когда все прошло, отец думал, что это сделал кто-то из друзей семьи. Ведь все знали в районе, что отец сослан на пять лет в Сибирь с лишением на год права голоса. Таким образом в то время удалось дяде остаться в армии офицером.

Во время моего пребывания в Краматорске я познакомилась с моей ровесницей Лилей, которая жила в соседнем рабочем поселке с отцом и братом. Оба они работали на фабрике, а Лиля занималась по хозяйству. Она подружилась с нашей мамой и часто навещала нас. Она завидовала нам, что у нас «такая хорошая мама». Вечерами она посещала курсы медсестер и однажды пригласила и меня пойти с ней. Преподавание меня очень заинтересовало, и вскоре я сама записалась на эти курсы. Теперь вместе с Лилей я три раза в неделю ходила на лекции. Их читали нам разные медицинские специалисты. Это был интенсивный курс медсестер запаса РККА (Рабоче-крестьянской красной армии), и поэтому преподавание было особенно

тщательным. Зимой, когда я уехала опять в Запорожье учиться, Лиля прислала мне свои конспекты, и я продолжала учиться заочно. Эти лекции давались мне довольно легко, так как анатомию и физиологию человека я уже изучала в школе.

Когда на следующее лето я опять вернулась в Краматорск, он показался мне настоящим адом. Нужда и недостаток продуктов были невероятными. Или я просто раньше этого не замечала? Очереди за хлебом и за другими продуктами стали как будто еще длиннее. Уже с вечера женщины и дети собирались у магазинов и простаивали целую ночь, чтобы наутро быть первыми. Но скоро милиция стал разгонять эти толпы у магазинов. Тогда народ собирался за домами, становясь там в новые очереди. Иногда таких очередей было несколько. Утром, в восемь часов, как только открывался магазин, люди к нему бросались со всех концов, сбивая друг друга с ног, ругаясь и крича. В это время толпы у магазинов особенно увеличивались — на заводах и фабриках менялась смена, и рабочие, усталые и голодные после ночной работы, нажимали на толпу женщин и детей и отталкивали их в сторону. Нередко случалось, что из толпы выносили придавленных или без сознания. Милиционер, которого вызывали навести порядок, ничего не мог сделать, беспомощно стоял в стороне и смотрел на взбесившуюся от голода толпу.

В этом году, как никогда прежде, я почувствовала, что город находился в каком-то странном волнении. На улицах города появились группы военных, бывших участников финской войны. Они довольно открыто ругали советское правительство. Иногда к ним присоединялись заводские рабочие, и между ними разгорался спор, что делается в стране правильно и что неправильно. Кто-то припоминал времена Испанской гражданской войны, когда нигде нельзя было купить ни масла, ни муки, ни сахару. А когда об этом спрашивали в магазинах, ответ всегда был один и тот же и с той же иронией: «Масло поехало в Испанию». Говорили и о том, как во время финской войны вся транспортная система находилась в полном хаосе. Не было ни машин, ни автобусов. Путешествовать из города в город стало абсолютно невозможно. Все виды транспорта были мобилизованы на войну с Финляндией. В магазинах нельзя было купить даже спичек. Теперь за все это люди искали ответственных. А так как слишком сильно протестовать против правительства было опасно, то искали других виновников: на улицах можно было слышать крики пьяных: «Бей жидов — спасай Россию!» Этот еще дореволюционный лозунг не умер среди советских антисемитов. На всякие такие «беспорядки» НКВД всегда реагировал

немедленно. Часто можно было видеть, как большие грузовики останавливались возле толпы, НКВДисты окружали собравшихся, грузили их на машины и увозили.

Почему среди советских граждан все еще жил дух антисемитизма? Это вообще было вне советской политики. По крайней мере, теоретически. В начале формирования советского правительства еврейское большинство превосходило русских и все другие национальности. Тот факт, что, в сущности, евреи вместе с Лениным сделали революцию и сформировали советское правительство, как-то ускользал от русского народа по тем причинам, что большинство евреев приняло русские фамилии. Те же, которые знали, что пропагандистами марксизма были в большинстве своем евреи, не задумывались над тем, почему коммунистическая революция привлекла так много евреев. Мне кажется, что евреи, как и многие русские интеллигенты, видели в революции возможность свободы от царского режима. А евреи надеялись наконец освободиться и от антисемитизма. Когда Сталин изгнал Троцкого, как опасного кандидата на должность секретаря Партии, он начал уничтожать всех старых большевиков, верных соратников Ленина, среди которых подавляющее большинство составляли евреи. Тот факт, что евреи так же страдали от советского правительства, как и русские, совсем не учитывался теми, кто кричал на улицах «Бей жидов — спасай Россию!». Как бы там ни было, но подобных «беспорядков» в то время на улицах промышленных городов было очень много.

В этом, 1940-м, году меня также поразил другой феномен в Краматорске, типичный и для многих других городов Советского Союза. А именно — целые армии беспризорных детей — продукт хаоса коммунистического переворота. Теперь эти дети подросли и целыми шайками шлялись и хулиганили по улицам. Чтобы справиться с этой проблемой, правительство организовало так называемые Ф.З.У. — фабрично-заводские училища.

Это были своего рода школы быстрого обучения спецрабочих для заводов и фабрик. Теперь целые отряды молодых людей, подростков, мужчин и женщин, мобилизовывались в Ф.З.У., некоторые добровольно, другие насильно. Их помещали в большие казармы, где они жили. Там их кормили и одевали, а по утрам вели на работу-обучение на заводы и фабрики. Все они носили черную форму, черные шинели и темные рубашки и брюки. А вечером они возвращались в свои казармы. В народе — потому что они были одеты в черные шинели — их прозвали «черношинельниками». Хотя многие, вернее подавляющее большинство из них, были круглыми сиротами, были и такие, которые ушли из дому из-за недостатка еды и одежды. Это были

добровольцы.

Мнение же народа о Ф.З.У. было разное. Многие приветствовали создание Ф.З.У., так как беспризорным предоставлялась возможность научиться работать, кроме того, они имели пищу и одежду. Таким образом, всякие мелкие преступления, вроде мошенничества и воровства, как будто прекратились. Другие же относились к Ф.З.У. с подозрительностью и презрением. Они знали, что этим советское правительство готовит дешевых специалистов, иными словами, покорных новых рабов. Отношение к ним рабочих на фабриках было тоже недружелюбное: рабочие чувствовали, что эта черная армия грозит вытеснить их когда-то, так как ученики Ф.З.У. всегда являлись на работу вовремя, тогда как среди старых рабочих пунктуальность не особенно соблюдалась. Недаром с середины 1930-х годов правительство применило драконовские меры к трудящимся в борьбе с опозданиями и прогулами на работе. За пятиминутное опоздание судили и ссылали в лагеря на принудительные работы. Но с созданием Ф.З.У. советское правительство готовило теперь более дисциплинированную рабочую массу. Однако все эти жестокие меры в отношении опозданий и прогулов не принесли желаемых результатов. Наоборот, фабрики и заводы скоро почувствовали недостаток рабочей силы в связи с бесчисленными судебными процессами против нарушителей трудовой дисциплины и ссылкой их в Сибирь или на Урал. Поэтому вскоре вышло распоряжение отменить преследования за опоздания и прогулы. Но опоздания и прогулы продолжались, несмотря на внедрение Ф.З.У. Простому трудящемуся, холостяку или семейному, трудно было не опаздывать на работу. Главная причина была, конечно, экономическая. В погоне за хлебом, за продуктами, когда люди простаивали в очередях, нельзя было не опоздать или проспать на работу.

Работники же Ф.З.У. никогда не опаздывали. Они были всем обеспечены: они ели в своих столовых, им выдавали одежду, у них было теплое, хоть и общее жилье. Уже рано утром в колоннах по четыре черношинельники маршировали по городу на работу и пели хором песни о Сталине и партии, песни, в которых чувствовался беспощадный дух сталинского режима. После окончания обучения, обыкновенно оно продолжалось от 3-х месяцев до года или полутора, учеников Ф.З.У. направляли в разные концы страны, где нужны были рабочие определенных специальностей.

Перед моим отъездом из Краматорска мы с мамой пошли навестить наших знакомых из Остхейма — жену Данина и

мамину подругу Белкину. Жену Данина я почти не узнала. Она ужасно похудела и постарела. От когда-то изящной светской дамы не осталось и следа. В ее безнадежном взгляде отражалась вся пустота ее существования. Ее муж отбывал свою десятилетнюю ссылку где-то в Сибири, а сын, бывший поклонник моей подруги Кати, красавец-блондин, поступил в Ф.З.У. Дочь Нина, наша остхеймская Кармен, бывшая любимица всех, стала похожей на цыганку. От ежедневной работы на совхозных полях ее лицо почернело, высохло от солнца и потеряло свое обаяние. Даже черные глаза, в которых раньше горел огонек юности и беззаботности, приняли какое-то потерянное выражение, как у людей, которые давно смирились со своим безнадежным положением. За все эти три года никто из них не получил ни единой весточки от отца. Они не знали даже, жив он или нет. Глядя на них, нельзя было теперь и представить, что когда-то это были первые члены привилегированного общества в Остхейме.

Зато Белкина справлялась со своей судьбой гораздо лучше. Она жила недалеко от нас со своими тремя дочками-белочка-ми. После ссылки ее мужа вместе с нашим отцом она сразу же уехала в Краматорск, куда потом пригласила и мою маму. Здесь она нашла какого-то дальнего родственника, который помог ей получить квартиру из двух комнат в лучшем бараке. А сама она устроилась официанткой в рабочей столовой. Когда-то в молодости она работала прислугой у чужих и была, конечно, практичнее, чем моя мама и госпожа Данина. Утром она запирала своих девочек в квартире, а сама шла на работу. Возвращалась она после обеда и убирала квартиру, которую ее дети за это время всегда успевали превратить в полный бедлам. Но она не сердилась на детишек и спокойно убирала. При этом она сохраняла всю свою прежнюю жизнерадостность и казалась такой же молодой и привлекательной, как и раньше. Иногда кто-нибудь из нас, чаще всего это была Нина, брал ее белочек с собой в кино. Это были милые, наивные дети, такие же жизнерадостные, как их мама.

После моего возвращения в Запорожье как никогда прежде я бросилась к книгам. Мне казалось теперь, что в жизни правды нет, а в книгах я могу ее найти. Мне казалось, что книжный мир более красивый по сравнению с тем, который меня окружал. В книгах не было вечной погони за продуктами, длинных очередей, голодной массы рабочих и бездушности воспитания Ф.З.У. Время от времени я писала стихи, главной темой которых было ужасное положение народа и вся ложь советского режима. Эти стихи я никому не показывала, даже дедушке. Я показывала дедушке другие стихи, о природе, о великих исторических событиях. Отец

в своих письмах из Сибири присылал мне чудесные описания природы, покрытых снегом сибирских лесов, а я сочиняла о них небольшие стихотворения, которые посылала ему и показывала дедушке. Некоторые из этих стихов появились в нашей школьной газете.

В том году в Запорожье я впервые увидела иностранных туристов. Они находились в здании Интуриста, которое располагалось у самого берега Днепра, как раз на моем пути в школу. Однажды, проходя мимо, я услыхала пение русских песен. Я подошла ближе к забору, у которого уже стояло несколько любопытных, и через щель начала смотреть внутрь двора. Там, между деревьев, за маленькими столиками, на которых лежало разное вкусное печенье и стояли чашечки с чаем и кофе, сидели иностранцы и слушали пение русского хора. Мне сразу же бросилась в глаза их элегантная одежда: женщины были в хороших костюмах и белых, как снег, блузках, а в руках у них были изящные сумочки. На других были пестрые платья, совсем не похожие на наши, советские. Недалеко от отеля сидел нищий старик. Но через несколько минут явился милиционер и прогнал его. Попрошайничать на улицах запрещалось, особенно, когда в городе находились иностранцы или делегаты каких-нибудь конференций. Милиционер прогнал и нас, торчащих у забора и смотревших во двор Интуриста.

Зима прошла быстро. Наступила весна 1941-го года, а с ней и время выпускных экзаменов. Надо было усиленно заниматься. Когда в конце мая руководительница нашего класса ставила нам четвертные и годовые отметки, она объявила, что два ученика из нашего класса освобождаются от экзаменов. Она назвала фамилию Кузьменко и… мою.

Дедушка очень обрадовался моему успешному окончанию школы. А я ощущала странное волнение. Вместе с радостью я чувствовала еще что-то неопределенное, что-то, что бросало легкую тень на мое успешное окончание школы. Мне было грустно, что пришла пора разлуки с друзьями, с которыми я за три года очень подружилась. Мне было печально уезжать от бабушки и дедушки, которые заменили мне моих родителей. Пришло время расстаться с жизнью, которая текла своим определенным руслом, без особых забот и приключений. Так внезапно я стала взрослой и… одинокой.

Дедушка и бабушка плакали от радости, когда я сообщила им, что освобождаюсь от экзаменов. Они плакали и через неделю, когда провожали меня на станцию:

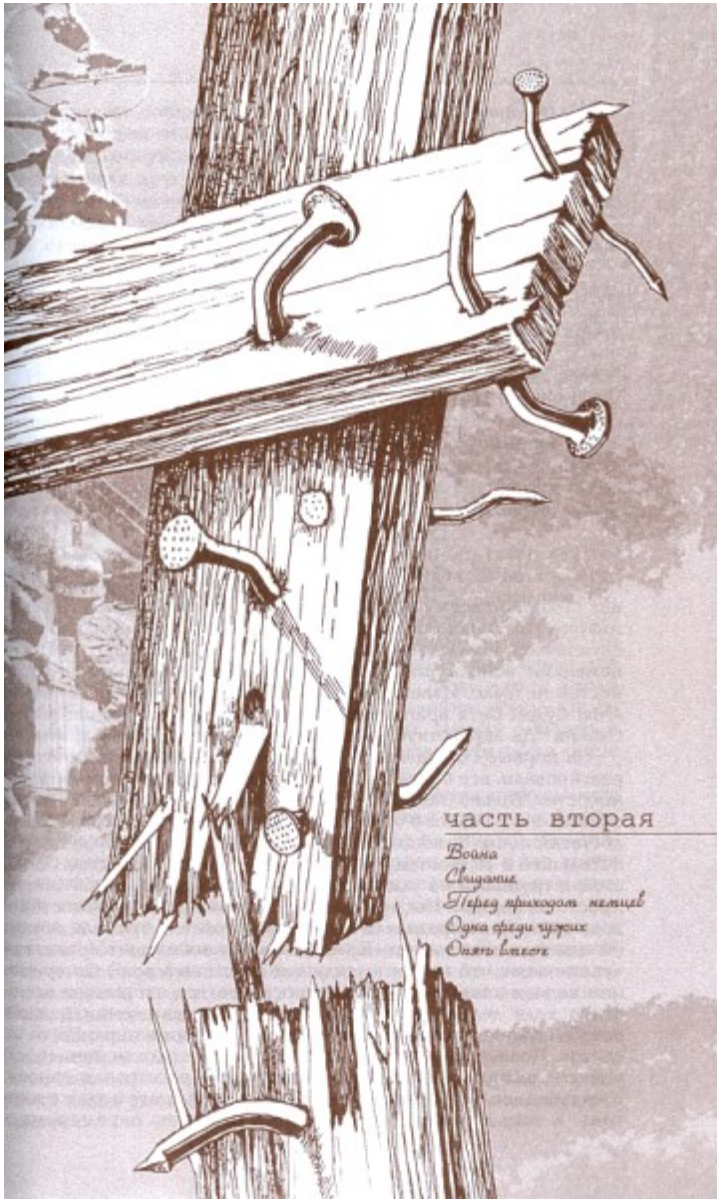
— Не забывай нас, — говорила бабушка, вытирая кончиком платка глаза, — мы тебя жалели и заботились о тебе.

— Как же можно, бабушка, — отвечала я, — я скоро приеду к вам в гости.

— Пиши нам чаще, — сказал Илья Петрович и помахал мне рукой, отворачивая лицо.

В поезде я сидела молча, совершенно погрузившись в мысли о новых планах и целях моей жизни. Я думала о том, что поступлю в университет — все родственники хотели, чтобы я училась на врача. Я думала также о том, как я совершу длинное путешествие к отцу, в Сибирь, где он отбывал свои годы ссылки. Я думала также, что стану писать стихи обо всем, что увижу вокруг, особенно о возвышенных и красивых вещах, чтобы облегчить уродливую действительность. Но всем этим высоким планам и целям не суждено было осуществиться. Через две недели после моего приезда в Краматорск началась война.

Часть вторая



Война

22-го июня 1941 года толпы людей на улицах стояли по всему городу и слушали, что передавали громкоговорители. Люди почти жались друг к другу, внимательно прислушиваясь к каждому слову диктора. Сообщалось о том, что немецкие войска перешли нашу границу. Никаких подробностей не было. Известия оканчивались следующими словами: «Мы будем бить врага на его же территории! Да здравствует Сталин! Да здравствует наша непобедимая Красная армия!»

На первые сообщения о войне с Германией люди почти не реагировали, все буквально оцепенели. Это были неимоверные новости. Только понемногу весь ужас этих новостей начал охватывать каждого в отдельности. Страна еще испытывала недостатки после помощи Испании, после войны с Финляндией и с Польшей в 1939-м году. И вот опять — новое несчастье. Люди стояли группами на улицах и обсуждали случившееся. Многие просто не верили. Несмотря на то, что никаких подробностей о ходе войны не передавали и громкоговорители трубили всегда об одном и том же, что Красная армия побеждает врага, все чувствовали, что немец — сильный и опасный враг. Со временем начали какими-то путями просачиваться настоящие новости о ходе дел на фронте, о быстром продвижении немцев вглубь страны и о беспрестанном отступлении наших войск на восток. Позже радио начало сообщать о жестокости немцев, об изнасилованиях женщин, об убийствах и расстрелах евреев. Каждый день на улицах можно было видеть одну и ту же картину: к часу дня, когда передавались известия, перед громкоговорителями собирались группы людей. Во время известий стояла мертвая тишина. Но как только они заканчивались, начиналось обсуждение событий: вполголоса, иногда шепотом, рассказывали друг другу о настоящем положении на фронте, так как никто не верил больше радиопередачам. А то, что люди рассказывали друг другу, вовсе не соответствовало официальным сводкам. Нередко после новостей уже можно было слышать недовольные голоса:

— А что нам защищать? Очереди за хлебом или клопов в коммунальных квартирах?!

— Что они болтают о силе Красной армии? Почему тогда отступают?!

Но скоро после сообщения новостей милиция начала разгонять собравшихся. Последние новости можно было слушать на улицах, но не стоять группами.

Время летело, и вскоре после сообщения о войне в городе начало появляться много военных. Порой можно было видеть эшелоны грузовиков, тянущихся по дорогам. Порой они останавливались, и ехавшие шли то в магазин, то в столовую, затем опять уезжали.

Раньше никогда народ не покупал так много газет, как теперь. Перед киосками обычно стояла огромная толпа. Несмотря на то, что из газет все равно нельзя было узнать правды, кроме давно постылых лозунгов и незначительных двусмысленных сообщений о ходе войны, люди жадно читали их. Но вскоре подозрение в умалчивании настоящего положения дел на фронте стало все больше усиливаться. Люди как-то умели сообщать друг другу настоящие факты о войне: всегда кто-то знал больше, чем было написано в газетах. Начали говорить о том, что немцы подходят все ближе и ближе, и эти слухи скоро оправдались.

Впервые ровно через два месяца после начала войны немцы бомбардировали Краматорск. Они сбросили только две бомбы недалеко от нашего поселка: одна упала на старый машиностроительный завод, другая — на совхозное поле. В это время все жители нашего поселка, да и соседних тоже, стояли на улицах и смотрели на немецкие самолеты. Казалось, никто не боялся. А самолеты — их было всего два — не спеша кружили над городом. На их крыльях была ясно видна свастика — фашистский знак. Своим медленным кружением они были похожи на хищных птиц, только птицы эти, в отличие от настоящих, могли убить издалека, не касаясь жертвы.

— Смотри какие! — заметил кто-то в толпе. — На новый завод не бросили!

— Еще бы! — ответил другой голос. — Они ведь знают, что новый завод выстроен их же инженерами. Он им может пригодиться!

А на следующий день после бомбежки начался демонтаж промышленных предприятий. Всех специалистов мобилизовали на упаковку машинных частей, которые тут же грузились на поезда и отправлялись на Урал. Мама тоже должна была работать на заводе. Строительство домов прекратилось сразу же после начала войны, и некоторое время мама была дома. Теперь и ее привлекли к работам по демонтажу. А военных в городе стало еще больше. Каждый день можно было видеть, как грузовики, заполненные «краснофуражниками» — так называли НКВДистов, — уезжали на восток. За ними следовали их семьи с багажом. Рабочие же и служащие оставались.

Недалеко от нас жила одна еврейская семья. Глава семьи, по фамилии Зильберман, работал мастером на заводе. Там же

работала Тоня, дочь одного жильца из нашего дома. Говорили, что Тоню сослали на три года на принудительные работы в Сибирь по инициативе Зильбермана. А когда Зильберман с семьей эвакуировался на Урал, вдруг появилась Тоня, и все узнали ее печальную историю.

Когда Тоне исполнилось 16 лет, она вышла замуж за летчика — Героя Советского Союза. С ним она уехала в Москву, где недалеко от аэродрома они получили хорошую квартиру. Через восемь лет самолет, на котором летел ее муж, разбился. Тоня осталась вдовой с шестилетней девочкой. А через некоторое время у нее отобрали квартиру. Тогда она продала свои вещи и вернулась с дочерью в Краматорск, к матери. Здесь она начала работать на заводе; Зильберман был ее мастером. Работала она отлично, и за это ее наградили Стахановской премией. Через некоторое время поломалась ее машина. Она получила другую от мастера. А когда и этот станок испортился, Зильберман вызвал ее к себе и сделал выговор. Он ругал ее за то, что она не выполнила нормы. Оба разгорячились, и Тоня назвала мастера «жидом». За это Зильберман подал заявление в суд. Тоню обвинили во вредительстве народного добра и в антисемитизме и приговорили к трем годам принудительных работ в Сибири. Ее забрали и увезли, а дочь осталась с бабушкой. Но через год пребывания на каторге Тоня начала искать возможности для побега. Ей удалось пробраться к железной дороге, где она познакомилась с машинистом паровоза, который спрятал ее и привез на Украину. Только теперь стало известно, что Тоня уже три месяца пряталась у матери. Позже, как только немцы оккупировали Краматорск, Тоня добровольно уехала на работы в Германию.

Лето 1941-го года было очень жаркое. Понемногу все население города привыкло к мысли, что немцы подходят все ближе и ближе. А город наполнялся беженцами, которые двигались на восток. Машины, повозки, брички, пешеходы — все тянулись медленно через город, но наша жизнь изменилась мало. Все так же не хватало продуктов в магазинах, все те же были длинные очереди за хлебом, даже длиннее, чем прежде. Но так было и до объявления войны, поэтому никто не беспокоился об этом. Вечерами, как и прежде, молодые люди гуляли по улицам, смеялись, ходили на свидания, обнимались и целовались под фонарями. В соседнем поселке цыгане, как всегда, днем и ночью сидели перед своими мазанками и жгли костры, готовили пищу, пели и танцевали, а их дети шумной толпой, в оборванной одежде, беззаботно дразнили собак.

Когда ночи были особенно жаркими, мы всей семьей спали во дворе на соломе. Там было прохладнее и легче насчет клопов. Я

часто не могла уснуть и думала о неизвестном будущем, о войне, о Сибири, где был наш отец. Туда поехать я больше не могла. К тому же он перестал нам писать или мы не получали его писем и не знали, где он. Я часто лежала с раскрытыми глазами и смотрела в небо на яркие далекие звезды. Иногда я смотрела на влюбленных, которые обнимались и целовались. Это были, главным образом, заводские рабочие, мужчины и девушки. Некоторые из девушек встречались с солдатами, которых теперь было много в городе. Глядя на них, я не могла понять, как можно в такое время, когда страну постигло такое огромное несчастье, заниматься любовными «делами». Я вспоминала наши уроки физиологии, когда учителя говорили нам, что любовь — это чисто физиологический процесс. Иногда мне даже было противно смотреть на этих парней и девушек — ведь где-то на фронте умирают люди. И мне казалось, что я должна быть выше этих «физиологических процессов» в человеке. Я хотела превзойти эти «функции», доказать, что человек создан для чего-то более высокого. Помню, как еще в школе, изучая быт и нравы древних государств, я увлеклась историей амазонок — женщин, которые вели войны против мужчин. Эти женщины казались мне высшими существами, особенно потому, что ради умения владеть луком и стрелами они отрезали себе грудь. Смелость и мужество этих женщин были для меня тогда высшим идеалом. И я презирала любовные парочки, которые ночью под фонарями обнимались и целовались. Глядя на то, как мужчины трогали бедра и груди девушек, я считала их «низшими существами». Никто из них и не думал о героических подвигах, которые теперь нужны в борьбе с врагом. Я не понимала, почему все советские люди не ведут себя соответственно коммунистическим идеалам, самоотверженности, высокой ответственности перед родиной. Здесь было что-то не то. Какие-то противоречия всплывали одновременно на поверхность и мешали мне уложить мои мысли в одно целостное и гармоничное. В быту все выглядит так банально и низко. А секс, по-видимому, играет большую роль в жизни этих людишек. И впервые странные подозрения начали вплетаться в мои высокие мысли.

Свидание

Однажды ночью я долго лежала с открытыми глазами и не могла уснуть. Мы опять спали во дворе. Месяца не было, но от сияния миллиардов звезд было почти так же светло, как и при луне. Где-то часы пробили полночь. Ничто не шевелилось. Везде все спало, даже влюбленных я не видела в этот вечер. Вдруг послышалось тихое пение. Я тотчас же насторожилась и приподняла голову: от угла дома отделилась тень. Это был военный. Он медленно шел, наклонив голову, и пел песню. Я никогда не слыхала этой мелодии. Почти все советские песни были мне знакомы: о героях, о Сталине, о нашей родине, даже любовные песни нашего времени были мне известны. Но этой песни я никогда не слыхала. Это была необыкновенная песня: казалось, что этот напев соединил вместе печаль и надежду; нежность, мужество и твердость. Я лежала, как очарованная.

Когда военный подошел совсем близко, я затаила дыхание и, слегка приподняв голову, жадно смотрела на него. Он был среднего роста, стройный, его лицо при звездном свете казалось бледноватым; темные волосы слегка спадали на лоб. Он шел не спеша, и пел… Я почти застыла от напряжения… Затем, как завороженная, встала и побрела за ним…

Только когда мы очутились за поселком и мелодия вдруг оборвалась, я внезапно очнулась. Я стояла перед зданием военного управления, куда исчез мой ночной незнакомец. Не совсем понимая, что произошло, я быстро вернулась домой, легла рядом с моими и скоро уснула.

На следующий день странная мелодия не выходила у меня из головы. Рано утром за мной зашла Лиля, чтобы идти в школу медсестер, где мы должны были в тот день сдавать зачет. Мы сдали наши экзамены и через неделю получили дипломы, в которых говорилось, что мы медсестры запаса Рабоче-крестьянской красной армии.

Время тянулось медленно. Военные все время наполняли наш город. Иногда казалось, что он стал военным лагерем. И атмосфера этого лагеря поневоле влияла на нашу жизнь.

Однажды мы с Лилей пошли на прогулку вдоль нашей искусственной реки, текущей длинным каналом с завода. Мы остановились у поселка цыган и довольно долго смотрели на их костры, слушали их песни. Было уже поздно, когда мы возвращались домой той же дорогой вдоль реки. Два офицера, которые шли нам навстречу, остановились, поравнявшись с нами. Один из них сказал:

— Девушки, разрешите проводить вас.

Это была всем известная манера парней заводить знакомства. Лиля улыбнулась и кивнула головой в знак согласия. Мы назвали наши имена и дальше пошли вместе. Когда дорожка стала уже и нельзя было идти всем вместе, мы пошли парами. Я заметила, что офицер, который шел рядом со мной, был немного похож на моего дядю Федю. Черты его лица были красивые, как у дяди: прямой нос, темноватые волосы, слегка спадающие на лоб, и карие глаза, теплые, насмешливые и нежные, как у дяди. Он был среднего роста, строен, как мой дядя. И в то же время похож на того военного, за которым я ночью шла, не зная почему. А может, это и был он? Кто его знает! Он рассказывал мне о себе: родился на Урале, учился в Москве в Военной академии, а теперь его прислали в Краматорск, отсюда он отправится на фронт защищать родину.

— Сколько времени вы будете в Краматорске? — спросила я.

— О, это военный секрет, — засмеялся он. — А вы? Вы отсюда, — спросил он в свою очередь.

— Виля, — вдруг прервала нас Лиля, — я сегодня ночую у тети, и мне надо в другую сторону. — И тут она протянула нам на прощанье руку. Это, конечно, она сделала нарочно, чтобы подольше пофлиртовать с офицером. Но я ничего не могла сделать, и мы с Николаем — так звали моего знакомого — пошли дальше.

Уже начало темнеть, когда я вдруг заметила, что мы были за пределами поселка и шли совхозными полями. Перед нами раскинулась ровная степь. Я не знала, о чем говорить, и потому молчала. Мне хотелось вернуться домой. Он заметил мое колебание и остановился:

— Не уходите, Виля, вечер такой красивый и тихий и… может быть мы с вами никогда больше не увидимся.

Что-то меня тронуло в этом спокойном, тихом голосе, и я согласилась еще остаться. Несколько минут мы молча шли рядом. Со стороны я смотрела на лицо Николая, и мне казалось, что его мысли были где-то далеко.

— Слушайте, — вдруг, как бы проснувшись, обратилась я к нему, — вы умеете петь?

— Да, а что?

— А знаете новые песни, каких у нас здесь не поют? Может, что-нибудь споете, Николай?

— Называйте меня просто Колей, — сказал офицер, взял мою руку и поднес к губам. Я быстро отдернула руку. Николай засмеялся, а я растерялась — этот жест совсем не подходил в моем представлении к офицеру Красной армии.

— Но я вас… не знаю, — пролепетала я неуверенно.

— Это ничего.

Перед нами был небольшой обрыв, и я побежала вперед. Коля пустился за мной, и внизу мы столкнулись. Он обнял меня и слегка прижал к себе. Так прошло несколько мгновений, и вдруг я почувствовала себя легко и свободно. Какое-то странное доверие к этому неизвестному офицеру вытеснило мою неуклюжесть и стеснение.

— Спойте песенку, Коля, — опять попросила я.

И он начал петь… Его голова была немного приподнята, а глаза смотрели куда-то вдаль. И как у того ночного певца, волосы падали ему на лоб. И мелодия была та же самая… был ли это тот, кого я увидела ночью и за кем побрела неизвестно почему? И опять эта песня как бы зачаровывала меня: печаль и нежность, твердость и надежда, — все переплелось странным образом. Что это за песня? Почему она меня так глубоко трогает? Этого со мной раньше никогда не случалось.

Когда он закончил петь, я молча смотрела на него. И лишь когда он опять прижал меня к себе, и я почувствовала силу его теплых рук и легкий вкус табака на своих губах, я очнулась. Мы молча смотрели друг на друга. В эту минуту мне казалось, что случилось что-то важное. Мне казалось, что самое главное в жизни это узкая тропа, по которой мы оба шли. И мне захотелось, чтобы эта тропа никогда не кончилась… Война, высокие мысли о геройстве и мужестве, родина, для которой мы должны все приносить в жертву, вдруг показались мне чем-то незначительным и далеким.

Была уже почти полночь, когда я вспомнила, что мне надо идти домой.

— Мне пора!

Коля проводил меня к дому. На углу мы простились.

— Вы придете завтра?

— Да, я приду. В девять часов вечера. Здесь на углу. До свидания!

И я побежала в дом. А дома обо мне уже беспокоились:

— Где ты была так поздно? — спросила мама.

— С Лилей, — ответила я.

— Там на печке твой ужин.

— Спасибо, мне не хочется есть.

В эту ночь я долго не могла уснуть. А на следующий день, когда я думала о моем свидании с Николаем, мне казалось, что я достойна такого же презрения, как те заводские девушки, которые поздно ночью целовались и обнимались у фонарей, в то время как на фронте умирают за родину. И я решила больше не встречаться

с Николаем. Но в течение дня я часто ловила себя на мыслях о нем и заметила, что с нетерпением жду вечера. Весь день я была как-то особенно рассеянной и на вопросы отвечала невпопад.

После ужина мы, как всегда в теплые вечера, вынесли стулья на крыльцо и сели у входа в квартиру. Брат Иван шутил, и все смеялись. Я тоже смеялась, но время от времени поглядывала на угол дома. Около девяти — уже стало темнеть — я увидела, как от утла, того утла, где мы сговорились встретиться, отделилась фигура военного. Это был Николай. Медленно, как бы в нерешительности, он приближался к нам. Затем остановился у веранды и спросил:

— Здесь живет девушка Виля?

— Здесь не живет никакая Виля, — выпалила я быстро, изменив свой голос. Все удивленно посмотрели на меня — я нарочно изменила голос, чтобы он меня не узнал. Я также обвязала голову платком, чтобы скрыть рыжие волосы. Одно мгновение офицер пристально смотрел на меня. Потом еле слышным голосом сказал:

— Извините.

Я еще заметила, что он чуть-чуть споткнулся, когда повернулся, чтобы уйти, и как сверкнули два кубика на его воротнике…

Я поднялась и пошла в комнату. Там я бросилась на постель и начала плакать. Я не знала, почему я плакала, но мне было так тяжело, что я не могла сдержать рыданий. Много вопросов, на которые не было ответов, возникло в моей голове. Зачем я оскорбила его? Что он мне сделал? Зачем я обманула человека, с которым мне было беспечно и хорошо? Ведь, может быть, я потеряла друга, которому можно довериться. Ведь сейчас так мало людей, которым можно довериться. Но больше всего меня угнетало его последнее «извините». Я еще долго думала обо всем, что случилось. И, наконец, нашла утешение в следующих мыслях: случайное знакомство с военным еще не значит, что это любовь. И, вообще, что такое любовь? — Физиологический процесс. А может, нет? А может, это не физиологический процесс, а загадочная мелодия, полная нежности и печали, твердости и надежды?

В эту ночь мне впервые пришло на ум, что все мои представления о высоких идеалах, о человеческом достоинстве и его призвании к борьбе за родину, все стремления возвыситься над простыми смертными — бессмыслица. С тех пор я никогда не могла забыть мелодии той песни, которую пел Николай. И молодой офицер, его теплые глаза, медленная, но твердая походка и блеск кубиков на воротнике навсегда остались в моей

памяти.

Перед приходом немцев

Лето прошло быстро. Приближение врага чувствовалось с каждым днем. Теперь наши солдаты систематически двигались не на запад, а на восток. В Краматорске началась мобилизация последних резервов. Лиля и я тоже получили повестки явиться на мобилизационный пункт. Вышел приказ, чтобы жители сдали свои радиоприемники. Тому, кто не сдаст, грозил военный трибунал.

Никто больше не верил радиопередачам. Враг уже стоял в нескольких километрах от города, в то время как радио все еще трубило об успешных боях Красной армии. И вскоре всем стало ясно, что все это ложь. Из Киева передачи были иные, чем из Москвы. Волнение города усиливалось с каждым днем. Никто не знал, с какой стороны придут немцы, где точно они находятся. Артиллерийская стрельба не прекращалась. Где-то далеко на горизонте дымилось небо. Многие мужчины, чтобы избежать мобилизации, уходили в степи. Но Лиля и я решили исполнить свой долг и явиться на мобилизационный пункт. Нам надо было идти в военкомат на регистрацию. Как только об этом узнали наши соседи, все начали отговаривать нас:

— Куда вы хотите идти? Что, с ума сошли? — говорили многие женщины.

— Оставайтесь дома. Война для мужчин. Пусть они воюют!

Но мы с Лилей были непреклонны.

— Наш долг, — говорила я, — защищать родину.

Лиля в знак согласия кивала головой. Когда пришел срок, Лиля и я, запаковав в рюкзаки только самое необходимое, пошли на сборочный пункт. Но то, что мы там увидели, разочаровало нас.

Сборочный пункт находился в огромном дворе, где стояло несколько бараков. Здесь была такая масса людей, что все представляло настоящий хаос. Везде стояли толпы мужчин и женщин с детьми и разговаривали, хотя ничего нельзя было услышать. Многие женщины прощались с мужьями и громко плакали, дети кричали, и некоторые мужчины тоже плакали. К регистрационному бараку стояла длинная очередь. Внутри большой зал был тоже переполнен. Военные в форме ходили туда-сюда. Мужчины то входили, то выходили. А во дворе, возле забора, некоторые женщины в последнюю минуту старались уговорить своих мужей не регистрироваться, а вернуться домой.

— Пошли, Ванька, пока не поздно, — говорила одна своему мужу. — Все равно все пропало.

— Пару дней ты можешь спрятаться в степи, а там и немец будет уже здесь, — сказала другая.

И действительно, многие мужчины, взяв свои рюкзаки подмышку, лезли через забор и незаметно сматывали удочки.

Когда подошла наша очередь регистрироваться, молодой лейтенант, посмотрев на нас, сказал довольно неприветливо:

— Идите в зал и ждите. Медицинский персонал будет регистрироваться к концу.

Лиля и я сели на скамье в зале, где сидели уже и другие, и начали ждать. Минут через пятнадцать к нам подошел тот же молодой лейтенант и сказал:

— Идите домой, девушки. О вас никто не спросит.

Сказав это, он сразу же повернулся и ушел. А мы с Лилей с удивлением переглянулись: защиту родины мы представляли себе иначе!

— Если дело обстоит так, — сказала Лиля, — то нам здесь делать нечего. — Мы взяли свои узелки и пошли домой. Теперь, когда я думаю об этом, мне кажется, что судьба нас уберегла. Что бы действительно было, если бы нас мобилизовали? Нам, вероятно, никогда не пришлось бы увидеть конца войны, судя по тому, сколько миллионов людей, солдат и гражданских, погибло. Битвы были жестокие, и только немногие из тех, кто воевал вначале, остались в живых.

Через три дня Красная армия оставила наш город и ушла на восток. Город будто опустел. И, как-то совсем неожиданно, воцарилась зловещая тишина. Заводы не работали. Небо на западе было черное от дыма. Это отступавшие советские войска жгли урожай, чтобы он не достался врагу. Время от времени улицу заполняли грузовики с последними эвакуирующимися на восток.

На второй день после отступления Красной армии в магазин в последний раз привезли хлеб. Еще с утра перед магазином собралась невероятная толпа людей. Каждый хотел запастись хлебом, ибо никто не знал, когда его опять привезут. Когда к магазину подошли заводские рабочие, которые до последней минуты грузили машинные части и которых не успели эвакуировать, начался полнейший беспорядок. Как бешенные, они рвались вперед к дверям, отталкивали уже стоявших там, не обращая никакого внимания на милиционера, который старался навести порядок. Тогда милиционер схватил за жакет одного рабочего, который пришел последним и полез вперед. Он старался оттащить его от магазина. Но тут рабочий толкнул милиционера в грудь, и тот упал в грязь. Поднявшись, он схватил свой револьвер и выстрелил два раза в рабочего. Обливаясь

кровью, рабочий упал. И тогда толпа вдруг отхлынула от магазина и окружила их. Милиционер в нерешительности смотрел на лежащего в крови рабочего, он, вероятно, только теперь понял, что сделал. Кто-то громко выругался. Толпа рабочих начала угрожающе подступать к милиционеру. Один из них подошел к нему и сказал:

— Что, убивать нас хотите? Вы и так слишком долго уже высасывали нашу кровь, а теперь еще убиваете?

— Что же вы делаете, паразиты! — послышался истерический крик женщины.

— Сами убегаете на Урал, а нас расстреливаете?! — произнес опять кто-то из толпы. Милиционер что-то сказал, но из-за шума толпы нельзя было ничего расслышать. Я стояла немного в стороне от толпы с Лилей и в ужасе смотрела на все, что происходило. Наконец один из рабочих грозно подошел к милиционеру и схватил его за рукав. Милиционер вырвался и начал бежать. Несколько рабочих пустились за ним. А люди стояли возле магазина — теперь никто уже не обращал внимания на хлеб — и, размахивая руками, грозили вслед милиционеру, ругались и наперебой что-то громко кричали. Вдруг, как будто из-под земли, появился грузовик с НКВДистами в красных фуражках. Он остановился возле толпы, и один из НКВДистов спросил о причине возмущения. Когда ему объяснили, офицер НКВД дал приказ ехать за бегущим милиционером. Вот его уже догнали. И опять раздался выстрел, теперь уже с грузовика. Милиционер упал, но через мгновение он поднялся и, спотыкаясь, снова попытался бежать. Еще выстрел, и еще. Я видела, как милиционер, пересекая трамвайную линию, споткнулся и опять упал… уже в последний раз…

Немного позже увезли убитых. А люди, с искаженными от негодования лицами, медленно расходились. С тех пор моя вера в могущество Красной армии и справедливость нашего правительства пошатнулась навсегда. Знает ли Сталин, что творится в его стране?

На следующий день после кровавого события в городе начали взрывать мосты, фабрики и некоторые заводы. Врагу ничего не должно достаться, что может быть полезным. И мы все думали, что теперь Красная армия поступает так же, как поступила армия России во время Наполеоновской войны: все уничтожить и все дальше и глубже в страну заманивать врага. А Краматорск ведь — на Донбассе. Значит, если врагу отдают наш город, то уже почти вся Украина в его руках. А это уже довольно глубоко внутри страны.

В этот день начался грабеж всех оставшихся магазинов,

фабрик, складов. Жгли все, что могло достаться врагу. Дым от пожаров, и взрывов стоял вокруг города, как тяжелая, черная туча. Он затмил солнце, и было темно, как поздним вечером. Уже с самого утра жители рабочих поселков тащили с хлебного завода все, что попадется. Почти весь поселок стал скоро совсем белым от рассыпанной муки. Глядя на это, мы тоже решили пойти к хлебному заводу и притащить что-нибудь. Ведь никто не знал, будет ли пища в скором будущем. Конечно, мы, дети, не были очень сильными и не могли утащить много. А мама отказывалась «грабить», как она выразилась. В таких обстоятельствах она всегда была беспомощной.

Когда мы пришли на хлебный завод, мы не могли понять, что там творилось. Если можно было представить себе, как выглядит ад, то это и был настоящий ад. Хлебный завод был огромный. И там хранился не только хлеб, но и разные другие продукты: мясо, крупа, жиры, сахар и прочее. Люди целыми семьями или группами тащили все, что находили: если кто-то тащил мешок муки, ему помогали другие, затем муку делили между собой. Если кто-то тащил мешок с мясом — обыкновенно соленое мясо, — ему тоже помогали, и тут же во дворе мясо делили между собой. Эта невероятная толкотня людей напоминала муравейник. Иногда вдруг кто-то кричал: «Завод взрывают!» — тогда все, бросив добычу, бежали к выходу и хватали что попало, свое и чужое. Начинались ссоры, даже драки. Так продолжалось до темноты, пока завод не опустел. Нам удалось притащить домой полмешка муки и полмешка соленого мяса. И эти продукты, в сущности, спасли нас от голода в первые месяцы оккупации.

Итак, три дня город не принадлежал никому. Советское правительство и армия оставили нас, немцев пока не было. В течение этих трех дней, после того как все было растащено, что можно было тащить, люди сидели в своих квартирах и ждали прихода врага. За это время многие мужчины-дезертиры, прятавшиеся от мобилизации в степи, возвратились домой. Никто не знал, что будет с приходом немцев. Особенно боялись женщины. По радио в последние дни все время говорили, что немецкие солдаты насилуют женщин и убивают стариков. Только дети, казалось, ничего не боялись. Они шайками бегали по улицам, забирались в опустевшие заводы, склады, лаборатории и тащили домой, что находили: доски, пустые бутылки, метлы и всякую дребедень. Хотя я уже не была подростком, я все же еще не реагировала на обстоятельства как взрослые. Вместе с Лилей и другими соседскими детьми мы слонялись по улицам и забегали в опустевшие лаборатории, где все было особенно интересно,

потому что там оставалось множество всяких химикалиев, трубок, колб и других приборов. Мы добивали оставшиеся стекла, смешивали разные порошки и рассыпали их по полу. Нам просто нечего было делать от скуки и бездействия.

На третий день после отступления Красной армии Лиля, Нина, я и несколько соседских детей гуляли на улице, рассматривая черный горизонт, откуда доносились глухие пушечные взрывы. И вдруг перед нами остановилась маленькая легковая машина. Это был немецкий фольксваген. Он был грязный и запыленный. Из него вышли четверо мужчин в зеленых немецких шинелях. Они окружили нас и начали по-немецки что-то говорить. Никто из нас не знал немецкого языка, но мы сразу же поняли, что это и был тот страшный враг, о котором в последние дни все время трубило радио. Они повторяли одно и то же несколько раз, пока, наконец, нам не стало ясно, что они спрашивали: «Где они? Где красные?» Они вновь и вновь повторяли одно и то же: «Где красные?» — Во зинд ди ротен? И вдруг я вспомнила из моих школьных песен слово — «рот», оно часто фигурировало в нашей советской пропаганде. «Рот фронт» — красный фронт. Значит, слово «рот» — красный. Они спрашивали нас, где красные, то есть, где наши. Тотчас же я вспомнила и еще одно немецкое слово из песенки, которую я когда-то знала по-русски. Это было слово «ферн», значит, далеко. И вот я, вне себя от волнения, что могу сказать что-то на иностранном языке, показывая на восток, говорю:

— Ферн, ферн!

— Во ферн? Во ферн, — опять говорят немцы.

Я же, опять показывая на восток, повторяю то же самое. И мне вдруг так стало жаль, что я изучала в школе французский язык, а не немецкий. Но другого выбора не было, — в нашей школе преподавали французский.

Но, Боже, насколько иначе мы представляли себе этих врагов! Эти четыре немца совсем не выглядели так страшно, как нам их описывали по радио. Худые и бледные, в своих тонких зеленых шинелях, они будто сами чего-то боялись. То и дело они оглядывались по сторонам, а мы беспомощно стояли рядом и не могли ничего им сказать. Наконец, они опять залезли в свою машину и уехали.

На следующий день немецкие войска организованно вошли в город. Грязные и усталые, они медленно двигались по улице. Ничего из того, что нам говорили по радио, не случилось. Никого не изнасиловали, по крайней мере, в нашей части города. Наоборот, солдаты были так измучены, что на нас, женщин, не обращали никакого внимания. Немецкие войска медленной цепью

беспрерывно тянулись по главной дороге, и только к обеду они сели перед домами, вдоль дороги, отдохнуть. Некоторые вытаскивали из своих мешочков хлеб и что еще там было, и молча жевали. Глядя на этих изнуренных людей, женщины начали выносить из дома, что имели, — морковь, огурцы, мармелад и давали им. Некоторые солдаты просили воды и мылись. «Даже теперь, в такой нужде немецкая чистоплотность и порядок дает себя знать», — думала я, вспоминая, что мне рассказывал о немцах Илья Петрович.

В течение двух недель немецкие войска были расквартированы по всему городу. Каждая квартира, где было место для ночлега, должна быть в распоряжении немцев. Напротив нас была начальная школа в баракоподобном здании. Там немцы устроили свою кухню. Из окна мы могли видеть, как утром, в обед и вечером солдаты с котелками шли туда и получали свою порцию хлеба, кофе, супа и т. д. К нам в квартиру несколько раз приходили немцы и назначали солдата на ночлег. Это было в то время, когда мама была одна, а мы были во дворе. Они видели чистоту и уют, но не знали, что нас пять человек в этой квартире. Позже, узнав от мамы, что нас здесь еще четверо, они качали головами и уходили. Иногда какой-нибудь солдат забегал к нам попросить то иголку, то нитку, то пуговицу. Они также старались вступать с нами в разговор, но ни мы, ни они не понимали друг друга. Затем они всегда повторяли: «Война никс гут» — война не хорошо. Часто они также вытаскивали свои кошельки и показывали фотографии своих родных — жен, детей, родителей. И таким образом мало-помалу между населением и солдатами завязывались своего рода человеческие отношения.

Эти человеческие отношения возникали на почве взаимной нужды в бытовой жизни, которую мы, побежденные, и они, победители, испытывали в одинаковой мере. А вечерами из квартир, где расположились солдаты, всегда можно было слышать их песни. Эти песни казались мне странно красивыми и таинственными, в них, казалось мне, был дух этого неизвестного мне народа. И я начала изучать некоторые немецкие выражения. Мне так хотелось понимать их, говорить с ними! Часто, слушая эти песни, я задумывалась над тем, как они там живут у себя на родине, в их «туманной Германии», о которой так интересно писали наши большие поэты-классики. Иногда солдаты просили нас, жителей, чтобы мы им пели русские песни. Тогда они печально сидели и слушали. Они особенно любили старые песни, как «Стенька Разин» и «Вечерний звон», и старались вместе с нами подтягивать мелодию. Вероятно, и они в свою очередь хотели понять эту загадочную русскую душу, которую в мировой

литературе так прославил Достоевский.

В ноябре начались первые заморозки. Наши запасы пищи кончались со страшной быстротой. А еще нигде не было ни работы, ни настоящего городского управления, которое урегулировало бы гражданские дела. Только мужчин забирали на необходимые срочные работы по ремонту дорог и канализации. За это им выдавали немного хлеба и жиров. Жители же жили тем, что им удалось достать при грабежах магазинов и складов. А если вовсе ничего не было, то шли в деревню «менять». Это слово стало стандартным выражением жизни. Люди несли в деревню главным образом одежду, драгоценности и меняли все это на хлеб, кукурузу, картофель, муку. Но и в деревне с каждым днем продуктов становилось все меньше и меньше. А крестьяне, которые и сами очень мало имели, требовали все больше и больше за свое добро. Мама начала тоже регулярно ходить в деревню, чтобы что-нибудь обменять на продукты. Иногда вместо мамы ходила я с Лилей. Обычно мы присоединялись к толпам других меняльщиков и шли от дома к дому, иногда ничего не получая.

Однажды Лиля и я возвращались из деревни с картофелем. По пути домой мы заметили на улице перед одним большим домом города длинную очередь. Предполагая, что здесь выдают какие-то продукты, мы, не задумываясь, тоже стали в очередь. Но скоро заметили, что в очереди стояли одни немецкие солдаты. Наши же женщины, которые обыкновенно не пропускали никаких очередей, стояли в стороне и смотрели. Мы также заметили, что солдаты входили в здание и через пару минут опять выходили через вертящуюся дверь, которая не прекращала вертеться. Вдруг одна из женщин, стоящих в стороне, крикнула:

— Смотрите, смотрите, вот безбожники! Бордель устроили!

Тотчас же стоящие вокруг женщины начали громко ругаться, а некоторые даже плевались. Лиля и я в ужасе отошли от очереди и, все еще не веря своим глазам, начали смотреть на «этот дом». Наконец Лиля не выдержала:

— Так вот она — европейская культура!

Мы долго шли молча, затем Лиля сказала, что, вероятно, и ее соседка, красавица Клара, тоже пошла в бордель. Клара приехала сюда из Польши, где она вышла замуж за майора советской армии. Он хотел, чтобы она двигалась на восток и эвакуировалась на Урал. Майор ушел затем на войну и оставил Клару в ее люксовой квартирке на рабочем поселке по соседству с Лилей. Летом Клара скучала и от нечего делать начала продавать на улице мороженое. Ее повозка всегда была окружена мужчинами. Она не только была красавицей, но и со вкусом, по-европейски,

одевалась, и на нее везде обращали внимание. Когда пришли немцы, она начала ходить с немецкими офицерами.

— А может быть, она и не там, — сказала я.

— Такие, как она, — сказала Лиля, — только помогают распространять эту «европейскую культуру»!

Холода в этом году наступили довольно рано. И мороз становился крепче и крепче. Но жители города были не единственные, кто чувствовал холод. Еще больше страдали от него немецкие солдаты. Глядя, как, согнувшись, набросив на себя одеяла и дуя в ладони, они тянулись за своими повозками, мы даже жалели их. Но скоро, как только морозы ударили сильнее, в каждый дом начала ходить комиссия и отбирать у жителей все теплое: одеяла, валенки, рукавицы, шапки, кожухи. Они быстро поняли, что для русский зимы их одежда была неподходящая. А жители начали прятаться и прятать свою теплую одежду, которая и им самим была теперь крайне необходима. Тогда немцы начали снимать с людей теплые пальто, отбирать шапки и рукавицы и пускать их без ничего. Слава Богу, наши детские вещи были для них малы. А теплые одеяла, которые у нас были, мы заранее спрятали подальше.

Через пару месяцев оккупации вдруг было объявлено, что немецкое правительство возвращает всем жителям частную собственность, главным образом дома и землю, которые когда-то были отобраны большевиками. Кто заинтересован получить свою собственность обратно, должен обратиться в местные органы.

Эта идея меня заинтересовала. Может, мы сможем когда-нибудь ею воспользоваться? — Нам некуда было деваться. Все, что у нас было лишнего из одежды, мы уже отнесли в деревню. Запасы продуктов давно кончились, и теперь мы нередко целыми днями сидели без куска хлеба. Оставаться в Краматорске, значило умереть с голода. Надо было срочно что-нибудь предпринимать. Да и некоторые события, свидетелями которых мы вскоре стали, не предвещали ничего хорошего.

Да, нам было жаль немецких солдат, которые так же, как и мы, мерзли и скучали по своим. Но в то же время было и другое немецкое лицо, — жестокое и беспощадное. Это-то их лицо мы увидели вскоре после начала оккупации.

Однажды утром нашли шесть мужских трупов — все из нашего поселка. Это были мужчины, которые не ушли с отступающей Красной армией, а спрятались в степи и теперь возвратились. Их всех вызвали в немецкую комендатуру и расстреляли, потому что они были членами коммунистической партии. Среди этих трупов не нашли мужа нашей соседки, молодой учительницы. Он был директором начальной школы. В

последнюю минуту его мобилизовали. Он очень не хотел покидать свою молодую жену и маленького, недавно родившегося ребенка. Уходя, он сказал ей:

— Я сделаю все, чтобы вернуться к тебе.

Он любил свой домашний очаг, свою молодую жену. Этот домашний очаг был создан только год тому назад. До этого он жил один. Когда появилась новая учительница, они полюбили друг друга и поженились. У них родился ребенок, и оба стали еще счастливее. Это была красивая молодая пара. Когда пришли немцы, к ней на квартиру поставили немецкого ефрейтора. Так как она говорила немного по-немецки и вечерами, когда приходил ефрейтор, они разговаривали, злые языки скоро начали поговаривать, что она с ним спит. Но мы знали, что это неправда. Наша соседка была женщиной высокой морали. Она часто разговаривала с мамой и тяжело переживала разлуку с мужем. Но вот однажды утром — было еще темно — ее муж вернулся. Мы не знаем никаких подробностей его возвращения. То ли он убежал, то ли его взяли немцы в плен — все это не важно. Но на следующий день его вызвали в немецкую комендатуру, откуда он не возвратился. Мы также не знаем, был ли виноват в этом ефрейтор или нет. Но скоро начали ходить слухи, что его расстреляли немцы. За что?

Мы не знаем, как сложилась дальнейшая судьба нашей соседки. В это время все были в ужасе от частых и внезапных расстрелов. И вот мы опять наспех начали продавать свою мебель, чтобы идти в нашу деревню, на родину, к Днепру. Все это время мы старались уговорить маму обратиться к немцам, чтобы вернуть наш дом в деревне. Но она категорически отказывалась:

— Ни под каким видом! Я и слушать об этом не хочу, — говорила она. — Пока война не кончится, я ничего об этом и знать не хочу. — Сказано это было так, что дальнейшие попытки изменить ее решение были бесполезны. Но нам все же удалось уговорить ее идти в деревню, чтобы там переждать войну. На это она согласилась. Да и не было уже иного выхода.

Теперь ко всему еще кончился запас топлива. Негде было взять ни угля, ни дров, чтобы топить нашу маленькую печурку. И мы каждый день ходили куда-нибудь в поисках досок или дров. А холод усиливался с каждым днем.

В середине ноября мы продали остатки нашего барахла, запаковали каждому в торбу самое необходимое и двинулись на юго-запад, по направлению к нашей родине. Мы вышли еще до восхода солнца, и часа через два ходьбы оно показалось на горизонте — большое, красное и круглое, как огненный шар. Мы все шли рядом и молчали, погруженные каждый в одни и те же

мысли. Чувство, что мы теперь остались без крова и без пищи, без возможности лечь ночью спать, было тяжелое и наводило на каждого из нас страх. Как мы очутились на дороге? Куда идем? Почему? Эти вопросы, несмотря на то, что мы сами все распланировали, все время всплывали в наших головах. Где отец? От него не было никаких известий с самого начала войны. Теперь, конечно, фронт разделял нас с ним.

Когда мы очутились совсем за городом на широкой дороге, то заметили, что мы не одни. И перед нами, и за нами тянулась длинная цепь людей, сгорбленных, с поникшими головами. Некоторые шли с палкой в руке для удобства ходьбы, и у всех за плечами были такие же торбы с самым необходимым, как и у нас. Они тоже шли куда-то в надежде спастись от холода и голода. А большое красное солнце высоко в небе на всех бросало свои холодные, косые лучи. Мягкий свежий снежок хрустит под ногами, наши щеки раскраснелись от мороза, и перед нами — бесконечная, как море, белая степь. Все это было великолепно и красиво: снег, ширь простора, сверкающее солнце, а вечерами — ясная луна и усеянное звездами небо. Но в то же время какая-то глубокая печаль царила над этой холодной красотой. Что бы подумал наш отец, если бы узнал, что мы сейчас на дороге, брошены на произвол судьбы.

Нашу первую ночь мы провели в деревне в избушке сельского учителя. В кухне, на полу, он соорудил нам ночлег из сена, на которое мы сразу же попадали, мертвые от усталости. В этот день мы прошли тридцать километров. А на следующее утро, еще до восхода солнца, мы встали, выпили по стакану горячего чая, который нам сделал учитель, съели по куску хлеба и опять пустились в путь.

Чем дальше мы шли, тем тяжелее становилось найти ночлег и еще тяжелее достать пищу. Перед нами уже многие прошли по этому пути и все просились на ночь, а также поесть. Крестьяне редко теперь давали хлеб, ибо у них самих было уже мало. Но мы все шли и шли, и тоже просили поесть. Самые молодые из нас, двенадцатилетняя Клава и пятнадцатилетний брат Иван, шли впереди и просили первые. Им как детям скорее удавалось получить кусок хлеба. Тогда мы садились на отдых, обычно в полдень, делили добычу и ели вместе. Затем двигались дальше. Вечером опять мы делали привал в какой-то деревне, выпрашивали чего-либо поесть и, измученные от усталости, падали где-нибудь на сено или просто на пол.

За три недели мы прошли почти половину пути. Уже был декабрь, и морозы, особенно по утрам и вечерам, были очень сильные. Наши лица стали почти черными от ветра и солнца —

ведь мы были целый день в пути. Только вечером, когда начинало темнеть, мы останавливались на ночлег. В большинстве случаев крестьяне были приветливые и, особенно если у них мало еще было беженцев, всегда предоставляли нам место, то в кухне на полу, то в коридорчике. А когда мы подымались, часто женщины варили нам чай, а иногда даже давали молоко для детей.

Однажды в обед мы сидели в избе и грелись. Вдруг без стука открылась дверь и вошли четыре немецких солдата. Они тоже зашли погреться. Вошедшие немцы расположились в комнате, кто на чем, и начали о чем-то громко между собой разговаривать. Через некоторое время один из них, совсем еще молодой парень, встал, подошел к моей сестре Нине и начал ее целовать. Все в недоумении затихли и молча смотрели на него. А он все целовал лицо Нины и целовал. Нина начала плакать. Тогда мама встала, подошла к солдату и оттолкнула его от нее. Солдат перестал целовать Нину, но не отошел, а стоял перед ней и все смотрел и смотрел на нее. Его друзья, которые тоже были не менее нас удивлены, начали что-то ему говорить, затем оттянули его от сестры и посадили возле себя. Я сидела, глядя на этого молодого немца, и старалась угадать, почему он вдруг начал целовать это незнакомое ему лицо? Может, оно напомнило ему невесту? Сестру? Подругу? Он был еще очень молод, ему можно было дать не больше двадцати пяти. А Нина — почти еще ребенок, с невинным выражением лица, раскрасневшаяся от ветра и мороза. В этом лице была еще совсем детская наивность и какая-то неясная печаль… может, перед неизвестным будущим? Я так и не узнала причины его поведения. Солдаты очень быстро говорили на своем языке, а мы ничего не понимали.

Мы опять пошли дальше. В этой же деревне к нам присоединилась одна еврейка. Она рассказала маме, что убегает от немцев. Ее мужа и детей немцы расстреляли вскоре после оккупации их города в Донбассе. Ее в то время не было дома. Когда она вернулась и все узнала, она сразу же собрала мешок и пустилась куда глаза глядят. Уже два месяца, как она скитается в пути.

Мало-помалу мы приближались к югу. До нашей деревни оставалось каких-то километров двести, меньше половины пути. Конечно, мы не всегда шли прямыми дорогами, их заносило снегом и не было видно. Тогда шли наугад, через поля. Иногда мы ошибались, тогда приходилось возвращаться или менять направление. Но все же мы постоянно двигались. Целые дни мы только шли и шли вперед. Чем дальше на юг, тем чаще и чаще встречали более приветливых людей. Немецкая оккупация была здесь дольше, чем там, откуда мы шли, и люди успели уже

приспособиться к жизни. Почти везде теперь давали нам поесть, в каждой избе было тепло и мы уже без больших усилий находили ночлег.

Однажды у меня началась сильная головная боль. Когда к вечеру мы подошли к одной избушке, стоящей посреди поля, — оказалось, что там жила семья пастуха, — меня положили на теплую печь и дали выпить стакан горячего молока. Но температура начала подниматься, и наутро я потеряла сознание.

Одна среди чужих

Когда я проснулась — передо мной стоял молодой человек и пристально смотрел на меня. Я заметила его особенные глаза: они были синие, как самое чистое небо. Он также был весь в лохмотьях, и в руках он держал кружку. Только теперь я почувствовала, как сухо у меня во рту. Я протянула к нему руку, но рука моя бессильно упала на постель.

— Воды, — попросила я.

Тогда молодой человек поднял мою голову и напоил меня. Я опять сразу же уснула.

Я не помню, как долго спала. Но когда вновь открыла глаза, — молодой человек все еще стоял и смотрел на меня. Он опять приблизил кружку к моим губам, и какая-то теплая сладкая жидкость потекла в горло. Я хотела приподняться и отбросить с лица спутанные волосы, но у меня не было силы. Тогда тот же молодой человек нагнулся надо мной и своей рукой отбросил мне с лица волосы, затем сел на край постели, и я опять увидела его синие-синие глаза. И тут я вспомнила первую ночь в избушке пастуха.

— Где мама? — спросила я. — Где все?

— Они пошли домой. Вероятно, уже дома, — ответил он и через минуту добавил. — Недалеко отсюда.

Я опять хотела спросить его о них, но он перебил меня:

— Не надо. Вы должны сначала поправиться. А потом можете идти к ним. Выпейте еще немного. Это молоко с медом.

Через пару дней я могла уже вставать и немного ходить по комнате. В эти дни я почти не видела того молодого человека, который поил меня молоком с медом. Он приходил очень поздно и сразу же ложился спать. Возле меня на печи лежали теперь две маленькие девочки, лет пяти и шести. Они с любопытством смотрели на меня. Пастух, их отец, тоже поздно возвращался домой. Днем в доме была его жена с этими двумя девочками. Я узнала, что я почти две недели лежала без сознания. Моя мать с детьми вынуждена была оставить меня у них и идти дальше. Я также узнала, что молодой человек, которого я впервые увидела, когда проснулась, — врач. Он убежал из немецкого плена и скрывается у пастуха, который помог ему устроиться тоже пасти овец на его ферме. Ферма же была в двух километрах от их домика, а с другой стороны от их жилья, тоже километра за два, находилась деревня, в которой еще до войны жили главным образом немцы и занимались скотоводством.

Был конец января. Решили, что я останусь в семье пастуха до

весны, а потом пойду к своим в деревню. Пока я еще была слабая после болезни, я оставалась в доме и помогала жене пастуха по хозяйству, смотрела за детьми, кормила их, рассказывала им сказки. Когда погода была хорошая, я выходила с ними во двор гулять. Вечерами, когда мужчины возвращались не поздно, мы все сидели после ужина вокруг длинного стола и слушали новости, которые им рассказывали на ферме. Всегда разговор шел о немцах, о комендатуре, о том, что немцы все больше и больше укрепляются в стране. Говорили также о расстрелах евреев и о том, что немцы забирают молодых девушек и парней на работы в Германию. Но мне трудно было поверить во все это. Сергей — так звали молодого врача, говорил немного. В сущности, мне никто, кроме хозяйки дома, ничего не сказал о нем, о его жизни, кто он и почему здесь. Только шутя пастух иногда говорил:

— А Сергей ухаживал за тобой, как нянька, даже забывал своих овец. В такие минуты я не знала, что ответить и, нагнув голову, молчала. Иногда вечерами в избу пастуха приходили и другие работники фермы. Все обыкновенно садились за длинный стол и ужинали, а затем играли в карты. Но скоро я поняла, что карты были только маскировкой для их собраний… В такие вечера я сидела в стороне с книгой и прислушивалась к их разговорам. Многое было мне непонятно. Так сидя, я часто думала о том, что случилось за последние месяцы. — Почему я здесь среди чужих людей? Какая судьба занесла меня в эту безлюдную степь? И, глядя на этих о чем-то тихо говоривших мужчин, я представляла, что эта избушка в степи, одинокая и потерянная, как бы всеми забытая, была таинственным островком среди бушующего моря. И все мы, находившиеся в ней, похожи на потерпевших крушение, которых волнами, случайно, принесло к берегам этого островка.

Через две недели я уже хорошо поправилась и могла помогать Сергею в степи пасти овец. Мы вставали очень рано, шли на ферму и оттуда гнали большое стадо овец в поле. Несмотря на погоду — еще было довольно холодно и местами на земле лежал снег — мне нравилось дышать свежим воздухом и смотреть на далекий простор.

В первые дни Сергей учил меня, как смотреть за овцами, чтобы они не разбегались. Мы не отходили слишком далеко друг от друга, иногда оставались вместе и разговаривали. Сергей рассказывал мне о войне.

Немцы все продвигались на восток, но здесь, ближе к западу, уже установилось немецкое правление. Везде были их комендатуры, которые управляли гражданскими делами. Он рассказывал, что все больше и больше ходят слухи, что немцы

забирают всех молодых людей на работы в Германию.

Несмотря на то, что мы были одни в степи, мы никогда не говорили о личных делах. Чаще всего после его «инструкций» как смотреть за овцами, я отходила в другой конец стада, которое начинало рассыпаться по всей степи. Когда я была далеко от него, я шла от горки к горке и пела песни. Сначала я пела про себя, довольно тихо, чтобы он не услышал. Но потом я совсем забывала о его присутствии и пела во весь голос. Однажды я оглянулась: Сергей стоял за моей спиной и слушал мое пение.

— Эту песню я никогда не слыхал, — сказал он.

— Да, это наверное новая песня. Я случайно ее слышала от одного солдата в Краматорске, где мы жили.

— Красивая мелодия, — сказал Сергей опять.

Я же, видя, что он не уходит, решила использовать этот случай, чтобы узнать что-нибудь о нем. Сергей не знал, что я уже кое-что о нем знаю.

— А как вы сюда попали? — вдруг выпалила я. — Ведь по вас видно, что вы не пастух, несмотря на лапти и лохмотья. Ваша речь тоже не подходит к этому убору. Но, конечно, немцы не поймут, — поспешила я успокоить его. Некоторое время мы молчали, потом Сергей сказал:

— Знаете что, не идите домой в деревню. Оставайтесь лучше здесь, у пастуха. Иначе немцы заберут вас в Германию. Это не слухи, они действительно увозят молодежь.

Я удивленно смотрела на Сергея. Он говорил не так, как всегда. В его голосе было какое-то волнение и вместе с тем убеждение.

— А вы… — я хотела сказать, но он перебил меня.

— Да, я тоже скрываюсь здесь, потому что не хочу работать на врага, если он, скажем, даже лучше, чем наши. История нам показала, что от врага ничего хорошего нельзя ожидать. Да, да, я знаю, что сейчас крестьяне живут лучше, чем при советской власти: у каждого есть корова, свинья, овца. Но кто знает, как долго все это продлится? Ведь еще ничего не известно. Война не окончена, и мы не должны прельщаться тем кусочком, которым нас заманивают куда-то. Да, да, я знаю, — продолжал Сергей, — что от немцев ничего хорошего ожидать нельзя. Он вдруг замолчал, но через секунду добавил:

— Не уходите отсюда. Оставайтесь здесь, среди нас… Сегодня вечером придут люди… Они…

— Сергей, — теперь я перебила его, так как его речь показалась мне очень странной, — вы тоже…

Я не договорила, он прервал меня:

— Да, конечно!

Вероятно, мое лицо выражало что-то, что мешало ему продолжать. Он замолчал и в упор посмотрел на меня.

— И вот все это время вы меня изучали, чтобы только теперь сказать мне об этом?

— Ах, нет! — отмахнулся он. — Я вас не изучал. Я только не хочу, чтобы вы стали жертвой врага. Уже многие, которых я хорошо знаю, попались на его уловку. Да, попались в сеть, из которой вряд ли удастся выбраться.

Сергей шагнул ко мне и взял обе мои руки:

— Если бы ты знала, как беспомощно ты выглядела, когда лежала в бреду. — Он вдруг перешел на интимное «ты». Я отступила на шаг, и мы смотрели друг на друга, как бы меряя силы. Тогда я сказала:

— Спасибо тебе. Ты, может, спас мне жизнь… Но то, к чему ты меня хочешь привлечь, — родина, враги и прочее… Нет, у меня нет родины! А разве у тебя она есть?

— Как? Конечно, есть. Здесь, везде. — И он показал рукой на широкий простор. — Эта степь! Эти пригорки! Эта душистая земля! Овцы…

— Знаете, — начала я опять, — честно говоря, у меня нет родины на этой же родине. Советская власть отняла у меня отца, он в Сибири. А мать, как чернорабочая, должна была ишачить на строительстве за сто пятьдесят рублей, чтобы прокормить нас четверых. А теперь у нас нет и того. Нет ни угла, ни будущего. И, представьте себе, — я говорила уже с сарказмом, — это сделали не враги, не немцы, а наши. Немцы только продолжают то, что уже давно началось, а именно, бесприютность на родине. Я видела, как эта наша родина годами мучила нас, пока мы все не стали ее просто ненавидеть. И несмотря на это, я все еще до конца надеялась на то, чего не было. Везде была только ложь. Ложь, которой нас кормили изо дня в день все эти годы. За такую родину я должна теперь бороться?! Я ничего не чувствую к такой родине. У меня ничего не осталось для нее.

— Ты говоришь глупости! — почти вскрикнул Сергей. — Ведь ты не знаешь, что представляет собой враг, который занял нашу территорию!

— Но зато я хорошо знаю, что из себя представляет советская власть. Проанализировав всю мою жизнь, — продолжала я, — я могу сказать, что большинство лет было не что иное, как цыганское кочевание из города в город, особенно после того как нас выдворили из нашей деревни, где у нас была родина.

— Но мы обязаны родине нашим образованием, — ответил Сергей.

— Это слабый аргумент, Сергей. Каждый тычет пальцем на

образование. И в школе, и по радио — везде и всюду нам вечно говорили, как мы счастливы, что получаем бесплатное образование. Да, может, ты прав, я, может, обязана ему тем, что оно помогло мне понять, как все и везде полно лжи. Как будто ты сам этого не видишь!

Сергей смотрел на меня с каким-то почти ожесточенным выражением лица.

— Может, твоя жизнь была тяжелее моей, но верь мне, я знаю немцев. В мои двадцать шесть лет я уже был на фронте врачом. И я видел ужасные вещи, там, у немцев в тылу.

— Но ведь это было на фронте, — ответила я, — на то война. А я видела насилие в мирное время, здесь, у нас на родине. Насилие, которое не враги творили, а свои.

Сергей ничего не ответил и все смотрел на меня. Наши овцы мирно паслись вокруг нас. Стояла абсолютная тишина, было даже слышно, как под снегом журчали уже маленькие ручейки. Я сделала движение, чтобы уйти, когда случилось что-то непонятное. — Сергей подбежал ко мне, схватил меня за руку и потащил за собой так быстро, что я с трудом держалась, чтобы не упасть, спотыкаясь о камни и сугробики снега.

— Идем! — говорил он с каким-то бешенством. — Я покажу тебе, что делает враг в «мирное время», ведь здесь давно уже нет фронта. Идем!

Мы остановились, тяжело дыша. Перед нами был небольшой яр, окруженный со всех сторон скалами.

— Смотри вниз! Видишь? — почти кричал Сергей.

Сначала я видела только белый снег внизу. Но всмотревшись пристальнее, я начала различать руки, ноги, головы, а затем целую массу людей, сваленных в одну кучу. Они частично были засыпаны землей и снегом. Но снег местами уже растаял. Зрелище было кошмарное. Я испуганно схватила руку Сергея и невольно прижалась к нему.

— Что это?

Но он, положив свою руку мне на плечи, повернул меня и потащил оттуда. Когда мы отошли от обрыва, Сергей сказал:

— Это евреи. Их расстреляли здесь осенью, спустя несколько месяцев после начала оккупации. Это было уже «мирное время», — добавил он почти ядовито. — Когда настанет весна, можешь себе представить, какая здесь будет вонь от этих разлагающихся тел. А впрочем, они их, вероятно, зароют.

Я была настолько поражена, что не могла ничего сказать. Мы долго шли молча. Сергей обнял меня за плечи и слегка прижимал к себе. Если бы кто-то нас встретил, мог бы подумать, что мы влюбленная пара. Но в наших лицах было так много печали и

потерянности, что это совсем не было похоже на любовь. И все же с этого дня наши отношения изменились.

Уже вечерело, и мы начали собирать овец. Сергей сказал, что сам погонит их на ферму, а чтобы я шла в хижину пастуха, пока еще не совсем стемнело.

Когда я вернулась, хозяйка готовила большой ужин: она пекла много картофеля, ставила на стол сыр и молоко. Позже, вместе с пастухом и Сергеем, пришли еще несколько мужчин. Все сели за длинный, покрытый белой скатертью стол. Шутя и разговаривая, они принялись есть горячий картофель. Жена пастуха подавала им, а я кормила маленьких девочек, затем уложила их спать на печи. Когда, поев, мужчины принялись за карты, я взяла книгу и села в сторонке на лежанку. В этот вечер я впервые увидела Сергея с иной стороны: страстный, почти фанатичный подпольщик, он своей жгучей, убедительной речью заворожил эту маленькую группу людей.

В этот вечер я узнала, что среди «пастухов» был еще один бывший майор Красной армии, который, как и Сергей, скрывался от немцев. Другой был военный инженер, еще двое — гражданские. Все они бежали из немецкого плена и теперь работают на ферме пастухами. В лохмотьях, они играли в карты, как азартники, но в сущности говорили о совершенно других вещах, не имеющих никакого отношения к игре. Иногда они шептались, и я, сидя на лежанке, не могла расслышать о чем. Жена пастуха то и дело разливала чай. Время от времени один из них выходил во двор и обходил вокруг дома, чтобы убедиться, не подкрался ли кто-нибудь к хижине и не подслушивает ли их.

О чем они говорили? Из всего мне стало ясно только одно: никто из них не поддерживает немцев, а наоборот, они старались решить вопрос, как поскорее избавиться от этого непрошеного гостя. Говорили о каком-то складе оружия в степи, о каком-то грузовике с моряками, которые тайно приезжали туда, будто работая на немцев, и увозили это оружие своим военнопленным у немцев.

Оборванные, но бодрые, с раскрасневшимися лицами, они сидели далеко за полночь, притворяясь, что играют в карты. А на столе лежали какие-то бумаги, чертежи, которые они передавали друг другу.

Почти перед утром с фермы пришли женщины. Мужчины тогда встали и начали надевать свои тулупы. Сергей и я проводили их немного от хижины. Обнявшись с женщинами, они возвращались на ферму. А мы с Сергеем, тоже обнявшись, направились обратно к хижине пастуха. Мы шли молча, только утренний снег свежо хрустел под ногами. Идя рядом с Сергеем, я

чувствовала себя хорошо и беспечно. Впервые он крепко и горячо сжал мою руку, затем обнял и поцеловал меня в губы. И мне вдруг захотелось, чтобы эта ночь, с хрустящим белым снегом под ногами, это ясное, звездами усеянное небо, и эта дорога никогда не кончились… Это чувство… мне будто уже было знакомо… Где это было?

Уже была середина марта. Снег начал все сильнее таять. И я все чаще и чаще начала думать о своих. Где мама, сестры, брат? Несмотря на мою привязанность к Сергею, на нашу тайну, которая связывала нас в этой глуши, среди этого покинутого простора, мне хотелось быть опять со своими, хотелось поскорее узнать, где они и как устроились.

Молоденькая травка уже начала пробиваться из-под снега, и овцы уже легче находили корм. Они бегали по буграм и весело блеяли, и казалось, степь наполнялась новой жизнью. Сергей и я садились где-нибудь под скалой, он подстилал свой кожух, и мы грелись на солнце. Теперь мы уже не ссорились. Между нами не было разногласий. Поневоле я убедилась в правоте наших, под которыми я теперь понимала не советскую власть, а наш народ, тянущий нынче немецкую лямку. Мы часто говорили о войне и о неизвестном будущем. Сергей был уверен в том, что немцам здесь не место, и что рано или поздно, они должны уйти отсюда. Сергей рассказывал мне о своей студенческой жизни и о своей бабушке. Он, так же как и я, воспитывался у бабушки, только с той разницей, что он вовсе не знал родителей. Они погибли во время гражданской войны, а он выжил только потому, что был как раз в это время у бабушки. Он происходил из старинного рода, именем которого и до сих пор называется одна из деревень на юге Украины. А его дед был профессором в Харьковском университете, поэтому Сергей мог беззаботно учиться в одном из лучших университетов страны, с большой медицинской традицией. По странному совпадению судьбы оказалось, что Сергей знал моего двоюродного брата, тоже по имени Сергей, который впоследствии стал известным хирургом.

— Где твои бабушка и дедушка теперь? — как-то полюбопытствовала я.

— Они уехали на Урал. А меня призвали в армию. Но мне не повезло. Я попал в плен.

— А ты веришь в Бога, Сергей?

Он не ответил. А я добавила:

— А я не знаю, что думать об этом. Есть Бог или нет; учили, что нет.

— Как часто приходится видеть человеческую беспомощность, особенно врачу, — ответил Сергей. — Особенно,

когда видишь больных. Один выздоравливает, а другой, казалось бы, более здоровый, умирает. Да, человек — сложная вещь. Есть что-то высшее над нами.

— И этому учат на медицинском факультете, — сказала я, улыбаясь.

— Нет, этому нас учит жизнь.

Помолчав, я опять спросила:

— А любовь? Что такое любовь? — Физиологический акт?

— Отчасти да, — засмеялся Сергей.

Наши глаза встретились. И мне вдруг начало чудиться, что синь его глаз льется в мои глаза, пронизывает меня насквозь. Когда Сергей прижал свои дрожащие губы к моим, мне казалось, что солнечное тепло волнами захлестывает меня и я растворяюсь в нем.

Обнявшись, мы катились из-под скалы вниз с холма. Наконец я вырвалась из объятий Сергея и побежала. Он — за мной. Я бежала быстро и легко. Ветер развевал мои лохмотья, но мне казалось, что меня несут крылья в какую-то прозрачную даль. Я цеплялась руками за большие камни, пряталась от Сергея, а он все настигал меня. Наконец он поймал меня за полу, привлек к себе и опять прижал к своему телу. И опять мы пустились бежать, держась за руки. Беззаботность мгновения увлекала нас. Вдруг на повороте к обрыву мы остановились: перед нами стояла группа немецких солдат, приблизительно человек пятнадцать, а дальше к обрыву — маленькая группа гражданских, мужчин и женщин. В их руках были лопаты. Они молча и угрюмо смотрели на нас. Это был тот же обрыв, где лежали убитые евреи. Один из солдат направил на нас ружье и крикнул по-немецки:

— Вон, русские!

Сергей до боли сжал мою руку, и мы ушли от оврага. Когда ничего больше не было видно за скалами, Сергей сказал:

— Теперь ты понимаешь, почему нужно бороться против них?!

Немного позже мы услышали выстрелы, затем крики людей.

— Что это? — я в ужасе остановилась. Но Сергей молча потянул меня за собой. — Неужели это опять евреев?

— Идем! — сказал Сергей. — Придет время, когда они не будут больше стрелять. Да, придет!

В середине апреля, вечером, за ужином я объявила, что иду искать своих.

— А мы думали, что ты останешься и выйдешь замуж за Сергея, — пошутил пастух. Его жена с упреком посмотрела на него. Я покраснела. А Сергей крепко сжал свой нож в руке и ничего не ответил.

Когда на следующий день мы с Сергеем в последний раз вышли со стадом, мы долго не говорили друг с другом. Крик овцы где-то вблизи заставил нас бежать к маленькой горке, где она застряла между камнями и не могла выбраться. Мы начали ее вытаскивать, и наши руки касались друг друга. Когда освобожденная овечка весело побежала в степь, Сергей молча следил за ней, затем сказал:

— Так и ты. Ты убежишь, и я тебя больше никогда не увижу.

Мое сердце невольно сжалось. В это мгновение мне вдруг захотелось остаться здесь и вечно влачить жизнь пастушки, в лохмотьях, среди враждебного немецкого окружения. Но в то же время, мой долг звал меня в путь. — Мама, сестры и брат. Все они, должно быть, беспокоятся обо мне, и я не могу оставить их в неизвестности.

Я ничего не ответила на его слова, а только подошла ближе к нему и взяла его руку в свою.

— Я тебя провожу завтра в деревню, а может быть, и немножко дальше, — сказал он.

На следующий день Сергей провожал меня в путь. Когда деревня осталась далеко позади, он остановился:

— Может, мы никогда не увидимся. А может, да. Если здесь станет трудно, возможно, я приду к вам в деревню. Вы примите меня?

Вероятно, в ответ мои глаза лучились светом, потому что Сергей склонился над моими глазами и поцеловал их.

— Пока я буду там, я буду ждать тебя, — ответила я.

У нас ничего не было, чтобы дать друг другу на память. Только когда Сергей опять положил руки мне на плечи, он сказал:

— Любовь — не физиологический акт. Будешь это помнить?

Я молча отвернулась. Да, я буду это помнить и эти синие-синие глаза. Разве их можно забыть?

В этот день я прошла почти тридцать километров пешком. На ночь я сделала привал в одной приятной семье бывшего колхозника, а теперь крестьянина-собственника. Они угощали меня вкусным борщом со сметаной и дали на дорогу хлеба с маслом. Так я шла дальше, всегда не одна. По дорогам, как и прежде, все еще тянулись беженцы, одни на юг, другие на север. Через пару дней меня с двумя старушками подобрала грузовая машина, — в ней было несколько бывших моряков в истертой форме и два немца с ружьями. Они провезли нас довольно далеко и в деревне, которая была уже поблизости от родного села, высадили. Еще день ходьбы, и я входила в родные места…

Опять вместе

Итак, я входила в деревню моего детства. Солнце светило особенно ярко в этот день. В кустах уже по-весеннему кричали птицы. С одной стороны шумел широкий Днепр, а с другой, немного под гору, простиралась бесконечная степь.

Мое сердце громко стучало. Быстрее, быстрее домой! Как они там? Дошли ли? Где они? Где я их буду искать? В деревне ко мне примкнула одна женщина, — она шла в том же направлении. Через некоторое время она как-то внимательно начала всматриваться в меня и, наконец, сказала:

— А вы не Бабенкова?

Я очень удивилась:

— Откуда вы знаете?

— Да вы похожи на них. Я их хорошо знаю. Как же не знать! — ответила она.

— Лина, — так она называла мою маму, — живет в колхозном доме и работает тоже в колхозе.

На углу одного домика она остановилась, рассказала мне, как найти мою маму, затем попрощалась и ушла. А я ускорила шаги к дому, который описала женщина. Задыхаясь от быстрой ходьбы, я вошла во двор небольшой крестьянской избы. Во дворе игралась гурьба мальчишек. Среди них был мой брат, Иван. Увидев меня, он сразу же подбежал, схватил меня за руку и ввел в комнату. Все бросились мне навстречу и начали рассматривать меня, как чудо.

— А мы уже начали думать, что тебя нет, — говорила мама сквозь слезы. — Я многие ночи не спала и все думала о тебе. А в мае я собиралась идти туда, к людям, чтобы узнать, что с тобой.

Меня усадили на большую лежанку, чтобы я отдыхала. Мама принялась хлопотать возле печки, никто еще не ел, и скоро мы всей семьей сидели за деревянным крестьянским столом. Я рассказывала им о себе, а они о своей жизни в деревне.

— Рассказывайте, рассказывайте, — торопила я их. — Почему вы не в нашем доме?

— А ты разве его не видела, когда шла мимо? — спросила мама.

— Все здесь так изменилось, что я его, вероятно, и не узнала. Кроме того, я так спешила к вам, что не было времени рассматривать.

— И хорошо, что мы не в нашем доме, — сказала Нина.

— Здесь лучше, — заметил Иван.

— Когда мы пришли сюда, — начала рассказывать мама, — я пошла прямо к председателю колхоза. — Ведь немцы все так и

оставили, как было. Колхозы остались пока колхозами. — И, представь себе, кто же нам открыл дверь?

— Кто? — спросила я с нетерпением.

— Федора!

— Федора? Не может быть!

— Ты же еще помнишь Федору? Бабушкину кухарку? Ведь она и тебя нянчила.

— Конечно, помню. Но как это возможно?

— Она вышла замуж за председателя колхоза, после того как ушла от бабушки.

— И как же она вас встретила?

— Если бы не Федора, я бы не знала, что делать, — ответила мама. — Благодаря ей мы получили эту хату. Сама Федора живет напротив нас. У нее хороший муж и двое детей.

— А что ты делаешь в колхозе?

— Федора нашла мне место. Я вожу обед в степь колхозникам и распределяю там. Затем я собираю посуду и везу обратно на кухню.

— Мама, кто бы мог это подумать? — сказала я, не переставая удивляться всему, что я слышала.

— Да. Но работа здесь, по крайней мере, лучше, чем в Краматорске на строительстве. В сущности, мы с Федорой сами себе хозяева. Она готовит пищу, а я ей помогаю.

Я сидела и только смотрела на маму широко раскрытыми от удивления глазами. Никогда я не могла подумать, что Федора, вернее, бабушкина Федора, еще станет для нас ангелом-спасителем. Когда у бабушки отобрали дом и все они уехали в Запорожье, Федора ушла, сказав, что выходит замуж. Но никто не знал, куда она уходит. И вот она здесь, и помогает теперь нам.

— А что с нашим домом, — спросила я, немного помолчав.

Мама махнула рукой:

— Не стоит и думать об этом. Он находится в таком состоянии, что я не взяла бы его, если бы мне его сами предлагали. С тех пор как мы уехали, его ни разу не чинили. Пришлось бы здорово поработать, чтобы привести его в порядок. Там живет какая-то семья колхозников с кучей детей. От забора и сада не осталось и следа.

— А бабушкин дом в Золотой Балке?

— Там немецкая комендатура.

На следующий день я сразу же пошла к «нашему» дому. Мне ужасно хотелось увидеть место моего счастливого детства. Но когда я подошла ближе, мне представилось зрелище, которого я вообще не ожидала. — Действительно, от огромного, красивого сада не осталось ни одного дерева. Все, вероятно, вырубили на

топливо в годы большой голодовки и нужды. Дом, когда-то гордо возвышающийся над Днепром и обнесенный каменным забором, стоял, наклонившись на одну сторону, как будто осел, сгорбился. Вокруг него не было ни одного большого камня, — ни следа от прежнего забора. Наш двор был когда-то полон кустами и цветами. — Ничего этого больше не было. Также летняя кухня под навесом, где мама готовила пищу, исчезла, как будто ее никогда там и не было. Вероятно, за все эти годы домику пришлось так же нелегко, как и нам. Несмотря на весеннюю пору, все выглядело пустынно, голо, неуютно.

Когда немецкая оккупация более или менее установилась, начались работы в колхозах. Немцы их не отменили, хотя теперь они работали на немцев. Но немцы сделали возможным для крестьян иметь свою маленькую собственность. На полях работали женщины и мужчины, главным образом, старики.

Молодых угнали или советские, или немцы на работы в Германию. А те, которые еще остались, должны были работать по восстановлению дорог. Война также изменила лицо деревни. Теперь здесь было много «прохожих»: убежавших солдат, военнопленных, матросов, горожан, спасавшихся от голода в городах. Среди них были и студенты, не успевшие уехать и пытавшиеся спрятаться в деревне от угона в Германию.

Часто молодежь собиралась вечерами у Днепра. Там играли на гармошке, танцевали, пели песни, флиртовали. — Местным красавицам нравились ухаживания студентов или матросов, и громкий хохот девушек оживлял вечерами деревню. Однажды наша соседка Аня, приехавшая еще до войны из Сибири, — ее все называли сибирячкой — взяла и меня на одну из этих вечеринок. Смешавшись с деревенской молодежью, Аня быстро куда-то исчезла, а я осталась одна, стоя у забора. Я никого не знала, и мне не с кем было говорить. Один из парней подошел ко мне и пригласил танцевать, я пошла, чтобы не обидеть его. Парень довольно быстро кружил меня в вальсе, и мы чуть не упали на куст, за которым я внезапно увидела Аню, слившуюся в поцелуе с каким-то деревенским верзилой. Когда вальс окончился, я сказала моему кавалеру, что хочу отдохнуть. Затем я тихонько шмыгнула домой. Дома от мамы я узнала, что Аня была замужем в Сибири. За две недели до начала войны она с мужем приехала на Украину в гости к родственникам. А в Сибири она оставила маленького сына у свекрови. Сразу же после объявления войны ее мужа мобилизовали, а она осталась в нашей деревне. Маленькая, но темпераментная и веселая, она вечно флиртовала с мужчинами и часто меняла своих поклонников, за что все женщины деревни стали ее ненавидеть. Но она не обращала на них внимания. Она

полюбила мою маму и часто приходила к нам и рассказывала ей свои любовные приключения. Так она привязалась к нашей семье, — единственной, которая не относилась к ней плохо. Даже на дорожных работах, куда нас теперь каждый день отвозил грузовик с немецкими надзирателями, она не отходила от нас, детей, — она боялась, что ее изобьют женщины. Эти дорожные работы нельзя было назвать легкими. Так как отступавшая Красная армия разрушала даже дороги, то немцы в первую очередь старались их отремонтировать. Дороги были нужны немцам, чтобы их войска могли продвигаться дальше. С утра до вечера мы таскали или разбивали тяжелые камни, — женщины, девушки, парни, даже дети. Каждые пятьдесят метров стоял немецкий солдат и смотрел, чтобы мы не бездельничали. А вечером нас привозил тот же грузовик в деревню, и мы, усталые, в пыли плелись к своим жилищам.

В начале июня мне пришла повестка на работы в Германию. Мама в ужасе сразу же побежала к Федоре. Через некоторое время она вернулась и сказала:

— Может, на этот раз нам удастся избежать этого. Муж Федоры даст мне сто рублей, чтобы мы тебя выкупили у немцев. Завтра я пойду с ним в комендатуру.

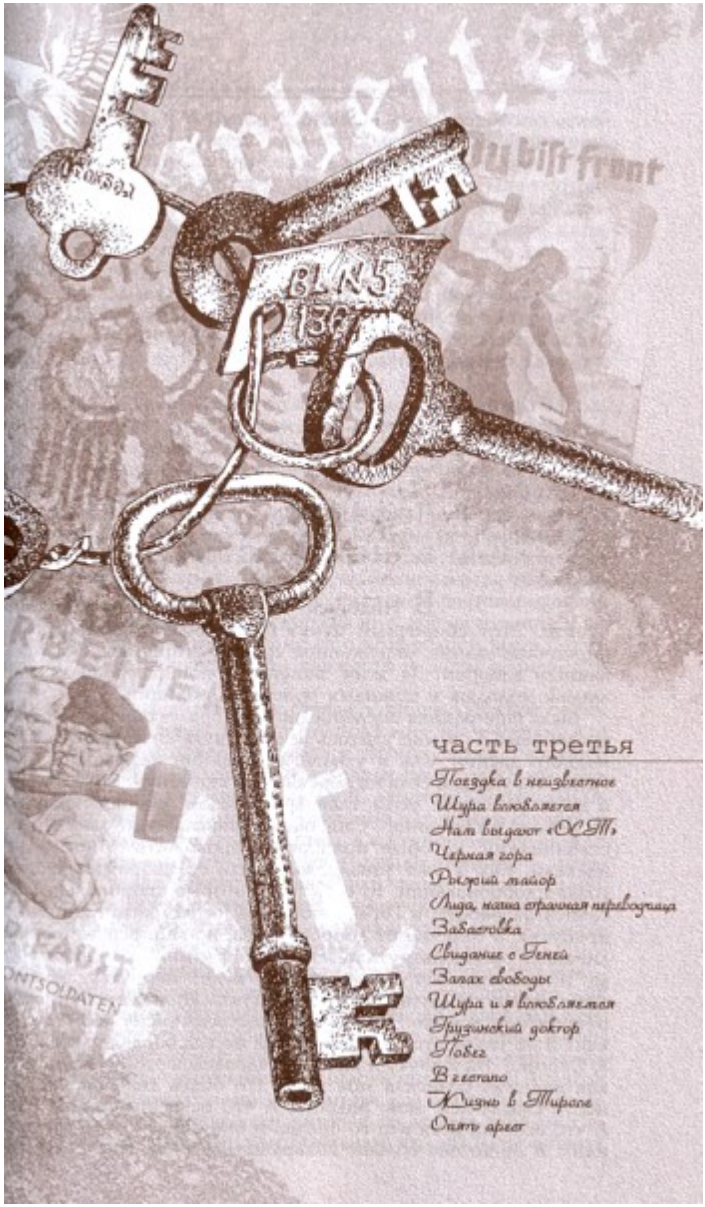
Итак, меня выкупили или, вернее, откупили от угона в Германию. Еще месяц я проработала на дорогах, а в начале июля опять пришла повестка. Уже откупиться было невозможно, кроме того, у нас не было денег. Их не было и у Федоры. Пришлось идти в комендатуру на регистрацию. К нам весело подбежала Аня, — ее тоже, вместе с еще пятью девушками, вызывали на регистрацию. Аня была весела и старалась подбодрить и меня:

— Чего ты печалишься? В Германии нам будет лучше. Ведь там тоже живут люди! Слава Богу, что едем, — увидим мир! А то при советах ты бы в жизни не поехала за границу! Посмотрим, как живут там капиталисты. А кончится война, — приедем обратно.

В сущности, Аня была во многом права. При советах мы бы никогда не поехали за границу. Мне тоже было любопытно узнать другие страны, увидеть другую жизнь, другие нравы и обычаи. Но в то же время я не доверяла немцам. Я не могла забыть того, что видела с Сергеем на наших мирных полях. Его слова о «непрошеном госте» не выходили у меня из головы. Конечно, я об этом никому не говорила. Было не только опасно, но и запрещалось говорить об этом. Немец старался показаться перед нами, как добрый освободитель от коммунистического ига.

Через два дня мы попрощались со своими, и нас повезли на грузовике в Никополь.

Часть третья



Поездка в неизвестное

В Никополе нас выгрузили на сборочном пункте. Этот сборочный пункт представлял собой огромное кирпичное здание, окруженное со всех сторон высоким деревянным забором. За этим забором копошилась целая масса людей: молодых и пожилых мужчин и женщин.

Была еще ранняя послеобеденная пора, — обеда у нас вообще не было, — и мне удалось вышмыгнуть со двора этого громадного здания. Как я узнала, это здание называли Биржей труда. На улице я села на деревянную скамейку. Мимо меня то и дело проходили люди, главным образом, «мобилизованные» на работу в Германию. Они разговаривали с друзьями и родственниками, которые пришли их провожать. Многие даже плакали. Как я уже узнала, выходить со двора разрешалось только добровольцам, то есть тем, которые добровольно записались на работы в Германию. Я не имела регистрационного пропуска, в отличие от добровольцев, но мне все же посчастливилось проскользнуть незамеченной мимо стражника у входа. Я, конечно, могла убежать. Но куда? Вернуться домой, — меня заберут обратно, а то и арестуют. И, может, будут даже неприятности маме. Поехать к родственникам? Но к кому и как? Я не знала, кто где, да и поезда не ходили для пассажиров. К Сергею? На минуту я даже обрадовалась этой мысли, и легкая надежда осветила мое лицо. Но опять тень нерешительности смыла всю мою радость. А что если его там уже нет? А что если их всех кто-то предал и они сидят где-то в тюрьме или… Я не хотела больше возвращаться туда. Итак, я решила остаться. Что будет, то будет. Стояла какая-то тревожная атмосфера. Никто не знал точно, что нас ждет там, в их Германии. Через некоторое время прибежала запыхавшаяся Аня.

— Ты что? Собираешься сматывать удочки? Ты мне смотри! Дура будешь! В Германии тебе будет лучше. Там кормят хорошо. Дают одежду и деньги за работу. А здесь что? Ты сможешь оттуда даже помогать своим.

— А ты откуда все это знаешь?

— Рассказывают. Немцы тоже это говорят. Сегодня же вечером нас будут грузить в вагоны и мы уедем. Сегодня же! Ты только пойми! Мир посмотрим! А то при советах нам это никогда не удалось бы! Идем! — и Аня потянула меня за собой обратно во двор.

Конечно, в некотором отношении Аня опять была права. Многим представлялась возможность впервые в жизни увидеть

мир, попутешествовать. И многие из нас именно поэтому поехали в Германию. Да, представлялась возможность вырваться из советского рая. Но что там, на чужбине? Вот вопрос.

Теперь уже через дыры в заборе я в последний раз смотрела на прохожих. Был теплый летний день. Деревья роскошно распустились над аллеями, люди ходили легко одетыми, некоторые даже в красивых платьях, наверное, выменянных где-то за продукты. Молодые девушки гуляли, смеясь и разговаривая, и, глядя на эту пеструю толпу, казалось, что войны никогда и не было. И мне так захотелось слиться с этой толпой, идти беззаботно по аллее и чувствовать свежесть и запах деревьев и ласковые лучи солнца.

Я не знаю, как долго я так стояла у забора. Грубый окрик сторожа испугал меня. Он что-то орал мне по-немецки, и я отошла от дыры и присоединилась к группе людей, стоявшей посередине двора. Оказалось, что делали перекличку, формировали группы, по пятьдесят в каждой, затем нас погрузили на машины и повезли к станции. На станции нас отвели грузиться в вагоны. Это были товарные вагоны, в которых раньше возили скот. Когда все погрузились, — уже начало темнеть, — поезд двинулся на запад. Никто не знал цели нашего путешествия. Только иногда поезд останавливался на несколько минут, чтобы мы смогли побежать в кусты, в «уборную». Весь состав сопровождался вооруженными немцами.

Так мы ехали ночь и день, и еще ночь. Казалось, что монотонная степь никогда не кончится. Но на утро второго дня поезд остановился в польском городе Кракове. Здесь нам приказали выгружаться и строиться по четыре в колонны. Затем нас повели по пустынной улице, но мы шли недолго. Нас ввели в большой лагерь, обнесенный колючей проволокой. У входа стояли немцы с винтовками. А в лагере, как мы сразу же увидели, было уже несколько сот человек из других городов Советского Союза. Наконец, нам объявили, что мы идем в баню.

Весь багаж, что у кого было, мы должны были оставить в особой комнате, где он должен быть дезинфицирован. По группам, в каждой по пятьдесят человек, нас вводили в баню. Здесь было хорошо: приятно попариться и облиться водой после долгого путешествия. Мы действительно наслаждались, не думая о нашем положении. Но и это маленькое удовольствие нам скоро испортили.

Всех девушек, у которых были длинные волосы, отделили от других и увели в другую комнату, рядом с баней. Там принялись всем отрезать волосы. Начались крики, плач, протесты. Многие девушки вырывались и бежали обратно в баню. Я тоже выбежала с

другими, чтобы не дать отрезать свои волосы. Но вошло несколько военных немцев. Несмотря на то, что мы все были голые, они ходили между нами, хватали девушек за волосы и тащили их обратно в «парикмахерскую». Видя всю эту неприятную сцену, толкотню, ругательства, насилие, я решила не сопротивляться, и «добровольно» пошла в «парикмахерскую», где оставила свои волосы. Что было делать? Ведь они так решили, их сила. Сопротивление было напрасно.

Одна девушка из Никополя, которая немного говорила по-немецки, взялась помогать немцам. Она сама к ним подходила, слушала их наставления и переводила нам, несмотря на то, что ее немецкий язык был довольно слаб.

— Девушки, — говорила она громко, — у многих из вас есть вши, клопы и прочее. Все это надо уничтожить, перед тем как мы приедем в Германию. Германия чистая страна. Поэтому нужно дезинфицироваться. — Она брала у немцев бутылки с вонючей жидкостью, подходила к нам и лила эту гадость нам на головы. Начались возмущения. Ее мгновенно все возненавидели, называя подлизой, изменницей. Помимо всего, она, как только видела немца, будь это банщик, который топит печь, или стражник у входа, подходила к ним и рассказывала им об ужасах советской власти. Ее немецкий язык мы все хорошо понимали, потому что каждое второе слово в нем было русское, причем или же «коммунист» или же «русский». Конечно, всем нам было известно, что делали коммунисты, особенно в последние дни отступления. Но то, что она рассказывала немцам, вызывало у всех нас возмущение и ненависть к ней. Помимо этого, ее унизительное холуйство тоже вызывало у нас не только отвращение, но даже стыд за нее.

После трехчасовой процедуры в бане нам выдали нашу дезинфицированную одежду и повели в столовую. Там каждый из нас получил по тончайшему кусочку хлеба и тарелочку жиденького супа с капустой. И вдруг мы все притихли. — Эта скудная порция еды и грубое поведение немцев, не предвещает ли это того, что нам предстоит в Германии? Многие среди нас ехали совершенно добровольно в надежде работать и зарабатывать на жизнь. Нам обещали свободу, хорошее питание, лучшие условия жизни. А теперь нас всех тащат в их страну, как рабов, под винтовкой, топча ногами наше человеческое достоинство. И опять я вспомнила Сергея. Как прав был он, называя немцев «захватчиками», от которых ничего хорошего нельзя ждать. Где он теперь? Что с ним?

В нашей группе была также одна пожилая женщина с молодой дочерью, Тамарой. Тамаре тоже отрезали ее роскошные,

длинные волосы. Обе они ехали добровольно в Германию. Отец Тамары еще в 1937-м году был уничтожен коммунистами за какие-то фантастические преступления. Поэтому мать и дочь решили уехать в Германию в надежде лучше устроиться у немцев. Они тоже притихли, несмотря на то, что мать Тамары переносила все спокойно.

После столовой нас повели на станцию, где мы опять сели в те же вагоны и двинулись дальше. А еще через сутки наш состав остановился в городе Дрездене, уже в Германии. Здесь нас повели в лагерь, который служил сборочным пунктом. Затем нас выстроили рядами, по сто человек в каждой группе, и сказали, что теперь нас распределят на работы. Это распределение проходило, как на базаре. От ряда к ряду ходили хозяева — фабриканты, фермеры, владельцы ресторанов и прочее — и осматривали нас, как скот, который ведут на базар. Я попала в группу женщин, в которой были, главным образом, девушки из Никополя. Там были Аня, Тамара, ее мать, с которыми я подружилась в дороге. Наконец, нас определили к фабриканту мебели из окрестностей Дрездена. Он с женой показались нам приветливыми людьми, и через короткое время грузовик привез нас в небольшую деревню по названию Вальдхейм. Там нас поместили в огромное здание, бывший гастхауз.

Так началась для всех нас новая жизнь. Наша квартира находилась на втором этаже, в большом зале, который раньше был, вероятно, театральным помещением, потому что в одном его конце была сцена. Теперь ее завесили, и она пустовала. В одной половине зала стояли пятьдесят двухэтажных кроватей с соломенными тюфяками, в другой — в два ряда длинные столы с деревянными скамейками — наша столовая и гостиная. Возле одной стены были расположены умывальники, дальше — уборная. А у входных дверей находилось небольшое деревянное бюро с большим окном из стекла — там была наша комендантша, которую сразу же, как только мы вошли, представили. Ее звали Эльфридэ.

Жилище наше было довольно примитивным. Но в сравнении с тем, что мне пришлось пережить, оно казалось совсем неплохим, а, наоборот, даже довольно удобным. В сущности, мы были пленниками. Эльфридэ находилась среди нас только по утрам и вечерам. Утром она приходила нас будить на работу, затем, после завтрака, сопровождала на фабрику. Вечером она приводила нас с фабрики и сразу же запирала наш «отель», как мы стали называть свое жилище. После ужина она оставалась некоторое время в бюро, затем запирала нас в «отеле» и уходила. Только в субботу после обеда, если мы не работали, и в

воскресенье она оставалась весь день с нами.

Большинство из нас работало на фабрике, но несколько девушек были распределены по другим местам: одна работала у сапожника, другая у пекаря, еще две девушки работали у фермера. Но к шести часам мы все должны были быть в «отеле». Эльфридэ была еще молодая, — как мы узнали позже, ей было только двадцать два года. Высокая полненькая блондинка, она вполне соответствовала предписанным требованиям гитлеровского режима к внешности «высшей немецкой расы». Она ни слова не говорила по-русски, но мы все понимали ее, так как ее словарь в обращении к нам состоял из четырех слов: «Лос! Ауфштейн! Вашен! Арбайтенген!» — Давай, вставать, умываться, идти на работу! И этого хватало нам на весь день. Как только утром она входила в зал, сразу же раздавался ее крик: «Ауфштейн!». И это было вместо приветствия. Часто девушки кричали ей в ответ: «Никс Ферштейн», что означало — «Не понимаем!» Тогда она злилась и кричала еще громче, иногда подходила к постелям и стаскивала с нас одеяла.

В день нашего прибытия нас повели на фабрику, чтобы ознакомить с местом работы. Поэтому мы надели свои лучшие платья, какие у кого были. В группе по десять человек нас водили от отделения к отделению и объясняли, что, где и как делается. Нам сразу же бросились в глаза синие спецовки всех мужчин, даже сам фабрикант был одет в синий рабочий костюм. Это было немного не так, как нам рассказывали о капиталистах в Советском Союзе. Мы также заметили, что во время нашего визита все рабочие любопытно осматривали нас с ног до головы и делали какие-то замечания на своем языке. Позже я узнала, что они удивлялись, как хорошо мы были одеты. Конечно, для этого случая каждая из нас надела свое лучшее платье. На мне было мое единственное шелковое платье и красивые кожаные туфли на высоком каблуке. — Все от дяди Феди, когда он помогал нам еще до войны. Приличный наш вид совсем не подходил к нацистской пропаганде об «унтерменше». Нам тоже бросилось в глаза, что на фабрике было особенно много деревянных ящиков, которые, казалось, не имели никакого отношения к мебели. Когда мы очутились на чердаке, где работал только один рабочий, — он шлифовал и полировал кресла, — я спросила его, почему так много ящиков. Его ясный и громкий ответ поразил меня:

— Бомбы запаковывать! Бомбы на войну!

Наш фабрикант, который сопровождал нас, с упреком посмотрел на рабочего и сказал:

— Клаус!

На фабрике также работало несколько французских

военнопленных. Они были в военной форме, но на спинах у них были две большие буквы: КГ, что значило — военнопленный. Я еще узнала, что гражданским немцам запрещалось разговаривать с нами, кроме тех случаев, когда речь шла о работе; так же дело обстояло и с нами.

Моими соседками по постели в «отеле» были с одной стороны Тамара с матерью — мать спала внизу, Тамара на верхней койке. С другой стороны — Шура, бывшая студентка из Никополя. С Шурой я быстро подружилась. На родине Шура изучала русскую литературу и очень любила ее. Кроме того, она знала много стихотворений наизусть, и мы часто вечерами декламировали их. Шуре было очень трудно привыкнуть к Германии. Она ненавидела и их страну, и их самих. В Никополе ее схватили наездом просто на улице и привезли на сборный пункт, откуда отправили в Германию. Она не успела даже попрощаться со своей матерью. Отец ее работал на хлебном заводе, а старший брат был на фронте. Вспоминая о родителях, она часто не могла сдержаться и плакала, за что девушки прозвали ее «плаксой». Но мне было жаль Шуру, и я хорошо понимала ее тоску по родине. Я также узнала, что Шура прекрасно знает немецкий язык, но притворяется, что ничего не понимает. Она все прекрасно понимала, что говорила нам Эльфридэ или мастер на фабрике, но делала вид, что ничего не понимает. Об этом знала только я. И втайне я завидовала Шуре. Она категорически отказывалась употреблять немецкий язык, а я вечерами начала учить его. Это было нелегко, так как в «отеле» не было ни книг, ни газет. Единственное, что было — радио. Оно стояло возле бюро Эльфридэ, и я начала часами сидеть перед радио и вслушиваться в немецкую речь. Но в моих стараниях изучить немецкий язык мне немного помогала Янина, наша польская переводчица.

Янина приехала к нам вскоре после нашего прибытия. Ее прислали с биржи труда. Она хорошо говорила по-немецки и стала нашей официальной переводчицей. Она переводила все, что нам говорила Эльфридэ, и ее часто водил с собой мастер на фабрике, если надо было объяснить что-нибудь более сложное. Но она тоже работала, как и все. Иногда Эльфридэ давала ей прочитанную газету. Тогда Янина читала ее. А я, подсев к Янине, расспрашивала о новостях в мире. Затем прочитанную газету получала я. Тогда я садилась над ней, рассматривала фотографии, старалась читать надписи и угадать, о чем шла речь. Иногда я запоминала целые фразы, такие как — «Вождь держит речь перед генералами», «Кататься на коньках — большая мода в Мадриде» или «Победы на восточном фронте». Когда Эльфридэ уходила на кухню, чтобы сделать распоряжения насчет нашего

завтрака на следующий день, я старалась уловить русскую станцию по радио. Однажды мне это удалось, но пришла Эльфридэ и сразу же поймала меня на горячем. Она, как бешеная, подбежала ко мне и переставила кнопку на немецкую станцию. Через Янину она сказала мне, что запрещается слушать русскую станцию. Я сказала ей, что хотела найти музыку, но Эльфридэ, с пеной у рта, кричала:

— Никс русский! Немецкий!

Вскоре оказалось, что на фабрике мне все же пригодились мои школьные знания французского языка. Часто наш мастер, если надо было что-нибудь объяснить, обращался к одному французскому военнопленному, который работал в нашем отделении, чтобы тот объяснил мне по-французски, что нужно. Жорж, — так звали военнопленного, тогда рассказывал мне по-французски, что говорил мастер, а я, в свою очередь, переводила девушкам на русский язык. Так мы обходились без Янины, которая работала на другой фабрике, хотя и у того же фабриканта.

С тех пор как нас привезли в «отель», между Аней и мной произошло полное отчуждение. Ее постель находилась в другом конце зала, да и она сама скоро вовсе перестала принадлежать к нашему обществу. Ей единственной удалось получить место на кухне. Сначала она вечерами помогала немкам чистить картофель, но через пару недель ее взяли на постоянную работу. Конечно, она там делала самую грязную работу, но зато ей не надо было идти на фабрику, и она была относительно свободнее, чем мы. Она целый день вращалась среди немцев. Несмотря на то, что она возвращалась в «отель» только к десяти часам вечера, она не выглядела усталой, как мы, и, конечно, не была голодной. Наоборот, она была всегда бодрой и веселой. Некоторые девушки уверяли, что Аня «таскается» с немецкими солдатами. Хотя немецкие солдаты время от времени появлялись на кухне, — вероятно, навещали девушек, которые там работали, — я не могла себе представить, как Аня могла «таскаться» с ними, будучи, как и мы, только «унтерменшен». Нам запрещалась всякая связь с гражданским немецким населением.

Теперь Аня относилась ко всем нам почему-то свысока, даже нахально. Когда мы, усталые и голодные, возвращались с работы, она, бодрая и веселая, вместе с немками втаскивала большие кастрюли с супом или картофелем и, распределяя еду, делала глупые замечания, которые только раздражали нас. А по воскресеньям, когда мы все, как узники, сидели взаперти и только из окна смотрели на двор, она весь день проводила на кухне или во дворе, где мы видели, как она заговаривала с прохожими

солдатами. Вероятно, о человеческом достоинстве Аня не имела ни малейшего понятия.

— Вот такие у вас в деревне! — обращаясь ко мне и показывая на Аню, которая в это время смеялась на дворе с солдатом, сказала мне однажды девушка.

— Она из Сибири. В нашу деревню она попала случайно, — ответила я, спасая, таким образом, репутацию нашей деревни.

— Такие, как она, только позорят нас всех, — ответила опять девушка.

К нам присоединилось еще несколько других. Они высказывали свое мнение посильнее:

— Такую б…. нужно повесить!

— Ее нужно проучить немножко!

Наше питание в «отеле» было довольно скудным. Кроме того, нам нелегко было к нему привыкнуть, а из-за стола мы часто вставали голодными. По утрам и вечерам мы получали сладенькие, жиденькие немецкие супики и два тонких, как бумага, ломтика хлеба. Только в обед, когда нам давали картофель «в мундирах», мы чувствовали себя сытыми. Но картофель нам давали редко. Жиденькие супы с брюквой в обед стали нашей стандартной пищей. На фабрике, во время пятнадцатиминутного перерыва на завтрак, все рабочие удивлялись, что никто из нас ничего не ест. У нас нечего было завтракать второй раз. Еще до ухода на фабрику мы все съедали, и редко кто оставлял ломтик хлеба на позже.

Но иногда во время этой короткой паузы, когда немцы обычно сидели и жевали свои бутерброды, некоторые из них старались заговорить с нами, хотя им это тоже запрещалось. Когда приходил шеф, наш фабрикант, тогда все смолкали. Разговоры же сводились к одному:

— Война никс гут, — говорили немцы. — Все капут, много работа. Никс филь гам-гам. То есть, много работы и мало еды.

Часто Мария, моя соседка по работе, бодро отвечала им:

— Почему тогда война? Вы делаете войну!

Мария не боялась говорить откровенно. Ей не было еще и пятнадцати лет. Она была даже моложе Тамары. Но ее серьезный вид и здравый смысл делали ее старше своих лет, хотя она все еще совсем была похожей на ребенка. Рабочие немцы уважали ее — она была хорошей работницей — и относились к ней со снисхождением, не принимая ее слова всерьез. Другие же девушки не смели откровенно говорить с немцами о нашей пище и войне.

Все мы были распределены на группы по разным отделениям. Мария, Тамара, ее мать, я и несколько других более худеньких

девушек работали на втором этаже. Здесь мы склеивали мебель, красили ее, затем относили на чердак, где работал полировальщик мебели, Макс, которого мы встретили еще в наш первый день на фабрике.

Макс был один на чердаке, и ему, вероятно, было иногда скучно, потому что он со всеми старался заговаривать, за что часто получал выговоры от шефа. Внизу было машинное отделение. Там работало двадцать девушек. Среди них Шура, Мотя, которой было лет за тридцать, Настя и Татьяна. Татьяне тоже было только пятнадцать лет, но она выглядела сильной и крепкой, несмотря на свою худобу. Татьяна считалась одной из самых откровенных с немцами. Но, в отличие от Марии, в ней не было детской обаятельности и наивности. Наоборот, если бы не ее длинные волосы, которые ей чудом удалось спасти от немецких чисток, ее можно было бы принять за мальчишку. Ее голос был тоже груб, силен и громок. Больше всего не любила Татьяну Эльфридэ: «Ауфштейн! Вашен! Арбайтенген!». Все девушки в этом отделении резали на станках дерево на мелкие части, из которых делалась мебель, или же они делали ящики, склеивали их и относили на склад.

Более крепкие по телосложению девушки работали на дворе большими пилами. Они также таскали доски, грузили их на машины или с машин и укладывали во дворе. Работа на дворе была тяжелой и неприятной, потому что зимой было довольно прохладно, иногда даже холодно, хотя зима в Германии была гораздо теплее, чем на Украине. Как мы узнали, наш фабрикант должен был выпустить определенное количество ящиков для военных целей. Только после этого он мог делать свою мебель для продажи.

Шура влюбляется

Однажды с Шурой случилось несчастье. Она порезала себе пальцы на пиле. Кровь ручьем лилась по ее одежде. Наш шеф, испуганный и бледный, сразу же прибежал и на своей машине отвез ее в больницу. Там ей перевязали руку и отправили обратно в «отель» с Эльфридэ. Три недели Шура сидела одна взаперти в «отеле», и, конечно, у нее было много времени думать обо всем, и она становилась все печальнее и печальнее. Вечерами, когда мы возвращались с работы, Шура подсаживалась ко мне, рассказывала мне о своих мыслях и чувствах и бесконечно ругала немцев. Когда ее пальцы зажили, три пальца остались совсем изувеченными. Ее не послали больше работать на фабрику, а устроили к одному местному пекарю, где она помогала по хозяйству: мыла полы, убирала и прочее. На место Шуры в машинном отделении поставили работать меня. Но и со мной случилось то же самое через два дня. Я порезала себе два пальца на левой руке, но, к счастью, не так глубоко, как Шура. Мне забинтовали руку и послали обратно на второй этаж, где я работала рядом с Марией.

— Проклятые, — часто говорила Шура, показывая мне свои искалеченные пальцы, — теперь я никогда не смогу играть на рояле. — Шура еще с детства играла на рояле и знала много о музыке. Позже она училась у частного преподавателя. И теперь вряд ли она сможет так хорошо играть, как раньше. От нее я узнала, что значат для России Чайковский, Бородин, Римский-Корсаков. От нее я научилась понимать Бетховена, Моцарта, Шопена и других мировых классиков. Она была человеком тонкого душевного склада. К сожалению, это было часто поводом для разных насмешек и недоброжелательных замечаний со стороны девушек.

— Эта Шурка и тебя скоро сделает плаксой, — говорили мне девушки. Они не понимали Шуру. Большинство из них были простые, рабочие или крестьянские девушки. Тонкие чувства Шуры они называли сентиментальностью и смеялись над ней, особенно, если Шура бросалась мне на шею, когда мы возвращались с работы, а она сидела в «отеле» с забинтованными пальцами. Ей некому было выливать свою горечь на немцев, о которых она никогда не изменила своего мнения, несмотря на их музыку, которую она очень любила. Для нее немцы всегда оставались варварами.

— Они поработили нас. Мы их рабы, — говорила она с возмущением. Только после войны, когда немцы были разбиты и

все их высокомерие исчезло, будто его никогда и не было, и особенно, после того как она встретила офицера Красной армии и стала его женой, она, казалось, немного успокоилась. Но еще до этого, спустя две недели после того, как она начала работать у пекаря, я ее почти не узнала. Она вовсе перестала «хныкать» и иногда даже, если кто-то шутил, смеялась, чего с ней никогда не случалось, и, главное, ее большие голубые глаза лучились каким-то внутренним счастьем. Что случилось?

— Я влюблена! — шепнула она мне однажды вечером на ухо, после того как мы, поужинав, уселись на наши нары. — Ты можешь себе представить? — Я влюблена!

— Господи, в кого же? — спросила я, не веря своим ушам.

— Не спрашивай, — ответила она. — Я, старая корова, даже стесняюсь сказать это тебе.

«Старой корове», между прочим, не было еще и двадцати лет.

— Ты что, Шура, с ума сошла?

— Да, я сошла с ума. Но ты меня поймешь, не правда ли? — говорит Шура, ее глаза лучатся, и она ближе подсаживается ко мне на нары.

— Да кто же он? — спрашиваю я.

— Я тебе скажу, но никто не должен знать, кроме тебя… Он еще мальчик. Ему всего пятнадцать лет.

— Как это возможно?! — удивляюсь я. — А он?

— Он тоже. Он сын пекаря, владельца магазина, где я работаю. И вот еще что: он еще ходит в школу.

— Но ты серьезно влюблена?

— Он так мил со мной! Он даже помогает мне в работе. Понимаешь? Мне, «унтерменшен». Когда я, например, несу тяжелое ведро с водой, он сразу же подскакивает, берет ведро из рук и несет его сам. Он даже помогает мне чистить картофель, мыть полы. А когда его мать посылает меня в деревню к фермеру принести полмешка муки или картофеля, он идет со мной, и мы несем это вместе.

— А что на это говорят родители?

— Они не против того, чтобы он помогал мне. О моих чувствах они, конечно, ничего не знают. Он иногда показывает мне свои школьные задания, и я помогаю ему.

— Может, поэтому он с тобой так мил? — спрашиваю я.

— Ах, нет! — отмахивается Шура. — Когда мы вместе идем по улице, он берет мою руку в свою. Вот что! — говорит восторженно Шура. — Он не обращается со мной, как с «унтерменшен», а как с равной. Знаешь… его видеть, с ним говорить, теперь это единственная моя радость. Он такой чистый, такой невинный! Он — как луч света в этой тюрьме! Ведь что за

жизнь здесь для меня без моих мамочки и папочки? — говорит Шура, и на глаза ее навертываются слезы.

Шура очень страдала от нашего заключения. Когда она одна сидела взаперти и не ходила по болезни на фабрику, она каждый день плакала. Теперь она радовалась каждому рабочему дню. Только по воскресеньям, когда все сидели в «отеле» под замком, она печально стояла у окна и ожидала, пока пройдет ее друг и помашет ей рукой. Тогда ее лицо озарялось, и на глазах сверкали слезы радости.

— Он обещал мне, что пройдет мимо, — шептала она мне, когда я подходила к окну. — Он знает, как я страдаю в заключении.

Но скоро девушки узнали тайну Шуры. Ее долгое простаивание у окна, ее радость и счастливое выражение лица, когда она шла на работу, выдали ее. И девушки начали еще пуще теперь дразнить ее:

— В кого же ты влюбилась?! — В мальчишку! Ты бы постыдилась!

Но Шуре их насмешки были безразличны. Она была счастлива и хоть на время забывала свое рабство в чужой стране. А со временем нам разрешили выходить на два часа по воскресеньям.

Когда Эльфридэ объявила нам эту новость, мы все кричали и топали ногами от радости. И мы выкрикивали наперебой:

— Эльфрида, Эльфрида, можно мне пойти в это воскресенье?! А мне? А мне?

— Викторка! — так теперь обращалась Эльфридэ ко мне. — Скажи им, что меня зовут не Эльфрида, а Эльфридэ.

Она не любила, когда мы изменяли ее имя на русский лад, давая ему русское окончание, а не немецкое. Она считала это оскорблением. Девушки знали об этом, но все же продолжали называть ее Эльфридой.

Нам выдают «ОСТ»

Однажды на работе подошел ко мне наш главный мастер:

— Я слышал, что вам теперь разрешают выходить по воскресеньям. Моя жена и я хотим пригласить вас к нам в воскресенье на обед. Придете?

— Да, — ответила я. — С удовольствием!

На маленькой бумажечке он написал мне свой адрес:

— Только об этом никому. Хорошо?

В следующее воскресенье я нашла его чистенький, небольшой домик, окруженный зеленым садом. Большая собака, сопровождая хозяина, бросилась мне навстречу. В доме наш мастер представил меня своей жене, милой и приветливой немке, затем мне показали их сад с цветами и некоторыми фруктовыми деревьями. И опять мне вспомнились рассказы Ильи Петровича о безупречной чистоте и порядочности немцев.

Стол был накрыт празднично: белая скатерть, серебро, цветы в вазе. И все это опять перенесло меня в мое детство, в столовую моей бабушки Марфы. Как далеко все это! Как изменилось все! Куда я попала! Что ждет меня впереди? Все эти мысли невольно громоздились в моей голове.

На обед был вкусно приготовленный картофель, мясо, овощи. На сладкое был пирог и кофе, — роскошь, которой я уже давно не знала. Когда обед закончился, старики показали мне фотографии своих сыновей:

— У меня три сына, — сказал мастер. — И все три на фронте. Два в России. От одного мы уже три месяца как ничего не получаем. Нам сообщили, что он пропал без вести.

— Война, — сказала его жена, — принесла нам всем только несчастье.

Лица стариков были печальны. Мы еще долго говорили об их сыновьях и о войне. Они хотели знать, какие русские, что они собой представляют, человечны ли они? Эти вопросы мне и позже часто приходилось слышать от немцев. И вот я рассказывала им о нашей стране, главным образом, о людях, об их тяжелой жизни. Они с жадностью слушали меня, как бы хотели прочесть на моем лице судьбу своего сына. Мне было жаль этих несчастных стариков, у которых война отобрала всех детей. Как я могла их утешить? Какие русские? Разве они иные, чем другие люди? Конечно, немецкая пропаганда представляла им русских в самых черных красках, так же, как и наша советская пропаганда говорила нам о немцах. А между тем люди всех национальностей одинаковы. Все имеют те же чувства, те же желания и даже

мысли. Гораздо позже, уже после войны, когда мне лично пришлось столкнуться с людьми иной расы, с черными, коричневыми и желтыми, среди которых я встретила высококультурных и образованных людей, ничем не отличающихся по уму и способностям от белых, я не могла, и сейчас еще не могу постичь своим умом, как человечество могло допустить рабство и порабощение одних другими! Только потому, что одни достигли материального благополучия, а другие, в силу природных или иных условий, его еще не имеют, одни думают, что они выше других от природы. А, в сущности, какой это абсурд! Ведь все люди равны перед Творцом.

Однажды вечером, как раз через полгода нашего пребывания в «отеле», Эльфридэ вошла к нам в сопровождении жандарма, который вел рядом с собой большую собаку. Эльфридэ положила на стол узкий пакет и вызвала Янину, нашу официальную переводчицу, к столу. Жандарм начал что-то быстро говорить ей. Затем Янина подошла к пакету и распечатала его. Все мы уже стояли вокруг стола и смотрели на эту странную процедуру. Из пакета выпали какие-то синие полоски материи, на которой было что-то написано большими белыми буквами.

— Немецкое правительство, — начала переводить негромко Янина, — выдало указ, что каждая из нас должна носить знак «ОСТ». Все получат по три знака. Эти знаки мы должны нашить на одежду, в которой работаем или выходим из здания. Без этих нашивок никто не имеет права выходить на улицу.

После слов Янины в зале воцарилась мертвая тишина. Никто даже не шевелился. Когда Эльфридэ эта тишина показалась слишком долгой, она выкрикнула своим обыкновенным командным тоном:

— Давай! Берите знаки!

Тогда вдруг все началось.

— Мы не звери, которых клеймят, перед тем как ведут на бойню, — кто-то глухо, но четко сказал в толпе.

Янина перевела эти слова жандарму, который сразу же спросил, что было сказано.

— Все, кто с востока, должны носить знаки «ОСТ», — ответил жандарм. — Уже везде, по всей Германии их носят. Вы тоже должны их носить. Без этих знаков вы не смеете идти даже на работу!

— Нам не надо ярлыков. Мы не звери! — опять раздалось несколько голосов из толпы.

— В таком случае, вы все останетесь взаперти до тех пор, пока не возьмете их, — ответил жандарм.

Янина все это переводила.

— Мы не возьмем! Держите нас взаперти сколько угодно! — опять раздались голоса. — Вам мало того, что мы и так тяжело работаем! Вам еще больше нас надо унижать!

Не добившись никаких результатов, Эльфридэ и жандарм удалились. Но на следующее утро они возвратились с теми же требованиями. И опять началась та же процедура переговоров.

Мы настаивали на своем. Наконец нам стали угрожать оставить нас без пищи.

— Ну и ладно. Не будем есть! — говорили мы.

И весь этот день мы просидели без пищи. Нас продержали взаперти, даже не повели на работу. И так продолжалось три дня. На третий день вечером Аня вошла с кухни со знаком «ОСТ» на груди. Сначала на нее все молча смотрели. Тогда Татьяна начала ее громко ругать последними словами. Другие девушки присоединились к ней, ругательства так и сыпались на Аню со всех сторон. Вдруг кто-то бросил в нее ботинок, затем полетели ложки, вилки, ножи; наконец Аня, втянув голову, убежала на кухню. Когда позже она возвратилась, некоторые девушки подскочили к ней:

— Проститутка!

— Б….!

— Немецкая тряпка!

На четвертый день мы уже сильно почувствовали голод. Последние крошки, у кого они были, поделили между друзьями. Большинство девушек сидело молча на своих нарах. И вот появляется опять Эльфридэ, на этот раз с тремя жандармами. Всем нам приказали выйти на середину зала. Один из жандармов начал что-то говорить Янине. Я вижу, как вдруг ее лицо стало совершенно бледным, и, обращаясь к нам, она говорит слабым голосом:

— Мне только что сообщили, что меня отправят в концлагерь, если мы не возьмем знаки.

— Это шантаж! — выкрикнул кто-то из толпы.

Но большинство из нас стояли молча и только смотрели на жандармов.

Янина тоже молчала и с поникшей головой стояла впереди всех.

— Викторка! — обращается вдруг Эльфридэ ко мне. — Иди, бери знаки!

Я не двигаюсь с места.

— Выходите! — крикнул один из жандармов, вынимая плетку и приближаясь к нам. — Я вас заставлю их взять!

Где-то в толпе кто-то громко заплакал.

— Паразиты! — вдруг выкрикнула Татьяна.

Тем временем жандармы угрожающе надвигались на нас. Некоторые девушки стали убегать к своим нарам. Большинство же стояло тесно сплотившись друг с другом. Янина и я стояли впереди всех, так как нас обеих считали переводчицами. За полгода я уже довольно хорошо начала понимать простые немецкие фразы и могла переводить их. Мы все теперь ожидали самого худшего. Один из жандармов уже поднял свою плетку и замахнулся на нас, но в это мгновение кто-то с улицы начал громко стучать в дверь. Жандармы все переглянулись. Эльфридэ подошла к двери и открыла ее. Там, в синем рабочем комбинезоне, весь промокший от дождя, стоял владелец нашей фабрики. Он перешагнул через порог, вода стекала с его лица, волос, с одежды на пол. Эльфридэ и жандармы в недоумении смотрели на него. Лицо фабриканта нахмурилось. Недовольным голосом он что-то почти кричал жандармам. Тогда, обращаясь ко мне, он сказал по-французски:

— Эти знаки вы будете носить только временно. Как только кончится война, вы все можете ехать домой.

Хотя его слова мне показались почти наивными, — этот конец войны казался нам в этой глуши на чужбине почти невозможным, — я перевела девушкам его слова. Все молчали. И вдруг случилось что-то необыкновенное: от толпы отделилась старушка, мать Тамары. Она тянула за собой и дочь. Молча она подошла к столу, взяла знаки, для себя и для дочери. Дрожащими руками она приколола их себе на грудь. Затем молча подошла к двери, ведущей в кухню, где девушки-немки внесли гору хлеба для тех, кто возьмет знаки, взяла свою порцию. За ней последовала Тамара — и стала рядом с нашим фабрикантом.

Все это сопровождалось мертвой тишиной. Стройная фигура высокой, тонкой, чуть сгорбленной старухи тронула нас всех. Что ее заставило взять эти рабские знаки? Трехдневный голод? Или же она лучше нас понимала, что мы, кучка совершенно беспомощных рабов на чужбине, так или иначе ничего не добьемся? Да, что она думала? — За ней последовали и другие девушки. Когда Татьяна взяла свои знаки, она подошла к Эльфридэ и, размахивая ими перед ее носом, проговорила:

— Вы за это дорого заплатите!

— Что она сказала? — спросила Эльфридэ, но ей никто не ответил.

Когда Шура подошла к столу и своими изуродованными пальцами взяла свои знаки, она тоже сказала:

— Пусть они нас теперь унижают! В один прекрасный день мы им отомстим за это! Сегодня нас покорили, но они нас не победили!

Некоторые девушки плакали. Жандармы стояли у двери и молча смотрели на нас. После того как все знаки были розданы, хлеб получен, мы все пошли с фабрикантом на работу. Только Янину увели жандармы, несмотря на то, что мы все взяли знаки. Прощаясь с нами, она горько плакала. Она, вероятно, знала, что ее ожидает. Она была польской еврейкой, и ей, бедняжке, так и не удалось скрыться от участи, которая постигла тысячи ей подобных. Мы о ней больше ничего не слыхали.

Когда мы возвратились на фабрику, к нам подходили французские военнопленные и пожимали нам всем руки. Немецкие рабочие вели себя более сдержанно, но время от времени тот или иной бросал нам сочувствующие взгляды.

История со знаками «ОСТ» показала нам теперь ясно, что мы находимся в чужой, враждебной стране, где нам ничего хорошего нельзя ожидать. Особенно горько было это понять тем, кто приехал на работы добровольно. Все надежды на получение свободы и лучших условий жизни не оправдались. С этих пор между нами и французскими военнопленными установилась своего рода бессловесная солидарность. Они теперь часто делились с нами своей пищей, которую добавочно получали от Красного Креста. Они также часто сообщали нам ход военных действий и иногда писали нам маленькие записочки, в которых тоже были разные новости. Они старались подбадривать нас, чтобы мы не теряли надежды на победу над Гитлером.

И вот пришла весна 1943-го года. Мы пробыли в Германии уже почти год, ровно восемь месяцев, а надежды на освобождение от рабства все еще не было. Французы нам, правда, рассказывали, что продвижение немцев на восток остановилось, что они все больше и больше получают отпор в России и что им становится все труднее справиться с фронтом на востоке. Мой мастер, сын которого без вести пропал в России, стал еще более печальным. Он стал часто задумываться. Нагнув голову, он молча слушал последние известия. Оказывается, что не все немцы были так счастливы, как утверждало радио, и далеко не все были довольны своей судьбой. Все они, конечно, молчали и не говорили с нами о поражении своих войск в России. Только Макс, к которому нам запрещали ходить на чердак, ликовал, был весел и открыто говорил с нами, если представлялся удобный для этого случай. Когда во время перерыва он спускался к нам на второй этаж и слушал новости по радио или то, что ему говорили немцы о победе на фронте, он подносил свой палец ко лбу и вертел им, что значило, что подобному верят только умалишенные. Молоденькие немки хихикали и скорее отворачивались от него, завидев шефа. А Макс, когда шефа не было видно, — мы часто

называли нашего хозяина фабрики шефом, — подходил к нам и, весело улыбаясь, говорил:

— Скоро домой! Война капут!

Позже мы узнали, что Макса все боялись, потому что он всем говорил правду о политике Гитлера, которую считал полным сумасшествием. Но так как он был примерный рабочий, мастер своего дела, его держали на фабрике и старались не принимать всерьез. Была и другая причина. Как нам стало ясно позже, наш фабрикант был неплохим человеком. Повинуясь приказам свыше, он делал все возможное, чтобы в рамках невежественности гитлеровского режима остаться человеком. Вероятно, поэтому он изолировал Макса от других, охраняя его, таким образом, от возможных доносов и дурных последствий. У нас было такое впечатление, что ему тоже не нравилась вся эта война и политика Гитлера. Но как лояльный немец, он должен был держать линию, иначе и его могли удалить всесильные СС. Он был всегда приветлив с нами, остовцами, и французскими военнопленными.

С изменением событий на русском фронте произошли также некоторые изменения и у нас на фабрике. Мобилизовали нескольких немецких рабочих на фронт. Теперь фабриканту приказали делать больше ящиков для упаковки снарядов вместо мебели. И вот мы теперь занялись изготовлением ящиков. Нашему шефу это, очевидно, не особенно нравилось. Он ходил угрюмый, с напряженным выражением лица, и мало говорил. Только Макс все еще полировал некоторые кресла, находившиеся на складе.

Другая перемена, которая последовала вскоре за первой, поразила нас всех, как гром: две трети из нашего «отеля» должны быть отправлены на другую работу, на завод по выпуску снарядов в Дрезден-Фрейтале. Фрейтал был, в сущности, одним из пригородов Дрездена, где находились большие заводы тяжелой промышленности. Это известие всех совершенно ошеломило, ведь никто из нас не думал о том, что нас еще до конца войны разлучат. Как ни печально было наше пребывание в этом маленьком городке, почти деревне, мы привыкли к его сельскому характеру, к зеленым улицам, к маленьким, чистеньким домикам немцев, мимо которых мы проходили каждый день на работу и с работы. Долгие месяцы совместной жизни в «отеле», где ровно полгода нас держали под замком, как узников, а также все последующие неприятности сплотили нас всех в одну большую семью.

В конце марта нас разлучили. Мария, моя соседка по рабочему столу, осталась. Я, правда, ей немного позавидовала. Но она была любимицей всех немцев, хорошей работницей, хотя и

ворчливой, но совсем не опасной, и было, конечно, понятно, что ее предпочли оставить. Мне немного жаль было разлучаться с этим местом, особенно потому, что за последние месяцы я подружилась с Жоржем, французским военнопленным из Парижа, через записочки которого мы узнавали разные новости, что творится в мире. Конечно, записочками обменивались и другие девушки, и это не оставалось тайной для нашего шефа. Было известно также, что французы помогают нам пищей. Все это было вопреки предписаниям немецкого правительства, которое запрещало иностранным рабочим всякую связь с другими иностранными рабочими или немцами. Запрет этот был особенно строг в отношении военнопленных. И вот представился случай избавиться от всех тех, кто нарушал эти предписания свыше. Аню, конечно, оставили на кухне. Всех же более непокорных и своевольных услали. К таким попали Татьяна, Шура, старушка и ее дочь Тамара, Настя, одна из самых красивых девушек среди нас, крестьянка Мотя, у которой был также «длинный язык», многие другие и я.

Черная гора

Неприветливым и серым показался нам наш новый лагерь во Фрейтале. Какого-то неопределенного цвета деревянные бараки стояли на верхушке грязной, серо-черной горы, где не было ни одного деревца. Как мы скоро узнали, эта гора была искусственная: на протяжении нескольких лет туда вывозили шлаки и разные отбросы заводов. И вот теперь на ней стоял наш лагерь. Темное, неприветливое, голое место. И мы назвали его «Черной горой». Здесь в лагере жило около пяти тысяч иностранных рабочих. Кроме русских, там были поляки, чехи, бельгийцы, голландцы и французы. Весь лагерь был обнесен высоким деревянным забором с колючей проволокой наверху. Заглянуть внутрь лагеря было невозможно. Входные ворота охранял военный с ружьем и пистолетом. На самом высоком и видном месте находилась комендатура и ее администрация. В каждом бараке было по восемь комнат, в которых жило по четырнадцать — шестнадцать человек. Спали на деревянных двухэтажных кроватях, на соломенных тюфяках, как и в «отеле». Комендант лагеря был военный СС, которого все боялись. Ночью лагерь охраняли более тщательно — военные с оружием обходили вокруг лагеря. У заборов стояли бараки поменьше — это были умывальники и уборные; с одной стороны для женщин, с другой — для мужчин. Там мы мылись по утрам и вечерам, конечно, холодной водой. Но по субботам после обеда нас водили в общую баню, — тоже на Черной горе. Рядом с баней стояли другие бараки — с русскими военнопленными, которые тоже работали на заводе. Их лагерь охранялся еще строже.

На заводе работали посменно: одну неделю днем, от шести утра до шести вечера, другую неделю ночью, от шести вечера до шести утра. На завод нас сопровождала лагерная полиция, главным образом немецкие солдаты. По воскресеньям нам разрешали выходить на два часа в город по специальным пропускам. Если же кто опаздывал хоть на пять минут, то терял право выхода на следующую неделю. Очень редко попадался охранник, который не обращал особого внимания на несколько минут опоздания. Но большинство принадлежало к категории бессердечных: они записывали каждую минуту опоздания и передавали в комендатуру.

Распределение жильцов по комнатам, как мы узнали позже, происходило в соответствии с последними исследованиями министерства вооружения и военной продукции. В комнаты старались поместить небольшие группы друзей, а то и

родственников, если таковые были. По мнению немецких исследователей, наличие близких в одной группе способствовало хорошей работе и также хорошему настроению на работе, что, в свою очередь, тоже увеличивало производительность труда рабочего. Таким образом, нас, приехавших с мебельной фабрики, поселили в одном бараке. Шура, Тамара и ее мать, Татьяна, Мотя и здесь оказались моими соседями по постели. Койки наши стояли вдоль стен двумя рядами. Посреди комнаты была чугунная печка, а возле окна — длинный стол со скамейками по обе стороны. Здесь мы наскоро проглатывали свой завтрак или ужин, которые по сравнению с «отелем» были гораздо хуже: по утрам мы получали полфунта черного полусырого хлеба, тяжелого, как камень, десять граммов мармелада или маргарина и черный кофе неопределенного происхождения. В обед — нас привозили с завода на обед, так как он был всего в пяти минутах ходьбы от лагеря — мы получали вонючий суп с капустой или брюквой, который мы прозвали «баландой». Реже нам давали вареный картофель в мундире. Эти дни мы считали чуть ли не праздником. А вечером мы получали только черный кофе.

Особенно тяжело было в ночную смену, на которую мы обычно шли с пустыми желудками, так как утром съедали хлеб, а днем спали и не получали суп. Уже в полночь мы еле-еле стояли на ногах. Мы работали в огромном цехе, на станках, которые ровными длинными рядами стояли по отделениям. Мы точили дырки в снарядах, отделывали гранаты, затем они измерялись разными специальными приборами. В этом цехе находились также и доменные печи для плавки стали. Воздух был наполнен грохотом сотен станков, едкими газами и дымом, и часто было тяжело дышать. Здесь работали не только иностранные рабы, но и много немцев. Они, конечно, были мастерами и контролерами или исполняли более легкую работу. Самая же тяжелая работа была на плечах иностранцев и русских военнопленных. Женщины и мужчины работали одинаково тяжело. Некоторые грузили тяжелые ящики со снарядами на машины или тачки, которые потом катились прямо на станцию, где их грузили в вагоны и отправляли в другие цеха этого огромного военного завода. Немецкие же женщины выполняли самую легкую работу. Многие из них работали в конторе, которая находилась в конце цеха за стеклянной перегородкой.

Помимо немецкого мастера, каждая национальная группа имела своего надзирателя и переводчика. Обычно надзиратель был также и переводчиком. Такой надзиратель-переводчик носил красную повязку на рукаве. Но немцам и здесь запрещалось говорить с нами. Не только немцам запрещалось говорить с

иностранцами, но всем запрещалось разговаривать друг с другом во время работы. Когда же надзиратель или немецкий мастер не наблюдали за нами, мы все же ухитрялись сказать словечко друг другу. Несмотря на обилие национальностей и языковые трудности, между иностранными рабочими и здесь установилась тайная солидарность.

Особенно приветливыми и сердечными были чехи. Среди иностранных рабочих, находившихся в Германии, они пользовались наибольшими привилегиями: им не нужно было жить в лагере, они могли снимать частные квартиры, или же были распределены по небольшим гостиницам. Им также не запрещалось свободно ходить когда и куда им вздумается. Несмотря на все это, они не меньше нас ненавидели немцев и ругали их последними словами.

Первые недели нашего пребывания на Черной горе и на заводе показались мне настоящим адом. Каждое утро в коридоре барака раздавался пронзительный свист лагерного полицейского. Полусонные, мы бежали в умывальный барак, затем наскоро проглатывали свой хлеб и кофе и шли во двор для проверки, где строились в колонну по четыре. Если кого-то не хватало, полицейские разыскивали его по всем комнатам и в уборной. Перед выходом из ворот нас пересчитывали опять, а перед входом в заводские ворота — еще раз. У каждой из нас, кроме нашивок «ОСТ», был еще номер. Мой номер был 927. Вечером усталые и измученные, с серо-зелеными от газов лицами, мы возвращались в лагерь, ели нашу баланду или кофе, в зависимости от того, что выдавали, и как мертвые валились на свои соломенные матрасы.

Но еще страшнее в первые недели показалась мне работа в ночную смену. От усталости и головной боли, от шума и газов замедлялись наши движения. Обыкновенно после полуночи глаза слипались сами и трудно было бороться со сном. Некоторые, стоя за станком, засыпали. И только пронзительный крик надзирателя или толчок соседа — за станком было опасно спать — бросал нас опять в кошмарную действительность.

Иногда нам удавалось скрыться на пару минут в уборной. Но и оттуда нас выгонял надзиратель, которого часто посылали немцы, заметив, что многие из нас отсутствуют.

Всмотревшись внимательно в наши лица, нетрудно было заметить, что с каждым днем многие девушки приобретают какой-то желтоватый, нездоровый цвет лица. На протяжении первых трех месяцев некоторые из нашего бывшего «отеля» оставили нас навсегда. От скудного питания и тяжелой работы они так ослабели, что у них развился туберкулез. В таких случаях немецкий врач отделял больных в особую группу и их увозили

неизвестно куда. Обычно они больше не возвращались в лагерь.

Только в воскресенье мы могли передохнуть и хоть на время забыть этот ад. В такие дни мы обыкновенно долго спали, а после обеда, если был пропуск, уходили в лесок, находившийся недалеко от лагеря, на прогулку. Воздух там был чистый и свежий, и мы наслаждались этими прогулками, хотя и это удовольствие не проходило без неприятностей. Наши «ОСТ»-знаки привлекали внимание немецких детей: как только они замечали нас, они часто бежали следом, бросая в нас камнями и выкрикивая:

— Русские свиньи! Прочь, русские! Пошли прочь!

Однажды в воскресенье наш барак посетила группа национал-социалисток. Четыре выхоленные, хорошо одетые немки в сопровождении лагерного полицейского осторожно перешагнули порог нашего барака. Никто из нас не ожидал такого важного визита и поэтому никто не готовился к их приему и не уделял им особого внимания. Некоторые девушки сидели на своих постелях, другие — за столом, починяя одежду. Вокруг печки на скамейке сушилось белье всевозможных оттенков сероватого цвета.

Женщины оглядели нас со всех сторон, заглянули во все углы, затем спросили, как мы живем.

— Плохо, — ответила Татьяна. — Никс гут есть.

— Мы тоже плохо едим, — сказала одна из них, — война!

Все четыре были хорошо одеты, в костюмах классического покроя, которые в то время были в моде. Они были полненькие, что тоже соответствовало идеалу немецкой женщины гитлеровского режима. Их щеки были розовые и у всех были прически по последней моде. Они совсем не выглядели плохо питающимися. Одна из них подошла к печке и, показывая на трусики, сказала:

— Плохо постирано.

— А где нам хорошо стирать? — ответила Мотя. — Нет горячей воды, мало мыла.

— Надо так долго тереть, пока не станет чистым, — поучала нас другая.

— Тереть! — вдруг заговорила по-немецки Шура. — Ты сама потри, потом будешь говорить иначе!

На этом и закончился их визит. Осмотрев нас еще раз и поморщив носы, дамы высшей немецкой расы удалились.

— Ты полюбуйся только этими швабками, — сказала Мотя. — Наше белье им не хорошо постирано! Они бы лучше побеспокоились о том, чтобы нас сытнее кормили!

— А о предосторожности они ведь тоже не забыли! — сказала Шура. — Полицейского притащили с собой!

— И даже побоялись присесть на наши лавки, чтобы не запачкать свои костюмы.

Их костюмы, конечно, нельзя было сравнить с нашими. Как только мы приехали на Черную гору, нам сразу же выдали форму: женщинам зеленые жакеты и юбки, мужчинам — зеленые брюки и жакеты. Это была некрасивая одежда. Мы ее называли рабской формой. На ноги нам выдали большие ботинки на деревянной подошве. В них мы работали. Правда, на заводе они были даже практичными, так как предохраняли наши ноги от острых железных опилок и горячих металлических крошек, валявшихся по всему цеху. Но в действительности это была одежда рабов, всех иностранцев, которых насильно или полунасильно пригнали в Германию на работы.

При таких условиях тяжелой, утомительной работы нам всем теперь казалось, что советская власть гораздо лучше наших новых поработителей, и наша тоска по родине с каждым днем становилась сильнее и сильнее. Чтобы как-нибудь облегчить нашу участь здесь, на Черной горе, мы, идя на работу и с работы, пели песни. Конечно, это были советские песни.

— Что вы поете? — спросил нас однажды полицейский.

— Песни, которые мы пели в школе.

— Но ведь это же коммунистические песни!

— Ну и что? — ответила ему Люба, студентка из Винницы, тоже моя соседка по комнате.

Вскоре после этого нам запретили петь. Нам сказали, что мы будим местных жителей. Но мы все же продолжали петь, правда немного тише, и полиция ничего не могла сделать против этого. В сущности, нам было все равно, будим мы местных жителей или нет. А кто сочувствует нам? Ведь, кроме пения, у нас ничего не было, чтобы облегчить нашу жизнь на чужбине. И это вскоре стало ясно даже немцам, и со временем они уже не настаивали на том, чтобы мы прекратили пение.

Рыжий майор

Мы узнали, что главным человеком на заводе, ответственным за иностранных рабочих, был рыжий майор, которого мы и прозвали «рыжим майором». В его ведении было распределение иностранных рабочих по отделениям и забота о них, он также в какой-то степени отвечал за продуктивность и качество работы иностранцев.

Мы видели его каждый день, почти всегда в одно и то же время, а именно, во время обеденного перерыва, когда он проходил через весь цех в контору и обратно. Он прихрамывал на одну ногу и поэтому ходил с палкой. Его все боялись. Ходили страшные истории о его жестокости. На заводе он почти никогда ни с кем из иностранцев не разговаривал. Но все знали, что если кого вызовут к нему, тот вряд ли возвратится на место. Обычно он исчезал куда-то, по всей вероятности, в концентрационный лагерь. Как только майор появлялся в дверях огромного цеха, сразу же шептали во всех углах: «Рыжий идет!» Однажды мне пришлось столкнуться с ним лицом к лицу. Но это было немного позже, до этого я имела возможность увидеть его поближе и начала сомневаться в ужасных историях о нем.

Через несколько месяцев нас перестали водить на обед в лагерь. Мы стали получать свою баланду вечерами, когда возвращались в бараки. Поэтому во время обеденного перерыва мы обычно садились кучкой вдоль стен и отдыхали. У кого был хлеб, тот, конечно, ел. Недалеко от нас, тоже вдоль стены, сидели русские военнопленные. Они обыкновенно затягивали какую-нибудь заунывную песню, так как у них еще меньше было пищи, чем у нас, и никто из них ничего не ел в обед. Сидя, они хором пели все время. Их песни были всегда печальные, и не только мы, остовцы, но часто и немецкие рабочие жалели их. Иногда некоторые потихоньку ухитрялись сунуть кому-нибудь из поющих кусок хлеба. Немцам очень нравилось их пение. Многие из них, вероятно, думали о своих сыновьях где-то на фронте.

И вот однажды в дверях показался рыжий майор. Завидя его, военнопленные немного снизили голос, отчего их пение стало еще печальнее. Но они пели… С майором шел также наш мастер цеха Гофман, которого боялись не меньше, чем майора. Я сидела ближе к середине цеха и могла хорошо рассмотреть их обоих. Жестокость человека казалась для меня всегда загадкой. Рыжий майор был действительно рыжим, даже его лицо было какое-то красное. Ему было, вероятно, лет пятьдесят. Светлые голубые глаза, как бы водянистые, и крепко сжатый рот с тонкими губами,

казалось, не выражали никаких чувств. Все лицо было похоже на красную застывшую маску. Но какая разница между ним и Гофманом! В отличие от майора, этого можно было считать настоящим красавцем. Стройный, среднего роста, с классическими чертами лица, он напоминал статуи древних греков. Его синие глаза были ясны и выразительны, красиво очерченный рот выдавал человека, не чуждого чувствам. Его плавная, легкая походка поневоле обращала на себя внимание, делая его подобным греческим юношам, — мастерам по метанию копья или диска. На нем всегда была синяя спецовка, еще более подчеркивавшая синеву его глаз. Глядя на этих двух мужчин, нельзя было не удивляться разнице в их внешности. Но в то же время нельзя не поразиться их общей жестокости. Гофман мог так кричать на рабочего, что его лицо становилось красным, как вареный рак, а из глаз, казалось, сыпались искры.

А пленные тихо пели… Рыжий майор шел с Гофманом и, нагнув голову, казалось, слушал. Вдруг, поравнявшись с военнопленными, он остановился. Мы все в страхе затаили дыхание и смотрели на него. Майор, казалось, к чему-то прислушивался, затем что-то сказал Гофману, который своим быстрым, пронзительным взором обвел всех военнопленных и остановился на одном: тот сразу же поднялся и мгновенно подошел к обоим. Это был Борис, с красной повязкой официального переводчика военнопленных.

Я смотрела на майора. Он что-то говорил Борису, причем его глаза стали еще водянистее, щеки — еще краснее, а тонкие, плотно сжатые губы, казалось, немного дрожали. Борис подошел к военнопленным и начал что-то говорить. После этого песня оборвалась, трое из них встали и последовали с Борисом за майором.

Конечно, все наблюдавшие эту сцену думали одно и то же: майор запретил петь и привлек запевал к ответственности. А на лице Гофмана мелькнула еле заметная насмешливая улыбка с презрительным оттенком. Его глаза сузились, и, повернувшись на каблуках, как военный, он направился в свой стеклянный домик. А минут через десять — обеденный перерыв еще не закончился — все увидели в дверях троих военнопленных, сопровождаемых Борисом. Каждый из них нес подмышкой большую буханку хлеба. Они быстро разломили хлеб на куски и разделили между собой.

Через несколько дней, как-то мимоходом, я спросила Бориса, что значила внезапная благосклонность майора? Он ответил:

— Он не так плох, как о нем думают.

Несмотря на то, что нам строго воспрещалось разговаривать с военнопленными, иногда все же удавалось поговорить с ними.

Все это — благодаря Борису. Умный, интеллигентный, он прекрасно владел немецким языком и пользовался полным уважением как русских, так и немцев. На заводе он считался правой рукой не только Гофмана, но и майора. И хотя Борис тоже носил красную повязку надзирателя и переводчика, он сильно отличался от других надзирателей с такими же красными повязками. Он всегда умел предупредить своих людей о близости мастера, Гофмана или рыжего майора. Ему единственному из всех русских военнопленных разрешалось выходить по воскресеньям на два часа. В эти два часа он всегда встречался с Катей — стройной, тоненькой блондинкой из нашего лагеря. Через Бориса и Катю другие пленные могли общаться с некоторыми из наших девушек, хотя это «общение» состояло только из записок и писем, которые передавали Борис и Катя. Благодаря этим контактам жизнь некоторых военнопленных, а также наших девушек получала хоть какой-то смысл, было легче, таким образом, переносить нечеловеческие условия лагерной каторги.

Катя была нежная, хрупкая девушка. Через полгода нашего пребывания на заводе она заболела туберкулезом и должна была уехать из лагеря. Борис ходил сам не свой. Он ничем не мог ей помочь. Официально он не имел права даже разговаривать с ней. В день отъезда Катя так плакала, что потеряла сознание. Очнувшись, она сняла с пальца свое кольцо и дала одной из наших девушек, чтобы та передала его Борису. Борис и Катя носили обручальные кольца. После окончания войны они хотели пожениться. Никто из нас больше никогда не слыхал о Кате.

Разлука с Катей глубоко тронула Бориса. Он часто ходил с поникшей головой и редко с кем разговаривал. А весной 1944-го года — так мне сообщили позже — он вступил в армию Власова.

Лида, наша странная переводчица

Кроме Бориса, большим уважением и популярностью среди иностранцев пользовался еще один переводчик. Это был Геня, чешский рабочий, он хорошо говорил по-русски и прекрасно знал немецкий язык. До немецкой оккупации он изучал славянскую филологию в Пражском университете. На работе он часто подходил к нам и разговаривал, притворяясь, что измеряет или проверяет снаряды.

— Все скоро поедем домой, — говорил он всегда.

Среди его соотечественников было много студентов, художников, актеров, сыновей богатых фабрикантов. Многие из них подружились с нашими девушками и проводили вместе воскресенья. И девушки охотно ходили с ними на свидания не только потому, что те их подкармливали. Многие искренне были влюблены в своих благодетелей. Ведь все мы были очень молоды в те годы.

Так как Геня часто подходил к моему станку и подолгу останавливался, все думали, что у нас начинается роман. Девушки говорили мне:

— Ну что, назначил тебе Геня свидание?

— Нет.

— А когда назначит?

Но Геня все свое внимание уделял Насте, красивой блондинке, которая приехала вместе с нами еще с мебельной фабрики. Она была действительно красавица. Прекрасного телосложения, выше среднего роста, с синими раскосыми глазами на широких скулах и свежим цветом лица, Настя привлекала внимание всех мужчин. Она считалась самой красивой женщиной на заводе.

Мне нравился Геня, и, признаться, я немного ревновала его к Насте. Как-то однажды он подошел ко мне, и я не выдержала:

— Ну, как ваша любовь? — сказала я немного насмешливо и показала глазами на Настю. Геня посмотрел на меня чуть удивленно, затем ответил:

— О, я никогда еще не встречал такой красивой и в то же время такой глупой девушки.

В тот же день он назначил мне свидание на воскресенье. Хотя я и обрадовалась этому, но отказалась, испугавшись молвы моих соотечественников: как только кто узнавал о какой-нибудь девушке, что она встречается с иностранцем, ее репутация портилась навсегда. Несмотря на хорошее отношение иностранцев к нам, их почему-то считали безнравственными и

распущенными.

Почему-то все остовцы, мужчины и женщины, ненавидели Лиду, нашу русскую надзирательницу-переводчицу. Лида не пользовалась никакими привилегиями. Правда, она имела более или менее легкую работу, но это было все. Она стояла вместе с немцами у контрольного стола и проверяла точность отверстий в снарядах. Эту работу ей дали, конечно, для того, чтобы она в любое время могла быть в распоряжении Гофмана, который часто подзывал ее к себе и давал наставления. Эти наставления заключались, главным образом, в том, чтобы заставлять нас работать, выгонять из уборной, если в ночную смену мы, сваливаясь от усталости, забегали туда отдохнуть. И Лида исполняла все эти наставления очень точно, за что ее все и возненавидели. Она тоже, почти так же, как Аня в «отеле», подлизывалась к немцам, как только могла, чтобы получить какую-нибудь выгоду. По-немецки она говорила неважно. Лишь только речь заходила о чем-нибудь более сложном, Гофман вызывал к себе Геню или меня. Мы переводили ей то, что говорил Гофман, а она потом беспокоилась о выполнении его наставлений. Лида, в сущности, меньше всего интересовалась тем, чтобы хорошо переводить, а больше тем, чтобы Гофман был доволен ею. У нее не было друзей, и она знала, что ее ненавидят. Своим положением переводчицы-надзирательницы она очень дорожила по чисто личным соображениям. Она дорожила тем, что имела хоть какие-то, пусть самые незначительные выгоды. Так, например, она могла в любое время оторваться от работы и ходить по цеху, в то время как мы падали от усталости. Когда мы на пару минут прятались в уборной, чтобы передохнуть, она часто появлялась там, даже если Гофман или кто другой не посылали ее за нами, и выгоняла нас:

— Вы опять прячетесь от работы, — говорила она, — все станки стоят пустые. Выходите, пока не пришел Гофман. Я его только что видела.

— Врешь ты, — бросали ей обычно девушки в ответ.

— А что мне врать? — отвечала она. — А потом он притащит меня за шиворот и будет ругать за то, что вы не выполняете нормы.

Вообще было совершенно бесполезно доказывать ей, что она врет. Как только начинался такой «разговор», обыкновенно и она, и девушки называли друг друга последними словами, и все заканчивалось тем, что все опять возвращались к станкам. Нередко, направляясь к машинам, мы действительно встречали Гофмана или другого мастера, и тогда, конечно, Лида оказывалась права. Мне кажется, что я была единственной, с кем

Лида иногда разговаривала нормально. За это мне приходилось слышать от девушек следующее:

— Не можешь ты стать надзирательницей? Ведь она почти не говорит по-немецки!

— Есть и другие, которые лучше меня говорят по-немецки и не стали надзирательницами, — отвечала я, намекая, конечно, на Шуру. — Я охотно замещаю Лиду, когда она больна.

— Я бы хотела, чтобы она почаще болела, — сказала как-то Мотя.

— Ты должна стыдиться, Мотя, так говорить, — бросила ей мать Тамары. — Накликать болезнь нельзя. Она и сама нагрянет.

— Лида действительно больна, — заступилась опять я за Лиду, — она мне это сама сказала. У нее хронический бронхит.

— Подумаешь, бронхит! У нас здесь у всех бронхит! — кинула Татьяна.

— У Лиды это более серьезно, — настаивала я на своем, защищая Лиду, — ведь она ужасно кашляет. Слыхали вы, как она кашляет?

Как-то после одного из таких разговоров подходит Лида к моему станку и говорит:

— А знаешь что, Витька, — она всегда называла меня Витькой, — я сама знаю, что я свинья и что меня нужно бы повесить на сухой ветке. Но ты думаешь, я боюсь этого? — Ничуть! Я только боюсь подохнуть здесь, как раб, на чужбине. Ведь здесь хуже, чем при коммунистах!

— Может, скоро кончится война, — отвечаю я.

— Вот! — Лида показывает пальцем в свою грудь. — Если я буду стоять у станка и ишачить, как все вы, я не дотяну до конца войны. — С этими словами Лида прерывает разговор, отворачивается от меня и уходит. Но через пару минут возвращается.

— Я никогда не знала своих родителей. Я не знаю, кто я и откуда. Все, что я помню с раннего детства, это то, что я вечно была в доме для беспризорных. Я голодала, зимой ходила без обуви, потому что у меня не было ботинок. Когда мне исполнилось восемь лет, меня послали в школу. Я только научилась читать и писать, а дальше у меня не было охоты к учению и меня оставляли в каждом классе по два года. Тогда меня забрали из школы и послали в Крым, где я работала в кухне в одном из домов отдыха. Уже там я узнала, что значит тяжелая работа. Иногда меня забывали накормить. Тогда я рылась в мусорнике или просто крала, что видела. Это был дом отдыха для партийных. Они приезжали туда со своими женами и детьми. Все смеялись, играли в игры, развлекались. Самое ужасное было для

меня слышать, как их дети называли их «мама», «папа», «дядя» или «тетя». Меня все называли беспризорной.

Мое настоящее имя никто не употреблял. Я даже не знаю, кто мне дал имя Лида. Но довольно об этом!

Лида прервала свой рассказ и оглянулась. Потом она нагнулась ко мне и сказала:

— Когда пришли немцы, я добровольно записалась к ним на работы. Я думала, что они будут более человечны, чем коммунисты. Но просчиталась. Вышло совсем иначе. Везде одно и то же, — не правда, Витька?!

Вероятно, Гофман наблюдал за нами из своего стеклянного домика. Он незаметно подошел и остановился за Лидой. Но, к счастью, в последнюю минуту Лида заметила его. Она сказала, что-то незначительное, затем, не переставая мерить мои снаряды, обратилась к Гофману:

— Последние отверстия слишком велики.

Гофман взял у нее контрольный инструмент и померил сам. И действительно, несколько последних гранат были бракованными. Он отложил их в сторону и пошел искать мастера отделения.

— Немецкая собака! — бросила Лида ему вслед. Как только он исчез в своем стеклянном домике, Лида продолжала:

— А что это за жратва, которой нас кормят в лагере?! Если бы нам не удавалось приобрести кое-что на черном рынке или если бы многие из девушек не получали поддержки от своих кавалеров, ты думаешь, все могли бы так дальше работать? Мы все очутились бы там, где сейчас Катя, невеста Бориса. Он-то, бедняга, ничем не мог ее подкормить. У него самого ничего не было. Ты тоже дура, — продолжала Лида, качая головой. — Почему ты не возьмешь себе друга из иностранцев? Он бы тебе помогал. Возьми хоть этого чешского переводчика. Он часто говорит, что ты ему нравишься. Кроме того, его даже нельзя считать иностранцем. Ведь он говорит по-русски, как наш.

— А у тебя ведь тоже нет друга, — ответила я. — Откуда ты получаешь поддержку?

Лида громко рассмеялась. В это время мы заметили, что Гофман с мастером нашего отделения направляются к нам.

— Мастер! — сказала я шепотом.

Лида мгновенно отскочила от моего станка и скрылась, так что они не успели ее заметить. Теперь она стояла у своего стола рядом с немцами. Гофман подошел к моему станку и еще раз проверил несколько гранат. Затем подозвал техника, который начал ковыряться в моей машине. Действительно ли он не видел Лиду? Когда он уходил, то как-то странно взглянул на меня, и его

губы скривила еле заметная улыбка, из которой невозможно было узнать, что скрывалось за ней: доброжелательная ирония или пренебрежение. Только к полуночи Лида опять подошла ко мне:

— Ты спрашивала меня, как я достаю себе жратву, не правда ли? — Вчера, например, я украла завтрак у моего мастера.

— У Гофмана? — спрашиваю я в ужасе.

— Нет, у того! — Она показывает глазами на одного из немцев за контрольным столом.

— И что он делал?

— Ничего. Он, конечно, искал везде, как сумасшедший, и ругался вовсю. А я посмеивалась себе в кулак.

— И он тебя не заподозрил?

— А это он может делать сколько угодно. Кроме того, здесь много голодных, таких, как я. Каждый из них мог бы стащить его завтрак, — отвечает Лида совершенно равнодушно и… кашляет.

— Ты бы осталась в лагере и отдохнула пару дней, — говорю я. — Пойди хоть к лагерному врачу!

— Да, говорят, что он очень хорош. Грузин, из наших. А ты у него была? — спрашивает она и сразу же отмахивается:

— Он мало мне поможет. Без разрешения немецкого врача он может освободить меня на день. А что это!

— Но он, по крайней мере, пошлет тебя к немецкому врачу, а тот, может, даст тебе пару дней отдохнуть.

На следующий день Лида, вероятно, решила поступить по моему совету. Она осталась в лагере, и мне пришлось замещать ее. Я, конечно, не была освобождена от работы на станке, но мне нацепили красную повязку.

— Виктория сегодня надзиратель! — триумфовали девушки в цеху. — Слава Богу! Сегодня можно посидеть в уборной.

Но они радовались слишком рано. Когда после полуночи половина девушек исчезла в уборной, не прошло и десяти минут, как подлетел ко мне Гофман и послал за ними. А сам сопровождал меня почти до двери уборной и остановился недалеко от нее. Уборная в это время была, конечно, полным-полна. Некоторые девушки сидели на доске, лежащей вдоль стены и, скрючившись в три погибели, старались вздремнуть. Другие стояли и тоже, хоть стоя, хотели отдохнуть от шума и тяжести воздуха.

— Быстро уходите, — сказала я, входя. — Гофман здесь.

Все всполошились и одна за другой, нагнув головы, начали выскальзывать. А я, еще в уборной, слышу пронзительный крик Гофмана:

— Давай! Давай! Работать! Безобразие так долго сидеть в уборной! Я должен доложить об этом выше! Давай! Давай!

Все ушли к своим машинам. Но как только он исчез, некоторые девушки опять спрятались в уборной и сидели там, пока кто-нибудь снова не бил тревогу. Прятаться от работы было нелегко. Гофман своим зорким орлиным взором охватывал весь цех и заметив, что многие отсутствуют, как леопард, был тотчас же на «месте преступления».

В следующую ночную смену Лида возвратилась и, как всегда, была спокойная и равнодушная ко всему. Подойдя ко мне, она сказала:

— Этот грузин действительно хороший парень. И говорит по-русски совсем без акцента.

— Что он тебе сказал?

— Он выслушал меня, проверил легкие и сказал, что мне нужно хорошо питаться, — ответила она и опять громко рассмеялась.

Лида жила в бараке, но в другой комнате. Она начала часто заходить к нам в комнату, чтобы спросить меня или Шуру значение того или иного немецкого слова. В то же время она рассказывала нам новости, которые слыхала от немцев. Но как только она уходила, девушки сразу же начинали травить меня:

— Что она сюда зачастила? Ты что? Стала ее подругой?

— А что, ей нельзя войти в комнату, что ли? — отвечала я.

— Пусть идет к немцам, с которыми она заодно, — говорит Мотя.

— И кому она нас предает ежедневно, — вторит ей Татьяна.

— Ну, слушай, Татьяна: пока она никого еще не предала, — отвечаю я.

— Никого! — вскрикнули почти все вместе девушки. — А уборную забыла?!

— Да разве это предательство? Вы должны понять, что Лида больна. Ей нельзя тяжело работать.

— Катя тоже была больна, а работала до конца.

— А Маня и Тоня! — опять послышалось со всех углов.

Маня и Тоня — девушки из нашего барака, которых тоже отправили, как туберкулезных, неизвестно куда.

— И никто из них никого не предавал и не подхалимничал перед немцами, как Лида, — настаивали на своем девушки.

— Потому что никто из них не подозревал о болезни! — продолжаю я упорно защищать Лиду. — Еще бы! Работать на немцев, пока не подохнешь!

На несколько минут воцарилось молчание. Воспользовавшись этим, я добавила:

— Кроме того, у Кати был Борис, с которым она могла хоть поделиться своим горем. А у Лиды нет никого.

— Борис! Борис! — кричит Татьяна. — А у тебя есть Борис? А у меня? А у Моти? У Шуры? У Любы?

— Да! Вот именно! — поддакивали все Татьяне.

— А между прочим, — говорит с ехидной улыбкой Мотя, — то, что у нее нет Бориса, это ее же вина.

Затем, обращаясь ко мне, она продолжает:

— Ты давно могла иметь этого чешского переводчика, или его друга Карло, или бельгийца Беню! У тебя поклонников хватит! И ты бы не голодала.

— И правда, Витька, — продолжает Татьяна, — ты можешь только сказать «да», и Геня больше не посмотрит на Настю!

— А ты это откуда знаешь? — спрашиваю я Татьяну, радуясь в то же время, что разговор перешел на меня, оставив, таким образом, Лиду в покое, и освободив меня от нелегкой миссии защищать ее.

— Он мне сам это сказал, — отвечает Татьяна.

— Какая ты ехидная мерзавка! — кричу я ей. — Сплетничаешь за моей спиной!

Все громко захохотали, казалось, все наслаждались перебранкой.

— Да, в самом деле, — вмешивается в разговор Соня, которая до того почти все время молчала, — ты бы могла иметь не только хлеб, но и шоколад.

Опять все рассмеялись.

— Твоя Лидка, — продолжала Мотя, — давно бы заимела друга. Она бы не упустила такого случая.

— В самом деле, чего ты ждешь? — кричит опять Татьяна.

— Но ведь у тебя тоже нет друга, как ты сама сказала. Почему ты сначала сама не заимеешь кавалера? — отвечала я.

— Ох! Если бы мне попался хоть один на удочку! Я бы его обделала здорово! — кричит Татьяна под всеобщий хохот девушек. Никто себе не мог представить Татьяну с иностранным ухажером. Это всем казалось смешным. Хотя ей было уже шестнадцать лет, она совсем не была похожа на девушку, интересующуюся парнями. Она все еще выглядела, как задорная, неотесанная школьница. Несмотря на это, она принадлежала к тем, которые самым крепким словом ругали «иностранок».

— Ты бы первая набросилась на меня, если бы я вышла на свидание с чехом или бельгийцем, — ответила я.

— На тебя бы мы не набросились, — вмешивается в нашу перебранку с Татьяной Мотя. — Ведь ты говоришь по-немецки. Это другое дело. А те, которые не понимают ни слова ни по-немецки, ни по-чешски, ни по-французски, а таскаются с иностранцами, те должны стыдиться.

— Они продают себя просто за хлеб и шоколад, — поддакивает Соня.

— Ну, ладно, — говорю я, как бы примиряясь. — Я об этом подумаю. Может, и начну продавать себя за хлеб и шоколад! Хватит об этом! — Тут я вскакиваю с постели и, уходя из комнаты, громко хлопаю дверью.

Я вышла из барака и направилась к забору за умывальней и уборной, где начала прохаживаться, обдумывая все. Через несколько минут ко мне подошла Люба, одна из моих соседок по комнате. До войны Люба была студенткой в Виннице. Она была немножко старше большинства из нас и, как мне казалось, умнее.

— Подожди, куда ты идешь? — спрашивает она.

— Я думала пойти к Эжени, — отвечаю я.

Эжени была француженка из Нормандии. Она жила в «иностранном» бараке, то есть, в бараке, отведенном для других иностранцев, кроме нас, с востока. С ней я иногда разговаривала по-французски, чтобы не забыть то, что я изучала в школе.

— Я просто не понимаю, — говорит Люба. — Эти девушки потеряли всякое уважение к человеку. Даже перед старухой не стесняются! — Люба имела в виду мать Тамары, которая обыкновенно редко вмешивалась в такие разговоры и часто просто уходила из комнаты.

— Это, конечно, все потому, — отвечаю я, — что мы в лагере.

— Я бы хотела уйти отсюда, но не знаю как, — вдруг сказала Люба.

Я с удивлением посмотрела на нее. Что у нее на уме? Побег? Но ведь это невероятная мысль! Этот риск часто, почти всегда оканчивается концлагерем. Неужели она замышляет что-то в этом духе?

Я ничего не ответила. Люба тоже ничего не говорила больше. Мы молча прохаживались вокруг бараков. Уже почти стемнело. Когда мы проходили мимо «больничного» барака, Люба заметила:

— Очень интеллигентный врач здесь. Грузин. И этот знает, как устроиться здесь. Говорят, он подружился с уборщицей коменданта. Она из наших, но фольксдойче.

— Она красивая?

— Блондинка, чуть-чуть полненькая, как и все типичные немки.

Мы опять помолчали. Когда мы возвратились в комнату, все девушки уже спали, и мы скоро тоже уснули.

— Ты можешь пойти со мной после обеда к фотографу? — спрашивает меня Лида в субботу на работе. — Я уже все устроила через одного немца. Неплохо бы иметь пару фотографий отсюда на память.

— Хорошо, пойдем, — ответила я.

Окончив работу в обед и сходив в баню, мы с Лидой надели свои лучшие платья, получили пропуск в комендатуре и вышли за ворота. На Лиде был белый матросский жакетик. Я одела зеленую в складку юбку и темно-красную с кружевным воротничком бархатную блузку. Как только мы немного отошли от Черной горы, мы сразу же сняли наши остовские значки, и никто не мог подумать, что мы не немки.

Фотограф встретил нас очень приветливо. Он, конечно, был рад немного подзаработать на нас. Мы сделали много фотографий, так как денег на это у нас было достаточно. Несмотря на наш мизерный заработок, нам некуда было тратить эти деньги, кроме, конечно, как на черном рынке. Нам даже запрещалось входить в немецкие магазины.

Когда мы вышли из ателье и уже были на улице, я вдруг заметила, как один прохожий господин, рядом с которым шла девочка лет девяти, вежливо поздоровался с нами, снимая шляпу и кланяясь. В замешательстве я смотрю на Лиду:

— Кто это?

— Ты что, не узнаешь? Гофман!

Я оглянулась и не могла поверить своим глазам. В своем воскресном костюме он выглядел совсем иначе, чем на заводе. — Это не был больше страшный мастер цеха, которого все боялись и которому подчинялась громадная армия рабочих. Гражданский костюм еще больше подчеркивал его красивую фигуру. Но немецкая шляпа немного прятала его выразительные черты лица и классическую голову с прической Юлия Цезаря. В сущности, в этой одежде он не выглядел так хорошо, как в своей синей форме.

— Что он теперь скажет, что видел нас без значков «ОСТ», — испуганно спросила я Лиду. — Думаешь, он доложит об этом рыжему майору?

— Ну и пусть, — ответила беспечно Лида.

В следующий понедельник Гофман подошел к моей машине:

— Я вас в субботу почти не узнал. Вы выглядели, как немки, — сказал он, улыбаясь, но на этот раз без оттенка иронии.

— По одежке встречают, — тоже улыбнулась я.

Он всегда видел нас в нашей форме: в зеленых некрасивых костюмах и неуклюжих деревянных ботинках на ногах, которые при ходьбе производили невероятный шум. И теперь, понятно, он был удивлен, что и рабы могут принимать человеческий вид.

Забастовка

Вскоре мы заметили, что наше питание в лагере с каждым днем становится хуже. И без того тонкие ломтики хлеба делались еще тоньше. А суп из брюквы стал таким жидким, что напрасно мы старались поймать в нем кусочки картофеля или мяса. Мы всегда шли на работу полуголодными и голодными возвращались.

В один прекрасный день — этот день был действительно прекрасным — я получила посылку из Австрии — огромную буханку белого хлеба. Это была посылка от Нины, моей младшей сестры, которую немцы забрали на работы через полгода после меня и увезли в Австрию, в одну из маленьких деревушек недалеко от Инсбрука. Нина, конечно, не сама прислала мне хлеб. Она попросила свою хозяйку-австрийку, которая побеспокоилась о пересылке. Я была очень счастлива этим событием. Но так как пора было идти в ночную смену, я отломила ломоть на работу, а остальное спрятала под свой матрас. Но каково же было мое удивление, когда, вернувшись утром с ночной смены, я не нашла под матрасом хлеба. В оцепенении я стояла перед перерытым тюфяком и не могла понять, что случилось.

— Кто взял мой хлеб? — спрашиваю я дрожащим от волнения голосом.

Все в изумлении уставились на меня. Молчание.

— Ведь вы все знали, что я получила хлеб от сестры, — опять говорю я.

— Да это просто невероятно! — вдруг крикнула во весь голос Татьяна.

— Кто взял хлеб, признайся лучше.

— Иначе надо сделать обыск! — говорит Шура. — С этим воровством надо, наконец, покончить! Куда это годится!

— Сонька, п…., — кричит опять Татьяна, — ты взяла хлеб?!

Все подозревали Соню в воровстве. Говорили, что она иногда ворует у девушек вещи, главным образом, пищу. Один раз ее даже поймали на том, как она у кого-то стащила шоколад, полученный от французского военнопленного. Тогда ее так выругали и так ей пригрозили, что долгое время ничего в комнате не пропадало. И вот теперь все глаза были устремлены на нее. Она покраснела.

— Отдавай хлеб, проклятая воровка, — кричит ей Мотя.

— Ишь ты, — говорит Шура, — смотри, как покраснела!

— На воре шапка горит! — вмешивается и Тамара.

Я смотрю на Соню, и какое-то чувство говорит мне, что она взяла мой хлеб. Но я молчу. Какие у меня доказательства?

— Хоть бы мне половину оставила, — говорю я.

— А ты напиши сестре, — говорит Люба, — чтобы тебе больше хлеба не присылала. — Ведь он все равно так или иначе попадает в руки воров.

— Если я тебя поймаю хоть раз, засраная ты жопа, — продолжает Татьяна, — ей Богу, я убью тебя на месте!

Соня убеждает нас, что не она взяла. Но ее словам никто не верит. Нечего было делать. После ночной смены, измученные и голодные, выпив кружку черного, как помои, кофе и съев свою порцию хлеба, мы все повалились спать. А в обед, когда я проснулась, возле меня лежала половина буханки моего хлеба. Все же это был праздник: наесться досыта. Но хлеб, конечно, был съеден, и я должна была опять довольствоваться нашим скудным пайком.

Но однажды мы решили проверить наш паек. Запаковав порцию на фабрику, мы взвесили ее там, и все возмутились: вместо 250 граммов — того, что нам полагалось в день, — наш хлеб весил 150 граммов. В знак протеста мы все решили устроить забастовку. Мы провели небольшую агитацию в нашем бараке, затем в соседних, мужском и женском.

И вот забастовка началась. Рано утром, когда раздался свисток полицейского в коридоре, чтобы строиться, никто не двинулся с места. Из окна мы видели, что из соседних бараков тоже никто не выходил. Все сидели в комнатах. Минут пять спустя к нам в комнату влетели два полицейских и силой, хватая некоторых девушек за платья, начали выволакивать во двор. Многие девушки испугались и не знали, что делать. Жорж, один из самых противных надзирателей, с пеной у рта кричал:

— Выходите! Строиться!

— Мы не идем сегодня на работу, — ответила я ему спокойно, не двигаясь из-за стола, где я сидела. — Мы требуем улучшения питания.

— Что-о-о-о? — кричит он, и его глаза почти выкатываются из орбит. — Так вы бастуете?!

— Да, мы бастуем! — ответили ему все вместе.

Жорж вдруг замолчал и как пуля вылетел из комнаты. Через некоторое время в комнату вошел комендант в сопровождении нескольких полицейских. Мы все сидели посреди комнаты, за длинным столом, на котором стояло несколько тарелок с баландой, черный кофе в кружках, лежали тонкие ломтики хлеба с крохотными кусочками маргарина и мармелада.

— Почему вы не идете на работу? — спрашивает комендант.

— Потому что при такой жратве мы больше не в силах работать, — отвечаю я. — Мы хотим, чтобы нам дали лучшее

питание.

Несколько мгновений комендант помолчал. Но я заметила, что его лицо налилось кровью, глаза загорелись, и вдруг как бешеный он закричал:

— Вы коммунисты! Вы бастуете! Я вас всех отправлю в концлагерь, тогда увидите, что там дают есть!

Внезапно на середину комнаты выходит Татьяна — в руках тарелка с баландой.

— Мы не коммунисты! Мы просто голодные! На этом супе мы не можем больше работать! Что это за суп? Это вода!

Она поставила тарелку на стол с такой силой, что вокруг полетели брызги.

— Посмотрите сами на этот суп! Разве можно на этом супе работать, как мы работаем на заводе. Мы хотим, чтобы нам дали то же, что получают немцы!

— Молчать! — кричит комендант. — Немцы получают то же, что и вы, и тоже должны работать.

— Вы нам этого не говорите, — поддерживаю я Татьяну, — немцы едят лучше, чем мы.

— На заводе с нас требуют, чтобы мы выполняли норму, а откуда нам взять силы? — говорит Мотя.

— Довольно! На работу! Пища достаточно хорошая! Выходите строиться, — продолжает кричать он.

— Мы не пойдем на работу, пока вы не пообещаете нам улучшить питание, — отвечаю я.

Когда я говорила, я стояла возле Татьяны. Теперь демонстративно опять села за стол. В это время в комнату вбегает еще один полицейский и что-то шепчет коменданту на ухо. Тот еще больше краснеет и еще громче кричит:

— Выходить! Все сейчас же на работу!

Сказав это, комендант вышел из комнаты, за ним последовали и несколько полицейских. Тогда Жорж подскочил к Татьяне, схватил ее за руку и выволок из комнаты. Другой полицейский схватил Шуру за платье и начал тащить ее тоже. Но Шура вырвалась и, как бы отряхивая с себя пыль, гордо подняла голову и на прекрасном немецком языке ясно сказала:

— Не тронь меня своими грязными руками!

— Выходите, свиньи! — кричит опять Жорж, возвращаясь в комнату.

— Мы не свиньи! Ты сам свинья, — кричу я ему в ответ. Он тоже хватает меня за руку и тащит к двери. Я толкаю его изо всей силы. Он падает. Когда он поднялся, он был страшен: лицо темно-красного цвета, большие водянистые глаза, казалось, вот-вот выскочат на лоб, и на лице выступили капли пота. Он бросил на

нас угрожающий взгляд и выбежал из комнаты.

Через мгновение врывается в комнату Татьяна:

— Девки, жандармы!

Мы все насторожились. — Все же вызвали жандармов из города! А через пару минут они уже были в бараке. В своих фуражках с громадными кокардами они казались нам всесильными и страшными. Они входили в комнаты и, держа в руках свои резиновые дубинки, кричали металлическим голосом:

— Выходите все на работу!

Теперь уже никто не сопротивлялся. Их было много, и они были сильнее нас. Все начали выходить из комнат и строиться по четыре.

В соседних бараках происходило то же самое. Когда нас всех пересчитали, был дан приказ двигаться. С обеих сторон нас сопровождали жандармы. Как только мы вышли из лагеря, где-то в середине колонны запели «Интернационал». Песню сразу же подхватили все, и так мы пели всю дорогу. Полицейские и жандармы что-то кричали и размахивали своими дубинками, но «Интернационал» заглушал их голоса. Пение — это было единственное, чего нам не могли запретить.

Мы опоздали на работу почти на два часа. У входа на завод стоял Гофман. Он был бледный, и неизменная, не то презрительная, не то насмешливая улыбка кривила его четко очерченные губы.

Через несколько минут, когда мы уже работали за станками, ко мне подошел Борис:

— Вас просит к себе майор. Я должен вас привести к нему.

Я в ужасе посмотрела на него.

— Не бойтесь, говорите все, как было. Он довольно справедлив. Я его давно знаю.

Когда Борис и я проходили по цеху, на нас были устремлены все взоры, не только иностранцев, но и немцев. Все уже знали о нашей забастовке, и весть о том, что меня вызвал к себе рыжий майор, как молния облетела весь завод.

У входа в кабинет майора нас встретила его секретарша. Она сразу же доложила о нас. Через минуту майор вышел, отпустил Бориса, и я осталась с ним с глазу на глаз в его кабинете. Несмотря на то, что Борис все время успокаивал меня, когда вел к майору через двор к противоположному зданию, где находилась его контора, — несмотря на это, я все еще очень боялась встречи с этим грозным человеком. Теперь, очутившись с ним лицом к лицу, я ничего не понимала: мой страх вдруг совершенно исчез. Более того, я чувствовала себя спокойно и хорошо.

Прихрамывая на одну ногу, майор сел за свой стол и указал

мне на удобное кресло напротив себя.

— Я слыхал, вы говорите по-немецки, — начал он.

— Да, немного.

— Я узнал, что в лагере была забастовка.

— Да.

— Мне сказали также, что это вы устроили ее. Это правда?

— Мы все были едины в этом, — ответила я.

— Расскажите мне, зачем вы это сделали. — Майор говорил спокойно. На лице его не было никакого следа той жестокости, о которой рассказывали. Он смотрел на меня серьезно и внимательно. Мне даже казалось, что от него исходило что-то успокаивающее и располагающее к себе. Казалось, я забыла, кто он и где я, и начала говорить:

— Мы не хотели устраивать забастовки, не было умышленного плана, чтобы кому-то навредить. Мы хотели только одного: чтобы улучшили наше питание в лагере. Мы уже несколько раз жаловались на это коменданту, но ничего не помогло. Уже несколько месяцев, как питание ухудшается изо дня в день. Мы даже не получаем положенную нам порцию хлеба. Это мы вчера проверили на заводе. Нам дают всего 150 граммов.

— Расскажите мне все точно, что вы получаете в лагере.

Я начала рассказывать о нашей пище, начиная с завтрака.

Майор что-то записывал в своем блокноте. Затем он опять сказал:

— Вы поете коммунистические песни. Мне докладывали об этом.

— Да. Мы поем коммунистические песни, но не с тем, чтобы вести коммунистическую пропаганду. Ведь мы родились и выросли в коммунистической стране, где нас научили только этим песням.

— Известно ли вам, — продолжал спрашивать майор, — что забастовки наносят вред продуктивности нашего предприятия?

— Но ведь вам также известно, что мы все работаем очень много. И многие из нас приехали сюда добровольно. Мы надеялись зарабатывать здесь себе на хлеб, и что мы получаем за нашу тяжелую работу? Нас называют коммунистами, мы живем в лагере и только на два часа в воскресенье или в субботу нам разрешают выходить. Мы здесь, как в плену. Конечно, мы получаем некоторые деньги за нашу работу, но что нам делать с ними, если нам даже не разрешают заходить в немецкие магазины?

— Вы должны понимать, что теперь война.

— Да, мы знаем, что война. Но многие из нас убежали от коммунистов. Там, на родине, когда нас вербовали на работы,

нам обещали, что нас будут защищать от коммунистов. Нам обещали работу в человеческих условиях жизни и, конечно, достаточно питания.

— Когда кончится война, ваше положение изменится. Сейчас в Германии слишком много иностранцев, поэтому нелегко устроить всех как следуёт. Кроме того, мы еще не знаем, кто из них наш друг, кто враг.

Последние слова майора сразу же напомнили мне наше комсомольское собрание в Запорожье, когда на вопрос Потапова о том, почему в процессе чистки страдает так много невинных, ответом было: «Лес рубят — щепки летят! — Мы строим коммунизм». Конечно, как представитель нацистского режима, майор отстаивал его позиции и старался успокоить нас, как мог. Знал ли он о больших планах Гитлера истребить всех славян? Если не знал, то, может, он действительно верил в то, что наше положение после войны улучшится. А если знал, то значит он врал, чтобы на время присмирить нас для своей же выгоды: чтобы мы неустанно, день и ночь, работали на них.

Наконец майор встал:

— Я побеспокоюсь о том, чтобы ваше питание в лагере улучшилось. Но не устраивайте больше забастовок. Приходите прямо ко мне и рассказывайте о ваших проблемах.

Он подал мне руку:

— Вы найдете дорогу обратно в цех?

— Да.

Прощаясь еще раз со мной в приемной, он сказал секретарше:

— Бориса ко мне и мою машину.

— Витя идет! — слышу я голос Карло, который, возвращаясь из «мужской», увидел меня у входа. Но первым увидел меня Гофман из своего стеклянного домика. Он тут же вылетел из него и, улыбаясь, пошел мне навстречу. Поравнявшись со мной, он повернулся и повел меня к моему станку, где он, на всякий случай, уже поставил другую девушку работать. Искоса поглядывая на меня, он, как бы шутя, сказал:

— Ну, не съел вас рыжий майор?

«Откуда он знает, что мы называем майора рыжим?» — подумала я удивляясь.

— Как видите, нет!

Как только я принялась за работу, один за другим начали подходить ко мне коллеги, сначала иностранцы. Они поздравляли меня с возвращением.

— Мы думали, что ты больше не вернешься, — сказал бельгиец Беня, который уже давно пытался назначить мне свидание. За ним подошел и его друг Константин, тоже бельгиец:

— Такого еще ни с кем не случалось, Витя, — сказал он. — Ты должна подарить нам на память свою фотографию.

После обеденного перерыва подошел Геня. Он сначала молча мерил отверстия в снарядах, а затем, глядя на меня, сказал:

— Я должен с тобой поговорить. Выйди в воскресенье. Я буду ждать тебя возле вашего лагеря. — На этот раз я согласилась. А перед концом рабочего дня подкралась ко мне и Лида. Тоже, как бы проверяя снаряды, она шепнула:

— Ты только представь себе: рыжий поехал к нам в лагерь и совсем неожиданно сделал инспекцию на кухне. Комендант получил от него такой нагоняй, что теперь у тебя там есть настоящие «друзья», поздравляю! — Так что смотри в оба!

— Да как ты узнала все это?

— Я все знаю, — засмеялась она и удалилась.

— Ага, баланда стала лучше! — крикнула Татьяна на следующий день, когда мы пошли за супом. — Витька, что же ты говорила этому рыжему?

— Да я ему все рассказала, как есть, — отвечала я, гордая и довольная.

— Тебя, крикливая, он бы не слушал, — начала подстрекать ее Мотя.

— Обозвалась, тихоня! — отвечала ей Татьяна.

— А вы видели, как Жорж шлепнулся на пол от Витькиного толчка? — сказала Тамара.

— Так ему и надо, — поддержала Тамару ее мать.

— Ему надо было бы просто плюнуть в рожу, — подала свой голос и Шура.

— Придет время, он еще получит по заслугам, — опять сказала мать Тамары.

— А на заводе все иностранцы ликовали, узнав о нашей забастовке, — говорит Люба.

— Но без рыжего тебя бы отправили куда-нибудь в иное местечко, — сказала вдруг Лида, входя в комнату. — Это я узнала от уборщицы коменданта. Он на тебя теперь так зол, что ты лучше не попадайся ему на глаза. Да и вообще, вся лагерная администрация против тебя. И, конечно, они все сделают, чтобы при первой же возможности отделаться от тебя. Ты лучше имей это в виду!

Это я заметила сразу же в воскресенье, когда пошла в комендатуру за пропуском. Все полицейские общались со мной так приветливо и мило, что мне это показалось подозрительным. Когда я вечером возвратилась в лагерь, полицейский у ворот посмотрел на часы и сказал:

— Вы опоздали на десять минут. Я должен доложить об этом

коменданту.

Свидание с Геней

Но в это воскресенье погода стояла чудесная. Мы с Геней шли по залитой солнцем улице, по обеим сторонам которой уже зеленели деревья. Было начало мая. Геня был одет в светлый бежевый костюм, через плечо он повесил фотоаппарат. На мне было белое платье, по майской традиции нашей страны. По-видимому, мы были красивой парой, потому что многие прохожие оборачивались и смотрели на нас. Я, конечно, сняла мой знак «ОСТ».

Я никак не могла наглядеться на зеленые деревья, на поляны с густой травой, на цветы, на синее, прозрачное небо. Я только теперь заметила, что пришла весна. В лагере мы не видели ни зелени, ни цветов, мы не замечали даже смены времен года. И вдруг я увидела, сколько вокруг красоты, и все это блаженствует, не касаясь меня. Я шла среди этой красоты, как заколдованная, и даже не слушала, что говорил мне Геня. Очнулась я только тогда, когда он тронул мою руку.

— О чем ты думаешь?

— Я думаю о том, как красиво здесь. А ты?

— Я думаю о том, что хотел бы побыть с тобой наедине. Пойдем куда-нибудь, где я мог бы тебя поцеловать.

Я рассмеялась.

— Куда же мы пойдем?

— Пойдем в парк, там есть скамейки, и мы можем присесть.

Мы направились в парк и сели на скамью, но и здесь мы не были одни. Парк был переполнен гуляющими, главным образом немцами. Никто, конечно, не подозревал, что мы не немцы. Мы тоже начали гулять по парку, и только через некоторое время парк начал пустеть — немцы спешили в кафе пить свой послеобеденный кофе, а мы с Геней сели на скамейку и стали целоваться. Между поцелуями он рассказывал мне о себе, о своей семье в Чехословакии, об университете, где он учился. Он был убежден, что после окончания войны продолжит свою учебу, станет литературным критиком или профессором. Он говорил о том, что Гитлеру обязательно будет конец и что между Россией и Чехословакией будет большая дружба. Мы еще долго болтали о будущем, наконец я сказала:

— Ты хотел со мной о чем-то поговорить. Так я поняла на заводе.

— А разве мои поцелуи не говорят тебе ни о чем? — ответил он.

Стало немножко прохладно, и Геня набросил на мои плечи

свой жакет. Затем он повел меня в лагерь, условившись встретиться опять. Но в следующее воскресенье пропуска мне не дали.

Через забор я видела, как Геня стоял в отдалении и ждал меня. Им запрещалось подходить близко к нашему лагерю. Я сказала одной из девушек, чтобы она подошла к нему и передала, что мне не дали пропуска. Она это сделала, и я видела, как Геня, опустив голову, ушел.

Через неделю мы встретились опять. Вышло постановление, вероятно благодаря рыжему майору, которым нам разрешалось отсутствовать в воскресенье после обеда дольше. Теперь можно было не спешить, и Геня предложил поехать в Дрезден посмотреть бега. Мы сели на трамвай и через полчаса уже были на ипподроме.

Погода опять была прекрасная. Я сняла свой «ОСТ» еще при входе в трамвай. Потом мы шли к ипподрому пешком. Везде гуляли люди и разговаривали на разных языках. И здесь попадались нам навстречу жандармы, но никто из них не обращал никакого внимания на то, кто немец, а кто не немец. Все мысли о войне и о лагере были далеко позади. Геня покупал мне сладости и мороженое. Беззаботно, не спеша, мы шли среди пестрой массы людей, но я нигде не замечала русских. Может, они, как и я, сняли свои знаки «ОСТ» и влились в общий поток гуляющих.

Мужчины стояли группами и обсуждали, какая лошадь будет первой, заключали пари. Но мне казалось, что только немногих интересовали бега. Люди покупали газеты, журналы. Женщины, нарядно одетые, смеялись и флиртовали. Молодые парочки ходили обнявшись, и война казалась так далеко, будто вообще не касалась никого из присутствовавших на скачках. Все было празднично. Город еще не знал ни американских, ни английских бомбежек. Иногда и здесь поднимали тревогу, но никто не обращал на это серьезного внимания. Пока еще жизнь шла своим чередом, довольно мирно. Еще не пришло время бомбардировок Дрездена. Иногда и у нас на заводе тоже давали тревогу. Но только немцы шли в бомбоубежище. Нас, иностранцев, обыкновенно выводили во двор, где мы стояли и с любопытством смотрели в небо на самолеты. Но скоро вышло распоряжение и иностранцев вести в бомбоубежище — немцы боялись саботажа.

Этот день с Геней был для меня праздником весны. И опять я видела, сколько проходит мимо меня, как наша жизнь в лагере не похожа на нормальную жизнь людей и как много мы теряем теперь, в эти лучшие годы нашей молодости. Когда я возвратилась к лагерю, солнце уже село. Я, конечно, не посмела

стучать в ворота, чтобы опять не попасть на заметку. Я пошла вдоль высокого забора искать отверстие, через которое можно было бы пролезть внутрь — об этом мне однажды рассказала Лида. Я скоро нашла его: одна из досок висела неплотно, и, отодвинув ее, я пролезла через забор. К счастью, ни одного полицейского поблизости не было и все обошлось благополучно.

Мы встретились с Геней и в следующее воскресенье. Как и другие, мы пошли в лесок, находившийся недалеко от лагеря. Он был излюбленным местом встреч иностранцев. Здесь не было немецких детей, которые, увидя наш «ОСТ», называли нас свиньями. В этом леске никто не тревожил влюбленных, — каждый мог найти себе уютное местечко, чтобы побыть наедине с любимой. В то же время лесок этот был известен как место, где девушки «продавались» иностранцам за хлеб и другие продукты. Конечно, в это время никто себе не мог представить того, что многие связи, начавшиеся здесь в лесу, кончились после войны бракосочетаниями. Многие наши девушки никогда не возвратились домой, а уехали в Бельгию, Голландию, Францию или Чехословакию. Но иногда и здесь, особенно перед вечером, бродили немецкие полицейские, выискивая, вероятно, опоздавших в лагерь. В этом я убедилась в первый же день нашей прогулки с Геней.

Обнявшись, мы долго ходили по дорожкам. Иногда мы останавливались и целовались. Потом Геня предложил сесть под кустом. Он, как рыцарь, снял свой пиджак и расстелил его на земле. Мы сели и опять начали целоваться. Но Геня хотел теперь большего. А я начала сопротивляться. Я считала, что для этого мое время еще не пришло. Непорочность была для меня в это время чем-то особенным, источником душевной силы. Отдаться так просто, где-то, любому, кому я нравилась, значило для меня потерять мое не только женское, но и человеческое достоинство. Нет, на это я еще не была готова. Если это случится, думала я, то должно случиться что-то особенное, что-то необыкновенное. Может, от этого изменится вся моя жизнь. Но к этому пока не было никаких предпосылок. Втайне я ждала какого-то героя, наподобие дяди Феди или Сергея. Тогда может… Сегодня такие рассуждения считаются, вероятно, глупыми. Но тогда многие девушки так думали у нас на родине. Такие чувства и мысли мы испытывали, не только начитавшись классиков девятнадцатого века, они прививались нам дома и в школе. Несмотря на то, что наша советская действительность была построена на лжи, она внушала нам высокое мнение о человеке в моральном отношении и духовную чистоту.

А Геня не понимал, почему я не шла на все.

— Почему ты такая, Витя? — сказал он.

— А почему ты такой? — ответила я.

Но все же мы целовались. Геня нравился мне. Мне приятно было лежать рядом с ним на траве, чувствовать тепло его тела, близость человека. Мне было беспечно и хорошо с ним. Он был единственным лучом света во тьме. Я забывала наши серые будни, нашу баланду в лагере, даже адскую работу на заводе.

— Сударь, уже поздно, — вдруг раздался совсем над нами мужской голос. Мы оба встрепенулись и поднялись — перед нами стоял немецкий жандарм.

— Простите, господин офицер. Мои часы, вероятно, остановились.

Геня посмотрел на свои часы — они действительно стояли. Вежливый тон Гени, его дорогой костюм, а главное, безупречная немецкая речь, должно быть, убедили жандарма в том, что он был немец или, по крайней мере, фольксдойче. Он сказал Гене который час, затем вежливо извинился и ушел.

На дворе начало темнеть. Вечер еще не наступил, но темные, тяжелые тучи начали вдруг наползать со всех сторон.

— Скоро будет дождь, — сказал Геня. — Пойдем в кафе.

В кафе мы «примирились». Мне было приятно сидеть между людьми, так не похожими на нашу лагерную серую массу рабов. Но разговор с Теней как-то не клеился, и я знала, что он не назначит мне больше свидания.

Я опять опоздала в лагерь. Полицейский у ворот повел меня в комендатуру. А там уже стояла целая толпа «грешников». Нас всех наказали: две недели без выхода.

После этого воскресенья Геня почти не подходил к моей машине. Он демонстративно ухаживал за красавицей Настей. Это все заметили. Его друг Карло, качая головой, подошел ко мне.

— Ты поссорилась с Генкой?

— Не знаю, — ответила я.

Все девушки в комнате, которые с любопытством следили за нашим романом, тоже были разочарованы, что он так внезапно закончился. Сразу же, как только стало известно, что Геня опять назначил свидание Насте, подошел Карло и сказал:

— Как ты можешь так с ним обращаться, Витя? Теперь он ходит с той, — и он с презрением показал глазами в сторону Насти.

Но мои подруги по комнате комментировали все более бесцеремонно:

— Ну что, отбила Настя твоего кавалера? — злорадно встретила меня Мотя.

— Да, как это случилось? — вмешалась и Соня.

— С Настей никто не может конкурировать. Мужчины липнут к ней, как мед, — послышалось в другом конце комнаты.

— Красота побеждает все, — сказал кто-то в углу.

Только Татьяна решила почему-то защитить меня. Своим громким голосом она положила конец дальнейшим подстреканиям:

— Оставьте всю эту ерунду, е… вашу мать! Если б Витька ему дала, никакая Настя не отбила бы ее кавалера. Как будто вы не знаете, чего хотят от нас эти иностранцы.

Запах свободы

После нашей забастовки пища в лагере немного улучшилась, но только на короткое время. Скоро опять суп стал жиже и ломтики хлеба — тоньше. Снова жаловаться в комендатуру было бесполезно, может быть, даже опасно. Кто мог, покупал хлеб на черном рынке в лагере, кто доставал его иным путем и так перебивался как-нибудь со дня на день.

Однажды заходит к нам в комнату Лида и говорит:

— Девки, я знаю, где уже есть спелые яблоки на деревьях. Кто хочет со мной ночью?

— Я! Я! Я! — раздались голоса со всех сторон.

— Хорошо! Нюська, Мотька, Любка, Татьяна, Тамара, Сонька и Витька, эти восемь со мной. Хватит!

— А я?! Возьми и меня! Я тоже хочу с вами, — сказала обиженно Шура.

— Тебя? Ни под каким видом! — ответила категорически Лида. — Ты еще начнешь кричать «мамочка», тогда мы все пропали!

Все девушки, конечно, громко расхохотались.

— Нет, я буду делать то, что и все. Возьмите и меня, — умоляла нас Шура.

— Возьмем и ее, — попросила я Лиду. — Я буду следить за ней.

Я думала, что девушки иногда несправедливо набрасываются на Шуру. Хотя она и производила впечатление немного изнеженной и неуклюжей, в критические минуты она могла показать необыкновенную храбрость. Но Лида была иного мнения.

— Одного ее присутствия достаточно, чтобы навлечь беду.

Все опять рассмеялись. Шура начала плакать.

— Ну, только посмотрите! — продолжала Лида. — Если она теперь уже хнычет, то она мертвой упадет с дерева от страха.

Теперь даже Шура засмеялась сквозь слезы, и это ее, вероятно, спасло.

— Ну ладно, — согласилась, наконец, Лида, — иди! Но знай, что ты должна делать все, что прикажут.

Идти на какое-нибудь дело с Лидой никто не боялся. В этом она была опытной.

К десяти часам вечера, когда лагерь более или менее успокоился, а полицейские мирно поигрывали в карты, сидя в административном бараке, мы, одна за другой, пошли сначала в умывальник. Убедившись, что часового нет поблизости, мы опять

поодиночке пробрались через дыру в заборе и сидя скатились с Черной горы вниз. Там, недалеко от лагеря, вдоль дороги, была большая равнина, на которой росли роскошные яблони. Был конец июня. Яблоки только начали поспевать. Пять человек из нас забрались на деревья, четверо остались внизу, чтобы собирать яблоки. Стоило только немножко встряхнуть дерево и яблоки градом сыпались на землю. Это был, вероятно, ранний сорт, потому что они были спелые и очень вкусные. Иногда по дороге проезжали машины. Когда свет фар захватывал поляну, девушки внизу падали ниц, а мы сидели молча на деревьях. Через некоторое время, набрав достаточно яблок, мы все собрались внизу.

— Вот если бы отсюда знать дорогу домой! — сказала Татьяна. — Так далеко нас завезли проклятые немцы, что и дороги не найти.

Мы все присели на несколько минут в траве и начали есть яблоки. И в эти несколько коротких минут, среди враждебной нам среды, мы вдруг почувствовали, что нас объединяет что-то общее и большое. Всякая враждебность, которая часто вспыхивала в лагере, бесследно исчезла. Мы сидели и мечтали о свободе. Запах зеленой травы, свежий, чистый воздух в эту светлую, лунную ночь превращали нашу затею во что-то сказочное: мы не чувствовали себя рабами, мы были на свободе, вольные как птицы, готовые полететь, куда вздумается. Как бы угадав наши мысли, Шура вдруг нарушила тишину:

— Как здесь легко и хорошо!

— Да! Были бы только крылья! — сказала Тамара.

Но Лида отрезвила нас всех:

— Уж полночь, девки. Пора! Через дыру, поодиночке. Смотреть в оба, чтобы никто не заметил!

Вскарабкавшись опять на Черную гору, недалеко от забора мы все бросились на землю и притихли на мгновение. Лида, наш предводитель, пробралась первая через забор, таща свои яблоки в подоле. Мы опять прислушались. Ничего не слышно. За ней прошмыгнула Нюся, затем и другие. Шура и я были последними.

— Мне страшно, — шепнула Шура.

— Иди! Потом я!

Выждав минуту, пока Шура скроется, я просунула через дыру сначала одну ногу, потом, нагнувшись, пролезла и сама.

Вдруг какая-то сильная рука схватила меня за плечо. При свете луны я вижу зеленую форму лагерного полицейского. Не выпуская моего плеча из своей крепкой лапы, он молча ведет меня в умывальник. От страха я не могу вымолвить ни слова и, как робот, делаю все, что он велит. В умывальнике он показывает

мне на раковину, где уже горой лежат яблоки. Туда же я высыпаю и свои. Тогда он спросил мой номер, записал его в блокнот и сказал:

— Иди!

— Все кончено? — спросила я, как только переступила порог.

Все девушки сидели вместе и в страхе смотрели на дверь.

— Только Лидка и Нюська не попались! — сказала Тамара.

— Надеюсь, их никто не выдаст, — добавила мать Тамары, которая не спала и ждала нас.

— Еще этого не хватало! Предавать их! — сказала Люба.

— А было бы, может, и неплохо, чтобы узнала комендатура, что и надзирательница была в нашей шайке, — сказала вдруг Нюська. — Мне все равно, если и меня запишут.

— Глупость! — крикнула сердито Люба. — Никто не смеет ее выдавать!

— Оставим Лиду в покое, — сказала я. — Если в комендатуре узнают, что и она замешана в краже…

— Не замешана, а организатор! — прервала меня Мотя.

— То от этого нам не станет лучше, — продолжала я. — Она потеряет свою должность надзирательницы, а нам некому будет говорить правду в глаза.

Девушки молчали.

— И то правда, — согласилась Татьяна.

Вдруг открывается дверь и в комнату входит Лида. Она уже знала, что мы попались.

— Девки! Ведь полицейские не будут всю ночь стеречь наши яблоки! Пошли заберем их!

— Пошли! Пошли!

— Давай, за яблоками!

— Шурка, выйди за барак и пройдись к умывальнику, нет ли там полицейского, — скомандовала Лида.

Шура быстро соскочила с постели и тихо скрылась. Через несколько минут она возвратилась:

— Везде чисто. Нет ни души!

— Идите по двое и тащите яблоки.

Часть мы завернули на работу, а остальные попрятали под матрацы. Но когда вечером мы возвратились с работы, все наши матрацы были перерыты, а наверху, на постелях, лежали наши яблоки. Мы не успели еще и помыться, как в комнату вошел комендант с несколькими полицейскими.

— Кто вчера ходил за яблоками? — спрашивает он.

— Я! — почти кричит Татьяна.

— Я! — говорит за ней Тамара.

— Я! — говорю и я.

— Я! Я! Я! — раздалось со всех сторон.

— Вы должны понять, — вдруг заявляет с серьезным лицом Татьяна, — что ваша баланда нас не накормит. Мы еле стоим на ногах на работе!

— Во всех других лагерях едят такой же суп, — отвечает комендант.

— Не во всех, — отвечает ему Шура. — В других лагерях суп гуще.

— С мясом и картошкой, — добавляет Мотя.

— Что это? — уже кричит комендант. — Опять забастовка? Я доложу майору! Вас пошлют в концлагерь! В Германии не воруют!

— Подумаешь, не воруют! — опять кричит Татьяна. — Если бы вы были голодными, вы бы тоже воровали!

— Коммунисты! Вы все коммунисты, — опять кричит комендант и, грозно посмотрев на нас, вместе со своей свитой уходит.

Известие о нашей неудавшейся экспедиции облетело весь лагерь. Вечером к нам в комнату пришли молодые парни и мужчины. Они хвалили нас за смелость. А майору никто, вероятно, не доложил, и никого не послали в концлагерь. На следующий день суп стал лучше, хотя через неделю все было, как и прежде.

Шура и я влюбляемся

Чтобы как-нибудь забыть монотонную жизнь лагеря, наши остовцы устроили лагерный театр. Время от времени мы давали маленькие спектакли, где танцевали, декламировали любимых поэтов: Пушкина, Лермонтова, пели песни, — конечно, не коммунистические. Кто-то достал где-то тексты старых русских романсов, и мы разучивали их и пели до и после спектакля. Во дворе, перед бараком комендатуры, была сколочена из досок огромная сцена. Перед сценой для гостей поставили даже несколько скамеек, но большинство зрителей смотрели представление стоя.

Нередко на эти представления приходили даже немцы, жившие вблизи лагеря, а иногда и рабочие с завода. Хотя они ничего не понимали по-русски, им очень нравились наши песни и танцы. Однажды после одного из таких спектаклей к нам с Шурой подошел молодой немец.

— Я вам благодарен за это представление. Я, правда, ничего не понял, но оно мне очень понравилось. Я обязательно когда-нибудь научусь говорить по-русски. — Он пожал нам обеим руки и попрощался.

Мы с Шурой переглянулись. Но не успели опомниться от этого приятного сюрприза, как к нам подбежал Карло, друг Гени:

— Это было превосходно! Я видел, как немцы, которые ни черта не понимают по-русски, вытягивали свои шеи, чтобы лучше видеть вас. А кто это? — спросил затем Карло, показывая на уходящего немца.

— Какой-то немец, — ответила ему Шура.

— Ему понравилось, как Витя декламировала Пушкина и как она танцевала «Вальс над волнами», — сказал Карло. — Я видел, как он сильно аплодировал.

Не удивительно, что немцам нравился «Вальс над волнами», ведь музыка была их, Иоганна Штрауса, а танец — моя импровизация. Под эту музыку, еще в школе, многие мои подруги импровизировали разные танцы. Мы всегда любили эту музыку. С ней мы забывали все окружающее. И здесь, на чужбине, как только я слышала эту музыку, она сейчас же уносила меня в мир иной, без лагеря, без непосильной работы, без полицейских, без жизни в плену. Мне казалось, что у меня вырастают крылья, и я улетала в чудесное пространство.

Наша сцена стояла на возвышенном месте, откуда открывался вид далеко на лежащий внизу городок, который тонул в зелени и солнечном свете. Даже наша Черная гора, казалось, пряталась

куда-то от солнца и музыки. С музыкой все было так легко и хорошо. После таких спектаклей, казалось, даже в суровых лицах наших стражников и коменданта появлялось что-то мягкое, будто разглаживающее их жесткие морщины на лицах.

Когда люди уже начали расходиться, мы с Шурой тоже направились к нашему бараку. Но тут же остановились и обернулись:

— Добрый вечер! — перед нами стояли два бельгийца, Беня и Константин. — Ваше представление было замечательным! — сказал Беня. — Давайте пройдемся по лагерю, немножко погуляем.

Мы с Шурой согласились и вместе с бельгийцами начали прохаживаться по тропинкам между бараками. Возле одного из бараков, где жили бельгийцы и французы, к нам примкнул еще один молодой человек. Беня сразу же представил его:

— Это Нильс, художник, вернее, — поправил себя Беня, — он был художником в Бельгии. А теперь он, как и все, работает на заводе, делает снаряды.

Я еще никогда не видела настоящего художника, но, увидев Нильса, подумала, что все художники должны выглядеть именно так, как он: с голубыми задумчивыми глазами и взъерошенными светлыми локонами. Его плавные движения и медлительная речь выдавали умного наблюдателя. Мы начали говорить об искусстве, затем — о фильмах. Так как бельгийцы могли свободно входить и выходить из лагеря, они часто ходили в кино и были удивлены, что мы не знали ни одного немецкого современного фильма. Так, разговаривая и шутя, мы гуляли до позднего вечера. На прощанье Беня сказал:

— Витя, я хочу пригласить вас в кино.

— Спасибо, я охотно пойду.

Когда мы пришли «домой», я спросила Шуру, пригласил ли ее Константин в кино.

— Да! — ответила Шура с восторгом. — Знаешь, я чувствую, что влюбляюсь в эту холодную статую. — Она, конечно, имела в виду Константина. Мы еще на заводе прозвали его «холодным изваянием», потому что он всегда держался прямо, как статуя, был красив и никогда не выходил из себя.

С этого вечера Шура влюбилась в Константина, Беня — в меня, Нильс — в Шуру, а я… — тоже в Константина. Беня был всегда весел, всегда чем-то восторжен и, как мне казалось, всегда счастлив. А после этого вечера каждый раз, когда мы встречались, Беня стал таким застенчивым и всегда при встрече со мной краснел, как девочка. Его же друг Константин был совершенно иным. Скоро у меня создалось о нем впечатление, что он не питал

особого интереса ни к Шуре, ни ко мне. Иногда, глядя на него, я даже сомневалась в том, может ли он вообще что-нибудь чувствовать. Но так как я видела, что Шура все больше и больше влюблялась в Константина, я старалась не беспокоить ее моими опасениями. Прохаживаться по вечерам после работы по лагерю стало теперь для нас всех привычкой. Обыкновенно Шура и Константин шли впереди, за ними, немного поодаль, — Беня и я, часто с нами был и Нильс. Он шел то с Шурой и Константином, то со мной и Беней. В обществе Нильса было легко и приятно. Он много шутил и рассказывал нам о своих любовных похождениях с немками. У него на частной квартире была маленькая студия, куда он приглашал немок быть его моделями. А потом с ними спал.

— Но ведь немецким женщинам запрещается встречаться с иностранцами, — удивлялась я такой распущенности.

— Ну, ты, Витя, еще очень наивная, — говорил он.

Обычно Беня при таком разговоре краснел. А Нильс, рассказывая нам о немках, подтрунивал над ними, потому что они ничего не понимали в искусстве. Мы смеялись. Тогда Шура и Константин останавливались и поджидали нас, и мы все вместе шли дальше, смеясь и разговаривая.

Однажды вечером Шура села ко мне на постель. По ее лицу я увидела, что она несчастна.

— Я думаю, ему скучно со мной, — начала она.

— Ты серьезно опять влюблена, Шура? — спросила я. — А твой мальчик там, в «отеле»?

— Ах, это было невинное увлечение ребенком. Константин — настоящий мужчина, — сказала она.

Я не сразу ответила.

— А что ты скажешь, если и я влюблюсь в Константина?

Шура громко рассмеялась:

— Тогда мы обе будем несчастны!

После этого разговора мы все еще каждый вечер продолжали наши прогулки. Вскоре я заметила, что Беня начал хмуриться, особенно, когда Константин разговаривал со мной. В его взгляде, как мне показалось, была даже какая-то неприязнь к своему другу. В свою очередь, Шура тоже начала дуться, когда Константин в разговоре уделял мне больше внимания. Однажды она даже отказалась идти на прогулку. Она притворилась, что у нее болит голова:

— Я останусь сегодня здесь. У меня болит голова! — объявила она.

— Ты, наверное, ревнуешь меня к нему, — сказала я, — я так и знала, что этим кончится.

— Иди одна. Потом мне расскажешь, — бросила она, отворачиваясь к стенке.

К моему удивлению, на прогулку пришел один Константин.

— А где Беня? — спросила я.

— У него болит голова.

Теперь я рассмеялась. Я сказала ему, что то же самое мне ответила Шура на предложение идти гулять. Но мы все же пошли нашим обычным маршрутом. На этот раз говорили мы мало. Нам обоим стало как-то неловко вдруг очутиться наедине. Где-то на третьем витке Константин остановился за бараком:

— Теперь я знаю, почему Беня не пошел со мной: он думает, что я отбиваю тебя у него.

Я прижалась спиной к бараку и посмотрела на Константина.

— Я не влюблена в Беню.

Хотя было уже довольно темно, я заметила, как Константин прищурил глаза и испытующе посмотрел на меня. Затем он медленно приблизил свое лицо к моему, крепко обнял меня сильными руками и прижал свои горячие губы к моим. И случилось невиданное: статуя превратилась в живое существо, и жизнь струилась из нее, захватывая меня и перенося в другие сферы. Так мы долго стояли за бараком и целовались…

— Пойдешь со мной завтра в кино? — спросил Константин, выпуская меня из своих объятий. — Идет замечательный фильм — «Смейся, Паяц!».

— Да, — ответила я, умалчивая о том, что в прошлый вечер отклонила приглашение Бени пойти на этот же фильм. — Я бы хотела посмотреть «Смейся, Паяц!».

Мы расстались. Но я не сразу вернулась в барак. Я постояла еще немного на улице, обдумывая, что мне сказать Шуре.

Солгать ей что-нибудь? Но это будет нечестно. Молчать? Это может навлечь подозрение, к тому же мои глаза, в которых я сама чувствовала избыток радости, могут меня выдать. Итак, я решила идти в барак, не думая об этом. Что будет — то будет!

— Ну, как было втроем? — спросила меня Шура, когда я села на свою постель.

— Нас было двое, — ответила я.

— Как так? Ты и Беня?

— Нет, Константин и я.

— Да что ты! Ну, как же это было? Рассказывай, рассказывай! — и Шура ближе придвинулась ко мне.

— Как всегда. Он пригласил меня в кино. Хочешь пойти с нами?

Шура минуту помолчала.

— Нет… Лучше я не пойду. Иначе он подумает, что я бегаю за

ним. Нет. Бегать за ним я не стану! Это он должен знать! — твердо сказала Шура, и в ее голубых глазах блеснул огонек гордости.

В воскресенье, ровно в двенадцать часов дня, Константин ждал меня у выхода. Не стесняясь никого, он обнял меня за плечи, и мы направились в городок к кинотеатру. Перед зданием кино я сняла мой знак, и Константин купил два билета. Мы стояли у входа в зал и ждали конца первого сеанса. Когда все вышли, Константин, положив руку мне на плечи, повел меня в зал. Вдруг он сильно прижал меня к себе:

— Ты видела?

— Что? Я никого не видела!

— Беня, — шепнул он мне на ухо и сильно побледнел.

Когда мы сидели в зале и смотрели фильм, я совершенно забыла, что он говорил о Бене. Фильм полностью поглотил меня. Это был действительно один из самых интересных фильмов, которые мне когда-либо приходилось видеть. Только после фильма, когда мы выходили, Константин опять заговорил:

— Вон там Беня. Он смотрит на нас. Ты видишь?

Но я не сразу заметила Беню в толпе. А когда я его увидела, он отвернулся. Немного позже, уже на улице, Константин сказал:

— Я не могу забыть выражения его лица. Оно было… как у Паяца… Он, наверное, обижен. Он видел нас и нарочно не подошел к нам.

— А ты очень об этом беспокоишься? — спросила я.

— Если бы ты видела его лицо! Оно было, как у Паяца…

— Ну что ж! Все как-то уладится, — сказала я, чувствуя легкую досаду на Константина. Но он молчал, о чем-то задумавшись, и моя досада перешла вдруг в странную растерянность.

— О чем ты думаешь? — спросила я.

— О Бене. Он стоит передо мной, как призрак.

— Но ведь я здесь, в сущности, не при чем, — ответила я немного неуверенно. Ведь Константин не знает, что я отказала Бене пойти с ним на этот фильм.

— Да, но…

Константин не договорил. Он вдруг резко повернулся ко мне и с убеждением в голосе сказал:

— Нам надо расстаться… так нельзя. Мы должны расстаться.

Я чувствую, как мои руки бессильно опускаются и внутри все стынет. Куда делась та приподнятость и полнота чувств, которую я каждый раз испытывала при встрече с Константином? Как окаменелая, я остановилась.

— Почему? — спросила я еле слышно.

— Беня мой друг. Мы вместе учились в школе и в университете. Нас вместе забрали в Германию. Я не могу его обижать, делать ему больно. Понимаешь?

Я ничего не ответила. Минуту спустя, как бы самому себе, Константин добавил:

— Теперь я понимаю его поведение. Так вот в чем дело. Я не думал, что он это серьезно…

А я стояла и не могла говорить. Каждое его слово рвало мне душу. Наконец мы медленно направились в лагерь. Когда я осталась одна, я ушла за барак и села у забора. Так я сидела до наступления сумерек. Успокоившись, пошла в комнату и, не разговаривая ни с кем, легла спать.

Так закончилась эта не начавшаяся любовь. Наши прогулки вокруг бараков тоже прекратились. Мы виделись только на заводе. Иногда мы с Константином, встречая друг друга, обменивались незначительными фразами, хотя каждый раз при виде его меня охватывала непонятная тоска. Только через неделю я рассказала об этом Шуре. Выслушав меня, она сказала:

— Тем лучше. Что было бы, если бы ты сильно влюбилась в него? Рано или поздно вам надо было бы расстаться. Ведь у нас с ними нет будущего.

Вероятно, Шура была права.

Грузинский доктор

С мужчинами остовцами немцы обращались гораздо хуже, чем с женщинами. Их посылали на самые тяжелые работы — на транспорт, на погрузку и выгрузку тяжелых ящиков со снарядами. Но часто мужчины, особенно те, которые работали на станции при погрузке разного рода сырья и снарядов, могли легче войти в контакт с немецкими рабочими. Из этих контактов многим стало ясно, что далеко не все немцы были настроены против нас, остовцев. От немцев можно было также узнать кое-что о ходе войны. Пользуясь этой своего рода свободой, некоторые молодые люди решались даже бежать, хотя в большинстве случаев побеги заканчивались неудачно — пойманных отправляли в концлагеря. Но это не останавливало никого из молодых. Часто в свободное время молодые люди приходили в наш барак «вербовать» девушек на побег. С девушками побеги удавались чаще. Но девушки редко соглашались. Риск был слишком велик. Кроме того, многие надеялись, что война скоро кончится и можно будет ехать домой.

Осень 1943-го года была особенно тяжелой. Погода стояла серая, дождливая. Наши тонкие остовские костюмы не защищали нас от холода. Влажный, холодный ветер пронизывал до костей. По утрам густой туман окутывал всю Черную гору, лез в горло и легкие, когда мы шли на работу. В лагере многие болели гриппом, началась настоящая эпидемия. Я тоже простудилась и уже целую неделю чувствовала боль в груди. Простуда слишком затянулась. Наконец я решила сходить к немецкому врачу на заводе.

В приемной было несколько человек, но входили и выходили быстро. Когда подошла моя очередь, ассистент позвал меня в кабинет врача. Тот, не глядя на меня, спросил:

— Что у вас?

— У меня болит в груди.

— Разденьтесь до пояса.

Затем врач подошел ко мне. Рядом с ним стоял ассистент. Несколько минут они оба смотрели на меня. И вдруг раздался враждебный голос врача:

— С такой грудью и больна? Одевайтесь и уходите, и не приходите ко мне больше, иначе я отправлю вас в концлагерь!

Я почувствовала, как от возмущения у меня вдруг загорелись щеки, и не могла произнести ни слова. Я оделась и вышла. А за захлопнувшейся дверью доктор и его ассистент громко смеялись.

— Я сама себе помогу! — подумала я. — Увидите!

На заводе я разыскала Лиду:

— Что делать, чтобы поднялась температура?

— Ага! Саботаж хочешь устроить! — рассмеялась она. — Ну, выпей стакан горячей воды с солью, и сразу к врачу, а то позже ничего не выйдет. Я решила сделать так, как советовала Лида. Мне во что бы то ни стало нужно было освободиться от работы хоть на пару дней, чтобы отдохнуть и набраться сил. Я уже давно чувствовала себя усталой и изнуренной.

Вернувшись после работы в лагерь, я сразу же выпила стакан горячей воды с солью. Противный напиток! Но через несколько минут я уже почувствовала, как температура начала подниматься. Как советовала Лида, я направилась сразу же в противоположный барак в санитарную часть лагеря. Этот барак был также и лагерной больницей. Здесь было несколько комнат для больных, которые оставались по разрешению немецкого врача. Лагерный врач, обычно один из остовцев, санитар и медсестра составляли весь медицинский персонал.

Когда я вошла, врач сидел в своем кабинете за письменным столом. Как и немец, не глядя на меня, он спросил:

— Чем могу вам помочь?

Это был голос Сергея. Ошеломленная, я стояла у двери и молчала. Не услышав от меня ответа, — он быстро повернул голову к дверям. Теперь я могла ясно его видеть. Это был он. Но Сергей, вероятно, не узнавал меня и продолжал вопросительно смотреть. У меня подкосились ноги. Я чувствовала, что еще мгновение — и я упаду. Вероятно, я была бледной, как стенка, потому что Сергей вдруг быстро подскочил ко мне:

— Вам плохо?

— Температура, — сказала я еле слышно, наклоняя голову, чтобы он не увидел моего лица. Он подвел меня к стулу и усадил. Затем дал термометр и опять сел за свой стол.

— Какой ваш номер?

— 927.

В лагере редко спрашивали имена — все были только номера. Украдкой я наблюдала за Сергеем. Был ли это действительно тот Сергей, с которым меня когда-то связывала крепкая дружба? Он был очень худ. Лицо заострилось, и широкие скулы делали его каким-то жестким и холодным. Даже взгляд его синих глаз был не тот, — чужой и отвлеченный. «Как он сюда попал? — думала я. — Как он связался с уборщицей коменданта, которая, как говорили в лагере, была его любовницей? Что произошло в его жизни за это время?». Тысячи вопросов возникли в моей голове. Я уже готова была встать и громко сказать: «Сергей!». Но его голос остановил меня.

— Довольно, — сказал он. — Дайте термометр. Да… 38,8,

нехорошо. Я вас освобожу на день от работы, но завтра вы должны опять явиться сюда.

В комнату вошла медсестра.

— Доктор, идите, пожалуйста, одному пациенту стало плохо.

Сергей встал.

— Я сейчас вернусь. Подождите минутку.

Он вышел.

«Так вот кто грузинский доктор, о котором так много говорят в лагере, — думала я. — Неужели я так изменилась, что он не узнает меня? А может, умышленно не хочет узнать?».

Над умывальником висело небольшое зеркало. Я подошла к нему и посмотрела на себя: нет, он не может узнать меня. Тогда у меня были длинные рыжие косы, а лицо — немного веснушчатое. Теперь у меня были короткие волосы. Их отрезали в транзитном лагере в Польше. А веснушки от мягкого немецкого климата почти исчезли. Лицо стало угловатым, широкие скулы были покрыты коричневой заводской пылью, на лбу висели пряди грязных волос. Худое тело стягивало темно-красное платье-халат, которое я иногда надевала вместо зеленой формы. Нет. Такой меня не узнал бы никто из моих прежних друзей.

Когда он вернулся, он опять сел за стол и написал мне справку.

— Отнесите в комендатуру. А завтра вечером я увижу вас здесь. Вот таблетки. По две — три раза в день, — сказал он, протягивая мне справку и таблетки. — До свидания!

Я направилась к двери и остановилась. Уйти, так и не сказав ни слова? И вдруг я решительно повернулась. Какое-то мгновение я еще колебалась. Он привстал и удивленно смотрел на меня.

— До свидания, Сергей! — еле прошептала я.

Мой шепот произвел на него ошеломляющее впечатление: он как-то судорожно вздрогнул, его карандаш выпал из рук и покатился через всю комнату к моим ногам. Он стоял и в полном ужасе таращил на меня свои голубые глаза. Наконец, после долгого молчания, сделал несколько шагов ко мне. Он остановился на некотором расстоянии и начал смотреть на меня, как на привидение. Потом близко подошел ко мне, взял мое лицо в свои руки, и я почувствовала прежнюю их силу.

— Значит, это ты? — сказал он. — Ты?

Теперь он стоял совсем близко от меня, его тело почти касалось моего, а глаза искрились прежним знакомым мне светом. Он отнял руки от моего лица, и уголки его губ изогнулись в нежную, так знакомую мне улыбку. Теперь это был Сергей, которого я знала раньше. Он на минуту остановился посреди комнаты и прислушался. Убедившись, что никого вблизи нет,

вдруг спохватился, забеспокоившись: начал бегать от стула к стулу, что-то убрал, переставил, выхватил справку из моих рук и бросил ее на стол.

— Садись… вот сюда, нет, сюда! — он показал на неуклюжий диван, стоявший у стены. В его движениях было что-то беспомощное и в то же время такое трогательное, что на мгновение я почувствовала себя невестой, вокруг которой суетился ее жених.

В дверь постучали. Сергей не слышал. Немного встревоженно я посмотрела на дверь. В это время она медленно открылась, и высокая красивая блондинка, уборщица коменданта, вошла в комнату. Сергей нахмурился.

— Я еще не готов. Подождите минутку, — сказал он ей.

— О, извините, — ответила девушка и вышла, бросив на меня быстрый, любопытный взгляд.

— Ты, конечно, слыхала, — сказал Сергей, когда мы остались одни.

— Да…

Сергей подошел к окну и несколько секунд стоял ко мне спиной. Не поворачиваясь, он сказал:

— Это судьба. Мы поженимся при первой же возможности.

— Ты и она? — почти лишаясь голоса, сказала я.

Он резко повернулся:

— Ты и я, конечно! Зайди ко мне сюда в десять часов вечера. Я все объясню. А сейчас мне надо идти. Но справку отнеси в комендатуру.

Еще одно мгновение я стояла опять ошеломленная. Затем, взяв из его дрожащих рук справку, вышла. «Ты и я!» — все время звенело в моих ушах. «Ты и я!» Через окошко я отдала справку в комендатуру и возвратилась в барак. У входа я столкнулась с Лидой.

— Ну, как ты себя чувствуешь? Освободил тебя доктор от работы? — засмеялась она своим саркастическим смехом.

— Да, — ответила я, запинаясь, все еще не очнувшись от происшедшего.

— Пойдем, пройдемся, — предложила Лида.

— Пойдем!

Я была рада, что на улице уже начало темнеть, иначе Лида заметила бы на моем лице замешательство и заподозрила бы меня в чем-то. Она всегда казалась мне тонким психологом. Но, к счастью, она ничего не заметила. Прохаживаясь вдоль забора, Лида все время говорила о каком-то мальчике, который бежал и попался, и теперь его посадят в тюрьму. За это время я немного успокоилась. Затем спросила ее, правда ли то, что говорят о

грузинском враче и уборщице коменданта.

— Говорят, что она спит и с комендантом, и с врачом, — ответила Лида. — Я лично ничего не имею против. Пусть каждый делает, что хочет. А что ты думаешь? Он хорош? Да, такого и я бы полюбила…

— А что ты в нем видишь особенного? — спросила я.

— У меня слабость к синим глазам, — сказала Лида, не то шутя, не то серьезно. — Помнишь песенку о синих васильках? Он просто мой тип. Но не в этом дело. Дело, в сущности, в том, что он хороший человек, добрый. Это чувствуешь без слов — вот что. Ты думаешь, он не знает, что ты пила соль?

— Откуда он может знать?

— А он обследовал тебя? Нет? Ну, вот! Он просто не хотел ставить тебя в неприятное положение. А много он тебя спрашивал, что у тебя болит? Тоже нет. Ты думаешь, что он полагался бы только на термометр, если бы знал, что человек действительно болен? К нему многие приходят, чтобы освободиться на денек. Я тоже пила соль, когда пошла к нему. И знаешь, что он сказал мне?

— Не слишком часто. Соль очень вредит, если злоупотреблять. — Это он сказал как бы мимоходом, как если бы это не относилось к делу.

Я проводила Лиду к ее бараку, а сама осталась еще на дворе. Я думала о Сергее, о нашей странной встрече. Как это возможно, что мы до сих пор не встретились? Ведь мы столько уже здесь, в лагере! И опять тысячи вопросов завертелись в моей голове. Почему он «грузинский доктор»? Почему он здесь? Почему связался с уборщицей коменданта? Раньше это было бы против его моральных убеждений. Неужели он так изменился?

Мне не хотелось возвращаться в барак. Через окна без занавесок я могла видеть, что делалось в комнатах. Яркий свет от голых электрических лампочек освещал полуобнаженные человеческие тела. Большинство сидело вокруг печки, неуклюже стоявшей посреди комнаты. Некоторые сидели у длинного стола и играли в карты, другие расположились на скамейках или на койках и тянули заунывные русские песни.

Стало довольно прохладно, и я вернулась в барак, взяла мыло и полотенце и пошла в умывальник. Я мыла лицо, руки, ноги так тщательно, будто готовилась к балу. Вода была холодная, но мне все же удалось вымыть голову. Мне казалось, что сегодня вечером случится что-то необыкновенное.

Помывшись, я вернулась в барак. Некоторые девушки уже спали. Я немного напудрила лицо, взъерошила мои короткие волосы на европейский лад, надела платье и, набросив на плечи

элегантный французский дождевик, который мне дала моя французская подруга Эжени, пошла к Сергею. Я тихонько постучала в комнату Сергея и тотчас же услышала его шаги.

В комнате было темно. Сергей только на минутку зажег свет и сразу же опять потушил его.

— Мы идем в город, — сказал он шепотом.

Я хотела возразить, что у меня нет пропуска, но Сергей только махнул рукой:

— Я все устроил. Не разговаривай, пока не выйдем из лагеря.

Мы молча подошли к выходу. Сергей показал полицейскому свой пропуск и положил ему что-то в руку. Тот пропустил нас, тоже молча. Через несколько минут лагерь скрылся в ночной мгле. Сергей свернул в маленькую улочку, в стороне от главной дороги в лагерь.

— Теперь мы свободны, — сказал он и положил руку на мое плечо.

— Большинство лагерных полицейских знают меня, — сказала я.

— Меня тоже, — засмеялся он.

— Ты что, подкупил его?

— А почему бы и нет?

— Я думала, что все немецкие полицейские — преданные нацисты.

— Деньги могут их тоже сделать преданными коммунистами…

Минут через десять мы очутились в центре городка. Здесь было шумно и светло от электрических огней. Из разных ресторанчиков доносилась музыка. Мы остановились перед небольшим кафе.

— Пойдем? — сказал Сергей и уже потянул меня внутрь. — Это наша первая остановка.

Сергей снял мой дождевик, и мы сели в углу у маленького стола. Посреди кафе, на до блеска начищенной паркетной площадке танцевало несколько пар — мужчины были в военной форме. Оркестр негромко играл популярную мелодию.

Я оглянулась вокруг в нерешительности. Сергей заметил это. Он взял мою руку, лежавшую на столе, и крепко сжал ее. Тотчас же к нам подошел официант, и Сергей на прекрасном немецком языке сделал заказ:

— Два бокала шампанского.

Мы подождали еще пару минут. Официант возвратился с шампанским и опять исчез. Тогда мы подняли бокалы и чокнулись:

— За встречу! — сказал Сергей. — За необыкновенную

встречу! Теперь расскажи ты сначала, как ты сюда попала.

— Я только не понимаю одного: почему мы до сих пор не встретились? Ведь мы почти соседи по бараку! — сказала я.

— Возможно, что мы и виделись, но я не узнал бы тебя. Кроме того, я часто не бываю в лагере. Но об этом позже. Говори, начинай свою историю.

Моя история была несложная. Я рассказала ему, как меня забрали в Германию, затем, как я работала на мебельной фабрике и, наконец, попала сюда. Он все время внимательно смотрел на меня и, когда я закончила, сказал:

— У меня есть комната, недалеко отсюда. Пойдем?

Я смотрела на Сергея и не переставала удивляться. Комната? Здесь, в немецком городке? Правильно ли я расслышала? Но Сергей уже встал и подозвал официанта, чтобы расплатиться. Мы шли недолго и вскоре очутились на втором этаже, в маленькой, уютной комнатке. В ней было только одно небольшое окно. В углу стояла печка, рядом — несколько бревен и брикет. У окошка стоял столик, на котором лежали книги и бумаги. Несколько чашек валялось в беспорядке на полу. На железной кровати возле стены лежало два теплых одеяла. Сергей тщательно закрыл дверь и запер на засов. Он прикрыл лампу газетой и задернул занавеску на окне.

— Тебе холодно? — спросил он. — Иди, сядь на постель, я сейчас затоплю печь. Он усадил меня на кровать и набросил теплое одеяло. Затем остановился на минутку и поглядел на меня. Мы молча смотрели друг на друга. Несмотря на то, что у меня было столько вопросов, я не могла говорить. Странное напряжение, вдруг возникшее между нами, лишило меня речи. Я откинулась к стенке и молча наблюдала, как Сергей хлопотал у печки.

Тепло быстро распространилось по комнате. Сергей вымыл руки и выключил свет. Но от горящих в печке бревен в комнате было светло. Иногда маленькие искры от горящего дерева выскакивали через отверстия в печке и разлетались в разные стороны. Я не спускала с Сергея глаз. Хотя он был худ телом, он казался сильным, мужественным и красивым.

— Если бы я была Богом, — сказала я, — я бы только для тебя сотворила новую планету. Там бы ты в поте лица трудился на поле, а я смотрела бы из-за облаков и любовалась своим творением.

Сергей подошел ко мне и сел на кровать.

— А если бы я, как первый человек, в поте лица трудился на этой планете, тогда я бы этому Богу за тучами помолился: «Боже, чтобы я не был один, пошли мне жену, такую, как ты».

Мы рассмеялись.

— Рассказывай теперь о себе. Я сгораю от нетерпения! Мне все еще не верится, что я встретила тебя. Может, в самом деле, это только сон, и завтра я проснусь в моем бараке, усталая и измученная, с покрытым сажей лицом.

— Хорошо. Я тебе все объясню. Моя история не так сложна, она даже очень простая, похожая на твою, — начал Сергей. — После твоего ухода, недели через две, наша ферма разлетелась в пух и прах. Кто-то нас выдал. Майора — ты помнишь его? — арестовали. Я убежал в одну из соседних деревень и выдал там себя за грузина. В то, что я врач, поверили, хотя бумаг у; меня не было.

— Грузин с синими глазами?

— В сущности, я назвал себя грузином, потому что — так я и сказал им — я там родился. Я точно описал один грузинский городок, к счастью, там был немец, который знал его. И мне сразу поверили. Мне также устроили и медицинский экзамен, но это было для меня совсем легко. Через несколько дней шел транспорт в Германию. Меня тоже захватили. И это, наверное, спасло меня от возможного расстрела.

Сергей задумался на минуту, потом добавил:

— Остальное тебе известно: поездка в переполненных вагонах, дезинфекция, и, наконец, нас привезли в Дрезден. Оттуда меня направили в маленькую больницу в окрестности Фрейтала. Это была больница для иностранцев. Оттуда меня перевели сюда, но я служу и там раз или два в неделю, замещаю одного чешского коллегу. Эта комната, между прочим, его. Но у меня есть ключ.

— В лагере говорят об интересном грузине, враче…

— У которого есть любовница, — перебил меня Сергей. — Это хорошо. А ты, веришь ли этому?

— Я?.. Не знаю.

— Она подруга этого чешского врача. А я между ними только так… для связи. Кроме того… здесь есть еще одно дело…

Сергей встал.

— Ты, наверное, голодная. Подожди, у меня есть много еды: хлеб, сыр, колбаса. Сейчас заварю чай.

Сергей положил на стол белый платок и все, что было. Затем он добавил дров в печку и поставил чайник. В комнате было довольно тепло, и я отбросила одеяло. Сергей снял свой жакет и придвинул стол к кровати. Только теперь я заметила, как я слаба. — Я ничего не ела с самого обеда, но голода не чувствовала. Я с наслаждением пила горячий вкусный чай с сахаром. Хотя мне много хотелось узнать о Сергее, я молчала. Он

тоже молчал. И это молчание рассказывало нам друг о друге больше, чем слова.

— Но ведь ты больна, — вдруг воскликнул он. — У тебя температура!

— Я выпила соль, когда пришла к тебе. Меня научила одна девушка.

— Я догадался. Но сейчас у тебя настоящая температура. Слушай, было бы хорошо, если бы ты на две недельки легла в больницу. Там бы ты отдохнула. А за это время я постараюсь вырвать тебя из этого ада. В понедельник придет немецкий врач к нам в лагерь. Я поговорю с ним.

— Как ты меня вырвешь отсюда? — спросила я.

— Надо поговорить с рыжим майором. Возможно, это удастся. Ведь ты же окончила курсы сестер? Их везде не хватает.

— У меня нет диплома, он остался дома.

— Это не важно, — сказал он, — никто об этом не спросит, если какой-нибудь немецкий врач одобрит. — Как хорошо, что тебе завтра не надо на работу! Ты отдохнешь, а потом мы посмотрим.

Он взял мою руку. И чувство уюта и какой-то непонятной беспечности волной охватило меня. Если бы это продолжалось целую вечность! Он медленно наклонился и прижал свои губы к моим горячим от температуры губам. Было тихо и темно. Только на потолке отражался свет от тлеющих в печке углей.

— Так вот где я тебя нашел, — сказал шепотом Сергей. — Теперь нам не надо терять друг друга. Нам предстоит еще много впереди. Ведь ты — часть меня. Если ты — Бог за облаками, а я первый человек на планете… взмолившийся к нему, чтобы он послал мне жену…

Около четырех часов утра мы возвратились в лагерь. Заспанный полицейский, которому Сергей опять показал пропуск, без слов впустил нас в ворота.

А в понедельник после обеда я зашла к Сергею. Там сидел немецкий доктор и проверял больных. Он смерил температуру, заглянул в горло и распорядился, чтобы меня забрали в больницу. В тот же день всех нас, пять человек, лагерный полицейский отвез в больницу на две недели. Обыкновенно администрация не очень протестовала, если немецкий врач отправлял некоторых рабочих в больницу. Они боялись, что возможная эпидемия болезни выведет многих рабочих из строя и от этого пострадает продуктивность завода.

Вернувшись в комнату, чтобы взять необходимые вещи, я написала записку Шуре, что ухожу в больницу. Все девушки работали днем. Я знала, что никто не может меня навестить,

потому что никто не знает даже адреса этой больницы. Я написала Шуре, чтобы не беспокоились, и что я вернусь. Уход в больницу часто значил — без возврата. Потому это могло напугать девушек.

Больница состояла из пяти бараков. Они были окружены соснами и стояли немного в стороне от частных домиков немцев. Небольшие комнатки были скудно обставлены, но везде было чисто и уютно. На постелях лежали белые простыни, и перед каждой кроватью стоял ночной столик. На окнах даже висели занавески из марли. Везде был безупречный немецкий порядок!

В каждой комнате лежало по шесть человек. Две девушки в нашей комнате болели бронхитом, как, вероятно, и я. Другие страдали от дизентерии, которой у нас в лагере болели почти все. Перед вечером пришел чешский доктор по фамилии Ковальчик. Это был друг Сергея. С ним зашла и сестра. Так как я была новая, он подошел ко мне, прослушал мне грудь и задал несколько обычных вопросов.

— Я думаю, вы скоро поправитесь, — сказал он. — Если у вас не будет больше температуры, выходите в сад, еще не очень холодно. Свежий воздух всегда помогает.

По-русски он говорил свободно. И хотя его отношение ко мне было таким же, как и к другим, я знала, что Сергей говорил обо мне. Уже на третий день моя температура спала. Но почти целую неделю я провела в постели. Я рада была наконец выспаться. Через четыре дня вечером зашел Сергей. Он пришел специально, чтобы увидеться со мной. Увидев его, я покраснела. Мы не виделись с той последней встречи в городке. А в понедельник, когда я зашла к нему, мы не могли разговаривать — там был немецкий доктор и другие люди. Теперь он опять взял обе мои руки и крепко сжал их, я опять почувствовала себя, как с родным. Мы не были одни. Другие девушки, увидев Сергея, удивленно посмотрели на меня. Они знали его как доктора и не скрывали любопытства, почему он навестил именно меня. Его визит придал мне больше сил и бодрости. Он сказал, что в воскресенье будет замещать своего коллегу и что тогда у нас будет больше времени. Сергей ушел. Дни до воскресенья показались мне целой вечностью. Но вот оно наступило. Сергей уже рано утром сделал обход в нашей палате, потом пошел в другие бараки. Его долго не было. Только после обеда, перед вечером, он позвал меня к себе. Он сказал, что у него было много работы, но что после ужина он свободен и мы увидимся в кабинете доктора Ковальчика.

Я ушла к себе. Нам скоро принесли ужин. Через час я сказала девушкам, что иду навестить знакомых. Не знаю, поверили они мне или нет. Мне было все равно.

Это воскресенье запомнилось мне навсегда. Может быть, было бы лучше, если бы его вообще не было. То, что случилось, я не ошибусь, если скажу, что это изменило мою дальнейшую жизнь. К лучшему или к худшему, я не могла об этом судить. И теперь, спустя многие годы, я не в состоянии решить, что было лучше: то, что изменило мою жизнь, или то, что не состоялось? Во всяком случае, я не желала всех тех потерь, которые мне пришлось вскоре испытать. Потерь, которые и до сих пор терзают мою душу.

Почти всю ночь мы провели в кабинете врача. В эту ночь я узнала, что Сергей вовсе не изменился: то, что он делал в Советском Союзе во время немецкой оккупации, продолжалось и здесь. Этой ночью Сергей посвятил меня в свою тайну — он принадлежал к группе заговорщиков, целью которых было свергнуть или хотя бы подорвать немецкий режим, или, по крайней мере, вредить везде, где можно. Затем войти в контакт с Советами.

К этой группе принадлежали, главным образом, иностранцы, немного русских, чехи, бельгийцы, французы, голландцы и несколько русских военнопленных, которые позже вступили в армию Власова. Таким образом, мне стало ясно, что почти все мои знакомые и друзья на заводе — Геня, Карло, Нильс, Константин, Беня и другие — были участниками подполья. Единственная из остовцев — я не верила своим ушам — была Лида! Теперь я поняла, откуда ее насмешливая беспечность. Вероятно, тайное общение с этими людьми давало ей какую-то душевную силу.

Летом 1943-го года к нам в лагерь приходило довольно много власовцев. Немецкая администрация их свободно пускала везде, так как они старались вербовать в свои ряды молодых парней среди остовцев и русских военнопленных. Они рассказывали нам о целях и планах генерала Власова: избавиться от коммунистов! На наши вопросы: «А как с немцами?» они открыто говорили, что после победы над коммунистами Власов думает о создании свободной России. По их словам, в план Власова не входило отделение национальностей от России. Всю страну он хотел сделать огромной федеративной республикой, то есть, система оставалась такой же, как и при Советах, только без коммунистов. Несмотря на идеальную будущность, большинство молодых оставалось только слушателями. К тому же власовцы носили немецкую форму. Может, это была одна из причин, почему многие не решались вступать в его армию. Одна немецкая форма вызывала у нас у всех недоверие, напоминала о высокомерном и жестоком отношении немцев к иностранцам. Они считали себя

высшей расой, а всех других — «унтерменшен»! Поэтому многие просто не верили высоким идеалам Власова. Борис был одним из немногих, примкнувших к власовцам. Это случилось после его разлуки с Катей. Вскоре он стал угрюмым и замкнутым. Только когда он говорил о будущем, его речь звучала бодро и уверенно. В сущности, в нем проскальзывало что-то фанатичное, почти нереальное. Тем не менее, Борис теперь жил именно этим. Может, это было лучше, чем вовсе без идеала. Конечно, и среди власовцев были политические разногласия. Но в одном они все соглашались: борьба против фашизма — после победы над коммунизмом! Но борьба против фашизма была первой целью Сергея.

— А откуда вы получаете задания, как и что делать? — спросила я.

— Мы сами даем себе разные задания, — ответил Сергей. — Мы знаем, как вредить врагу. Кроме того, среди немцев есть тоже коммунисты.

— Но власовцы ведь не с вами!

— Да, они с нами только в будущем. Но они нам нужны сейчас, очень нужны.

— Ты не думаешь, Сергей, что такая работа здесь, в Германии, более опасна, чем на родине?

— Мы действуем очень осторожно. Некоторые даже не знают, кто с нами.

— Стратегию и тактику коммунистов ты, кажется, изучил очень хорошо. Но что, если вас поймают?

— Надеемся, что нет. Тогда, конечно, от немцев ждать пощады не придется. В этом они преуспели.

— Но как ты связался с ними?

— Через одного друга. Ты можешь себе представить.

Да. Я это даже очень хорошо представила. Мне стало ясно, что никто иной как доктор Ковальчик втянул Сергея в это опасное дело. Находясь на Черной горе, не имея ничего общего с внешним миром, я еще больше удивилась, когда Сергей рассказал мне о радиопередачах из Англии, которые регулярно слушают иностранцы, особенно французские военнопленные.

Подобное среди нас, остовцев, было бы немыслимо. Никто из нас не имел ни радио, ни какого-нибудь контакта с нормальной жизнью вне лагеря. Два часа по воскресеньям недостаточно для этого. К тому же немцы считают нас «унтерменшенами» и запрещают любое культурное занятие. Помимо этого, большинство людей в лагере были простые рабочие или крестьяне с небольшим образованием. А чтобы организовать массы, нужна интеллигенция. Были, конечно, и у нас попытки

протеста, вроде наших забастовок. Но все они кончались ничем.

Многие из нас не верили больше никому: ни коммунистам, ни фашистам. А Власов? Кто он? Он хочет свободную Россию! А как с другими национальностями? Среди остовцев были не только русские и украинцы. Под категорию «ОСТ» попадали и латыши, и литовцы, татары и многие другие, хотя нагрудный знак «ОСТ» не все носили.

— Что ты думаешь о Власове? — спросила я Сергея.

— Я не верю, что ему удастся добиться того, что он задумал, — ответил он. — Ведь немцы совсем не доверяют ему. И правильно делают. Иногда мне кажется, — продолжал Сергей, — что вся эта затея просто фантазия — свободная Россия с демократическим режимом! Подумай только! Это сейчас не так легко сделать. Что же будет со всеми национальностями: украинцами, белорусами, азиатскими и кавказскими народами? А казаки, у которых свое представление о свободе и независимости? Власов хочет объединить все национальности в свободную Россию! Нет, Советский Союз будет существовать и после войны. Ты увидишь. Но я верю в то, что после войны у нас на родине будет лучше и свободнее.

Мы еще долго говорили об этом с Сергеем. И в одном мы сходились во мнениях, что после войны в Советском Союзе будут большие перемены. Так мы думали тогда. Таковы были наши надежды.

Через неделю после этого меня выписали из больницы. За мной пришел высокий, сильный парень из лагеря. Это был белорус, санитар Сергея. Кроме меня, никто из тех, кто пришел со мной, не возвратился. Один тихий молодой парень умер от дизентерии, другие были по-прежнему тяжело больны.

Санитар отвел меня к Сергею, а сам пошел в комендатуру заявить о моем прибытии. В понедельник я должна была выйти на работу.

— Сегодня в девять приходи ко мне. Пойдем туда, — сказал Сергей. — Завтра воскресенье, и я свободен. Между прочим, я подал рыжему, чтобы тебя устроили сестрой или здесь, или там, в больнице. Возможно, что на следующей неделе он позовет тебя к себе.

Вошел санитар и сказал, чтобы я шла в комендатуру получать талоны на питание. Потом я направилась в свой барак. Как только я появилась в дверях, все хором закричали:

— Витька здесь! А мы думали, что тебе уже не бывать с нами.

— Как тебе удалось увильнуть на целых две недельки от работы? — кричала громко Татьяна.

— Ну, я заболела. Температура, — сказала я.

— Это, конечно, ерунда! Не верю! Здесь чем-то пахнет, — продолжала она.

— Чем же здесь может пахнуть? Ты что, хочешь, чтобы все в комнате слегли? — ответила я.

— А между тем, я слышала, как однажды ты пришла в пять часов ночи домой. Это тоже по болезни? — ехидничала Мотя.

— Может, и по болезни. Я была у Эжени. Там меня угощали вином, и я уснула, — отделывалась я от нажима девушек.

— У тебя, наверное, есть кавалер? — спросил опять кто-то.

— Да отстаньте вы от нее, — заступилась за меня Шура. — Не видите, что у нее кожа да кости? Кавалеры не любят таких!

Расспросы кончились, но девушки все еще продолжали спорить между собой о возможных причинах моего отсутствия. Я больше не вмешивалась. Пусть лучше они подозревают меня в свиданиях с каким-нибудь чехом или французом, чем узнают невероятную правду. Но когда любопытство и споры утихли, Люба и Шура подсели ко мне на постель. За время моего отсутствия они ближе сдружились.

— Девки страшно сплетничали о тебе. Никто не верил, что ты больна, — сказала Шура. — Многие думают, что у тебя связь с каким-то немцем.

По любопытным глазам Шуры и Любы я поняла, что они тоже не совсем верят в мою болезнь. Может, и верят, но тот факт, что мне удалось «отдохнуть» от работы целых две недели, вызывал у них подозрение. Тогда я решила признаться в моем «преступлении», что, в сущности, и случилось. Спокойным голосом, не допускавшим никаких сомнений, я объяснила:

— Да. Сначала я хотела заболеть. Я выпила стакан горячей воды с солью и пошла к врачу. Но потом температура не упала. У меня начался жар. Признали инфекцию и решили изолировать меня.

Хорошо, что было воскресенье. Большинство девушек ушли в городок, а мы с Шурой и Любой долго говорили о работе, о войне, о нашем будущем. Люба была большим пессимистом. Она не верила в хороший конец на Черной горе. А Шура, наоборот, верила, что война кончится и мы возвратимся домой. Мы верили и в то, что после войны и нашей победы над фашистами у нас произойдут большие перемены.

После ужина я объявила, что иду к моим французским подругам. На самом же деле я пошла в больничный барак. Сергей уже ждал меня. Не теряя времени, мы пошли к воротам, где полицейский, кивнув Сергею, пропустил нас. Это был тот же полицейский, который пропускал нас и раньше. Минут через десять мы уже сидели в «подполье» Сергея. В комнате было тепло,

в печке тлел уже огонь, а на столе было вино, стаканы и еда.

Сергей налил в стаканы вина, и мы сразу же начали есть с большим аппетитом. Потом он поднял стакан и затянул известную песню Вертинского:

Пей, моя девочка,
Пей, моя милая,
Это плохое вино…

И хотя в песне говорилось о несчастной любви, я чувствовала себя очень счастливой. Но в то же время на мгновение меня пронзило странное чувство — что я никогда больше не буду так счастлива, как теперь, в этой маленькой тайной комнатушке, окруженной враждебным миром.

Как бы угадывая мои мысли, Сергей сказал:

— Мы будем счастливы. Когда кончится война и мы вернемся домой…

Весь вечер Сергей посвящал меня в подпольную работу против немцев. Она заключалась, главным образом, в широко развернутом вредительстве на заводах военного снаряжения. Делались снаряды, которые не разрывались. Ящики с гранатами отправлялись не туда, куда нужно. В эту диверсию были вовлечены и немцы. Может, такие, как Макс, на мебельной фабрике? Вероятно, их было достаточно в нацистской Германии.

А когда я опять выразила сомнение в успешном исходе дела, он ответил:

— Если нас поймают, если поймают! — тогда, конечно, всему конец. Но и здесь можно избежать наихудшего. Есть разные возможности.

Я внимательно следила за его лицом. В нем было так много веры в лучшее, что и я поневоле начала верить в это. Его глаза искрились, как всегда, когда он говорил о том, в чем был убежден. И нельзя было не восхищаться им — откуда у него столько веры в борьбу, столько мужества и силы духа в такие тревожные времена?! Ведь и он, как все мы, был унижен немцами. А может, его свободные друзья вдохновляли его на это? Я встала, подошла к нему и обняла за плечи:

— Сергей! Ты такой невероятный человек! Теперь я всегда и везде хочу быть с тобой! Я не хочу больше терять тебя!

Нам было тепло и уютно. Наши руки сплетались и щеки горели и от вина, и от прикосновений. Казалось, я задохнусь от счастья. В печке тлел огонек, и его отблеск рисовал разные фигуры на потолке. Теперь и я была частью этого тайного огонька, тихо потрескивающего в темноте.

Но все сложилось иначе. Я даже не успела принять активное участие в подпольной работе. Разные неожиданные события завертелись одно за другим, изменяя наши планы, чувства и мысли.

В понедельник я вышла опять на работу. То, что я нашла Сергея и была уже не одинока, сделало меня спокойной, наполнило мою душу радостью. Что теперь Геня, Константин, Беня? Они отошли в сторону. Сергей вытеснил их всех. Конечно, я ни с кем не говорила о нем, даже с Лидой. Да! Даже с Лидой, которая, в сущности, была причиной всего, что произошло. Ведь она послала меня к Сергею, к «грузинскому врачу». Но все же мое тайное счастье прорывалось, вероятно, сквозь мое лицо наружу.

Войдя в огромный цех, я оглянулась вокруг и почувствовала, что теперь я не та. Сегодня я вошла в эти ворота с определенной целью, а не как заклейменный скот, который насильно тащат на работу. Меня сопровождали ночные речи Сергея, его любовь, восторг, борьба с нацистами. В наше последнее свидание он объяснил мне — это было мое первое задание, — как связаться с одним из подпольщиков. Но все произошло совсем неожиданно, когда один из них первым подошел к моей машине.

Это был Карло, наш чешский рабочий и друг Гени. Он пришел поздравить меня с возвращением.

— Ты чудно выглядишь, Виктория. Что с тобой? Ты была в отпуске?

— В больнице. Грипп.

Разговаривая, он рассказал мне о разных событиях, случившихся во время моего отсутствия, — кто с кем встречался, кто кого бросил. Кого выругал мастер и прочее. Он мерил мои снаряды, которые я только что просверлила. Незаметно я вынула из кармана моего темно-красного халатика советскую звездочку и начала перекладывать ее из одной руки в другую. Это был знак подпольщиков. Звездочку мне дал Сергей, так что я уже знала, что Карло был одним из них.

Но Карло сначала ничего не заметил. Только через секунду его глаза расширились, и он, не отрываясь, начал смотреть на звездочку. Тогда я опустила ее в карман. Карло все еще молчал. Только его глаза мерили теперь не снаряды, а меня с ног до головы. Я улыбнулась. Тогда он вынул свою такую же звездочку и показал мне.

— Видно, ты была в хороших руках в больнице, — сказал он.

— Да. В очень хороших, — ответила я.

Он взял мои снаряды в руки и сказал:

— Смотри! Если просверленное отверстие будет слишком велико, ты должна сразу же, пока металл еще горячий, ударить по

отверстию молотком. Тогда оно опять примет нормальный размер… на время… А это для нас важно. Это начало. Только делай так, чтобы этого никто из немцев не заметил.

Он удалился. С тех пор, когда отверстия в моих снарядах не подходили под контрольные инструменты, я ударяла по ним молотком, и они отвечали стандарту. Не знаю, помогало ли это в действительности портить снаряды, или это было начало чего-то более сложного… В то утро, около десяти часов, все заметили, как в цех вошла группа немецких военных. Их было человек пятнадцать. Они шли ровно, как на триумфальном марше. Их каменные лица ничего не выражали. Только глаза некоторых косились в сторону машин, где по обеим сторонам работали мы, их рабы. Судя по их форме, это были высшие армейские офицеры. Сначала я не обратила на них особого внимания. Здесь часто появлялись всякие военные, которых Гофман водил по цеху. Но когда через несколько минут они вошли к Гофману, в его стеклянный домик, затем вместе с ним вылетели оттуда и рассыпались по всему цеху, я начала беспокоиться. В это время я заметила Аиду. Она быстро куда-то бежала. Я подозвала ее к себе:

— Что случилось?

— Здесь пахнет концлагерем. Раскрыт саботаж. — Она отошла.

После нее Карло подошел ко мне и еле слышно прошептал:

— Мы ничего не знаем, — и он тоже сразу же скрылся.

Отверстия в моих снарядах все время становились почему-то большими. И каждый раз я брала молоток и ударяла по ним. Вдруг из-за моей спины вырос Гофман. Он ждал, пока я кончу сверлить снаряд, затем взял его и начал мерить отверстие. Оно, как и прежние, было немножко велико. Он взял еще несколько снарядов и молча отложил их в сторону.

— Кто вам сказал, чтобы вы били молотком по отверстию?

— Никто. Я видела, как это делают все другие, — сказала я. — А разве что-нибудь не так?

Он как-то странно посмотрел на меня, что-то буркнул себе под нос и отошел, скривив лицо в своей особенной улыбке.

В сущности, я не верила тому, что удары молотком по отверстию портили снаряды. Но, может, процесс их изготовления замедляется? Не знаю. Я ничего не понимаю в технологии военного снаряжения. Вероятно, там были люди, которые разбирались в этом деле. Но присутствие военных офицеров, бегающих по цеху с серьезными, озабоченными лицами, и то, как Гофман посмотрел на меня, ко всему странное поведение Лиды и Карло, — все это насторожило меня.

После обеденного перерыва все узнали причину такого

внезапного посещения военных офицеров. Оказалось, что раскрыли крупный саботаж. Некоторых чехов, бельгийцев, французов и четырех русских (с ними Лиду) увели на допрос.

— Вот теперь начнется театр, — сказал Борис, остановившись на минуту возле меня.

Он еще уцелел. Но, по сведениям оставшихся, дело было не в предательстве. Военные на фронте обнаружили снаряды, которые не взрывались. И немецкое руководство начало проверку всех муниционных заводов. Офицеры, инженеры в форме метались теперь по всему цеху, без конца измеряя снаряды. Они заглядывали в станки, вытаскивали уже запакованные ящики и опять проверяли их. Весь этот день стояла какая-то напряженная, угнетенная атмосфера. С беспокойством в душе и неизвестностью мы ушли вечером с завода.

У входа в барак ко мне подошел Беня:

— Я должен с тобой поговорить.

Мы пошли за барак к забору. Там он вынул из кармана конверт и вручил мне:

— От Гени.

Я сразу же вскрыла его и начала читать: «Убегай сейчас же! Здесь адрес друга в Чехословакии. Там ты можешь остаться, пока я не объявлюсь. Сергей». Внизу был адрес родителей Гени. Дрожащими руками я спрятала письмо и, вероятно, побледнела так, что Беня забеспокоился.

— Ты себя плохо чувствуешь?

— Нет. Спасибо тебе, Беня. А как ты и Константин?

— На нашем фронте тихо, — сказал он.

— А Геня?

— Он пока в безопасности… Если я тебе буду нужен, пиши сюда. Нас, бельгийцев, не так преследуют, как вас, — сказал он.

Я удивилась. Знал ли Беня о смысле письма? Но не хотелось тратить время на вопросы. Он подал руку и на какое-то мгновение заколебался. Затем обнял и поцеловал меня.

Спустя некоторое время я разыскала Любу и потянула ее на прогулку — я уже давно знала, что Люба искала случая бежать. Теперь такой случай ей представился:

— Люба, я сегодня же вечером бегу. У меня есть адрес, где можно будет переждать. Если хочешь со мной — пойдем вместе.

Люба сразу же, не задавая вопросов, согласилась идти со мной. Я решила забрать с нами и Шуру, но Люба отсоветовала:

— Она не пойдет. За время твоего отсутствия она узнала, что ее отца забрали в Германию и он находится здесь где-то, недалеко от нашего лагеря. Она надеется скоро встретиться с ним.

Мы с Любой начали обсуждать план побега: сегодня вечером, около одиннадцати часов, когда все уже будут спать или сидеть в комнатах, мы пролезем через дыру в заборе и по Черной горе спустимся вниз, в город. Там сядем на трамвай и поедем в Дрезден на главную станцию. Возьмем билеты до чешской границы. А дальше — посмотрим. Я ничего не сказала Любе о Сергее, а только то, что один чешский друг приютит нас, когда мы до него доберемся. А сейчас мы должны возвратиться в комнату поодиночке и, чтобы не вызвать подозрения, начать медленно паковать маленькие сумочки.

Паковать наши вещи было нетрудно — у нас почти ничего не было, кроме смены одежды, немного денег и по куску хлеба. Правда, у меня было элегантное французское пальто, принадлежащее Эжени. Но теперь у меня не было времени возвращать его. Кроме того, именно теперь оно мне очень и очень пригодится.

Когда я закончила укладываться, я позвала Шуру пройтись со мной погулять. За бараками я ей рассказала о нашем с Любой плане.

— Пойдешь с нами?

Шура посмотрела на меня, и на ее лучистых глазах появились слезы.

— Ты же знаешь, я не могу. Мой папочка где-то здесь, недалеко. Я его разыскиваю. Если я уйду, кто знает, увидимся ли мы опять.

— Я понимаю, Шура… Тогда возьми мои оставшиеся вещи и делай с ними, что хочешь. Но никому не говори о нашем побеге, даже после того, как мы уйдем. Как только станет возможно, я дам тебе знать о себе через Беню.

Мы обнялись.

— Теперь у меня не будет подруги, — сказала печально Шура. — Но дом моих родителей в Никополе всегда будет открыт для тебя. Ты должна обязательно навестить нас после войны.

Мы возвратились в комнату. Люба лежала на кровати и что-то читала. Около одиннадцати, как мы условились, она первая выскочила со своим узелком. Мы встретились в умывальнике. Несколько минут мы слушали, нет ли вблизи полицейских, но все было тихо. Мы осторожно прошмыгнули через дыру в заборе и, пригнувшись, пробежали гору черного шлака. Внизу, уже почти у аллейки, возле того места, где мы когда-то крали яблоки, мы сбросили свои зеленые костюмы и совсем стали похожи на немок. Еще через несколько минут, с громко бьющимися сердцами, мы, крадучись, пробрались к более людной части города и смело зашагали к остановке трамвая.

Побег

Трамваем мы доехали прямо до главного вокзала Дрездена. Было уже около полуночи, но на вокзале толпы пассажиров оживленно входили и выходили. В большом зале висела огромная карта Европы. Мы с Любой направились прямо к ней и рассмотрели маршрут нашего путешествия.

— Мы должны двигаться на восток, — сказала Люба. — Как можно ближе к родине.

К счастью, городок, на который нам указал Сергей, находился в самой восточной части Чехословакии. Мы нашли его на карте. Но сначала нам нужно пересечь немецко-чешскую границу. Для этого нужны паспорта и всякие документы, которых у нас не было. А наши рабочие карточки лучше вообще никому не показывать. По ним нас вернут обратно и посадят в тюрьму или отправят прямо в концлагерь. Немцы не щадили беженцев.

Мы купили билеты до одного немецкого города на самой чешской границе. Вскоре после полуночи мы сели в поезд. Хотя Люба и я уже неплохо говорили по-немецки, мы все же старались как можно меньше разговаривать, чтобы не выдать себя иностранным акцентом. В поезде было довольно много людей. Чтобы не навлечь подозрений, мы сели к окну и притворились спящими. Так мы просидели всю дорогу. За это время я много передумала о случившемся в эти последние две недели. Да! Только две недели тому назад я так внезапно встретила Сергея, и мои чувства и мысли, вся моя жизнь приняла другое направление. А теперь, казалось, всему конец. Все наши с Сергеем планы рухнули. Где он сейчас? Я не решилась даже пойти в медицинский барак, когда Геня вручил мне то маленькое письмо от него. Проходя мимо, я взглянула на его окно, но там было темно. Вероятно, он тоже убежал куда-то, может, вместе с доктором Ковальчиком. Мне надо было действовать немедленно. Ведь так он хотел. Наверное, причины для этого были важные. Как я ненавидела в это время войну, всякие события, которые, врываясь извне, изменяют человеческую жизнь, разрушают сложившееся, меняют жизненный курс. Все казалось мне теперь нереальным — эта внезапная встреча с Сергеем и такая же внезапная разлука! Этот водоворот чувств и мыслей, и теперь — обломки разбитого корабля, плывущие неизвестно куда… Что будет дальше? Увижусь ли я когда-нибудь с ним опять? Или наши дороги должны разойтись навсегда?..

Сильный толчок поезда вывел меня из моих нерадостных мыслей в полусне. Я выглянула в окно: на дворе уже светало.

Поезд остановился на маленькой станции у чешской границы. Все пассажиры начали выходить. Те, которые ехали дальше, в Чехословакию, выстраивались в очередь к двум толстым жандармам в лакированных сапогах, стоящим на контроле к поезду. После проверки паспортов их направляли в другой поезд, стоявший недалеко от нашего. Этот поезд шел в Чехословакию. Но у нас паспортов не было. Поэтому мы поплелись вслед за жителями городка к другому выходу рядом, без проверки документов. Мы с Любой нехотя, почти последними ушли с платформы.

На углу здания мы остановились и с тоской в душе уставились на очередь паспортного контроля. А поезд в Чехословакию стоял от нас только в ста метрах… В сущности, если бы никто не видел, в него можно было бы сесть, обойдя контроль по рельсам. Но людей было много.

Вдруг случилось невероятное: из нашего поезда вышла запоздавшая женщина. Идя к выходу, она споткнулась о рельсы и упала… Из большой плетеной корзины, которую она несла в руках, посыпались во все стороны яблоки, яйца, хлеб, сахар… Жандармы и пассажиры — все повернулись в ее сторону, противоположную от поезда в Чехословакию. В это мгновение я схватила Любу за руку и потащила туда… к поезду. Еле дыша, мы вскарабкались в вагон и сели… Нас, вероятно, заметили некоторые пассажиры из окна вагона, но они только молча посмотрели на нас. А мы, забившись в угол, закрыли глаза.

Минут через пять поезд тронулся. Люба и я взглянули друг на друга — неужели спасены?

Приблизительно около полудня поезд остановился в Праге. Дальше не шел. И вместе с другими пассажирами мы вышли на станцию. Благодаря невероятной толпе, нас не заметили и не спросили билеты. В вагоне их тоже не проверяли. А внутри станционного зала царил полнейший хаос. Люди толкались, спешили, суетились, входили и выходили, и мы с Любой почувствовали себя, как в водовороте.

Бессонная ночь и нервное напряжение начинали, наконец, давать себя знать. Кроме того, со вчерашнего дня мы ничего не ели. Горбушка хлеба, которую мы прихватили с собой из лагеря, была съедена еще в Дрездене. А денег у нас тоже было немного. То, что было, мы берегли на билеты в город нашего назначения. Измученные и усталые, мы вошли в зал ожидания и сели за маленький столик.

— У меня есть пара серебряных сережек, — сказала Люба. — Может, их можно променять на хлеб у пекаря.

— Я посижу здесь. Только не заблудись, — сказала я.

Люба ушла, но через короткое время возвратилась. По ее осунувшемуся лицу я поняла, что ее предприятие не удалось. Она устало села за стол.

— Это безбожники! Ты думаешь, что они мне дали? Вот, полюбуйся! — и она бросила на стол небольшую горбушку хлеба. Мы молча разделили ее и начали есть.

— Здравствуйте! — вдруг раздалось за нашими спинами чисто по-русски.

Мы с Любой в ужасе оглянулись.

— Вы, вероятно, из России?

Перед нами стоял молодой человек в военной немецкой форме. Он приветливо улыбался.

— Я тоже только что оттуда, — продолжал он.

А Люба и я в страхе таращили на него глаза и не могли выговорить ни слова.

— Я еду в отпуск домой. Можно к вам присесть?

Мы все еще молчали. Наконец, я сказала:

— Пожалуйста!

Он посмотрел на нас, как мы жуем сухой хлеб, и сказал:

— Я закажу для нас кофе. Ждите. Я сейчас!

Как только он отошел от нашего стола, Люба вскочила:

— Пошли! Нам надо сматываться! Может, он какой доносчик, который хочет поймать нас. — Она была так взволнована, что не ждала даже, что я отвечу. Мы схватили сумочки и, не оглядываясь, скрылись в толпе зала.

— То, что он с первого взгляда узнал, что мы русские, очень плохо, — сказала Люба.

Только через пару часов мы решились возвратиться в зал. Здесь, посмотрев на расписание поездов, мы купили билеты в тот городок, на который указал мне Сергей, и сравнительно быстро сели в поезд. Итак, мы двигались на восток, все ближе к родине.

Был уже вечер, когда мы приехали в этот небольшой городок. Прежде чем что-нибудь предпринять, мы решили сначала привести себя в порядок. У нас еще было немного денег, чтобы пойти к парикмахеру. Увидев одну парикмахерскую недалеко от станции, мы и пошли туда. Нас сразу же приняли. Две приветливые чешки помыли и уложили наши волосы. И когда через час мы посмотрели на себя в зеркало, мы не поверили своим глазам. Наши волосы были завиты по последней моде. Теперь никто не смог бы принять нас за остовцев. Мы ничем не отличались от немок или от интересных чешских девушек. В парикмахерской я спросила, где находится улица, куда нам нужно было идти. Нам сказали, что это на окраине города и что туда нужно ехать на автобусе, который ходит только до шести

часов вечера. Мы опоздали. Было уже семь. Что делать? Мы также были довольно голодны. За пару оставшихся копеек мы могли поесть супа, который и заказали в ресторанчике рядом со станцией. Кроме супа, хотя мы и не заказывали, нам принесли большие ломти хлеба. И с большим аппетитом мы начали уплетать суп и свежий, вкусный хлеб. Когда мы утолили голод и немного отдохнули от мытарств и напряжения, нам все показалось вовсе не таким страшным. Наш дальнейший план был следующий: мы переночуем на станции, а утром поедем разыскивать наших неизвестных друзей. Мы медлили. Нам никак не хотелось уходить из этого уютного, теплого ресторанчика. К нам подошла хозяйка и начала расспрашивать, откуда мы. Вероятно, она что-то подозревала, так как мы долго сидели и ничего не заказывали. От ее взгляда, наверное, не ускользнуло, как жадно мы ели. Поскольку оказалось, что она немного говорила по-русски и была очень симпатичная, мы решили признаться ей, что убегаем из Германии, — мы знали, что чехи не любят немцев. Я еще извинилась за то, что мы не можем ничего больше заказать. Узнав это, она принесла нам еще по тарелке супа и хлеба.

Когда мы закончили есть, было уже начало десятого. Кроме нас, никого в ресторане не было, а хозяйка собиралась уже закрывать. Я подозвала ее, чтобы дать ей немного денег за суп, но она отказалась.

— Деньги вам еще пригодятся.

И действительно, эти деньги нужны были нам на автобусные билеты. Тогда мы поблагодарили ее и вышли на улицу. Мы ходили вблизи станции. Людей на улицах почти не было. А может, здесь запрещалось ходить по улицам в определенное время? Поэтому нужно быть осторожными. — Но где укрыться? Наше убежище — здание станции. Вот туда мы сразу же уверенно зашагали.

Внутри неуютного голого зала вдоль стен стояли деревянные лавки, составлявшие всю обстановку. Кроме нас, в зале находилось еще несколько человек: один инвалид и старик со старухой. Инвалид, сидя, дремал, а старик и старуха вытянулись каждый на своей лавке и спали. Оставалась только одна свободная лавка. Люба тоже легла на спину, подложив под голову свою сумочку, я села возле нее. Мы условились, что будем спать по очереди, — меняться каждые два часа. Через несколько минут Люба уже уснула, и мои глаза тоже начали слипаться. Только с большим трудом я старалась не уснуть, но моя голова все время падала на грудь. Так, борясь со страшной усталостью, я просидела до полуночи. И вот станционные часы громко пробили

полночь. Как только затих последний удар, открылась дверь, и военный в немецкой форме вошел в зал.

— Документы, пожалуйста! — сказал он.

Я еще не совсем поняла, в чем дело, и, не двигаясь, таращила на него широко раскрытые глаза. Старик и старуха начали подыматься и шарить по своим карманам. Они нашли какие-то бумажки и показали военному. Тот повертел их в руках и отдал им обратно. Инвалид тоже показал свой документ. В это время Люба уже поднялась и, ничего не понимая, смотрела на немца, как будто увидела призрак. Теперь он подошел к нам.

— У нас нет документов, — сказала я решительно. — Показать ему наши рабочие карточки, на которых стоял штамп «Остарбайтер», значило признаться в том, что мы убежали.

— Тогда пойдемте со мной! — сказал он.

— Мы беженцы из России. Мы отстали от транспорта, — опять сказала я.

— Пойдемте со мной, — повторил военный.

Итак, нам ничего больше не оставалось делать, как следовать за ним. Он повел нас в здание рядом со станцией и сдал чешской полиции. Он о чем-то говорил с ними в другой комнате, затем вышел, оставив нас с чехами. Как только он ушел, чехи сразу же окружили нас и наперебой начали расспрашивать, откуда мы и кто. Это были сильные молодые парни в черной форме чешской полиции. Вкратце мы рассказали им, что мы из Советского Союза, что работали у немцев и что убегаем домой. Когда мы окончили, Люба сказала:

— Пустите нас. Мы хотим домой.

Чехи начали что-то быстро говорить между собой, но мы не понимали их.

— Хотите есть? — спросил один из них. Не ожидая ответа, он положил перед нами свой бутерброд. Другие тоже последовали его примеру, и скоро перед нами лежала целая куча еды. Затем кто-то поставил перед нами две чашки и налил кофе из термоса. Люба и я ели и запивали вкусные бутерброды горячим кофе с молоком. В то же время мы рассказывали им о тяжелой лагерной работе в Германии, о наших чешских коллегах и о суровой лагерной жизни.

— Почему вы не показали ему ваши документы? — спросил один полицейский.

— Потому что, если нас поймают, то нам одна дорога — в концлагерь.

Чехи опять громко начали переговариваться.

— Мы сказали ему, что мы беженцы из России, что мы отстали от транспорта. На этом мы и будем настаивать, —

объясняла я дальше. — А то нам будет плохо.

— Отпустите нас, — опять попросила Люба. — Что вам это стоит?

— Этого мы не можем сделать, — сказал один из них. — Немец, который привел вас сюда, из гестапо. Мы отвечаем за вас. Но если у вас есть какое-нибудь желание, может, мы смогли бы его исполнить.

Я на минуту задумалась. Посоветовавшись с Любой, мы решили следующее: мы отправляем письмо моей сестре Нине в Австрию, в Тироль, где она работала. Это для того, чтобы подготовить ее к возможной проверке гестапо. В письме я коротко сообщаю о случившемся. Затем — что я выдала себя за нашу двоюродную сестру, Надю Маркову. Якобы мы с подругой, эвакуируясь с Украины к немцам, отстали от транспорта, и нас нашли в Чехословакии и забрали в гестапо, так как все наши вещи и документы пропали. Второе короткое письмо я напишу по адресу, который дал мне Сергей — нашим неизвестным друзьям.

— Ну, есть у вас какое-нибудь желание, которое мы могли бы исполнить? — опять обратился к нам один из чехов.

— Да, есть. Вы смогли бы отправить для нас два письма? У нас нет марок.

— Да. Это мы сделаем с удовольствием, — ответили чехи и тут же подали нам бумагу, конверты и чернила.

Я вкратце описала Нине всю нашу ситуацию и осторожно дала ей понять, в чем дело. Я писала так, что она должна была догадаться, что случилось и что ей надо делать. Во втором письме, вернее в записке, я написала следующее: «Дорогие друзья, обстоятельства не позволили навестить вас. Мое будущее неизвестно. Бог за облаками…» Эту записку я написала по-немецки и не подписала своего имени. Но по последней фразе Сергей легко узнает, кто это.

Письма сразу же были заклеены, и один из полицейских отнес конверты с марками в почтовый ящик здесь же на станции.

— А теперь, — обратилась я опять к чехам, — разрешите нам сжечь наши документы, — при этом я искоса посмотрела на уютно потрескивающую печку в углу.

— Как хотите, — ответили они, — только не говорите об этом гестапо.

Через несколько минут наши рабочие карточки с печатью «Остарбайтер» вспыхнули ярким огоньком в печке. За ними полетела туда и записка Сергея его друзьям. Итак, освободившись от наших официальных бумаг, по которым нас причисляли к определенной категории людей, мы почувствовали себя вдруг вольными как птицы. Даже Люба как-то легче вздохнула. До того

она сидела с нахмуренным лицом и мало говорила. Все переговоры с чешскими полицейскими, так внезапно ставшими нашими друзьями, пришлось вести мне.

— Мы вам очень благодарны, — сказала я.

А чехи еще долго расспрашивали нас о Германии, о работе на заводе и об иностранных рабочих. По их вопросам было видно, что они ненавидят немцев, но вынуждены терпеть их.

Около трех часов ночи за нами приехала машина. Сравнительно через небольшой промежуток времени мы прибыли в здание гестапо. Там нас повели в подвал, толкнули в какую-то темную дыру и заперли. Под ногами я почувствовала солому и только с трудом могла разглядеть, что рядом с нами на соломе лежало еще несколько человек. Они, вероятно, крепко спали, потому что совсем не реагировали на наш приход. Мы с Любой прижались друг к другу и начали обсуждать то, что мы будем говорить на допросе, если нас вызовут поодиночке. Любу вызвали первую, а через полчаса меня.

Комната, в которую меня вызвали, была довольно большой. Люба тоже была здесь. Она сидела на стуле перед письменным столом в одном конце, а меня посадили в другом конце комнаты. Нас допрашивали чиновники гестапо в гражданской одежде. Вопросы были чисто формального характера — где и когда родились, родители, какое образование, когда и как попали в Чехословакию. Всех этих вопросов мы, конечно, ожидали, и отвечали так, как договорились. Мы назвали новые имена и другие даты рождения.

После этого, в сущности, короткого допроса нас опять заперли в подвале, а рано утром, еще до восхода солнца, погрузили на машину и повезли в другой город, Брюнн, где предстоял более детальный допрос.

В гестапо

Было довольно рано, когда нас привезли в гестапо города Брюнна. Чиновники еще не все появились в своих кабинетах, и нас с Любой посадили в коридоре и сказали, что скоро вызовут. С нами, конечно, был все время военный немец с ружьем. Ровно в восемь нас позвали в разные комнаты.

Гестаповец, который встретил меня, сидел в пальто за своим письменным столом. В комнате было холодно. Он показал рукой на стул, чтобы я села, а сам подошел к печке и положил дров. Затем он снял пальто, сел за стол и молча уставился на меня. Потом снова поднялся, подошел ко мне и начал меня обнимать и целовать. Это настолько ошеломило меня, что я растерялась. Затем, очнувшись от неожиданности, я руками и ногами стала отталкивать его. Наконец, он отошел. Усевшись опять за письменный стол и приняв серьезный вид, он заговорил о нашем «потерянном» транспорте. Сначала вопросы были те же самые, что и прежде, но потом он перешел на более подробные. Я невольно подумала о Любе. Как она там? Как отвечает? И как ведет себя с ней гестаповец? Так же, как со мной? Неприятная ситуация, которая возникла после его попытки использовать меня как объект секса, сделала его немного неуверенным в себе. Так, по крайней мере, мне показалось. «Так вот какие гестаповцы, — думала я, — представители законов национал-социалистической Германии». А мой рассказ о нашем «потерянном» транспорте звучал ровно и уверенно — как мы условились с Любой прошлой ночью:

— Это было поздно вечером на какой-то большой станции. Мы вышли с подругой на перрон купить что-нибудь попить. А когда вернулись, наш состав ушел. Тогда мы сели на первый попавшийся поезд, ехавший в том же направлении, и доехали до городка П. Здесь мы решили выйти и дождаться утра, чтобы разобраться, куда ехать дальше. Мы скитаемся уже три дня, — говорила я.

Гестаповец все это записывал в свои бумаги, и у меня было такое впечатление, что ему не очень хотелось «терять со мной время». Спрашивая, он то и дело вертел свой карандаш, а на его пальце поблескивало золотое обручальное кольцо. В кругу своих друзей он, вероятно, считался хорошим мужем и примерным семьянином, а попытка со мной была в порядке вещей маленького «скачка в сторону», ничего не менявшего в его жизни. Когда допрос окончился, я спросила:

— Что теперь будет с нами? Куда нас отправят?

Чиновник захлопнул папку и улыбаясь сказал:

— Да. Сначала мы должны найти ваш транспорт. А пока посидите в отеле.

«В отеле? Действительно в отеле? — удивлялась я. — А как они найдут наш транспорт, которого не существует?»

После допроса, который длился не более часа, мы с Любой опять встретились в длинном коридоре. В сопровождении полицейского нас снова посадили в машину и привезли к огромному зданию… тюрьмы. «Так вот он, этот отель! Как я могла быть такой наивной, допуская возможность настоящего отеля».

Нас ввели во двор тюрьмы и передали тюремным надзирателям. Тяжелые решетчатые ворота закрылись за нами, и огромный замок щелкнул и повис с другой стороны. Гестаповец, который сопровождал нас, оглянулся уже за воротами и сказал:

— Я постараюсь, чтобы вас недолго продержали здесь.

В тюремной конторе у нас отобрали все вещи, кроме одежды, — у нас и так почти ничего не было, — и отвели в камеру.

— Видишь, куда нас завели твои планы, — вдруг сказала Люба со слезами на глазах, — лучше бы я оставалась в Дрездене.

Я молчала. Ее упрек обидел меня. Разве я могла предвидеть это? Кроме того, ведь она сама согласилась на побег! Но потом я ответила:

— Здесь, по крайней мере, хоть воздух чистый, не такой, как на заводе. И нам не нужно стоять у станка днями и ночами по двенадцать часов.

Ровно в полдень принесли обед. Немецкая пунктуальность сказывалась и здесь. Суп был лучше, чем в лагере, вкуснее и гуще. Так как мы две ночи уже не спали, мы сразу же после обеда легли на свои нары. Но не успели мы задремать, как открылась дверь и толстая, неприятная женщина как вихрь ворвалась в нашу камеру:

— Сейчас же встать! Убрать постели! Днем не разрешается лежать на постелях! Здесь не санаторий! — кричала она.

Как пораженные громом, мы с Любой вскочили с постелей и, схватив наши одеяла, положили их обратно на нары.

— Господи! — сказала Люба после ухода надзирательницы. — Даже в тюрьме нет покоя.

Мы опять сели на наши нары и просидели до вечера. После ужина — черный кофе и ломоть хлеба — усталые и измученные, мы сразу же повалились на нары и быстро уснули.

Нас разбудили в половине шестого утра. Минут через пять нас повели к умывальникам в конце коридора. Кроме нас, там были и другие женщины. К умывальникам водили по очереди:

две-три камеры, затем другие две-три. На умывание уделялось не больше пяти минут. За это время нельзя было ни с кем даже поздороваться. Завтрак был в восемь часов. Как и ужин — черный кофе и такой же черный ломоть хлеба. После завтрака — ожидание обеда, затем ужина. На следующий день — то же самое. Так мы просидели в тюрьме три дня. Эти три дня были довольно печальными. У Любы постоянно было плохое настроение, она была подавлена и неразговорчива. А я чувствовала себя виноватой во всем.

На четвертый день к нам в камеру привели молодую чешку, а на следующий день — еще одну. Теперь в нашей камере стало тесновато. Все четыре кровати были заняты.

С их приходом начались оживленные разговоры. Чешки рассказывали о своих мужьях, детях, друзьях, и о своей жизни в городе. Своими разговорами они внесли в камеру дух иного мира, — мира, о котором мы с Любой вот уже больше года не имели никакого понятия. Сначала мы жили в лагере, как в заточении, а теперь — в тюрьме. Но мало-помалу мы стали входить в этот забытый для нас мир с его радостями, печалями и беспокойствами. Рассказывая нам о своей жизни в оккупированной Чехословакии, женщины не стеснялись ругать немцев последними словами. Из их рассказов мы узнали, что чешское население враждебно относится к немцам.

— Эти проклятые немцы! — возмущалась одна из них. — Лишь только потому, что я назвала швабку свиньей, я теперь сижу в этой дыре.

Другая тоже не унималась — ругая немцев, она целый день то плакала, то смеялась. Однажды утром, в порыве гнева, одна из них начала громко стучать в дверь. Тотчас же явилась наша толстая надзирательница и объявила нам, что мы все остаемся без обеда. Это ничуть не смутило наших чешских соседок, но для нас с Любой это была не очень приятная перспектива. Уже на третий день нашего пребывания в тюрьме мы заметили, как быстро теряем в весе. Люба, раньше немного полнее меня и со здоровым румянцем на лице, заметно похудела и побледнела. А у меня, кроме потери веса, начались головные боли и боли в груди. За все пять дней пребывания чешек с нами в камере мы три раза лишились обеда. Но на пятый день их увели, вероятно, освободили. А на следующий день после их освобождения нам с Любой приказали одеться.

Нашей радости не было предела. Но каково же было наше разочарование, когда мы узнали, что нас ведут только на десятиминутную прогулку во двор. Этот двор был в форме небольшого четырехугольника, и высокий каменный забор

окружал его с трех сторон. А внутри этого четырехугольника гусеницей вдоль стен ходили заключенные, мужчины и женщины. Я заметила, что все заключенные пристально всматриваются друг в друга, надеясь, вероятно, увидеть знакомых. Одна красивая девушка, низенького роста, с роскошными темными волосами, привлекла мое внимание — на ее пальто была нашита желтая звезда Давида. Мне пришлось узнать ее поближе, когда через две недели нашего пребывания в тюрьме нас перевели в другую камеру, где сидела она и еще одна полька.

Ее звали Розой. Маленькая, но необыкновенно живая и подвижная, она никогда не сидела спокойно. С утра до вечера она все время двигалась: чинила одежду, убирала и чистила наши шкафчики для одежды, висевшие на стене, — их было четыре в этой камере. В предыдущей, где мы сидели раньше, шкафчиков вовсе не было.

Я старалась угадать, почему нас перевели к этим иностранкам? Может, потому, что мы тоже иностранцы? — Тюрьма была набита чехами. Или потому, что нам еще долго придется ожидать неизвестного?

Мне редко приходилось встречать кого-нибудь более чистоплотного и порядочного, чем Роза. Помимо этого, она всегда была в хорошем настроении: никогда не унывала, была веселой, даже пела. И все это несмотря на то, что, будучи еврейкой, она могла ожидать самого худшего. Мы узнали, что она уже восемь месяцев сидела в тюрьме.

Наша другая соседка по камере была польская актриса. Она туманно рассказывала о себе, но из всего мы заключили, что она была связана с подпольщиками, и за это, вероятно, сидела.

Итак, в компании этих двух интересных девушек мы провели больше двух месяцев. В их обществе время проходило очень быстро. Мы все строго придерживались дневного режима: вставали рано, по звонку, мылись, убирали постели, затем в восемь часов садились за вычищенный добела деревянный стол и все вместе завтракали. Несмотря на то, что каждый день нам давали одно и то же: черный кофе и ломоть черного хлеба, мы ели с большим аппетитом, воображая, что едим хлеб с маслом, яйца и пьем ароматный чай. Нашу скудную еду мы обычно сдабривали разговорами о вкусных блюдах, которые мы когда-то ели. После завтрака, если не было работы по чистке камеры, наша надзирательница часто приносила нам штопать носки, вероятно, ее мужа, или мы чинили свою одежду. При этом кто-нибудь рассказывал что-то интересное из своей жизни или просто вспоминали прошлое. Роза всегда беспокоилась о том, чтобы мы не сидели сложа руки, молча. Она считала, что отсутствие

занятия или разговора наведет нас на грустные мысли. Она учила нас встречать каждый новый день, как подарок свыше, и сама старалась провести этот день как можно более счастливо.

По пятницам мы должны были все выносить из камеры в коридор и делать генеральную уборку: скрести пол, лавки, стол, подоконники, шкафчики — все под надзором нашей «толстой утки», как мы ее прозвали позже. И опять моему удивлению не было конца: Роза как будто радовалась, что есть такая работа. Когда кто-нибудь из нас стонал и неохотно мыл пол, она делала и эту работу за него.

После обеда мы, по обыкновению, сидели на наших койках и разговаривали. Благодаря Розе, мы никогда не скучали, мы всегда слушали какие-нибудь интересные истории.

Однажды она рассказала о себе. Ее родителей увели в концлагерь. Сама она чудом спаслась. Еще до войны она дружила с одним молодым немцем, которого забрали на фронт. За необыкновенные заслуги он был удостоен большой награды, от которой отказался, изъявив желание, чтобы вместо награды ему разрешили жениться на Розе. Ему как будто не отказали, но попросили дождаться конца войны. А тем временем Розу посадили в тюрьму. Вначале Роза получала от него письма довольно часто, но потом письма стали приходить все реже. И теперь она уже и сама перестала верить в то, что ее жениху удастся освободить ее. Более того, она скорее надеялась на русских, которые победят немцев и освободят ее из этой тюрьмы.

Мы старались угадать, где сейчас находится фронт. Будучи изолированными от внешнего мира, мы ничего не знали о ходе войны.

Однажды наша толстая утка спросила нас, хотим ли мы в церковь. Роза, как еврейка, не смела идти с нами. Люба не верила в Бога и осталась тоже. А польку и меня надзирательница повела в воскресенье на тюремную церковную службу.

Церковная служба происходила в большой аудитории, очень похожей на университетскую — возможно, что до войны это и был какой-то университет. На верхней галерее сидели женщины, внизу — мужчины. Большинство заключенных были чехи, и все, конечно, католики. Служба была католическая, на немецком языке, и пение тоже. У входа стояли вооруженные военные. Нужно сказать, что в течение службы чувствовалась какая-то подавленность. Не было энтузиазма и легкости, которые мне так знакомы еще с детства по нашей церкви, куда нас иногда водила бабушка Мария. К концу службы священник обратился ко всем помолиться за фюрера и за победу немцев. Делал ли он это от себя, добровольно, или по приказу свыше? Скорее всего — не от

себя. Интересно было заметить, что в то время, когда он обратился к нам с этой просьбой, он весь как бы съежился, а его глаза смотрели вниз, на пол. Я взглянула вокруг себя на заключенных: все тоже смотрели вниз. И я не сомневалась в том, что каждый из них молился не за немецкую победу и фюрера, а за то, чтобы Бог освободил нас всех от немцев.

После церкви польку и меня привели обратно в камеру. Скоро нам принесли обед. По воскресеньям нам всегда давали что-то повкуснее. Была картошка с соусом, в котором даже плавали крохотные кусочки мяса.

В последнее время у нас в камере часто разговаривали о Рождестве — оно уже приближалось. Была середина декабря. Конечно, больше всего мы говорили о разных рождественских блюдах. Каждый вспоминал свое. В эти дни мы условились, что тот, кто первым выйдет из тюрьмы, пришлет оставшимся пакет с едой. К сожалению, никому не довелось этого исполнить. Помешали разные обстоятельства. Итак, Рождество было уже на носу. А за три дня до Святого вечера нас с Любой неожиданно освободили.

Внизу, в зале, нас ожидал тот же гестаповец, который привел нас сюда, — мой бывший допросчик. Увидев нас, он остановился и, как в ужасе, застыл на месте. Мы уже близко подошли к нему, а он все смотрел, не двигаясь. Я слегка улыбнулась.

Но гестаповец все еще продолжал смотреть, не реагируя. Вероятно, он не узнавал нас. Но потом искорка сознания блеснула в его глазах. Он в нерешительности протянул нам руку, но потом сделал шаг назад: перед ним стояли два скелета в одежде с большими головами на тонких шеях. Но гестаповец быстро опомнился. Он тоже улыбнулся в ответ и, пряча свое смущение, сообщил нам, что мы свободны.

— Вашего транспорта мы не нашли. Но вы получите от нас удостоверение, по которому поедете в Тироль, к вашей двоюродной сестре, — продолжал он, обращаясь ко мне. — А после Рождества вы предъявите это удостоверение в полицию в Инсбруке. Там вас направят на работы.

Слушая это, я почти совсем забыла, что мы теперь иные люди, — с иными именами и в иной ситуации. Люба тоже не сразу поняла, что мы снова свободны, — в тюрьме, за последние недели, она совсем пала духом и сейчас, представ перед фактом, даже не обрадовалась нашей свободе.

Гестаповец привел нас в свое бюро. Там он вручил нам удостоверения с нашими именами, билеты в Инсбрук и провиант на три дня. После этого нас повели на станцию, где через полчаса мы сели в поезд на Вену. Поезд был переполнен, и, в сущности,

нам пришлось почти всю ночь стоять в коридоре вагона.

Люба и я еще не совсем опомнились от того, что вдруг так неожиданно оказались на свободе. Мы уже так отвыкли от нее, что выйдя из тюрьмы, очутившись совершенно без надзора, ощущали, будто теперь чего-то не хватает. Еще на станции мне пришла в голову мысль — не ехать по назначению, а в обратную сторону, на восток. Я сказала об этом Любе. Но, конечно, это была неразумная идея. Люба сразу же категорически отказалась. — Она больше не хочет принимать участия в моих экспериментах, — заявила она. Кроме того, мы не знали, где сейчас находится фронт, что происходит на войне. Поговаривали, что фронт все приближается, что русские все больше нажимают на немцев и упорно двигаются на запад. Ко всему — у нас не было больше сил бороться с невзгодами. Двухмесячное пребывание в тюрьме на скудном питании сильно ослабило нас. Мы мечтали только об одном: как можно скорее отдохнуть, наесться вдоволь и выспаться. Уходя из камеры, впопыхах, мы не подумали даже спросить адреса и фамилии наших друзей по несчастью, с которыми провели так много времени и которые своим присутствием облегчили нашу участь. Итак, мы решили ехать по назначению. Если уж немцы освободили нас, то, вероятно, они поверили в нашу историю и пока нам ничего не грозит.

В коридоре вагона было до невозможности холодно. В моем тонком французском пальтишке я промерзла до костей. Нам, правда, предложили зайти в купе и стоять там, но мы отказались. Мы просто боялись людей. Все они были так хорошо одеты и выглядели иначе, чем мы. Мы боялись, что нас начнут расспрашивать, кто мы и откуда, и что нам надо будет рассказывать нашу выдуманную историю. Мы боялись, что нас могут поймать и опять посадить в тюрьму. Поэтому мы предпочитали мерзнуть. Но в Вене многие вышли, и мы с Любой решили зайти в купе и сесть — холод был больше невыносим.

В купе мы уселись к окну и все время смотрели в него, чтобы не вступать с кем-нибудь в разговор. Так мы просидели всю дорогу. Около пяти поезд прибыл в Инсбрук. Кстати, в поезде было мало людей и, к нашему удивлению, в Инсбруке почти никто не сошел.

Это была конечная остановка. Билеты при выходе никто не проверял. И хотя нам это показалось немного необычным, мы решили сразу же пойти в полицию и зарегистрироваться, а потом ехать к моей сестре. Но каково было наше удивление, когда мы заметили, что вокруг нас было совсем пустынно. Город как бы вымер. Пройдя немного дальше, мы увидели разрушенные дома,

обгорелые стены. Кучи земли, разбросанные камни и разные обломки лежали прямо на улицах. На одном из сломанных деревьев высоко в воздухе висело разорванное одеяло, а внизу, на дороге, вдребезги разбитое огромное зеркало. Тут и там валялась в беспорядке мебель. Возле одной из развалин сидела странно покачиваясь старуха. Немного дальше — старик. Их одежда была испачкана кровью. Они тупо смотрели перед собой. Мы подошли к старухе и спросили, что это все значит. Она удивленно посмотрела на нас и сказала, что два часа назад бомбили город. По-видимому, еще не было отбоя тревоги, так как нигде не видно было ни души.

Не медля, мы опять направились к станции. К нашему счастью, мы узнали, что станция почти полностью уцелела и поезда ходили. Через полчаса мы сели в поезд и поехали к моей сестре, теперь двоюродной сестре, которая жила в двадцати семи километрах от Инсбрука. Не прошло и часа, как мы добрались до небольшой гостиницы.

Нас встретила молоденькая рыжеволосая девушка. Услышав, что мы к Нине, она тотчас же позвала ее. Минуты через две явилась и Нина. Мы обнялись… Люба стояла в стороне и смотрела… Затем я представила ее сестре, и Нина повела нас в свою комнатушку на чердаке.

В комнате было холодно, и Нина включила электрическую печку. Когда стало тепло, мы с Любой разделись и забрались в постели. Я — в Нинину, а Любе постелили на диване. Дочь хозяина, рыжая девушка, которая встретила нас, принесла грелки и на подносе горячего красного вина. А немного позже Нина на громадном подносе принесла хлеб, масло, колбасу, сыр и все, о чем мы только мечтали еще совсем недавно в тюрьме.

Так, почти не вставая с постели, мы провели два дня. За это время мы отдохнули от путешествия, от холода в поезде, от нервного напряжения и голода в тюрьме. А на третий день — был как раз канун Рождества — мы решили испытать счастья — зарегистрироваться в полиции в соседнем городке. — В Инсбрук мы ехать боялись. Помимо этого, нам не хотелось уходить из этого уютного местечка, где была хоть одна душа, сочувствовавшая нам и знавшая нашу тайну.

В этот же день, как раз в канун Рождества, нас зарегистрировали в Тельфсе и послали на работу в одну гостиницу. Там мы мыли посуду, чистили овощи и фрукты. Работы было очень много, но мы охотно делали ее, не переставая удивляться, сколько здесь было еды и как много даже выбрасывалось. И невольно мы думали о тюрьме, о лагере, где столько людей голодает. Позднее мы узнали, что эта гостиница

принадлежала фанатичным нацистам. Но несмотря на это, после всего пережитого, это место нам казалось раем, и каждая из нас тайно желала остаться здесь работать — в полиции нам сказали, что к концу дня решат, кто где будет работать.

Так как Люба была с виду и телосложением сильнее и крепче меня, то я не удивилась, когда к вечеру ей сказали, что она остается в гостинице. А за мной пришел тот же полицейский, который регистрировал нас, и повел в дом купца.

Через продовольственный магазин, тоже принадлежавший купцу, мы прошли на кухню. Там нас встретили две женщины. Кроме продавщицы магазина, которая провела нас на кухню, были еще две: ее сестры. Одна из них — сильная, высокая девка стояла у печки, другая — еще выше и крепче первой, щеткой скребла на коленях пол. Объяснив им в чем дело, полицейский оставил меня и ушел. Все три женщины с минуту молча смотрели на меня. Позже мне рассказала Эльза — та, которая мыла пол, — что, глядя на меня, они усомнились, смогу ли я вообще работать. Такой слабой я выглядела. Через десять минут пол был вымыт, и вся семья собралась вокруг кухонного стола.

Хозяин дома, по фамилии Мюллер, подал приветливо мне руку и сказал, что, кроме продовольственного магазина, он занимается еще и продажей угля. В этом ему помогает один работник, военнопленный француз. А магазинами заведуют две его дочери, Эльза и Флора. Третья дочь, Клара, живет на втором этаже со своим мужем — инженером-конструктором — и двумя сыновьями.

Все были рады, что я говорила по-немецки. Они начали рассказывать мне, кто еще, кроме них, живет в доме. Были еще две кузины из Инсбрука — обе спасались от бомбежек. Одна — незамужняя, муж другой был врачом на фронте. Они занимали другую половину второго этажа. Жена Мюллера, мать троих детей, умерла пять лет назад. Французский военнопленный, работник Мюллера, жил недалеко от них на частной квартире.

Было еще довольно рано, и каждый, выпив свой кофе, пошел по своим делам, так как к Святому вечеру было еще много работы.

— Мы не наци, — сказал мне, выходя во двор, хозяин дома, при этом он улыбнулся.

Затем Эльза повела меня показывать дом, объясняя, что я буду делать.

— Каждый день после завтрака ты будешь убирать комнаты. Потому что до обеда я должна помогать Флоре в магазине. Позже я научу тебя готовить. Ты ведь знаешь, наша венская кухня славится.

В знак согласия я кивала головой, хотя о славе венской кухни знала мало.

— Раз в месяц у нас большая стирка, — продолжала Эльза. — Это мы будем делать вместе.

После знакомства с домом Эльза повела меня на чердак, в мою маленькую комнатушку, где стояли только стол и кровать. Больше ничего не было. Из небольшого окна открывался вид на главную улицу городка.

Для рождественского ужина стол накрыли в небольшой гостиной. Там же горела украшенная елка. Было уютно и тепло. Кроме хозяина, его троих дочерей и двух ребятишек одной из них, были приглашены Андре, французский военнопленный, и я. Муж Клары отсутствовал — он был в командировке в Италии. Как строителя мостов его часто посылали по делам далеко от дома.

Во время ужина я опять должна была рассказывать мою выдуманную историю о побеге из Советского Союза и о нашем «потерянном» транспорте. Хотя вечер был приятный и все мило относились ко мне и к Андре, я чувствовала себя чужой. Когда ужин закончился, я ушла к себе на чердак и быстро уснула. А на следующий день после обеда я пошла через мост в соседнюю деревушку к Нине. Скоро пришла и Люба. Ее тоже отпустили на полдня. Втроем мы сидели в Нининой уютной комнатке, пили горячее красное вино и разговаривали. Так мы встретили Рождество в чужой стране, впервые уже «на свободе».

Жизнь в Тироле

Работа в доме купца была нетяжелой. И венская кулинария, которой меня обучала Эльза, мне нравилась. Каждый день я готовила новые блюда и радовалась, что могу все это попробовать. Первые недели я никак не могла наесться досыта и, конечно, ела все, что можно было. Но, помимо всего, я впервые училась, как по-настоящему делать работу по дому.

Раньше я этим почти никогда не занималась, особенно после того, как мы еще на родине все променяли на продукты, продали или оставили на произвол судьбы. У нас было слишком мало вещей. Когда же я жила у дедушки и бабушки, там тоже мне нечего было делать по дому. Хатенка была маленькая. А когда бабушка куда-нибудь уезжала на пару дней и мне приходилось готовить дедушке обед, он всегда говорил, что стряпать я не умею и что несчастным будет тот мужчина, который женится на мне. Теперь, стоя у печки, я вспоминала его слова и жалела, что не могу продемонстрировать ему мое поварское умение.

Прошло два месяца с тех пор, как я прибыла в дом купца. Их дом был недалеко от места, где работала Люба, и, казалось, все шло хорошо. В свободное время мы встречались и разговаривали о войне, надеясь, что она вскоре кончится и мы сможем ехать домой. Но втайне я грустила о Сергее. Где он? Что с ним? Куда занесла его судьба? На работе я делала все, что от меня требовали, но своей свободе не радовалась. Хотя я сознавала всю невозможность узнать о Сергее, я все же надеялась, что в один прекрасный день я что-нибудь услышу о нем — ведь он, такой умный и умелый во всем, должен найти меня или сообщить о себе. Я сожалела о том, что в день нашего отъезда из Чехословакии, после нашего освобождения из тюрьмы, я не написала его друзьям, куда я еду. А теперь я даже не помнила их адреса. А впрочем, может это все и к лучшему.

Со временем в Тироле я отдохнула и поправилась. А мои щеки даже порозовели. Люба тоже стала хорошо выглядеть. Она тоже поправилась и окрепла, и лицо ее опять зарумянилось, как прежде. По воскресеньям я навещала ее, но часто Люба работала даже в воскресные дни. Тогда как я уже в семь часов вечера была свободна, Люба еще торчала в кухне и мыла горы посуды, убирала кухню или готовила овощи на следующий день. Она всегда была в плохом настроении и часто жаловалась мне на то, что слишком много работает. К тому же, она теперь завидовала мне, что работа у меня легкая и я рано заканчиваю. Я же, видя, как Люба много работает, благодарила Бога и радовалась тому,

что он послал меня в эту купеческую семью, а не оставил там, где Люба. Часто вечерами она была такой усталой, что тут же ложилась спать. Правда, вместе с ней работала еще одна девушка, тоже остовка, украинка из Полтавы. Но это была простая девушка, и по образованию, и по взглядам она совсем не подходила Любе. Все-таки до войны Люба была уже студенткой второго курса педагогического института. Но у Марии — так звали эту девушку — и у Любы, и у меня было одно общее: мы не любили горы. Нам казалось, что эти горы давят на нас, что мы здесь, в Тироле, как в тюрьме, и очень скучали по родным просторам бесконечных украинских степей. Много лет спустя, после войны, когда я была студенткой в Германии, я несколько раз приезжала в Тироль, и мне казалось, что нет в мире более красивых мест, чем эти австрийские горы, с их маленькими уютными деревушками. Одно время я провела четыре года в Альпах, недалеко от Инсбрука и Тельфса, и теперь я вспоминаю эти годы, как самые лучшие годы моей скитальческой жизни. Я никогда не могла вдоволь наглядеться на красоту этих гор. И зимой, и летом они очаровывали меня своим величием и грандиозностью. Где бы я ни бывала позже — Альпы оставались в моих воспоминаниях, как нетронутый уголок мира, покоя, красоты и восхищения творением Бога. Но тогда я не так смотрела на них. Вероятно, психологические причины способствовали нашей неприязни к горам, чувству подавленности и тесноты. Во время войны все выглядело иначе. В то время я даже винила себя в том, что Люба чувствовала себя несчастной.

— Этим всем я обязана тебе, — часто упрекала она меня. — Ты завезла меня в эти проклятые горы. Ведь здесь мы живьем погребены. Кто знает, удастся ли нам когда-нибудь выбраться отсюда!

Когда я старалась убедить ее в том, что и я нахожусь в таком же положении, она обычно отвечала:

— У тебя хоть сестра здесь. А у меня? У меня никого нет. Мария так глупа, что с ней нельзя даже поговорить.

Но несмотря на все разногласия, нас все же связывала тайна нашего побега. Кроме Нины, об этом никто не знал. И мы никому не рассказывали.

В Тельфсе находилась большая текстильная фабрика, на которой работало много русских девушек. Они ткали сукно, из которого потом шили шинели для немецких солдат и делали шерстяные одеяла. Владелец фабрики был швейцарец, и над фабрикой развевался большой швейцарский флаг. Этим, конечно, фабрика хотела подчеркнуть свою национальность, а также предотвратить возможные бомбежки английских и американских

самолетов.

Кроме остовцев, на фабрике работали и другие иностранцы — итальянцы и сербские военнопленные. В отличие от французских и русских военнопленных, которые в Дрездене жили под строгой охраной, сербские пленные шли на работу без надзора, а по воскресеньям они даже выходили на несколько часов на прогулку. Таким образом, по воскресеньям группы разных иностранцев и сербских военнопленных гуляли в этой красивой местности. По праздникам в Тельфс приходили и другие рабочие, главным образом, русские и украинские парни, которые работали на фермеров соседних деревень или недалеко отсюда на заводах.

Как-то Люба познакомилась с украинцем из Галиции и скоро влюбилась в него. Его звали Иван. Теперь он посещал ее каждое воскресенье. Как все галичане, он ненавидел Советский Союз, но не менее ненавидел немцев. Через некоторое время я заметила, что Люба тоже изменила свои взгляды на Советский Союз. Если раньше я ругала Сталина и говорила о несправедливости советского режима, Люба каждый раз прерывала меня:

— Конечно, многое из того, что ты говоришь, может, и правда. Но тебе должно быть стыдно так говорить о своей родине. Это все-таки твоя родина!

Теперь же, когда тоска по дому одолевала меня, она сердито отвечала:

— Домой! Домой! Ты все хнычешь о доме. А что ты там оставила?

После некоторого молчания она добавила:

— Я никогда не вернусь туда, даже когда война кончится.

И это говорилось так категорически и с таким почти фанатичным огоньком в глазах, что я прекращала всякие разговоры об этом, а вскоре и вовсе перестала жаловаться ей. Это был совсем новый тон в ее речи, и я, конечно, сразу же поняла, что это — влияние Ивана. А немного позже мне показалось, что Люба говорит так больше от отчаяния, чем из убеждения. Ибо через некоторое время Иван перестал посещать ее регулярно и она переживала. В свободное время она упорно сидела в своей комнате, надеясь, что он придет. А когда я навещала ее, на меня сыпались только упреки. Она обвиняла меня в том, что она должна жить под фальшивым именем, и что это ей во многом мешает. Мало-помалу мы даже начали как-то чуждаться друг друга. И я все больше и больше стала думать о Шуре, с которой меня связывала тесная дружба.

И вот однажды я решила написать Шуре через Беню. Я сообщила ей осторожно о том, что мы живы и здоровы, что

находимся в Австрии и не голодаем. Я писала как будто Бене, но он знал, конечно, в чем дело. Ответ на мое письмо пришел от имени Бени очень быстро. Я была вне себя от радости. Шура писала, что в лагере мало что изменилось. Что было расследование по какому-то саботажу, и что многих арестовали. Некоторые не вернулись, среди них и Лида. Несколько чехов убежали, убежал и грузинский доктор. Константина и Беню тоже допрашивали, но они отделались четырьмя днями ареста. Борис вступил в армию Власова и ушел из лагеря. В конце письма Шура успокаивала меня, что никому не скажет, где я. Она писала: «Девки, конечно, нажимают, спрашивают меня, где ты, подозревают, что я знаю. Но я никому не скажу. Будь спокойна. Однажды даже комендант приходил и спрашивал меня о тебе. Я, конечно, сказала, что ничего не знаю. Я рада, что вам, наконец, удалось найти место, где вы не голодаете. Большущее спасибо за марки на хлеб. Я попрошу Беню, чтобы купил мне в магазине, а то меня могут заподозрить. Передай привет от меня Любе. Пиши, не забывай. Твоя Ш.».

Прочитав письмо, я вне себя от радости в тот же вечер побежала к Любе. Она тоже прочитала его и несколько минут сидела молча. Я тоже ничего не говорила. Я знала, что в это время Люба чувствовала угрызения совести по отношению ко мне. Но потом я сказала:

— Видишь, Люба, они все еще голодают. А мы? Не успели мы насытиться, как уже и недовольны. Надо потерпеть.

— Ты права, — ответила Люба. — Иногда я бываю невозможной. Не сердись.

С приходом весны я заболела. Бронхит, которым я страдала еще в Дрездене, почему-то опять возобновился. У меня болела голова и иногда поднималась температура. Эльза водила меня к своим врачам, но ничего не помогало. Тогда она начала лечить меня по-своему — тирольским методом. Каждый вечер я должна была принимать чай из лечебных трав от кашля и по чайной ложке принимать какую-то настойку, которую она сама делала. Перед сном она натирала мне спину. А по воскресеньям мы шли с ней на прогулку в лес или в горы, или ходили на лыжах. И через месяц, с приходом мая, мне стало лучше. Исчезли головные боли, прошел кашель, и мое настроение улучшилось. Однажды Эльза сказала мне:

— Надя (это было мое новое имя), ты сегодня в первый раз засмеялась. До сих пор я никогда не видела даже улыбки на твоем лице.

Этого я, конечно, не замечала. Но теперь я начала часто смеяться. Причиной этому был главным образом Андре. Он всегда

приходил в кухню ко второму завтраку и шутил с Эльзой. При этом он нам рассказывал свои любовные похождения с «дойче фрау».

— Пфуй, Андре, — отвечала на это Эльза.

— О, нет, — протестовал Андре. — Дойче фрау — гут, — хорошо. Вчера была другая. Тоже хорошо.

— Как вы можете, Андре, — иногда обращалась я к нему. — Представьте себе, если б эти женщины знали, как вы над ними насмехаетесь.

— О! Это мне все равно! Ведь они «дойче фрау»!

Когда Андре, закончив свой завтрак, подходил к Эльзе и благодарил ее, он старался обнять ее, прижать к стенке и поцеловать. Эльза отступала и, ругаясь, отталкивала его:

— Господи! Да оставь же меня в покое!

— Господи! — передразнивал ее Андре и еще крепче прижимал к стенке.

Но когда, кроме меня, никого не было в кухне, Андре быстро подскакивал к радио и настраивал на французскую волну. Сам же садился за стол и, притворяясь, будто ничего не случилось, молча ел и внимательно слушал передачу. Если же кто из сестер заходил в кухню, сразу же, без разговоров, радио выключал. Иногда этого не замечали, и только по виду Андре, который обыкновенно сидел с серьезным выражением лица, нахмурившись, ел завтрак, не обращая ни на кого внимания, можно было заподозрить, что здесь что-то не то. И радио сейчас же выключалось. Это было единственное, что сердило их. Слушать иностранные передачи запрещалось и немцам, и австрийцам, так же, как раньше и нам в Советском Союзе.

Однажды вечером, когда я шла к Нине, я встретила на мосту тонкую, изящную девушку в красном платье. Она стояла, опершись о перила, и плакала. Подойдя ближе, я увидела, что у нее на платье знак «ОСТ».

— Почему вы плачете, — спросила я.

Она испуганно оглянулась и ответила:

— Я бы все на свете отдала, чтобы эта проклятая война кончилась.

Я протянула ей руку и представилась:

— Надя.

— Варя, — сказала она, пожимая мне руку.

Мы решили вместе пройтись вдоль реки. Варя рассказала мне, что она уже почти два года работает здесь у одной вдовы с шестью детьми. Ее муж погиб на фронте, и Варю направили работать к ней.

— Не в том дело, что я не хочу помогать этой несчастной, —

говорит Варя. — Ведь она тоже жертва войны. Я только не пойму, почему мы не свободны. Почему нужно прятаться, как вор, чтобы встречаться с любимым человеком. Эта неволя высасывает у человека больше силы, чем тяжелая работа.

— Я понимаю, — сказала я. — Хотя я, наверное, попала в лучшее положение, чем многие из моих соотечественников. — Мои хозяева не нацисты и очень человечны. Но, конечно, моральное унижение, которое мы испытываем здесь, ужасно. Ведь нам нельзя идти ни в кино, ни в церковь. Их правительство и многие немцы смотрят на нас, как на рабочий скот.

Варя шла, наклонив голову. Она рассказала мне, что уже год как встречается с одним сербским офицером, из лагеря военнопленных в этом же районе — в сущности, этот лагерь находился через мост, в Пфафенгофене, где работала Нина. Они видятся два раза в неделю, только на короткое время, потому что он должен быть в лагере к определенному времени. И Варя страдает от этого.

— Что за жизнь, — продолжала она, вытирая рукой слезы. — Одна неволя виновата в том, что самое лучшее, что мы могли бы дать друг другу, погибает. Как бы мне хотелось поговорить с ним о книгах, о будущем, о других интересных вещах. Вместо этого у нас времени хватает только, чтобы удовлетворить наши сексуальные потребности. А на обмен мнениями нет времени.

Я с удивлением посмотрела на Варю — с такой откровенностью о своих самых интимных чувствах со мной никто не разговаривал. Варя была лет на десять старше меня. Она уже несколько лет работала учительницей в Одессе. Но все же я удивлялась тому, какое богатство и глубина чувств таится в этой миниатюрной женщине.

Стало уже темнеть, и мы возвратились в деревню. Варя все еще говорила о своем любимом.

— Варя, — сказала я, — а может, вы слишком много беспокоитесь о нем?

Сказав это, я вдруг замолчала — какое право я имела так говорить ей? Но я сказала это потому, что мне казалось, что военнопленные мужчины несерьезно относятся к женщинам. Я думала об Андре, который, хотя и не жил в лагере, и был довольно свободен, смотрел на «немецкую женщину», как он всегда выражался, как на объект сексуального удовлетворения. Он смеялся над ними и открыто презирал их.

— Я не знаю, — сказала Варя после недолгого молчания. — При мысли, что он меня меньше любит, чем я его, я прихожу в панику. Я к тому же на три года старше его, а у сербов это много значит. Может, он и не думает жениться на мне — но нет! Не

надо об этом говорить. Я люблю его больше всего на свете. О, Надя! Это ужасно!

Варя опять закрыла лицо руками. Затем она продолжала:

— О, Надя, что это за жизнь, когда проходишь мимо друга и не можешь даже поздороваться. Ведь за ними всегда надзор, когда они в лагере.

В тот вечер я так и не пошла к Нине. С этих пор мы с Варей часто встречались и вместе шли гулять. И она всегда рассказывала мне о своем горе. А я думала о Борисе и его больной подруге. Ведь они тоже очень страдали в неволе. Вероятно, Катя от этого и погибла. А он, опьяненный жаждой мести, бросился в черное дело войны.

Бедная Варя. Ей так и не пришлось быть счастливой с ее другом. Осенью 1944 года она заболела и ее забрали в больницу, где она пролежала два месяца. За это время ее хозяйка нашла себе другую работницу, а Варю отправили в рабочий лагерь, недалеко от Инсбрука. Ее же любимый нашел себе другую девушку, тоже русскую из Полтавы, и начал встречаться с ней. Варя писала мне, спрашивая, вижу ли я Бирко — так звали его. Узнав о сопернице, она потеряла всякую надежду увидеть его. А я не могла понять одного: как мог Бирко променять Варю, эту изящную, умную и так любящую его девушку, на совсем простую, необразованную полтавку.

Последние письма Вари были очень печальны. Но в то же время в них чувствовалась необыкновенная сила воли и строгая душевная дисциплина, которая — я в этом уверена — не позволила ей совсем потерять голову от такого удара. А мне стало очень не хватать Вари. Теперь я почувствовала, как не хватает мне ее теплой дружбы. Эта хрупкая, в горе созревшая женщина стала мне близкой и дорогой. Каждый раз, когда я шла через мост в Пфафенгофен к Нине, я представляла ее: вот она стоит передо мной в красном платьице. Она чуть-чуть согнутая и тонкая, но с такими живыми темными глазами, из которых, как горошинки, катятся слезы, и ее узкие плечики под тонкой тканью вздрагивают.

Перед концом войны письма от Вари прекратились. Я больше ничего не слыхала о ней. А Бирко, ее бывший друг, все еще ходил со своей новой подругой. Позже я узнала, что он не возвратился в Югославию после войны. Он женился на ней, и оба уехали в Америку.

Опять арест

Это было в начале июля 1944 года. Мы все сидели на кухне и завтракали. Не было еще и девяти утра, как зазвонил телефон. Флора вышла в переднюю к телефону. Через несколько минут она, бледная, с широко раскрытыми глазами, вбежала к нам:

— Надю вызывают в Инсбрук в гестапо! Сейчас за ней придет жандарм. — Старик Мюллер, Эльза, Андре и Клара — все вытаращили на меня глаза. Но я оставалась совершенно спокойной. Все время моего пребывания в Тироле глубоко в душе я чувствовала, что это может случиться. Вот и случилось.

Я встала. Встала и Эльза. Мы вместе пошли в мою комнату, где я хотела запаковать пару вещей. Когда мы наверху остались вдвоем, я сказала Эльзе:

— Обещай мне, что ты никому не скажешь. Я должна тебе что-то поведать.

— Не беспокойся, — отвечала она, — если меня что спросят, я ничего не знаю. Я не скажу об этом даже отцу.

— Я живу у вас под фальшивым именем. Вместе с Любой мы убежали с военного завода в Дрездене, потому что условия там были невыносимы. Тяжелая работа и голод. Мы добрались до Чехословакии, и там нас арестовало гестапо. Из страха попасть в концлагерь мы выдумали новые фамилии. Нина — моя родная сестра.

Эльза задумчиво смотрела на меня:

— Мне часто казалось, что с тобой что-то не то. Я еще никогда не встречала человека, который был бы так подавлен, как ты.

— Я все буду отрицать, — говорю я дальше. — Скажи, пожалуйста, Любе и Нине, чтобы они молчали. Я все сделаю, чтобы в гестапо ничего не узнали.

В маленькую сумочку я запаковала все необходимое на короткое время. Затем я дала Эльзе пачку писем от Шуры.

— Это письма от моей подруги из Дрездена. Сожги их. Они могут выдать меня.

Эльза взяла пачку писем и спрятала их под фартук.

— Поспеши. Жандарм, вероятно, уже ждет внизу, — сказала она.

Когда она ушла, я надела свое новое пальто кирпичного цвета, которое мне купила Эльза на специальные марки в Инсбруке, большую фетровую шляпу, выходные туфли и посмотрела на себя в зеркало: никто не примет меня за остовку. Довольная своим видом, я спустилась в кухню. Жандарм уже

ждал меня. От него мы узнали, что никого, кроме меня, не арестовали. Значит, не все еще потеряно!

Тельфский жандарм, пожилой австриец с усиками, привез меня поездом в Инсбрук, затем пешком мы добрались до здания гестапо. Было около одиннадцати часов и суббота. В здании гестапо он оставил меня в коридоре второго этажа, а сам зашел в одну из комнат. Немного погодя он вышел, кивнул мне головой и ушел. А через несколько минут меня вызвали в кабинет. Там сидели два гестаповца в гражданской одежде. Не успела я перешагнуть порог, как один из них, с расплывшимся в улыбке лицом, спросил:

— Вы Виктория Б. из Дрездена?

Не теряя спокойствия, я ответила, тоже улыбаясь:

— Вы, вероятно, путаете меня с моей двоюродной сестрой. Я — Надя Маркова.

Я успела заметить, как улыбка на лице гестаповца застыла. Он поспешно начал рыться в бумагах, которые лежали перед ним в папке. Затем по-французски, обращаясь к своему коллеге, сказал:

— Я думаю, это ошибка.

Я улыбнулась. Он заметил это и сразу же спросил:

— Вы говорите по-французски?

— Немножко.

После этого он сказал:

— Будьте любезны, подождите минутку в коридоре.

Я вышла. Но через несколько минут меня опять позвали. Гестаповец все еще перелистывал бумаги, затем сказал:

— Ваши родители немцы?

— Нет, украинцы, — ответила я.

— Но у вас есть, вероятно, немецкие предки?

— Не думаю. Сколько я помню, все мои предки были или казаки, или же крестьяне.

Сказав это, я вдруг запнулась, не понимая, к чему ведут эти вопросы. От многих земляков мне приходилось слышать, что часто немцы предлагают красивым и молодым иностранцам стать «фольксдойче». И чиновник тотчас спросил меня:

— Вы фольксдойче?

Я решила притвориться немного глуповатой и сказала:

— Нет, кажется, у нас в семье не было немцев.

Мой ответ, наверное, убедил его или в моей глупости, или же в нежелании сделаться фольксдойче.

— Где ваша двоюродная сестра, — спросил он, делая вид, что приступает к более серьезному делу.

— Одна, Нина, — ответила я, — работает в том же районе,

где и я. Другая, Виктория, — не знаю. Но Нина, ее сестра, рассказывала мне, что она была в Дрездене.

Я врала с такой уверенностью и наивностью, что — это я заметила по выражению его лица — гестаповец начал сомневаться в своих бумагах.

— Расскажите мне, как и когда вы попали в Германию.

Я начала ему рассказывать ту же историю, которую мы с Любой уже раньше зафиксировали в гестапо в Чехословакии. — О побеге из Советского Союза, о нашем «потерянном» транспорте и прочее. Как только я закончила, второй гестаповец, который все это время сидел молча, встал и подошел ко мне. На чистом русском языке он сказал:

— Хотите чаю?

Я согласилась, удивляясь его хорошему русскому языку. Он вышел, но тотчас же вернулся. А через несколько минут молодой человек внес на большом подносе чай и пирожные. Мы все втроем начали есть пирожные и пить чай. — Как непохоже это было на допрос в Чехословакии! Затем один из них сказал:

— К сожалению, мы не можем закрыть ваше дело. Сегодня суббота, и мы должны на этом прекратить. А вам придется побыть несколько дней в заключении.

Меня повели вниз и на машине отвезли к городской тюрьме, находящейся почти в центре города. Итак — опять тюрьма!

В большой камере было восемь девушек. Кивком головы я поздоровалась с ними, сняла свою шляпу и пальто и повесила на вешалку на стене. Потом села на деревянные нары, которые занимали почти половину камеры. Красивая, стройная блондинка подошла ко мне и спросила:

— Откуда вы?

— Из Одессы, — ответила я.

— Я — полька, Стася, — представилась она. — Почему вас арестовали?

— Я не знаю, — опять ответила я.

— Никто здесь не знает, почему. Вот я сижу уже восемь месяцев в этой тюрьме. Вон та, — она показала к окну, где обняв колени, сидела тоже красивая девушка, — ваша землячка.

Я встала и подошла к ней.

— Здравствуйте, — сказала я, протягивая руку.

Девушка посмотрела на меня, улыбнулась, как мне показалось, немного странно, и тоже протянула руку:

— Женя.

Я стояла возле Жени. Она все еще улыбалась своей странной, как бы неуверенной улыбкой. Мне стало не по себе, и я посмотрела в сторону Стаей.

— У нее здесь не все в порядке, — ответила та, показывая пальцем на свою голову.

— Как вы сюда попали? — опять обратилась я к Жене.

Она не ответила, затем вдруг вскочила с нар и начала дико бегать по камере. Потом она подняла свои юбки и пустилась танцевать. Минуты через две она остановилась передо мной, улыбаясь, и я вдруг увидела необыкновенную прелесть этой девушки: тонкое платье мягко облегало ее округлые, замечательной пропорции груди, бедра, руки, ноги, живот. У нее было типичное лицо украинской девушки: чуть-чуть вздернутый нос, широкие скулы, красивые полные губы, слегка влажные и приоткрытые, за которыми блестели, как жемчуг, зубы. Овальное лицо было обрамлено, как ореолом, блестящими, длинными, цвета спелой ржи волосами. Ее глаза бледно-синие, как безоблачное летнее небо.

Я опять обратилась к Стасе, потому что Женя начала интересовать меня.

— Что с ней?

— Она дура, — ответила Стася, и в ее тоне я уловила едва заметный оттенок неприязни. Поэтому поневоле я начала сравнивать этих двух красавиц. Они были абсолютно противоположны: в то время как от Жени как бы излучался своего рода магнетизм, теплота, душевность, Стася производила впечатление холодной неприступности. Ее безупречной белизны лицо, прямой, классический нос и белые, как слоновая кость, волосы, которые она каждый день тщательно завивала, еще более подчеркивали эту холодность. А взгляд ее спокойных голубых, как и у Жени, глаз, говорил о том, что она знает, как красива. Она смотрела на других с чуть заметным высокомерием и даже, как мне казалось, презрением. Конечно, Стася должна была видеть свою противоположность в Жене.

После ужина Стася объяснила мне режим тюрьмы:

— Через час нам дадут соломенные матрасы. Каждое утро нам надо относить их в коридор и складывать в специальной комнате. Моемся мы тоже в коридоре. Завтрак в восемь. Обед подают всегда в двенадцать, а ужин в шесть.

Остальные девушки в камере были француженки и итальянки. Но среди нас была и одна немка. Это было странно. Немцев, как правило, не сажали с иностранцами. Она сидела за то, что обручилась с молодым человеком, в семье которого были ненормальные. Это было против идеала нацистов — сохранять чистоту и безупречность германской расы.

Вечером Стася опять обратилась к Жене:

— Почему ты здесь? Расскажи же своей землячке.

Женя посмотрела на Стаею, потом на меня и сказала:

— Он обнял меня и поцеловал.

— Больше ничего? — настаивала Стася. — А кто это был?

— Один молодой человек. Я пошла с ним вечером гулять. Потом он привел меня сюда.

— А что он еще делал? Ничего?

Женя покачала головой. Девушки смеялись. Женя тоже смеялась. Потом спрыгнула с нар, подняла свои юбки и пустилась плясать.

— Так она всегда делает, когда спрашиваешь ее о чем-нибудь, — сказала Стася. — Если она не пойдет вскоре к врачу, она совсем лишится рассудка. Но кого это здесь интересует?

Да. То, что происходило здесь, в камере, с нами, вероятно, никого не интересовало. Уже две недели, как я была в заключении. За это время наша камера стал похожа на улей, наполненный пчелами. Теперь здесь было двадцать девушек, большинство — итальянки и француженки. Их запирали, главным образом, за связь с немецкими солдатами. Почти все они были вульгарные и грязные, — дешевого сорта улица. Скоро в камере стало вонять. У одной из них была сыпь на руках и ногах. Она гноилась. По всей вероятности, у нее была венерическая болезнь. Когда однажды наш надзиратель спросил, нужно ли кому-нибудь к врачу, я настояла на том, чтобы обследовали эту девушку. Один раз в неделю в тюрьму приходил врач, и к нему вели больных заключенных. Девушку повели к врачу, и она к нам больше не вернулась. Мои подозрения оказались верными. И здесь мои небольшие знания в медицине помогли. Возможность заразиться в такой тесноте была велика. Мы все пользовались одним туалетом. Из этой толпы грязных уличных девушек только одна выделялась и была не похожа на остальных. Это была римлянка Пия.

Когда ее ввели в камеру в легком шелковом платье, высоко обнажавшем редкую красоту ее ног, она направилась прямо к столу и, не глядя ни на кого, села, как бы боясь прикоснуться к чему-нибудь. На мгновение в камере воцарилась мертвая тишина. Все смотрели на Пию. Глядя на всех свысока и ни к кому в частности не обращаясь, она хладнокровно бросила:

— Здесь есть итальянцы?

Несколько голосов несмело ответило. И сразу же начался громкий разговор наперебой по-итальянски. Позже Пия рассказала нам по-немецки, что она была связана с контрабандистами, за что ее и арестовали.

— Я не пробуду здесь долго, — сказала она. — Мои друзья побеспокоятся о том, чтобы я поскорее вышла из этой вонючей

дыры.

И действительно, через пять дней Пию освободили. Но за эти пять дней мы почувствовали, что вместе с Пией к нам в камеру ворвалась часть иной жизни, — бурной, светлой, свободной, о которой многие даже и на свободе ничего не знали.

Ее появление было как луч солнца, случайно упавший в это грязное, мрачное заключение. Этот луч напомнил нам о том, что где-то есть свежий воздух, море, белый песок, на котором можно лежать и загорать. Пия напомнила нам и о том, что в мире есть красивые женщины, которые носят платья из тонкой, мягкой ткани и которых любят мужчины. Она рассказывала нам об интересных приключениях с отважными контрабандистами, для кого она служила приманкой. Она рассказывала нам также о том, как они подкупали немецких служащих, полицию, и какие истории они выдумывали, когда попадались. Мы все не могли наслушаться об удали контрабандистов, но еще больше мы не могли наглядеться на ее красоту. Каждый раз, когда она рассказывала нам о своих приключениях, мы просили ее сесть на стол, чтобы все могли ее видеть. А вечером, когда она снимала платье, чтобы лечь, мы просили ее пройтись по камере, чтобы увидеть ее красивые в легком загаре ноги. Все время своего пребывания среди нас она была для всех нас символом свободы и красоты. И вот она ушла. С ее уходом каждая из нас глубоко в душе почувствовала тоску. Тоску по свободе, по свету, по красоте.

Уже целую неделю стояла ясная, теплая погода на дворе. Мы этого, правда, не видели — окно камеры было под самым потолком — но об этом нам говорили бесконечные сирены, бившие воздушную тревогу. Мы также слышали гул сотен самолетов, пролетавших каждый день над городом. Сквозь запертые двери мы слышали, как каждый раз, когда били тревогу, всех немцев — заключенных и служащих — отправляли в бомбоубежище. Нас же, иностранцев, в убежище не вели.

И вот однажды мы испытали все ужасы бомбардировки города. Бомбили город недолго и, вероятно, серьезных повреждений не было. Но несколько бомб упало во дворе тюрьмы. В наше узкое окно через решетку посыпались камни и земля. Скоро дым наполнил камеру, и некоторые девушки начали задыхаться. Когда один сильный взрыв прозвучал совсем близко от нашей камеры, задрожали стены, а на нас посыпалась штукатурка, и казалось, вот-вот рухнет потолок.

В первые минуты мы застыли от страха. Потом все бросились к двери и начали громко бить в нее кулаками. Но нас никто не слышал. Когда же взрывы стали сильнее и громче, все мы бросились на колени и стали громко молиться — каждая на своем

родном языке. Я почувствовала, как во рту у меня пересохло, и я не могла даже пошевелить языком. Вдруг раздался громкий крик. Это Женя упала на пол и начала биться в конвульсиях. Затем она вскочила и стала прыгать по камере. Но все и без того оцепенели от ужаса и на нее никто не обращал внимания. С большим усилием я поднялась, подошла к ней, схватила ее крепко за руку и посадила рядом с собой.

— Молись! Молись Богу, — говорила я, стараясь перекричать оглушительные взрывы.

Через два часа сирены прогудели отбой. С облегчением все отхлынули от двери и тут же попадали от истощения на нары. А немного спустя наш надзиратель открыл камеру. Я рассказала ему о припадке Жени. Ее забрали на следующий день, и больше она не возвратилась к нам. А в камеру начали приводить новых девушек. Теперь это были, в основном, украинки и русские. В отличие от итальянок и француженок, они были чистые, но в то же время молчаливы и запуганы. И никто из них не знал, почему их арестовали. Однажды в три часа ночи в камеру втолкнули молодую девушку лет шестнадцати. Она так громко плакала, что многие проснулись.

— Вы украинка? — спросила я.

— Да.

Надзиратель еще раз открыл дверь и бросил соломенный тюфяк. Я помогла ей положить его на нары.

— Как вас зовут? — спросила я.

— Мария.

Затем она легла на живот и пролежала так всю ночь.

Наутро нам, как всегда, принесли завтрак. Но Мария даже не притронулась к нему.

— Ты должна есть, — сказала ей Стася.

— Я не хочу, — ответила она, вставая и направляясь в уборную.

Возвратившись к нарам, она опять легла на живот и не встала до обеда. Но и обед оказался нетронутым.

— Может ты съешь кусочек белого хлеба с маслом? — спросила ее Стася, протягивая хлеб. — Бери!

Мария отстранила ее руку и начала плакать.

Два раза в неделю Стася ходила убирать конторские помещения, за что ей давали белый хлеб и масло.

— Не плачь! — обратилась к Марии одна из девушек. — Мы все здесь сидим и не знаем, почему.

— Почему ты всегда лежишь на животе, — спросила опять Стася.

— Я не могу иначе, — простонала Мария сквозь слезы.

— Тебя, что? Били?

— Да.

— Покажи! — сказали сразу несколько девушек.

Стася осторожно подняла блузку Марии. Она застонала, а мы все отпрянули от нее: ее спина была почти черная с красными полосками. В некоторых местах кровь прилипла к блузке и трусам.

— Почему ты ничего не сказала? Мы должны сейчас же доложить врачу! — сказала я.

Несколько девушек сразу же подбежали к двери и начали стучать. Дверь быстро открыли.

— Что случилось? — спросил надзиратель.

— Посмотрите на это! — и девушки указали на Марию.

Надзиратель подошел ближе к нарам, где лежала Мария.

Увидев ее спину, он сморщился и, что-то пробормотав себе под нос, вышел из камеры и запер нас опять. Через полчаса появился доктор. Он покачал головой:

— Они же не имеют права… Сколько вам лет?

— Пятнадцать.

Доктор что-то записал в свой блокнот и сказал:

— Я постараюсь что-нибудь сделать для вас.

Затем он поставил Марии компресс на спину.

— Проклятые нацисты! — послышалось со всех сторон, как только надзиратель и доктор удалились.

Тогда Мария рассказала нам свою историю.

Она была домработницей у одного фермера в районе Инсбрука. Там она познакомилась с молодым парнем, тоже остовцем по имени Гриша. Он работал на самолетостроительном заводе. Ходили слухи, что несколько таких заводов находилось под землей. Гриша жаловался, что работа там тяжелая. Фермер давал иногда Марии хлеб и другие продукты, чтобы она помогала своему другу. Так они дружили год. Однажды Гриша пришел очень взволнованный и сказал, что он хочет убежать с завода. Мария приготовила для него маленький узелок с пищей и они простились. Она больше ничего о нем не слыхала. Но через три недели ее забрали в гестапо. Там во время ночного допроса ее избили, потому что она ничего не могла сказать им о Грише.

Когда Мария закончила свой рассказ, к ней подошла одна из девушек:

— Разве ты не знаешь, что иностранные рабочие хотели взорвать завод, но это им не удалось. Поэтому многие из них убежали. Некоторых поймали и арестовали, но не всех. Вот теперь они и разыскивают остальных.

После этого рассказа все замолчали. Каждая сидела,

погрузившись в свои мысли, и думала о своем. В эту ночь мы легли спать, почти не разговаривая друг с другом.

Однажды вечером после ужина открылась дверь и в камеру вошли двое — надзиратель и военный немец. Они прошлись по камере, остановились у двери и уставились на нас. Потом военный указал пальцем на меня, и они вышли. На следующий день надзиратель повел меня вниз. Внизу, в коридоре, он передал меня ожидавшему нас вчерашнему военному. Этот повел меня через двор в здание напротив. По лестнице мы поднялись на второй этаж и очутились в просторной комнате на чердаке. Косой луч солнца, пробивавшийся через окно в потолке, осветил внутреннюю обстановку: небольшой письменный стол, железная кровать, плетеное кресло и на полу почти бесцветный, вылинявший коврик.

В странном замешательстве я стояла посреди комнаты. Военный подошел к письменному столу и вынул из шкафа бутылку и два стакана. Он наполнил их какой-то зеленоватой жидкостью и подошел ко мне. Я машинально отступила к двери. Тогда он поставил стакан на стол, взял оттуда завернутый в бумагу пакет и понес ко мне:

— Возьми! Это хлеб.

Я похолодела от ужаса. Мне вдруг стало ясно, зачем он привел меня в эту комнату.

— Ведите меня сейчас же обратно, — сказала я дрожащим от негодования голосом и еще ближе придвинулась к двери. Он улыбнулся и опять подошел ко мне, стараясь обнять меня за талию. Отчеканивая каждое слово, я повторила свою просьбу:

— Ведите меня сейчас же обратно!

Офицерская форма военного зашевелилась. Он тихо смеялся, приближаясь ко мне. В это мгновение я рванулась и выбежала на лестницу. Ухватившись руками за перила, я почувствовала себя безопаснее. Этажом ниже слышны были шаги, голоса людей и хлопанье дверей.

— Если вы не уведете меня обратно, я начну кричать, — сказала я.

— Да, да, я отведу вас обратно, — уже лепетал офицер, стараясь сунуть мне в руки хлеб.

Я оттолкнула его руку, и буханка хлеба, разорвав бумагу, покатилась по лестнице. Офицер быстро побежал за ней и, схватив, унес в комнату. Я твердо держалась за перила и не двигалась с места. Теперь, видимо, он испугался. Он еще раз попробовал погладить мои руки, но я опять громко сказала:

— Ведите меня обратно.

Тогда он запер комнату и молча повел меня обратно в

тюрьму, где надзиратель впустил меня в камеру.

— Уже обратно? — удивились девушки. — Им сказали, что меня увели убирать контору.

— Да. Но я не захотела это делать, — сказала я и искоса посмотрела на Стаею.

Она молча сидела в стороне, наклонив свою красивую голову. Только после ужина она подсела ко мне:

— Не говори никому… об уборке… Я уже почти год здесь… Мне все надоело…

Итак, мне стало понятно, откуда у Стаей белый хлеб и масло.

За последнее время сирены ревели все чаще и чаще. Иногда было слышно, как где-то вблизи бомбили, но наша тюрьма оставалась невредимой. Мало-помалу мы стали привыкать к тревожному вою сирен и к грохоту бомбежек.

Однажды после отбоя к нам с улицы донеслись громкие голоса. Мы все бросились к окну, откуда можно было видеть часть улицы. Там шла большая толпа людей, а впереди всех со связанными руками вели двух американских пилотов. Вероятно, их самолет сбили, а их взяли в плен. От радости мы начали кричать им приветы, но, конечно, они нас не слышали.

— Кто здесь говорит по-русски и по-немецки? — спросил однажды рано утром надзиратель, открыв дверь в камеру.

Я подняла руку.

— Пойдемте со мной!

В кабинете следователя, куда он привел меня, стояли два молодых парня. Они были бедно одеты, и на их лицах было какое-то тупое выражение. Я сразу же узнала, что это были остовцы, хотя нагрудных знаков у них не было. Надзиратель оставил меня со следователем, а сам удалился.

В окна кабинета ярко светило солнце, и мне вдруг так захотелось быть на свободе, что я чуть не застонала. В это время высокий, плотный, лет сорока следователь подошел ко мне и сказал:

— Спросите этих парней, кто они и откуда.

Я обратилась к ним с вопросом, откуда они, но, очевидно, они меня совсем не поняли. Тогда я обратилась к ним по-украински, но они только кивали головами. Они наперебой говорили мне что-то на каком-то непонятном языке. Прислушиваясь, я заключила, что это были галичане — украинцы из Галиции. Они говорили на своем диалекте, который почти невозможно было понять. Только с большим трудом мне удалось узнать, что они работают у одного фермера недалеко от Инсбрука. В свой выходной день они приехали в город за покупками. В это время началась тревога, и они вместе с другими

попали в бомбоубежище, а вечером, когда они вышли, их арестовали, потому что они находились на улице в комендантский час.

После того как я объяснила следователю историю этих парней, он позвал полицейского и приказал отвести их на станцию и посадить на поезд, чтобы они могли возвратиться к своему хозяину. Затем он обратился ко мне:

— Почему вы здесь?

И я рассказала ему, как меня привезли в гестапо и обещали расследовать мое дело, и что я уже почти два месяца нахожусь в тюрьме и не знаю, что будет. Выслушав меня, он встал, взял свой завтрак и положил передо мной:

— Ешьте!

Я поблагодарила его и начала есть его бутерброд. В это время он стоял у окна и смотрел во двор, потом повернулся ко мне и, улыбаясь, сказал:

— Неприятно сидеть в бомбоубежище, когда такой солнечный день.

— Нам нельзя в бомбоубежище, — сказала я.

Он задумался на минуту, потом опять обратился ко мне:

— Если хотите, можете идти с нами, со мной и моей секретаршей. Когда будет хорошая погода, я буду вызывать вас сюда. Вы сядете за стол и будете делать вид, будто работаете. А когда объявят тревогу, мы все вместе пойдем в убежище. А за это время я разузнаю в гестапо о вашем деле.

Я поблагодарила его. Не знаю, кто он был, немец или австриец — это не играло роли. Был он нацистом или нет — тоже мало что значило. Ко мне он отнесся по-человечески, за что я ему всегда буду благодарна. Он мне понравился сразу же, как только распорядился насчет тех двух парней. Так редко поступают нацисты. Выяснилась еще одна интересная деталь: его секретарша знала Эльзу и Флору. Они вместе ходили в школу. Она обещала мне зайти к ним и передать от меня привет.

Итак, всю следующую неделю я провела в кабинете следователя. И почти каждый день была тревога, которую мы отсиживали в убежище. А потом меня внезапно освободили.

Внизу, в тюремной конторе меня ждала Эльза. Ей сообщили, чтобы она пришла за мной.

— Что нового в Тельфсе? — спросила я.

— Ах! — говорит она. — Все, конечно, думают, что ты шпионка. Это Андре распустил такие слухи о тебе.

— Я не шпионка. Я все еще Надя Маркова.

Мы посмотрели друг на дружку, рассмеялись и больше об этом не говорили. Я рассказала Эльзе о приятном следователе и о

том, как он обещал побеспокоиться о моем деле. Вероятно, его содействие помогло моему освобождению. В свою очередь, Эльза сказала мне, что его секретарша заходила к ним за неделю до моего освобождения и что они раньше дружили.

— Да, — сказала Эльза, — мир такой маленький!

В начале сентября установилась довольно прохладная погода. Прошла еще осень, и вот опять зима. И с каждым днем все больше и больше ходили слухи о наступлении союзников и о поражении немцев на всех фронтах. Тельфс наполнялся беженцами. В дом Мюллеров из Инсбрука, особенно под конец недели, приезжала куча родственников и знакомых, чтобы отдохнуть от бомбоубежищ. Среди них была одна их кузина по имени Ида. От нервного напряжения в бомбоубежищах у нее начали выпадать волосы, и она почти облысела. Но доктор утешал ее, что волосы опять вырастут. Она была единственной дочерью известного австрийского генерала, который, конечно же, был на фронте. Несмотря на это, она вовсю ругала войну и Гитлера, и всех нацистов. Война угнала на фронт и ее жениха, теперь, будучи уже немолодой, она могла остаться старой девой.

Тельфс еще не изведал военных налетов. Но однажды в сентябре и на Тельфс сбросили несколько бомб. Они упали недалеко от моста через реку Инн, которая отделяла Тельфс от деревни Пфафенгофен. В мост не попали и вреда много не наделали, но вся деревня и городок всполошились. И в этом уюте стало неспокойно. Как только с юга, со стороны Италии показывались самолеты, сейчас же били тревогу, и все жители бросали работу и прятались в подвалы или убегали в лес и горы.

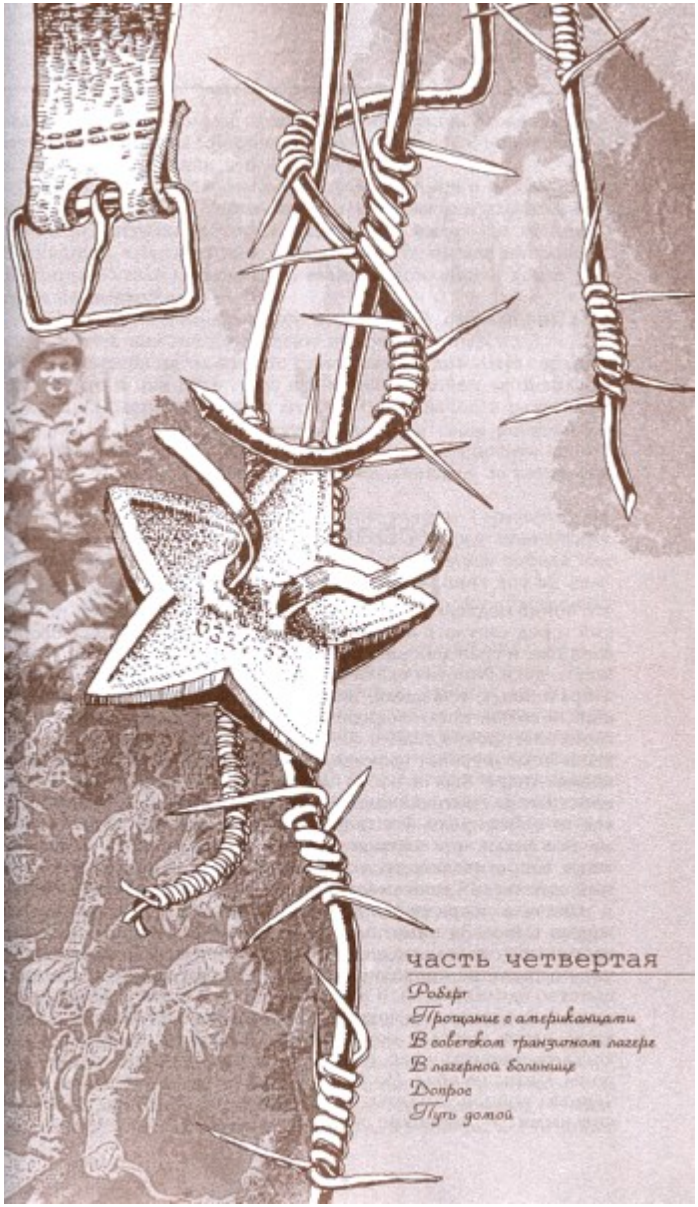
Однажды тревога началась так внезапно, что мы не успели спрятаться. Мы ринулись в подвал, а бомбовозы низко гудели над нашими головами. Не обошлось и без приключений. Сбегая в подвал, Флора споткнулась, упала на лестнице и очень ушибла руку. Целую неделю она носила ее в повязке, что было причиной разных добродушных насмешек со стороны друзей и знакомых. Когда же тревогу давали до появления самолетов, мы брали провиант и уходили в лес или в горы и просиживали там часами, иногда днями. Обычно уже с утра сообщали по радио, что громадная эскадрилья бомбардировщиков летит в нашем направлении. Часто они пролетали мимо и ничего не случалось. Но через каких-нибудь полчаса земля дрожала от сильных взрывов — бомбили Мюнхен. Это случалось за последние месяцы очень часто. Порой мы просыпались ночью от приглушенного, тяжелого грохота, выходили во двор и смотрели в сторону Мюнхена. Над нами стояло темно-красное зарево. Там был ад.

Единственный, кто не прятался от бомбежек, был Андре.

Когда мы уходили на целый день или часами просиживали в убежище, он спокойно оставался во дворе и, конечно, пользуясь отсутствием всех, слушал иностранную передачу. А когда мы появлялись, он, улыбаясь, шел нам навстречу и, обращаясь к Эльзе, говорил:

— Ну, что? Скоро капут?

Часть четвертая



Роберт

Ранней весной 1945-го года уже все поняли, что война подходит к концу. Изо дня в день через наш маленький город тянулась непрерывная цепь беженцев. Здесь были и военные, и гражданские, немцы и иностранцы, мужчины, женщины, дети. Многие ехали на старых машинах или на бричках, запряженных лошадьми, или просто тянули за собой небольшие повозки, навьюченные мешками, торбами, узлами. Но в горах еще прочно сидели эсэсовские отряды. Перестрелка, разрывы бомб и гранат гремели, не переставая, день и ночь. В это время Андре был в особо приподнятом настроении. Теперь иностранцы смотрели смелее немцам в глаза. Да и сами немцы как-то присмирели. Их хвастливые передачи по радио заглохли. Все знали, что союзники все теснее сжимают в кольцо остатки сопротивляющихся эсэсовцев. И вот однажды в солнечный апрельский день американцы без боя вступили в Тельфс.

Сначала посреди единственной главной улицы ползли тяжелые танки. За ними шли солдаты, белые и черные. Многие австрийцы никогда не видели негров. Прячась за шторы окон, мы смотрели на проходивших американских солдат. Но любопытство одолело меня. Я вышла на улицу и стала у забора дома, откуда продолжала смотреть на победителей. Ровно в двенадцать часов шествие остановилось. Американцы, так же, как когда-то и немцы у нас на Украине, расположились по обе стороны улицы на обед. Но это не были усталые, голодные, измученные войной солдаты. Они выглядели чистыми, свежими, сильными. И немецкие женщины не выносили им еду, как когда-то русские немцам. Это было и не нужно. Каждому солдату на специальной машине подвозили его обед: на сковородке жареный цыпленок и белый хлеб.

Мало-помалу начали высовываться из домов и немцы. Сначала появились дети. Через некоторое время они уже толпами бегали за неграми, которые давали им жвачку и шоколад. Убедившись, что никто никого не насилует, вышли на улицу и женщины и стали провожать глазами американцев. Увидя это, Клара не выдержала:

— Это недостойно немецкой женщины, — сказала она, возмущаясь тем, как немки глазеют на американцев.

Но, несмотря на то, что это было сказано довольно сердито, я знала, что и она рада тому, что война, наконец, окончилась. По крайней мере, теперь ее муж не будет вечно в разъездах. И, вероятно, они скоро смогут вернуться в свою роскошную квартиру

в Инсбруке. Не нужно будет вечно просить сестер присмотреть за ребятишками, двумя мальчиками, за которыми и я нередко присматривала.

Уже говорили о безусловной капитуляции Германии. Но странно было то, что даже те австрийцы, которые ненавидели нацистов и недолюбливали немцев, не радовались победе над Гитлером. Перед лицом такого бесславного конца вся их симпатия оказалась на стороне побежденных. То же чувствовала вся семья Мюллера и его родственники.

Уже на второй день после прихода американцы начали издавать разные указы и распоряжения. Между прочим, было объявлено, что никому из иностранных рабочих не нужно больше работать. Но они могли жить у своих бывших хозяев, пока не выйдет новое распоряжение. Такое распоряжение не заставило себя ждать. Через пару недель американцы устроили специальные сборные пункты, куда со всех сторон съезжались иностранные рабочие. По пути в эти центры, откуда они готовились к возвращению на родину, многие бывшие рабочие грабили немецких крестьян, магазины и даже простых жителей. Это была месть за унижения, тяжелую работу и все муки войны. Особенно сильно разбойничали поляки и галичане. Они не слушались указов. Нередко они нападали даже на немцев и избивали их. Вначале немцы были настолько напуганы позорным концом войны, что не смели и жаловаться. Все это со временем изменилось, но в первые недели послевоенный хаос был в разгаре.

Моя связь с Шурой прекратилась еще за несколько месяцев до конца войны. Я ничего не могла узнать о ее судьбе и судьбе многих моих бывших подруг. Однако больше всего меня беспокоила судьба Сергея. Где он теперь? Куда занес его вихрь той грозы, так внезапно разразившейся полтора года назад? События тех дней были причиной того, что даже теперь, когда война закончилась, я чувствовала себя обломком разбитого корабля, плывущим неизвестно куда.

Андре ушел от Мюллеров уже на второй день американской оккупации. Он ни с кем даже не попрощался. Позже я слыхала, что он вместе с другими французами ограбил одну богатую семью в Тельфсе, нацистских владельцев отеля. Жертвой их грабежа стали также два украинских беженца, которые остановились там в последние дни войны, чтобы переждать до лучшего времени. Французы забрали у них все драгоценности, одежду и другие необходимые вещи. Многие иностранцы были возмущены этим. Ведь эти украинские беженцы были тоже иностранцы. Они никому не сделали зла. Но вначале неофициально американцы

даже поощряли такие грабежи. Так, например, через пару дней после их вступления в Тельфс всем иностранным рабочим разрешили грабить текстильную фабрику, несмотря на то, что ее владелец был швейцарский подданный. Американцы считали, что он работал на немцев и потому не заслуживал пощады.

Я тоже решила пойти на фабрику и притащить кое-что. Мне удалось унести два шерстяных одеяла и несколько метров зеленой ткани, из которой немецким солдатам шили шинели.

Когда я со своей добычей явилась в дом моих бывших хозяев, старик Мюллер сказал:

— Это очень хорошо, что ты принесла нам одеяла.

Я с удивлением посмотрела на него, не понимая, шутит он или говорит всерьез.

— Это мои одеяла, — сказала я.

— Одеяла наши, — ответил он.

— Вы сами можете притащить себе. Эти одеяла я возьму с собой.

— Ничего подобного! Одеяла останутся здесь. Ведь это немецкие одеяла!

— Отец, ты что это?! Господи! — вмешалась Эльза.

— А зачем ей нужны два одеяла? — отвечает он.

— Не буду же я для вас тащить их! — сказала я сердито и поспешила скорее спрятать свою добычу.

После этого разногласия насчет одеял мне стало неудобно оставаться в их доме. Теперь мне хотелось поскорее уйти от них, и я стала искать себе новое жилье. Все три сестры относились ко мне все еще довольно хорошо, но уже чувствовалась некоторая неприязнь. По утрам я немного помогала им по дому — ведь они кормили меня, как и прежде. Но, вероятно, я была уже для них лишней. Работы теперь было мало, так как их продовольственный магазин почти опустел и редко был открыт. Флора распродала большую часть продукции, остальное припасла для семьи. Старик Мюллер остался без помощника, — да и не нужно было. Работы уже почти не было. Эльза иногда помогала ему.

Но мне не хотелось сразу же ехать на сборочный пункт для репатриантов. Мы с Ниной решили переждать первый наплыв, а потом регистрироваться на родину. Об этом я со временем сказала Эльзе и Флоре. Теперь их отчужденность ко мне я почувствовала еще сильнее. В сущности, их поведение казалось мне странным. Ведь я знала, с каким нетерпением все они ожидали окончания войны, как ругали Гитлера и немцев, а теперь, вместо того чтобы радоваться, они были печальны. И чем-то недовольны. Может, это объяснялось поведением американцев, которые в каждом немце и австрийце видели нациста.

Американцам также не разрешалось разговаривать с местными жителями. Напряжение в доме моих бывших хозяев еще больше усилилось, когда я познакомилась с молодым американским доктором и стала почти каждый вечер встречаться с ним.

Впервые мы с Робертом встретились у соседей Мюллеров. Там жила вдова, которая до войны имела текстильный магазин. Теперь магазин был закрыт, но с помощью одного постояльца она открыла швейную мастерскую. Этот квартирант поселился у нее за каких-то два месяца до окончания войны. По всей вероятности, он был на фронте и успел убежать оттуда. Никто не знал о нем никаких подробностей. По-видимому, вдова была им очень довольна.

Из добытого на текстильной фабрике материала я заказала себе у нее тирольский костюм. Портной показал мне разные фасоны, и я выбрала самый простой, с погонами и роговыми пуговицами, по бокам юбки шли две темно-зеленые каймы. Таких костюмов у нас на родине никто не видел, и мне хотелось привезти его на память.

В тот день я была как раз на примерке. Вдруг в дверь примерочной постучали, и стройный американец в офицерской форме вошел в комнату. В руках у него были помятые брюки. Он всем улыбнулся и, остановившись, начал читать свой словарик. Наконец, нашел нужное слово:

— Гладить. Завтра!

— Да, да! — подобострастно улыбнулся ему портной и взял у него брюки.

— Я не могу по-немецки, но немного по-французски.

Мне ужасно захотелось поговорить с ним, и, не выдержав, я сказала:

— Я тоже говорю немного по-французски.

— Вы здесь живете? — обратился он сразу же ко мне.

— Нет! Нет! — ответила я. — Я нездешняя, я живу рядом, но скоро поеду домой, в Советский Союз, — поспешила объяснить я, боясь, что он примет меня за немку или австрийку и перестанет разговаривать со мной.

— О! Из Советского Союза! — воскликнул он. — Я люблю Советский Союз! Вы здесь работали?

— Да.

— Но теперь вам не надо работать.

— Я уже почти не работаю, то есть, очень мало, лишь потому, что меня там кормят.

— Меня зовут Роберт, — сказал он и протянул мне руку. — Роберт Веллс.

В это время хозяйка дома вошла с подносом и предложила

всем чаю.

— Вы пьете чай? — обратилась она к Роберту, подавая ему в миниатюрной чашечке чай.

Мы начали пить чай стоя. Вдруг Роберт спохватился:

— Нам не разрешается говорить с немцами и ходить к ним домой, — сказал он, обращаясь ко мне. — Мне нужно уходить. И он ушел, наскоро попрощавшись со всеми, а я объяснила вдове и портному, что он сказал. Но они были рады его визиту. Это было только начало их будущего бизнеса.

На следующий день Роберт пришел к ним за брюками и спросил обо мне. За мной послали девушку, дочь вдовы. Роберт просто хотел видеть меня и ничего особенного не сказал. Это повторилось и на следующий день. А в воскресенье утром девушка принесла мне от него записку: «Я хочу пригласить вас сегодня на прогулку. Придете? Я зайду за вами в два часа. Роберт».

— От кого? — спросила Эльза.

— От американского офицера. Он пригласил меня на прогулку.

Было начало мая. На дворе стояла чудесная погода. Я надела свое темно-синее платье из японского шелка, которое мне пошила портниха, работавшая одно время в доме Мюллеров. Это платье было по заказу Эльзы — синий шелк с горошинками. Оно вышло необыкновенно красивым. К нему я надела модные в то время итальянские туфли на корковой подошве, которые я купила на черном рынке перед окончанием войны. Волосы я тоже подняла наверх по последней моде и в приподнятом настроении вышла из дома. Роберт ждал меня у входа. Улыбаясь, я протянула ему руку. Он удивленно отступил и воскликнул:

— Какая вы красивая!

Потом взял меня за руку и повел на улицу.

Было ровно пополудни. Солнце стояло высоко в небе и заливало все своим сияющим светом. Вершины гор блестели ослепительным блеском. Высокие деревья по обе стороны улицы стояли в царственном спокойствии. Пели птицы, и воздух был наполнен ароматами цветов. Легкий ветерок слегка подымал шелк моего платья, лаская обнаженные руки, шею, лицо. Май — один из самых лучших месяцев в Тироле.

Мы молча шли рядом. Слова были лишними. Наши взгляды встречались и отражали радость, свет и счастье. Нас ничего больше не тревожило — все было чудесно: война кончилась, и мы оба были молоды и свободны.

Да! Мы были молоды и свободны! А тот, который держал мою руку и, как в триумфальном шествии, вел меня посреди улицы,

был мой освободитель. Теперь мне не страшно было гордо подымать голову и свободно смотреть всем в глаза. А немцы, шедшие нам навстречу, теперь притихшие и униженные, провожали нас угрюмыми, завистливыми взглядами. Но нам было все равно. Мы были счастливы, молоды и рады победе. Мы чувствовали себя легко и свободно. Да! Мы были свободны! Мы победили!

Когда сошли с дороги и шли вдоль реки, Роберт сказал:

— Называй меня просто Роберт. А я буду называть тебя Вики. Хорошо? Это Вики. Он поднял вверх руку и сделал из пальцев латинскую букву V. — Виктория — победа.

— Хорошо, — улыбнулась я.

— Вики, — опять воскликнул Роберт. — У меня есть для тебя подарок. Вот! Он протянул мне руку с зажатой ладонью, потом разжал ее и показал мне: на ладони лежала губная помада.

— О! — воскликнула я от удивления. — Ты хочешь, чтобы я красила губы?

— А почему нет?! У нас в Америке каждая женщина от шестнадцати и до самой старости красит губы. Попробуй!

Сначала нерешительно я взяла тюбик губной помады и начала рассматривать его со всех сторон. Роберт, улыбаясь, наблюдал за моими движениями. Потом я сказала:

— Отвернись, Роберт, пока я не скажу.

Он отвернулся, а я взяла маленькое зеркальце из сумочки и накрасила губы.

— Теперь можно!

— О! Какая ты красивая! Ты всегда должна красить губы. А теперь я сделаю снимок, — сказал Роберт, доставая фотоаппарат.

Он отошел на несколько шагов, щелкнул своим аппаратом, а я в это время высунула язык.

— Ты несносная, — сказал он. — Эти снимки будет печатать мой отец. Что он подумает? — Он сделал еще снимок. А потом еще и еще. Больше дюжины.

— Ты хочешь все оставить себе? — спросила я. — Мне бы тоже хотелось несколько получить.

— Хорошо. Ты получишь, как только отец их пришлет.

Затем Роберт расстелил свой плащ на траве и мы сели.

— Ты будешь очень удивляться, когда приедешь в Америку. Америка совсем иная, чем Европа. Ты не поверишь своим глазам, когда увидишь Нью-Йорк. Там очень много небоскребов.

— Я бы не хотела жить в таком высоком доме, — сказала я.

Роберт рассмеялся:

— Там никто не живет. Там только офисы, банки и разные учреждения.

— К тому же я не понимаю вашей музыки, — сказала я.

— О! Наша музыка чудесная, — ответил Роберт. — У нас ее делают дети. Поэтому она такая странная. — Подожди, я включу радио и ты услышишь.

Роберт вынул из кармана крошечное радио, воткнул в землю какой-то провод и оно начало играть.

Я не переставала удивляться. Все, что делал Роберт, его странные американские вещи, его рассказы о своей стране, и при этом — его сияющие голубые глаза, — все дышало легкостью, беззаботностью, свободой. Его голубые глаза всегда смеялись. Они напоминали мне другие сияющие, такие же голубые глаза. Но те были немного задумчивее, более сосредоточены и, казалось, более сконцентрированы, когда они глядели на что-то. Роберт был также высокий. Высокий и стройный. Но он всегда держался прямо. И когда он смеялся, немного закинув голову назад и показывая свои красивые зубы, казалось, что от радости и счастья вокруг его головы появлялся ореол света.

С тех пор почти каждый вечер Роберт заходил за мной, и мы шли по улице вдоль реки, разговаривая, шутя и смеясь. Как раз в это время к Мюллерам прибыл дальний родственник. Это был молодой человек лет тридцати, сильный, загорелый и прекрасного телосложения. Как я поняла, он прибыл из Греции, где служил во время войны. Почему-то он не ехал домой, хотя жил всего в каких-нибудь трех остановках на запад от Тельфса. Он также не регистрировался в штаб-квартире американцев, как было приказано оккупационными войсками. Большую часть дня он проводил во дворе со стариком Мюллером, которому помогал немного в работе. Так как он не был еще женат и хорошо выглядел, Эльза, Флора и все их кузины уделяли ему особое внимание. Однажды в его честь они устроили в доме вечеринку с танцами и музыкой. Таким образом, все женщины могли теперь достаточно пофлиртовать с ним. Я тоже была приглашена и пришла на вечеринку.

Мы пили вино, веселились и танцевали. Ида, дочь генерала, которая уже две недели гостила у Мюллеров, одела меня в свое длинное платье, и меня попросили станцевать русский танец. Раскрасневшись от вина, я танцевала русский, потом венгерский. Затем мы все по очереди начали танцевать с Гансом — так звали молодого гостя Мюллеров. Муж Клары, строитель мостов, тоже заглянул к нам, но он не танцевал. Гансу, вероятно, очень понравилось, как я танцевала, потому что после этого он еще раз попросил меня потанцевать с ним и долго расспрашивал о моей семье, о России и о моих планах на будущее. Среди них я была единственная иностранка и самая молодая. Ида, глядя на меня,

печально сказала:

— Да, Надя, мы много бы дали, чтобы быть молодой, как ты! Сколько лучших лет украла у нас эта проклятая война!

Да! Я была молодая, веселая, беззаботная. Резвая и беспечная, я смеялась и танцевала. Вся жизнь была впереди. Спустя много лет, когда я достигла их возраста и мне приходилось видеть резвящихся молодых девушек, я невольно вспоминала Иду и только тогда понимала, что она чувствовала. Ведь ей уже было далеко за сорок.

Роберт ненавидел Ганса. Даже случайно встречая его во дворе или в доме Мюллеров, он всегда смотрел на него недружелюбно и не считал даже нужным отвечать на его приветствия.

— Противный тип, — говорил он мне, когда мы оставались одни. — Он выглядит, как настоящий нацист.

— Но он очень приветлив. Он всегда с тобой здоровается, — ответила я.

— Да. Теперь он, конечно, приветлив. Но не спрашивай, что эти парни выделывали во время войны. Я вполне уверен в том, что у него под рукой знак СС. Только из-за тебя я не хочу вмешиваться в это дело, хотя мне давно уже следовало бы заявить на него куда положено. Верь мне, этот парень прекрасно это понимает. Поэтому он и приветлив со мной.

Весь месяц погода стояла превосходная. Мы с Робертом часто ходили целыми днями по тропинкам, полям, рощам или карабкались в горы, а потом спускались вниз. Иногда нас где-нибудь заставал весенний дождик. Тогда мы, обнявшись, стояли под каким-нибудь деревом и ждали, пока он перестанет. А когда нам на пути попадалась лужа, Роберт брал меня на руки, как маленькую девочку, и переносил на другую сторону. Он был внимателен и ласков. Иногда он показывал мне, как в Америке танцуют буги-вуги, и, когда я пыталась подражать ему, он смеялся так громко, весело и счастливо, что, глядя на него, и я начинала смеяться. Всем, что он видел, думал или чувствовал, он любил делиться со мной. И мне казалось, что его нежность, внимание и светлая любовь были для меня как бы наградой за темные годы немецкого гнета.

— Мой отец прислал пакетик! — воскликнул однажды Роберт, протягивая мне синий конверт. Я открыла конверт: в тонкую белую бумагу была завернута серебряная брошка в форме офицерской шпалы.

— Я специально заказал это для тебя. Ты знаешь, что это значит? — спросил он.

Я, конечно, не знала.

— Это значит, что у тебя есть друг, американский офицер, —

объяснил он.

— А где живет твой отец? — спросила я.

— В Детройте.

— А мать у тебя есть?

Лицо Роберта вдруг омрачилось.

— У меня мачеха. Я не люблю ее… У меня есть еще брат. Он летчик в Японии. Роберт опять задумался, и на мгновение его лицо приняло рассеянное выражение.

— О чем ты думаешь? — спросила я.

— Я не понимаю, — сказал Роберт, показывая на кучу малышей, которые, вооружившись игрушечными пистолетами и дубинами-винтовками, играли недалеко от нас в войну, — зачем родители позволяют своим детям играть в войну? Ведь столько других игр, в которые можно играть, например, в доктора, учителя, священника, рабочего. Но нет! Уже с малых лет их приучают к оружию, чтобы позже они убивали друг друга.

Роберт был, конечно, прав. А я удивилась глубине и серьезности его мыслей. Часто он из веселого, беззаботного и смеющегося превращался вдруг в спокойного и задумчивого. Однажды, когда он опять внезапно перестал смеяться и задумался, я спросила его, что его беспокоит. Он вынул из бокового кармана фотографию и показал мне. — На меня смотрело очаровательное лицо красивой девушки.

— Это была моя невеста, — сказал он. — А теперь она замужем за летчиком. Я ее очень любил, но… это прошлое.

— А ты с ней еще встречаешься?

— Да. Однажды, когда я в последний раз был в отпуске, я позвонил ей. Мы условились встретиться. Заказали в отеле комнату. Я встретил ее у автобуса. Мы шли по улицам города… Вдруг она стала печальной и остановилась. На стене одного из домов висел плакат с надписью: «Американские жены! Будьте верны своим мужьям-пилотам, которые в чужих странах борются за свободу!». Тут она повернулась и пошла домой. И больше я ее никогда не видел.

Роберт спрятал фотографию в карман. По его лицу пробежала легкая тень. А через минуту он опять беззаботно смеялся, обнажая свои красивые белые зубы.

Я все больше и больше привыкала к Роберту. Конечно, мне льстило то, что американский офицер, победитель, так внимателен ко мне и, как мне казалось, готов положить весь мир к моим ногам. Но моему счастью с Робертом внезапно пришел конец. За неделю до его отъезда у нас произошла ссора.

— Я еду домой, — вдруг объявил он однажды, когда мы вышли на прогулку. — Мы все должны обсудить, как тебе

приехать в Америку. Я все о тебе написал отцу. Как только войне будет объявлен конец, ты приедешь к нам.

Я посмотрела на Роберта и покачала головой.

— Что это значит? — спросил он.

— Я тоже еду домой.

— Ты?

Я кивнула головой.

— Ты едешь обратно в Советский Союз?

— Да.

— Ты с ума сошла?! — сказал он и отступил на шаг, удивленно посмотрев на меня. — Ты — серьезно?

— Да, Роберт. Я все эти годы ждала, когда кончится война, чтобы потом ехать домой. Я очень соскучилась по родителям. Я их давно не видела. А мой отец еще до войны был сослан в Сибирь, и мы не знаем, жив ли он.

Роберт взял мои руки в свои и начал уговаривать меня, как ребенка.

— Ты будешь очень жалеть об этом, Вики. Я тоже люблю Советский Союз, но жизнь там невыносимая. Ты будешь очень жалеть. Подумай об этом! Ты будешь очень несчастная, очень несчастная.

Но я только качала головой.

— Я не думаю. Ведь мы же победили! Теперь определенно будет все иначе, — отвечала я.

Роберт еще долго уговаривал меня, но я оставалась непоколебимой. Тогда он задумался и больше не уговаривал меня. Только иногда он печально смотрел на меня, но не говорил ни слова о моей родине.

Сообщение о разлуке с Робертом меня сначала не очень встревожило. В день отъезда он зашел ко мне и принес мне цветы и большой пакет с подарками.

— Это для тебя, — сказал он, протягивая мне свою фотографию с подписью: «С любовью для Вики. Роберт». Затем он стал на колени, взял мои руки в свои и, одну за другой, начал медленно целовать их. Он делал это так, будто исполнял какой-то священный ритуал. Потом он встал, поцеловал меня и отвернулся.

Я проводила его за дом и долго стояла на улице, печально глядя ему вслед. А через несколько дней после его отъезда мы с Ниной принялись хлопотать о репатриации, и я почти не думала о нем. Только много месяцев спустя, уже на пути назад из Советского Союза, я часто вспоминала Роберта: он был так прав, называя меня сумасшедшей и уговаривая не ехать. Но об этом — позже.

Тем временем Нина перебралась из отеля, где она работала, на частную квартиру. Это была квартира, которую американцы предоставили одной русской женщине-врачу. В последние дни войны она убежала из города в Тельфс, спасаясь от бомбежек. С ней были еще старуха-мать и дочь лет девяти. Они пригласили Нину жить с ними, куда перебралась и я, и скоро все мы зарегистрировались в лагерь репатриантов, который находился недалеко от Тельфса.

Прощание с американцами

Лагерь, куда мы прибыли, был разделен высоким деревянным забором на две части. В одной находились те, которые по каким-то причинам не собирались ехать на родину, в другой — были репатрианты, как мы. Всем жителям лагеря выдавали своего рода удостоверения личности, на которых было написано ДП (перемещенное лицо) или РП (репатриант).

Жизнь в этом лагере была похожа на пеструю ярмарку. Каждый вечер американцы устраивали вечеринки, на которых они вместе с иностранцами праздновали свою победу над фашистами. Во время этих вечеринок завязывались отношения, молодые люди влюблялись друг в друга, и нередко случалось, что иностранцы перекочевывали из одной половины лагеря в другую. Каково же было мое удивление, когда однажды в секторе ДП я встретила Любу. Она твердо решила не возвращаться на родину.

Кормили нас прекрасно, еще никогда не приходилось видеть такого изобилия и растраты продуктов. Американцы заваливали нас шоколадом, чаем, кофе, папиросами, маслом. На обед мы обычно получали густую рисовую кашу с большими ломтями мяса. Утром и вечером нам давали настоящий кофе с молоком и сахаром и белый, как снег, хлеб с маслом, яичницу и прочее. Кроме этого, еженедельно каждый получал большой пакет с сушеными фруктами, бисквитами, орехами и другими сладостями. Но очень скоро все это приелось. Белый хлеб надоел. Захотелось более простой, свежей еды. И мы начали нести наши шоколады крестьянам в деревню и за кофе, сахар и другие продукты получать черный хлеб, картофель и кислую капусту.

В этом лагере мы пробыли недолго, всего недели три-четыре. После этого нас посадили в удобные пассажирские поезда — американцы хотели показать нам, что мы больше не рабы, — и наш состав двинулся на восток. Люба осталась в секторе для невозвращенцев. В Линце, на американо-советской границе нас должны были передать советскому правительству.

В Инсбруке поезд остановился ненадолго, чтобы добавить еще несколько вагонов с репатриантами. В ту же минуту наш состав окружила голодная толпа немцев. В грязных рубахах, в старых платьях и брюках, они молча стояли вдоль вагонов и угрюмо глядели на нас. Они знали, что мы возвращаемся домой и везем с собой американские консервы и папиросы, за которые в те годы можно было купить пол-Германии.

Вдруг одному из репатриантов пришло в голову бросить в толпу пакет сухарей. Ударившись о чью-то голову, пакет

разорвался, и сухари полетели во все стороны. В одно мгновение оборванная и до сих пор молчавшая толпа превратилась в стадо диких зверей. Мужчины и женщины, толкая друг друга, бешено бросились за сухарями. При этом они громко ругались и даже вырывали добычу друг у друга. А иностранцы, стоя у открытых окон и дверей, громко смеялись. Это зрелище голодных немцев доставляло репатриантам большое удовольствие. Во всей этой грубой сцене было что-то жестокое и в то же время ироническое: было странно смотреть, как бывшие представители «высшей расы» теперь в лохмотьях толпились у ног своих недавних рабов, стараясь поймать милостыню. Да, роли переменились. Теперь мы были хозяевами ситуации. Еще больше пищи полетело в толпу: ломти сухого хлеба, бобы, макароны, даже пакетики сахара и муки летели со всех сторон, обсыпая толпу дерущихся немцев. Забыты были их гордость и спесь. А совсем недавно они с таким презрением смотрели на нас, называя нас «русскими свиньями», когда мы шли по улице или когда нас вели под конвоем на работу. А куда девалось их особое отношение к женщинам? Мужчины грубо отталкивали их в сторону, лезли вперед, чтобы схватить что-нибудь съестное. Но еще страшнее выглядела толпа ликовавших репатриантов: они бросали в немцев пищу, стараясь попасть в лицо или в голову, и сопровождали все это непристойными словами и громким смехом. В их лицах было что-то зверское и беспощадное. Обе стороны ненавидели друг друга. Только одни могли теперь это открыто показывать — ведь они мстили за годы унижений и страданий. Другие же должны были заглушать свою ненависть. Но она горела в их голодных глазах и делала их лица какими-то острыми, в которых не было ни малейшего следа безоговорочной капитуляции…

Состав двинулся дальше. В каждом вагоне сидело по два американских солдата — они сопровождали наш транспорт. Позже я заметила, как один молодой американец подсел к моей сестре Нине и все время что-то говорил ей. В ответ она только кивала иногда головой. Когда настала ночь, он дал ей свой спальный мешок. Нина влезла в него и быстро уснула. Скоро все затихло, и я тоже уснула.

Не знаю, как долго я спала. Но когда проснулась, поезд стоял. Вскоре я расслышала, как снаружи доносились какие-то крики, шум, толкотня, свист. Я зажгла спичку и увидела Нину: она сидела посреди пустого вагона и плакала.

— Что случилось? — спросила я ее, но она не ответила.

В тот же момент в вагон ворвалась толпа парней и девушек, снаружи загрохотало. Все начали что-то говорить наперебой, и я ничего не могла понять.

Когда шум немного стих, я узнала следующее. Как только все уснули, молодой американец схватил Нину и прыгнул на ходу из вагона. Некоторые молодые парни, игравшие в карты в соседнем вагоне, заметили это и бросились за ним. В это время поезд шел почему-то очень медленно. Может, тот американец был причиной его замедления, об этом я так и не узнала. По всему составу забили тревогу. Поезд остановился. Поднялась суета, и между американцами и русскими завязалась драка. Нину посадили опять в вагон. Прибыл главный офицер по сопровождению транспорта, и молодой американец признался в том, что хотел увезти Нину. Он хотел определить ее в лагерь для невозвращенцев, чтобы потом забрать в Америку и, таким образом, спасти ее.

Вскоре все затихло, и после того как похитителя удалили из нашего вагона, а Нину успокоили, состав двинулся дальше. Но часа через три, — уже было раннее утро, — поезд опять остановился. Два американца бежали вдоль вагонов и что-то кричали, размахивая руками и показывая, чтобы мы выходили из вагонов. Но их никто не понимал и никто не двигался с места. Тогда терпение американцев лопнуло, они встали перед вагонами, руки в карманах, и начали ужасно ругаться. С моими мизерными знаниями английского языка я обратилась к стоящему недалеко от меня американцу и спросила его, почему мы стоим. Не успела я проговорить и двух слов, как меня тотчас окружила толпа американцев: они все что-то громко и наперебой говорили мне, а я ничего не понимала. Потом пришел начальник состава и сам объяснил мне, я только догадывалась, о чем шла речь, — дальнейшая поездка будет продолжаться на грузовиках, поэтому все должны выйти из вагонов. Я объяснила это моим землякам, но опять никто не двинулся с места.

— Черт побери! — ругались американцы. — Почему никто не выходит?!

— Багаж, — сказала я, показывая на огромные сундуки, мешки, чемоданы и узлы, занимавшие везде по полвагона.

Теперь американцы принялись ругаться еще больше. Самые отборные словечки, которые мы тоже успели изучить во время нашего пребывания с американцами, так и посыпались градом со всех сторон. Американцам, конечно, никак не хотелось таскать тяжелые мешки и сундуки репатриантов. Тем не менее, им больше ничего не оставалось делать, как перетаскивать весь этот багаж из вагонов в грузовики. И конечно, все это сопровождалось бесконечными ругательствами, и только через три часа мы на грузовиках поехали дальше.

Стояла кромешная тьма, и дождь лил как из ведра, когда мы

ночью прибыли в Линц. Нина и я быстро соскочили с грузовика, схватили наши чемоданы — в отличие от других, у нас было очень мало багажа — и сразу же вбежали в барак, скрываясь от дождя. Бараки были переполнены до невозможности. Везде сидели люди, негде было даже ступить ногой. Ужасно усталые после трясучей поездки на грузовике, мы просто сели на пол, где было местечко, и так, скорчившись, просидели до утра.

На следующий день у меня было достаточно времени, чтобы убедиться в том, что мы оказались уже в ином мире, совершенно отличном от того, который оставили.

Перед бараком, где проводилась регистрация новоприбывших, была длинная очередь. Всех репатриантов, которые имели какую-нибудь профессию, сразу посылали тут же в лагере на какие-либо работы или забирали, особенно молодых мужчин, в Красную армию. Катя, наша знакомая врач из Тельфса, с которой мы ехали на родину, получила назначение работать лагерным врачом. Благодаря ее высшей квалификации, ее поместили в «лучший» барак. Но, в сущности, этот «лучший» барак отличался от других только тем, что не был так переполнен. Спать Катя должна была так же, как и мы, на полу. Все же ее это совсем не удручало. Она терпеливо сносила все неудобства и даже, несмотря на нечеловеческие условия, всегда находила время и энергию позаботиться и о своем лице, и о прическе. Каждый раз, когда я навещала ее вечером, она, сидя на полу, накручивала длинные белые волосы (она, конечно же, еще раньше выкрасила их перекисью) на папильотки, загибала ножичком кверху ресницы, красила их тушью, выщипывала свои густые брови, красила ярким лаком ногти и массировала лицо. Благодаря ее личику и прическе все американцы всегда оглядывались на нее и относились к ней с большим уважением. Хотя ей было всего только двадцать семь лет, она очень боялась выглядеть «старой». Такая забота о своей внешности в то время была очень редкой среди репатриантов. Но Катя, как западноевропейская кинозвезда, всегда и всюду таскала с собой маленький чемоданчик с красками, помадами, мазями и прочими принадлежностями туалета. Может быть, она была и права. Потому что все же к ней относились как-то иначе. Вероятно, она знала по опыту, что женщине гораздо легче достигнуть своей цели, если она красивая. Я об этом тогда мало думала, и косметика меня не интересовала. Глядя на Катю, я даже чувствовала легкое презрение к ней за ее чрезмерное увлечение своим туалетом.

Как ни странно, наш лагерь в Линце находился в американской зоне, но лагерное управление было в руках

Советов. Нельзя было и сравнить лагерь в американской зоне с репатриантским лагерем здесь. Разница была слишком большая. Если в американском лагере нас буквально закармливали и много еды мы или выбрасывали, или относили в деревню к немцам, в советском лагере, например, на завтрак мы получали черный кофе без сахара и ломоть непропеченного черного хлеба, от которого у многих началось расстройство желудка. В обед нам выдавали тарелку супа с бобами, в котором плавали черви.

Однажды, стоя в очереди, я увидела такую сцену: мы только получили суп, и группа репатриантов стояла недалеко от кухни и рассматривала его. Один из парней, вытянув червяка из своей тарелки, сказал:

— Нас здесь червями кормят!

Другие, поддерживая его, начали тоже роптать. Вдруг за нашими спинами все услышали — несомненно это был голос НКВДиста:

— А наши солдаты? Что они ели, когда боролись против врага?! А вам лучшего захотелось! Где были вы? Помогали убивать своих!

Он стоял перед нами, будто вырос из земли. Его замечание произвело ошеломляющее впечатление: все замолчали и сразу же разошлись. Такие внезапные встречи с НКВДистами происходили несколько раз в день. Казалось, лагерь кишел ими. Они незаметно подслушивали наши разговоры, иногда вмешивались в них и делали замечания, которые не предвещали ничего хорошего. Выглядело так, как будто нас не освобождали от фашистов, а наоборот, победили, как немцев. На нас смотрели так же недружелюбно, как и на немцев, теперь униженных поражением. Скоро никто больше не решался открыто высказывать свое мнение.

Кроме того, лагерь был обнесен высоким деревянным забором. У входа стояли два вооруженных красноармейца. Так же, как и у немцев, когда мы работали на них, никому не разрешалось покидать лагерь. Сначала я думала, что такие строгие меры были приняты из-за жалоб немецкого населения на все еще частые грабежи со стороны репатриантов. Но оказалось, что причина была иная. Советская администрация хотела предотвратить возвращение репатриантов обратно в американскую или английскую оккупационные зоны. Уже здесь некоторые из нас почувствовали, чем пахнет сталинский рай, и предпочли во что бы то ни стало возвратиться на Запад.

А через две недели нас официально передали Советскому Союзу. В удобных пассажирских вагонах — о транспорте должны были заботиться американцы, так как мы все еще находились на

их территории, — нас повезли дальше на восток.

Когда мы переезжали реку, разделявшую американскую и советскую зону, поезд замедлил ход. Мы все с любопытством высунулись из окон вагонов. Вдоль состава, на мосту и дальше за мостом, в пожелтевших военных формах стояли наши красноармейцы. Все мы радостно начали махать им руками и кричать приветствия:

— Здравствуйте! Добрый день!

Но они стояли как глухие. Никакого ответа.

— Здравствуйте! Как поживаете?

Опять никакого ответа.

— Вы что? Не понимаете по-русски?!

Ничего не действовало. Красноармейцы молчали.

— Да ведь это не русские, — сказал кто-то из репатриантов.

Но мы все еще продолжали кричать приветствия, и, наконец, мы услышали ответ:

— Подождите! Вам скоро покажут «Добрый день»!

Это был один пожилой красноармеец. Он сидел у камня на корточках и смотрел на медленно движущийся поезд. Мы не сразу поняли смысл его слов. Только через некоторое время, когда в ответ на наши дальнейшие приветствия мы увидели угрюмые, немые лица красноармейцев, мы тоже замолчали. Так вот оно что! Нас, вероятно, считают врагами! Мы не достойны даже того, чтобы ответить на наши приветствия!

Перед вечером поезд остановился. Это было странное место. Я до сих пор не могу забыть эту кошмарную остановку, несмотря на то, что уже прошло много лет!

Место было пустынное. Куда ни глянь, ничего не говорило о том, чтобы вблизи находились какие-то селения или люди. В отдалении от нашего поезда видны были какие-то развалины и заросшие железнодорожные рельсы. Вероятно, это была давно разрушенная станция. Сразу же за этими развалинами поднимался вверх крутой холм, покрытый выгоревшей от солнца травой. Здесь, на этой остановке, мы расстались с сопровождающими нас американцами.

Некоторые девушки группами стояли вокруг американцев и обменивались адресами. Все громко разговаривали и трогательно прощались. Недалеко от них стояли красноармейцы.

— Подождите! — бросил один из них девушкам. — Через несколько лет мы и до Америки доберемся!

Американцы попрощались с нами и сели в вагоны. Девушки начали махать им вслед. Мое сердце вдруг учащенно забилось: в эту минуту я почувствовала, как разорвалась та нить, которая как-то связывала нас с другим миром. Я тоже подняла руку и

помахала уезжающим на Запад.

В советском транзитном лагере

Солнце уже село, и нас окружала полнейшая тьма. Но скоро опять показался слабый свет. Вдали что-то двигалось по направлению к нам. На место американского поезда прибыл другой состав с пустыми вагонами. В это время с холма начали подходить к составу какие-то колонны людей, выстроенные по четыре. Возле состава все спуталось, все перемешалось, все копошилось и двигалось, как в настоящем муравейнике. Нас окружали теперь совершенно другие люди, которых мы раньше не видели. Они спустились с этого высокого холма, и их должны грузить в вагоны, чтобы везти дальше. Нам же, новоприбывшим, приказали строиться по четыре и двигаться вверх по холму.

Нина и я стояли немного в стороне от других и в нерешительности смотрели на эту массу людей. Многие репатрианты, которым не под силу было тащить свои мешки и сундуки вверх, тут же нанимали молодых парней и платили им за помощь. Но добровольцев помогать, даже за плату, оказывалось довольно мало. Никто не знал, куда нас ведут. Через некоторое время я решила спросить одну девушку, стоявшую рядом со мной, куда всех этих людей ведут. Мне показалось, что она только что прибыла оттуда. Она ответила шепотом:

— Недалеко за холмом есть лагерь. Он расположен совсем отдельно от селений. Никто не покидает этот лагерь, пока не пройдет чистку НКВД. Для многих там уже дорога на родину закрыта.

Девушка замолчала, а потом, посмотрев внимательно на Нину и на меня, добавила:

— Не идите туда. Лучше постарайтесь попасть в эти вагоны с отправляющимися. Это ужасный лагерь. Там бьют, истязают, ищут власовцев.

Все больше и больше прибывало людей к составу. Одни выходили, другие грузились. Нина и я все еще стояли в нерешительности. Что делать? Идти туда, за холм, или просто сесть в вагон? Здесь нас никто не знает и никто не может донести на нас, что мы не пошли в лагерь, не послушались приказа красноармейцев. С нами не было даже Кати. Она осталась в лагере в Линце. Через несколько минут, когда колонна нашего состава двинулась по холму, к нам подошла Зина, одна из девушек с нашего поезда. У нее был тяжелый сундук, который она сама не могла тащить, и поэтому стала в стороне. Еще один молодой парнишка, печально глядя на движущуюся неизвестно куда массу людей, подошел к нам и тоже стал рядом. И так,

вчетвером, мы стояли, притворившись, что мы из прибывших. А тем временем перед нами развернулась невероятная картина: последняя длинная колонна людей нашего состава двинулась вверх по холму. Один из красноармейцев воткнул первому в ряду мальчику огромный красный флаг с серпом и молотом. Это знамя было очень тяжелое, и парнишка еле удерживал его в руках. Он все время падал на эту двигавшуюся под гору муравейную массу. Каждый из идущих тащил с собой свое скудное добро — мешки, чемоданы, сундуки и прочее. Бледный, еле заметный свет от нескольких фонарей возле состава падал на эту черную массу людей, со всех сторон окруженных красноармейцами. Никто не разговаривал, никто не смеялся. Стояла какая-то странная тишина. Только время от времени был слышен резкий выкрик советского офицера, отдающего распоряжения. Затем — я не поверила своим ушам — раздалась песня о Сталине. Было приказано петь. Но песня не похожа была на пение. Это был приглушенный крик людей, над которыми, как хищный коршун, развевалось красное знамя. Через несколько минут черная масса скрылась за холмом. Только тяжелое облако пыли, поднятое ногами ушедших, медленно скатывалось вниз и окутывало нас душной тьмой.

Несколько минут мы стояли в оцепенении. Уж слишком ясно представала перед нами вся беспощадность правительства нашей родины.

— Я не пойду туда, — прервала наше оцепенение Зина. — Давайте попробуем сесть в вагоны.

Молча мы взяли наши вещи и начали пробираться к составу. Молодой парень помогал Зине тащить ее сундук. Когда мы наконец нашли местечко в одном из вагонов и уселись там, наш спутник шепнул:

— Не хотите вернуться туда? Ведь все это не предвещает ничего хорошего.

— Как же идти обратно? — спросила его Нина.

— Я знаю дорогу. Отсюда недалеко американская зона. Мы пройдем.

— Нет, — сказала я. — Если хочешь идти — иди! Мы хотим домой. Если уж мы решились на этот путь, надо пройти его до конца.

— А почему они с нами не говорят? — замечает опять парень, имея в виду красноармейцев.

— Я не знаю, — ответила я. — Я думаю, что там, дома, будет иначе.

— Ну, как хотите, а я сматываю удочки!

— У меня дома муж и дочь, — сказала Зина. — Я не могу

обратно.

— Ну, как хотите, — сказал опять наш спутник. — Оставайтесь с Богом!

Он взял свой маленький узелок, выбросил его из окна вагона, а потом и сам выпрыгнул за ним во тьму.

Отношение красноармейцев к нам не менялось. Желание возвратиться к американцам высказывалось и среди наших новых соседей по вагону. Многие думали, что лучше вернуться теперь, пока еще недалеко от американской или английской оккупационной зоны, чем когда заедем подальше вглубь. Но делали это немногие. Некоторые из них бросали даже свой багаж и незаметно скрывались.

Наконец наш поезд опять двинулся на восток. Оказалось, что вагоны в составе были разные: были и пассажирские с сидениями, и грузовые — для перевозки скота и других товаров. С помощью того же парня, который уговаривал нас вернуться, нам удалось проникнуть в пассажирский вагон. Нина, Зина и я заняли половину купе. Кроме нас, в нем было еще три человека. Измученные, они даже не смотрели на нас, а уже спали на своих мешках и чемоданах. После того как наш парнишка выпрыгнул из окна, мы закрыли его и тоже начали дремать.

Уже было совсем светло, когда поезд остановился на станции в предместье Будапешта. Говорили, что это местечко раньше было одним из богатых пригородов. В нем жили более привилегированные слои общества. Об этом свидетельствовали многие красивые дома и виллы, но уже пустые и заброшенные. Большинство жителей еще до прихода Красной армии бежало на Запад, не пожелав остаться с освободителями. Теперь эти дома служили приютом для репатриантов. Когда-то их окружали роскошные деревья, о которых заботились их владельцы — подрезали ветки, косили траву и сидели в тени в удобных креслах, пили чай, разговаривали и смеялись с друзьями. Наверное, эти деревья тоскуют по лучшим временам, но не могут об этом сказать. Хотя их грусть, казалось, просачивалась наружу: как свидетели бурь и непогод, они стояли, печально наклонив свои ветви.

И действительно, весь городок был превращен советским правительством в лагерь для возвращенцев на родину. Некоторые местные жители, которым нечего было терять, остались. Это были, в основном, бедные, и они жили немного подальше от этих богатых усадеб. Почти весь городок был заполнен репатриантами. В этом огромном лагере тысячи людей ждали возвращения на родину, многие еще с самого начала весны, то есть до окончания войны. В этом лагере проходили тщательную и последнюю

проверку возвращенцы. Только если не находили никаких препятствий в процессе фильтрования, человек получал разрешение ехать на родину и, если был транспорт, мог отправляться домой. День отъезда был одним из самых долгожданных дней для каждого. Но и тогда отправка на родину задерживалось из-за нехватки транспорта. Еще не все железные дороги работали. Не хватало ни вагонов, ни поездов. А если они и были, то в первую очередь их предоставляли в распоряжение Красной армии. Но и сама армия была частично занята репатриацией советских граждан.

Нам троим, Зине, моей сестре и мне, отвели двухэтажный дом, в котором уже было человек восемь. Нам указали на комнату нижнего этажа. Никакой мебели, никаких постелей, даже соломы, не было. Каждый должен был сам беспокоиться о том, как и на чем он будет спать. К счастью, у нас были те одеяла, которые я притащила с фабрики еще в Тельфсе. Мы постелили их на полу и так спали, а днем сидели на них. Хорошо, что было лето и погода стояла прекрасная.

В каждом доме был своего рода староста. Даже в самых хаотических условиях жизни нельзя было ускользнуть от надзора советской бюрократической машины. Каждый староста должен был следить за тем, чтобы все в доме были зарегистрированы и чтобы все получали извещения явиться в НКВД. Конечно, все знали, что он был одним из первых доносчиков.

Питание здесь было такое же плохое, как и в Линце. Утром — ломоть полусырого, тяжелого как камень хлеба и черный кофе. На обед — такой же ломоть хлеба. А на ужин — тарелка противного, уже раньше нам известного бобового супа с червями. Кухня, где мы получали еду, находилась в двух километрах от нашего дома, почти за городом. По утрам и к ужину туда тянулась длинная вереница мужчин и женщин, девушек и мальчишек.

Советская комендатура расположилась в бывшей ратуше, выходящей на большую площадь. На этой площади по распоряжению комендатуры каждый вечер почти до полуночи играл венгерский оркестр. И каждый вечер со всех концов городка туда стекалась, главным образом, молодежь. Все становились в большой круг, а посередине танцевали.

С одной стороны, эта площадь была интересным местом, где люди знакомились, влюблялись, где можно было услышать разные последние новости и сплетни. Так же, как и на черном рынке, здесь заключались сделки, в которые нередко были вовлечены и венгры. Но в то же время эта площадь была и опасным местом. Почти всюду шныряли НКВДисты. Они, конечно,

не носили свою форму и часто притворялись репатриантами, разговаривали с нами, входили в наше доверие, расспрашивали о личных делах и, вообще, обо всем, что их интересовало, затем докладывали все в НКВД. Нередко случалось, что после таких интимных и дружеских разговоров к человеку подходил в официальной форме НКВДист и вежливо предлагал следовать за ним. Были даже случаи, когда к человеку подходили двое или трое в форме, брали его за руки с обеих сторон и уводили. Может быть, кто-то донес на него, что тот был в армии генерала Власова или служил в немецкой армии. Судьба этих людей нам в то время была неизвестна. Только несколько лет спустя, уже на Западе, мы узнали, как жестоко Сталин расправился с ними. После пыток и допросов их, вероятно, расстреливали или же отправляли в Сибирь на верную гибель. И все это происходило под музыку венгерского оркестра. Музыканты, конечно, делали свое дело. Они хорошо играли. И надо признаться, что это было единственное, что хоть немного облегчало жизнь в этой угрюмой, серой действительности.

Однажды Зина и я шли с ужином от кухни. Было как-то особенно жарко, и мы сели на поле в тени большого камня отдохнуть. Солнце жгло, как в пустыне, трава вокруг совсем выгорела, и земля под нашими босыми ногами казалась раскаленной, как печка.

— Я вам с Ниной не рассказывала, — начала Зина. — Я приехала в Германию добровольно. Тебе и Нине нечего бояться, а мне страшно.

— Но ведь многие приехали добровольно, потому что дома нечего было есть. Я тоже могла бы сопротивляться, когда немцы везли меня на биржу труда. Но что бы я делала дома? Что бы мы все ели? — сказала я.

— Это не все, — опять говорит Зина. — Если в НКВД узнают, где я работала, то мне дома не видать.

— А где же ты работала? — спросила я.

— На радио. В отделе пропаганды.

— Да как ты туда попала? — удивилась я. — Работать в таком месте одной из наших — ведь это совсем невероятно.

— Я уже дома говорила довольно бегло по-немецки. А потом в Германии мне предложили там работать.

Конечно, я теперь поняла страх Зины перед НКВД. Во-первых, уже стало известно, что все, кто приехал в Германию добровольно, не возвращались домой. Их посылали на два года в отдаленные места на перевоспитание в исправительный лагерь, чтобы «очиститься» от гнилого Запада. Такие исправительные лагеря были и на Урале, и в Сибири. Только после этого

репатрианты могли ехать домой, и то, если они не жили в столицах или больших городах республик. Въезд в столицы республик для репатриантов был закрыт лет на пять. Конечно, в этих лагерях никто не занимался приятным времяпрепровождением. Все должны были работать на заводах, фабриках или на дорогах. А с теми, которые занимались в Германии каким-нибудь политическим делом, обращались особенно строго. После допросов в НКВД их или же сразу арестовывали, или направляли специальным транспортом прямо в Сибирь. Такая же участь постигла и всех крымских татар. Советское правительство знало, что татары охотно сдавались немцам. Кроме того, многие из них ехали в Германию добровольно. Никого из них не пускали обратно в Крым. Для них формировались специальные составы. И как только набиралось определенное количество, их грузили в вагоны и под строжайшим конвоем везли прямо в Сибирь. Большинство из них и не знало, куда их везут.

Украинцев советское правительство тоже считало предателями. Украинцы были виной тому — этот упрек можно было всегда слышать от НКВДистов во время регистрации, — что враг проник так далеко вглубь страны. Но, по сравнению с татарами, украинцев было слишком много, а всех в Сибирь не отправишь.

— Знает ли кто здесь в лагере, что ты работала на радио? — спросила я Зину.

— Нет.

— Это хорошо. Не говори об этом никому. А для НКВД ты можешь что-нибудь другое выдумать. Кто теперь это может проверить? Кроме того, ты как-то сказала, что твой муж — член партии.

— Ах! Что мой муж! — отмахнулась она. — Я еще до войны не жила с ним. А когда началась война, он эвакуировался на Урал, а я уехала из Москвы в Киев, к маме. А когда пришли немцы, я добровольно поехала в Германию.

— Все это тебе не нужно рассказывать в НКВД. Скажи просто, что твой муж член партии. Это тебе очень поможет. Увидишь!

Я встала. Зина тоже поднялась. Мы оглянулись по сторонам: слава Богу, нас никто не подслушивал! Мы молча пошли к нашему жилищу, где Нина ждала нас с ужином.

Через пару недель после нашего разговора Зину вызвали в НКВД. Она возвратилась с улыбающимся лицом. Когда я спросила ее, как все прошло, она ответила:

— Со мной обращались очень вежливо. То, что мой муж член партии, произвело на офицера НКВД большое впечатление. Он

обещал, что меня скоро отправят домой.

Несмотря на то, что вызов в НКВД должен был последовать через определенное время пребывания в лагере, дело обстояло иначе. Первыми вызывали «враждебных элементов»: власовцев, бывших солдат гитлеровской армии, татар и потом только добровольно уехавших и всех остальных. С помощью доносчиков, которых было везде полно, — они шныряли на танцплощадке и даже в домах, где находились репатрианты, — НКВД удавалось вылавливать многих, за кем они охотились в первую очередь. Конечно, доносили часто и сами репатрианты. Их заставляли работать на НКВД, обещая им за это более легкий путь домой и прощение «грехов».

Но были и другие причины внеочередного вызова в НКВД и ускорения отправки домой. Это чаще всего случалось с какой-нибудь красивой девушкой, которая бросилась в глаза какому-то офицеру НКВД или высшему военному. Многие девушки и женщины знали это и старались всегда прихорашиваться и регулярно посещать танцплощадку. Так случилось с красавицей Галиной, которую совсем недавно поместили к нам.

Галина никогда не торчала дома. С первого же дня она каждый вечер ходила на танцы. Она была среднего роста, тоненькая и изящная. Одевалась она по западноевропейской моде. Ее длинные волнистые волосы красиво падали на плечи, и она прикалывала к ним свежую розу или бант. На танцплощадке она всегда была окружена толпой парней, русских и венгров. Все хотели с ней танцевать. А танцевала она великолепно, — казалось, что ее ноги, в башмачках, как у Золушки, совсем не касались земли. Ходили слухи, что она раньше была балериной.

Ее вызвали в НКВД через неделю. После возвращения она молча собрала свои вещи и перебралась в другой дом, более красивый и комфортабельный. А вскоре после этого она стала появляться на танцплощадке в сопровождении пожилого полковника, за которого потом вышла замуж.

— Вот хорошего поймала себе на удочку, — заметила Зина.

Действительно, если кому из девушек удавалось подружиться с офицером НКВД или Красной армии, то это можно было считать большим счастьем. Несмотря на то, что офицерам, как и рядовым, — были, конечно, и исключения, — не разрешалось вступать в брак с репатриантами за границей, — дорога на родину была уже беспрепятственной.

В лагерной больнице

Уже почти четыре недели прошло с тех пор, как мы с Ниной приехали в этот лагерь, а повесток явиться в НКВД нам все еще не было. Жизнь шла монотонно, каждый день одно и то же: походы на кухню за завтраком и ужином, вместо кроватей — твердый пол, везде люди, танцплощадка, сексоты, грустные рассказы земляков и вечное ожидание возвращения домой. Все это мне, так опротивело, что я решила зарегистрироваться на работу в лагерную больницу. Ведь у меня было хоть небольшое медицинское образование и я имела право работать медсестрой.

Рано утром я пошла к единственному на весь лагерь врачу. Так как у меня не было при себе документов об окончании курсов медсестер, доктор Волков — так его звали — устроил мне маленький медицинский экзамен. В тот же день после обеда я начала работать.

Доктору Волкову было приблизительно лет сорок. Во время войны он попал к немцам в плен и работал врачом в лагере военнопленных в Германии. Он был сухощав, среднего роста, с бледным, желтоватого оттенка лицом. Но видно было, что дело свое он знает. Он работал много, с утра до вечера, а вечерами его часто вызывали к себе на дом офицеры.

— Здесь много работы, — сказал он мне. — Среди репатриантов, которых мы должны обследовать до отправки, большинство венерические больные. Это здесь главная болезнь. Никто из этих больных не может вернуться домой, пока не вылечится.

Такое было распоряжение.

Я спросила его, есть ли лекарства.

— Нет, — ответил он. — Единственное лекарство — калий-гиперианганикум. Это все, что у нас есть.

Доктор Волков объяснил еще мне, что самые заразные и серьезные больные находятся в двух казармах, которые расположены недалеко от нашей поликлиники, если я хочу, могу посмотреть. Я согласилась, и он тут же позвал одну из сестер, которая повела меня туда. Это была небольшого роста грузинка. Она работала в этом лагере уже с самого начала репатриации.

Место, где находились эти казармы, со всех сторон охранялось красноармейцами. Никому из больных не разрешалось выходить, кроме трех раз в неделю на лечение в поликлинику. Это «лечение» заключалось в том, что женщин промывали раствором калия-гиперианганикума. Обе казармы были переполнены. Больные лежали или сидели на полу, на своих

скудных тряпках. Не было ни тюфяков, ни кроватей — абсолютно ничего. Многие из этих больных уже давно ждали выздоровления и отправки на родину. И каждый день прибывали все новые и новые. Со временем некоторые больные начинали понимать, что венерическую болезнь промыванием не вылечишь. Они начали продавать свои вещи и стараться достать на черном рынке через венгров в то время невероятно дорогой пенициллин или сульфидин. Часто торгаши их обманывали. Вместо медикаментов они получали какую-то ерунду. Иногда они показывали эти порошки доктору Волкову и просили достать им настоящий пенициллин или сульфидин. Они давали ему деньги. Доктор соглашался, брал у них деньги и, если мог, покупал им лекарства у офицеров Красной армии, которые, в свою очередь, получали их от американцев. Но лекарств не хватало. Кроме того, многие не в состоянии были заплатить за них огромные деньги. Так что им ничего не оставалось делать, кроме как надеяться на чудо.

Ночью в каждой казарме дежурила одна из сестер. Иногда в свое дежурство я просматривала некоторые карточки больных, где были записаны истории болезней. Меня поразило то, что почти все девушки с венерическими заболеваниями были в возрасте от восемнадцати до двадцати восьми лет. А данные о начале болезни подтверждали мои догадки о самом худшем — об изнасиловании их советскими красноармейцами во время захвата немецких территорий. Среди мужчин-репатриантов венерических больных было гораздо меньше.

Однажды ночью, когда я сидела, углубившись в чтение историй болезни, в комнату постучали. Я открыла дверь. Вошла пожилая женщина, лет пятидесяти, в белом платочке на голове. Она несмело посмотрела на меня и сразу же начала говорить:

— Извините, сестричка, я бы хотела вас о чем-то спросить.

— Садитесь, — я подвинула ей стул.

— Моя доченька лежит здесь в больнице. Я перебралась к ней, потому что не хочу оставлять ее одну. И вот я вас хочу спросить, сколько времени она будет здесь? Когда она вылечится? Я не могу дождаться дня, когда мы сможем ехать домой, на родину.

— Как ваша фамилия? — спросила я.

Женщина ответила не сразу. Она закрыла лицо кончиками своего платка и начала плакать. Потом назвала мне имя и фамилию дочери. Я посмотрела на ее карточку: шестнадцать лет. Сифилис. Изнасилована весной 1945-го года. Я положила карточку обратно.

— Как это случилось?

Женщина немного успокоилась и начала говорить, все еще

всхлипывая:

— Наши… Изнасиловали мою доченьку среди бела дня. Это было в Вене. Мы сидели в подвале, когда брали город. А когда мы вышли… на нее набросилось девять солдат… своих же… Я стояла рядом и хотела их отогнать, но меня оттолкнули в сторону. Я плакала, просила смилостивиться, но мне только крикнули, чтобы я замолчала, а то и меня возьмут… С тех пор с ней и началось это…

Она замолчала. Я тоже молчала. Я не знала, как утешить страдающую мать. История изнасилования еще непорочной девушки меня глубоко тронула. И я невольно вспомнила занятие Тельфса американцами. Как не непохоже было их поведение на поведение красноармейцев! Американцы принесли нам мир и настоящее освобождение. Они старались быть вежливыми со всеми жителями, побежденными и освобожденными. Если и были где-нибудь нарушения их армейской дисциплины, незначительные кражи или даже изнасилования, то это были единичные случаи, за которые строго наказывали. В сущности, многие немки сами начали бегать за американскими солдатами, им не нужно было их насиловать….

— Как только вернетесь домой, обратитесь сразу же к хорошему специалисту, — сказала я. — Я надеюсь, что советское правительство поможет вашей дочери выздороветь.

— Как долго еще будет длиться эта болезнь? — не унималась мать.

— Здесь нет нужных лекарств. Может, ее скоро отошлют в больницу на родине, где ее начнут лечить правильно. Тогда она скоро выздоровеет.

Женщина опять заплакала. Я не могла больше выдержать. Я встала и подошла к ней. С минуту я молчала, потом положила ей на плечо руку:

— Не плачьте! Все устроится. Надо немножко терпения. Но смотрите, чтобы и вы не заболели. Ведь тогда у вас будет еще больше горя. Это инфекционная болезнь. Надо быть осторожной.

Работа в больнице и особенно разговоры с больными показали мне другое лицо войны, более ужасное и бесчеловечное, чем внешний вид опустошенных городов. Теперь мне стало ясно, что трагедия войны в душах людей еще долго будет продолжаться. Это несчастье больше, чем разрушение городов и селений. Миллионы людей вырваны из нормальной колеи жизни и брошены в ужасные условия — условия, которые окажут огромные последствия на их будущую жизнь. Но несмотря на все, эти люди, лежащие в комнатах и коридорах в этих казармах, думали только об одном: поскорее возвратиться домой и снова

начать нормальную жизнь.

Иногда во время моего ночного дежурства ко мне заходила Нина. И я ей показывала, что наделали красноармейцы. Как мы радовались, что не они нас освободили от немцев! Работая в больнице, я теперь твердо решила по возвращении домой изучать медицину. Я хотела помочь всем этим людям выздороветь.

Доктор Волков был всегда внимателен ко мне и рассказывал все, что меня интересовало. Но о себе он никогда не говорил. Я узнала только, что до войны он жил в Сталино, на Донбассе, где работал в больнице. Ему очень нравился этот город, и он хотел вернуться туда.

Моя коллега Люда, которая показывала мне казармы с больными, знала о нем больше. Судя по их отношениям, мне казалось, что между ними было что-то интимное, что-то скрытое. Она знала, что он вдовец и что у него есть где-то сын. Но об этом он ни с кем не говорил.

Однажды вечером, когда после работы мы шли домой, она сказала:

— Зайдем к доктору, поздороваемся! Он живет здесь, в этом доме, — и она показала на небольшой домик, отгороженный от улицы деревянным забором. Через ворота мы вошли во двор и сразу же увидели доктора. Он сидел за столом в саду под деревом. Видимо, — он был погружен в свои мысли, потому что совсем нас не заметил. Только когда мы с ним поздоровались, он поднял голову:

— Здравствуйте, — сказал он. — Все в поликлинике в порядке?

— Все в порядке, — ответила Люда. — Из начальства никто сегодня не приходил.

Она сказала это потому, что обычно к концу дня к нам всегда приходил кто-нибудь из НКВД и мы докладывали ему о ходе работы, о новоприбывших, о медикаментах и о прочем.

— А разве ты сегодня не свободна, Люда? — обратился он к ней.

— Я совсем об этом забыла. Ничего, я возьму выходной в другой раз, — ответила она.

Мне бросилось в глаза, что доктор Волков выглядел как-то устало и был немного рассеян. Он неохотно разговаривал с нами, и мы скоро ушли.

— Ты что-нибудь заметила в нем? — спросила Люда, когда мы были уже на улице.

— Нет. Кажется, ничего особенного, — ответила я. — Мне только показалось, что он очень устал.

— Ты очень наивная, — сказала она.

— Как?

— Ты действительно не видишь, что с ним?

— Что же с ним?

— Он морфинист.

Я остановилась, не веря своим ушам. Мне никогда не пришло бы даже в голову подумать об этом.

— Откуда же он достает морфий?

— На черном рынке.

— А деньги? — удивлялась я еще больше, зная, что за работу никому ничего не платили.

— Да! Деньги! — ответила Люда, пожимая плечами. — Деньги он получает от пациентов, которые продают свои последние тряпки, чтобы он достал им лекарства.

Я молчала. Мне не хотелось верить тому, что говорила Люда. «Как он мог так поступать при виде такого ужаса вокруг себя?» — думала я. А Люда продолжала:

— Ну, конечно, он их получает не только от репатриантов. Советские офицеры дают ему деньги на это и даже больше. Они обычно приходят к нему вечерами после работы, или же он идет к ним. Чаще всего он идет к ним. Они не хотят, чтобы их кто-то видел у него.

— Но ведь у военных есть свой врач!

— К тому по некоторым причинам они в этом деле не обращаются. Он тебя никогда не просил ассистировать ему вечером?

— Нет.

— Скоро попросит. Да. Я уже часто помогала ему.

Я внимательно и подозрительно посмотрела на Люду. Не ревнует ли она меня к нему? Она говорила, как бы обвиняя его в чем-то, а я в то же время ловила себя на мысли, не выдумывает ли она все это. В ее голосе чувствовалась к тому же горечь, причину которой я не знала. Эта горечь была даже в ее взгляде каждый раз, когда она смотрела на него. Наконец я поняла, что эта маленькая женщина с гордыми грузинскими чертами лица вероятно очень любила его. Может быть, он разочаровал ее?

— Бедные репатрианты, все надеются на выздоровление, — сказала я. — Мне их очень жаль.

— Ну, это еще ничего, — продолжала Люда. — Немного сульфидина или пенициллина им все равно не поможет. Гораздо хуже то, что когда у него деньги, с ним ничего нельзя сделать. Он впрыскивает себе морфий.

— И никто еще не пожаловался? — спросила я.

— Жаловаться? Нет! — Это рано или поздно само собой выйдет наружу. От НКВД надолго ничего не скроешь.

Скоро я поняла, что почти все в больнице знали, что доктор Волков — морфинист. Но об этом никто не говорил. Если случалось, что НКВДисты делали инспекцию в то время, когда доктор был «не в форме», то старались ему сообщить об этом, и, обыкновенно, ему удавалось уйти «по делам». Хотя кто-то из НКВД приходил почти каждый день к концу дня, тщательные инспекции были только раз или два в неделю. Тогда приходили чаще всего два офицера НКВД и требовали от нас список больных, отчет о состоянии венерических больных, прежних и новоприбывших. Все это нужно было для статистики, а также для информации о положении в лагере. То, что доктор Волков по вечерам принимал рядовых и офицеров, не входило в отчет о нашей поликлинике. Это были неофициальные больные, не подлежавшие лагерному режиму. Да, когда доктор Волков принимал их по вечерам, одна из сестер помогала ему. Эта работа сестры тоже не считалась официальной.

В эти вечерние приемные часы было довольно интересно. Особенно смешно было видеть, как сильные и мужественные в обыденной жизни красноармейцы в приемной врача становились беспомощными, как дети. Иногда «в награду» за лечение они приносили нам белый хлеб, фрукты и консервы. А когда нас вызывал какой-нибудь офицер на дом, нас часто угощали изысканными блюдами, — все из американской помощи. Один майор, к которому однажды взял меня доктор Волков, пригласил нас выпить с ним крымского шампанского. Это было неслыханной редкостью в те времена. Когда хозяин немного подпил, он начал рассказывать нам неимоверное: как он нарочно заражал молодых и красивых девушек своей болезнью.

— Все гниль, — говорил он. — Так пусть все еще больше станет гнилью.

— Нельзя. Нельзя, — тоже подвыпивши, отвечал ему доктор Волков.

— А мне что?! Если я — пусть и другие! — отвечал майор.

Допрос

Только после почти двухмесячного пребывания в лагере весь наш дом получил наконец вызов в НКВД. На следующий день, рано утром, мы все собрались перед зданием НКВД, занимавшим одну из частных венгерских вилл. Перед домом уже стояла большая толпа репатриантов из других домов. В большой приемной за двумя столами сидели два НКВДиста и регистрировали явившихся. После этого через некоторое время вызывали по фамилиям, и один из красноармейцев (вероятно, тоже НКВДист) сопровождал вызванного на второй этаж, где в отдельных кабинетах сидели офицеры и каждого «выворачивали наизнанку».

Допрос некоторых репатриантов продолжался недолго. Других держали подольше, в зависимости от «преступлений». Нужно заметить, что советское правительство смотрело на всех репатриантов, как на преступников, немецких коллаборационистов или просто, как на изменников родины. Ведь все мы, — так говорили нам, — работали с немцами против своих. По каким-то рассуждениям советского правительства никто не должен попадать в плен к врагу. Надо до последней капли крови защищать свою родину. Таким образом, все наши военнопленные, находившиеся у немцев, считались изменниками. Мне хорошо запомнились слова дяди Феди, когда однажды в середине тридцатых годов он проводил у нас свой отпуск. Он учился тогда в Военной академии. — «Я не имею права попадать в плен, — говорил он, — последняя пуля — себе в лоб». Так должен был поступать каждый советский патриот. Поэтому все военнопленные подвергались строжайшей чистке. Но их дела рассматривал особый отдел НКВД. В нашем же лагере находились, главным образом, гражданские репатрианты.

В процессе допросов нередко случалось, что допрашиваемого «выводили», вернее, арестовывали. Тогда вызывали военных, которые сопровождали его в другое отделение НКВД, откуда он так скоро не возвращался, а то и исчезал совсем. Некоторые выходили из кабинетов в слезах, другие — потупя голову и ни на кого не глядя. Тогда всем присутствующим становилось ясно, что во время допроса возникли некоторые «препятствия». Только у немногих все проходило гладко. Но если даже человек прошел допрос без сложностей, то это еще не значило, что он скоро может ехать на родину. Часто нужно было ждать еще недели три-четыре, пока найдется транспорт для отправки репатриантов. Советское правительство с отправкой своих граждан домой не

очень-то спешило. — Все равно, они уже находились в их лапах. А поезда, которые были в распоряжении советских оккупационных войск, мобилизовывались, в первую очередь, для демонтажа немецких заводов и фабрик.

Глядя, как день и ночь, эшелон за эшелоном тянулись на восток товарные вагоны, нагруженные сырьем, рудой, углем, машинами, всяким промышленным хламом, было ясно, что роли теперь действительно переменились. В начале войны немцы вывозили все, что только можно, из Советского Союза, даже украинский чернозем. А теперь — все наоборот.

Уже было за полдень, а мы с Ниной все еще ждали вызова к офицеру на допрос. Время шло медленно. В большой приемной некоторые репатрианты сидели вдоль стен на скамейках, другие стояли небольшими группами и разговаривали. Тут же мы с Ниной стали свидетелями одной интересной сцены.

На старом столе, стоящем в углу комнаты, сидели четыре девушки и курили американские сигареты. НКВДисты, сидевшие за регистрационным столом, косо поглядывали на них. Вероятно, потому, что у них не было таких хороших сигарет.

— А ты откуда? — вдруг обращается один из них к девушке, сидевшей на краю стола и болтавшей своими ногами в нейлоновых чулках.

Девушка спокойно вынимает сигарету лаки-страйк, закуривает и отвечает:

— Из Киева.

— И куда ты хочешь вернуться?

— Куда? Странный вопрос! Конечно, в Киев!

— Таких б….. там не нужно! — бросает ей в ответ НКВДист.

В приемной стало совсем тихо. Все с напряжением следили за странным разговором между девушкой и НКВДистом и смотрели то на нее, то на него. Я тоже с удивлением таращила глаза на НКВДиста. Такой грубости от представителя советского правительства я не ожидала. Он довольно грузно сидел на своем стуле и враждебно косился на девушку. Она тоже, казалось, была не меньше ошарашена его ответом, чем все мы в комнате. С минуту она молча смотрела на него, а потом вдруг встряхнула головой, гордо подняла ее, закинула ногу за ногу и, затянувшись своей сигаретой, сказала ясно и четко:

— Ну, мы, конечно, здесь ни при чем, что вы нас бросили на произвол судьбы Гитлеру. Вы так храбро защищали свою родину, что побыстрее смотали удочки и дали деру за Урал, спасая свою шкуру. А теперь мы виноваты.

Последние слова ее прозвучали с явным сарказмом. Все заметили, как лицо НКВДиста густо покраснело. То, что он

услышал от девушки, было логичным ответом на его грубость и не уступало его же собственной дерзости. Мы ожидали какого-то взрыва НКВДиста. Но он промолчал. А репатрианты, видевшие всю эту сцену, ликовали — ведь сколько раз приходилось нам всем слышать от НКВДистов всякие оскорбления о «сотрудничестве с немцами», об «измене родине», о «предательстве» и прочем. И никто из нас не смел ответить им так, как это сделала сейчас киевлянка.

Защищать себя против несправедливых упреков со стороны представителей советских органов могли только самые смелые. А ведь, в сущности, все мы, да и они, прекрасно знали, как в начале войны советское правительство, не переставая, долбило нам по радио: «Мы будем бить врага на его же территории». А что потом из этого вышло? Эта же «самая сильная и самая мужественная в мире Красная армия» в панике бежала от врага. То, что девушка бросила НКВДисту в лицо, было самым чувствительным местом каждого советского военного.

Вскоре девушку из Киева позвали наверх в кабинет офицера. Проходя мимо сидящего за столом НКВДиста, она оглянулась на него и прошептала, но так, что ее шепот был слышен в самом дальнем конце комнаты:

— Не надо было убегать, а защищать свою родину! Вы же солдаты, не мы!

И, грациозно подняв голову, она весело подмигнула нам и ушла наверх в сопровождении красноармейца.

Я обвела глазами всех собравшихся в комнате: подавляющее большинство были женщины. Мужчин было довольно мало. Все начали громко разговаривать, открыто проявляя свою симпатию к красивой и храброй киевлянке. Но мужчины испуганно молчали. Здесь, как и у немцев, с мужчинами обращались гораздо хуже, чем с женщинами. Поэтому так говорить с НКВДистом могла только женщина. Советское правительство было хорошо проинформировано о том, что многие мужчины в начале войны дезертировали из армии, а многие уехали добровольно в Германию. Теперь они должны были гораздо тяжелее расплачиваться за свою «измену», чем женщины. Многих мужчин после проверки фильтрационной комиссии забирали в армию на всевозможные грязные работы. Какая судьба их ожидала дальше, никто из нас тогда не знал. Но ясно было одно: на родину они не сразу ехали. Только старики, слабые и больные могли надеяться на возвращение на родину.

Хотя нам, женщинам, было немного легче, нас тоже старались унизить и оскорбить, где только возможно. Особенно те, которые были хорошо одеты и с западноевропейскими

прическами, были излюбленной мишенью для всяческих оскорблений со стороны «официальных лиц». И солдаты, и офицеры нас часто величали «б……», «фрицевскими подстилками», «европейским дерьмом». В лагере много говорили об одном случае, который произошел в Вене вскоре после занятия города советскими войсками. Этот случай был одним из многих типичных случаев послевоенного хаоса.

В Вену прибыл советский военный пароход. Молодые матросы пошли в один из лагерей репатриантов и пригласили девушек на пароход, чтобы праздновать с ними победу над немцами. Девушки, конечно, обрадовались своим землякам и приняли приглашение. На палубе были расставлены длинные столы со всякими яствами — из американских посылок. Пир продолжался далеко за полночь. Все веселились, ели, запивая водкой и вином, и пели советские песни. Затем раздался свист. Как по команде, матросы бросились на девушек. Многие были изнасилованы, избиты, оскорблены. Затем пьяные матросы начали швырять девушек за борт. Поднялся крик и плач. Но все крики тонули в хохоте обезумевших пьяных моряков…

В комнате, где мы ожидали вызова наверх, было несколько татар. После того как они зарегистрировались, служащий НКВД с явной насмешкой в голосе объявил им:

— Вам не нужно ждать. Идите к себе. Вам скоро сообщат, когда ехать домой.

Мне показалось, что он особенно подчеркнул слово «домой». А после того как татары ушли, все опять замолчали. Действительно ли они поедут домой? Ведь уже почти все в лагере знали, кроме, может, самих татар, что их новым местом жительства будет Сибирь.

Только к вечеру вызвали нас с Ниной. Служащий НКВД провел нас на второй этаж, где находилось пять дверей. У каждой двери стоял военный красноармеец. Один из них показал нам, куда входить: Нине в одну дверь, мне — в другую.

Я переступила порог: за столом сидел молодой офицер в элегантной форме и довольно красивый. Его лицо показалось мне немного знакомым. Он перелистывал какие-то бумаги, затем поднял глаза и сказал:

— Садитесь!

Когда я села, он опять сразу же обратился ко мне с вопросом:

— У вас, кажется, две фамилии?

— Да, — ответила я запинаясь, не зная, с чего начать распутывать сложную историю моих двух фамилий. У меня все еще не было документов на мою прежнюю фамилию. Когда пришли американцы, я сразу же обратилась к ним, чтобы

получить удостоверение личности. Но это оказалось не так легко. Мне просто не верили. К фальшивым фамилиям американцы всегда относились с невероятным подозрением. Позже мне пришлось еще раз менять фамилию, и это стало одним из самых главных препятствий в моей жизни. Но тогда пришла Флора и объяснила им мои обстоятельства пребывания у них во время войны, мне выдали документ на мою фамилию. Но в этом документе оставили почему-то и мою вымышленную фамилию. И вот теперь мне пришлось опять излагать всю эту историю о побеге из немецкого лагеря и прочее. Но пока офицер НКВД не настаивал на деталях истории с фамилией. Он начал издалека:

— Расскажите мне подробно, кто ваши родители и как вы попали в Германию.

Я начала ему рассказывать о родителях. Не умолчала и о том, что отца сослали в Сибирь. Затем кратко описала ему нашу скитальческую жизнь на родине и, наконец, жизнь после прихода немцев, как мы вернулись в нашу деревню и как оттуда меня забрали в Германию. Затем я описала ему нечеловеческие условия во Фрейтале, о моем бегстве, об аресте и о том, как получилось, что у меня фальшивая фамилия, и что, в сущности, Нина — моя родная сестра.

Во время моего рассказа офицер ни разу не остановил меня. И что мне под конец показалось странным, он даже не расспрашивал о подробностях, без которых все могло показаться неясным. Конечно, я старалась сократить всю историю и она вышла довольно сжатой и сухой.

Офицер посмотрел на часы и сказал:

— Я вижу, ваша история сложная. На этом мы сегодня закончим. А завтра в шесть часов вечера вы прейдите ко мне на квартиру и расскажете все подробно.

Он взял лист бумаги, написал свой адрес и протянул мне:

— До завтра.

— До свидания, — ответила я, немного опешив, и направилась к двери.

— Ах, да! — услышала я опять, — скажите вашей сестре, чтобы зашла ко мне на минутку.

Нина уже ждала меня в коридоре. Она зашла к офицеру, а я спустилась вниз. Минут через десять она вернулась. По дороге домой я спросила, что говорил ей НКВДист.

— Немного, — ответила она. — Он только спросил о родителях, потом сказал, что мне больше не надо приходить к ним, что он обсудит наше дело с тобой.

Мне это было на руку. Нина была еще наивной девушкой. Из-за войны она не закончила образование, в делах политики была

неопытной. Помимо всего, я считала Нину не очень ловкой в разговорах с советскими «органами».

Когда на следующий день я вернулась в больницу, то узнала, что доктора Волкова арестовали. Вероятно, кто-то из репатриантов остался недоволен его лечением и донес на него.

— Ну и что теперь? — спросила я коллег.

— Нам надо идти в НКВД. Ведь у нас завал работы. Завтра проверка больных, без него мы не справимся, — ответила одна из сестер.

Было решено, что в НКВД пойдем Люда и я. Не долго думая, в наших белых халатах мы с Людой сразу же направились к зданию НКВД. В кабинете, где сидел, вероятно, секретарь, офицер НКВД, нас очень приветливо приняли и доложили о нас майору. Когда нас ввели в кабинет, мы объяснили положение дел в больнице и показали длинные списки больных, которые назначены на очередной прием. Помимо этого, была еще регистрация новоприбывших. Майор посмотрел на списки и сказал:

— Продолжайте регистрацию новоприбывших, а прием на лечение отложите на пару часов. Я сейчас займусь делом доктора Волкова.

Когда мы проходили через двор, за одним из окон с решетками увидели нашего доктора. Он разговаривал с каким-то заключенным. Заметив нас, он быстро отошел от окна.

— Постой, — Люда схватила меня за руку. — Он стыдится нас. Оставим его в покое.

Мы вернулись в больницу, а после обеда пришел и доктор Волков. Ни с кем не разговаривая, он надел свой халат и начал прием больных, как будто ничего и не случилось. Но он, вероятно, догадывался, что мы ходили хлопотать за него.

К пяти часам мне разрешили уйти, чтобы вовремя прибыть на допрос к офицеру НКВД по расследованию моего дела. Уходя, я оглянулась на доктора Волкова, который с засученными рукавами руководил процедурой «лечения». Он, в свою очередь, посмотрел на меня и, подмигнув мне, махнул рукой.

День был не в меру жаркий и сухой. На улицах было много людей. Венгерские крестьянки, ярко и красочно одетые, возвращались с базара. Репатрианты группами расхаживали по улицам, громко разговаривая. Советские офицеры и солдаты тоже гуляли в своих обильно украшенных орденами формах. Их уже издали можно было узнать — каждое предложение они сопровождали потоком матерщинных слов, — привычка, без которой нельзя было представить себе ни одного советского военного в то время — будь то солдат или офицер. На каждом углу стояли группы молодых венгерских парней с черными

глазами и смуглыми от загара лицами. Большинство из них орудовали на черном рынке. Они высматривали жертвы для своих сделок за американские сигареты и консервы. Глядя на них, я удивлялась, как все же немало было и венгров в этом, казалось, только для репатриантов предназначенном селении. Вероятно, не все ушли от русских. Оставшиеся по-своему приспосабливались к новым обстоятельствам жизни, стараясь и в этих условиях извлечь хоть какую-нибудь выгоду.

Я надела свое любимое синее шелковое платье, которое так всем нравилось еще в Тельфсе, те же пробковые туфли, тогда еще в моде, а волосы подняла вверх, тоже по последней моде. Конечно, я умышленно прихорошилась. Зная, как мужчины относятся к хорошеньким женщинам, я думала, что это мне тоже поможет поскорее поехать домой.

Мой вид не остался незамеченным. Венгерские парни то и дело заговаривали со мной и кричали вслед «сыпь», что по-венгерски значило «красивая». А советские военные, принимая меня за венгерку, делали свои замечания, которые, в отличие от венгерских, были лишены всякой деликатности. Все их комплименты сводились к тому, что они сейчас бы со мной «переспали».

Один из них, проходя с товарищем мимо меня, сказал ему:

— А эту венгерочку я бы тоже е…..!

Я, конечно, притворилась, что ничего не понимаю. Но иногда мне не удавалось скрыть улыбки. Тогда я видела, как наши военные с удивлением и неловкостью смотрели на меня и сразу же отворачивались в сторону. Эта ситуация напомнила мне один эпизод, ярко характеризовавший наше положение в Германии. Я слышала его еще в Дрездене.

Это было в каком-то городе. Несколько русских девушек ехали трамваем. Они говорили по-русски и думали, что их никто не понимает. Людей было мало. Поэтому они не боялись и громко разговаривали и смеялись. На одной из остановок в трамвай вошел невероятно толстый мужчина. Он был так толст, что некоторые девушки начали хихикать. Одна из них заметила:

— Посмотрите, девки! Вот сейчас сядет и лопнет!

Толстяк спокойно сел, затем повернулся к ним и на чистом русском языке сказал:

— А вот сел и не лопнул!

Всем девушкам стало, конечно, очень неловко, и они вышли на следующей же остановке.

Спустя несколько минут я нашла дом офицера НКВД. Через деревянные ворота вошла во двор и позвонила. Мне открыл молодой парнишка в гражданском, вероятно, один из наших, то

есть репатриантов. Сразу же вышел и майор и провел меня в гостиную. В гостиной стояла красивая мебель: мягкий кожаный диван, кресла, столики, вазы, лампы, на стенах — полки с книгами. Видно было, что владелец виллы все оставил, впопыхах убегая от русских.

Несмотря на то, что расследование дел репатриантов на частных квартирах офицеров НКВД было в порядке вещей, я все же волновалась. Я старалась угадать, к какой категории причислил меня майор. А категорий у них было несколько: к одной из них принадлежала советская интеллигенция, те, с кого советское правительство никогда не спускало своего зоркого ока; затем были жены и семьи партийных, которых судьба тоже забросила в Германию; затем — «опасные элементы», нуждающиеся в более тщательном разборе дел; и, наконец, хорошенькие девушки, с которыми нередко офицеры НКВД хотели познакомиться «поближе».

К последним я, конечно, не принадлежала. В лагере были более красивые девушки. К интеллигенции? — Я была слишком молода. К привилегированным я не могла себя причислить, так как мой отец никогда не был партийным.

Я сидела и молчала, стараясь угадать, куда меня причислят. Майор прервал молчание:

— Сначала выпьем чайку. Иван, принеси все сюда! — обратился он к парню, который открыл мне дверь. Иван исчез и минут через пять вошел в комнату с большим подносом. Затем он начал расставлять на широком кофейном столе чашки, блюдца, поставил чайник, бисквиты, варенье, сахар, бутылку рома и на отдельной тарелочке тонко нарезанный лимон.

— Вы будете пить чай с чем? С ромом или с вареньем, как при царе? — с явной насмешкой обратился ко мне майор.

— С ромом, — буркнула я себе под нос, не зная, что лучше для расположения духа. Кроме того, я все еще волновалась и думала, что ром успокоит меня. Иван налил нам в чашки чаю и удалился, а офицер подсунул мне бутылку рома.

— Меня зовут Николай, а вас, кажется, Виктория?

— Да.

— Красивое имя. Довольно редкое в Союзе.

— Это от моего деда. Он назвал меня по имени корабля, на котором когда-то служил, — объяснила я ему, наливая себе немного рома в чай.

— Интересно, — сказал он и, отхлебнув своего чаю, тоже с ромом, вынул пачку американских сигарет.

— Вы курите?

— Нет. Спасибо.

— Можно мне?

— Да, пожалуйста, — ответила я, удивляясь его вежливости.

Я сидела на широком, мягком диване светлой кожи. Он — напротив меня в таком же мягком и удобном кресле. Мы хорошо видели друг друга: малейшее изменение его лица, каждое невольное движение руки, каждый взгляд. Так обычно психолог изучает свой объект, чтобы понять самую его сущность. Я знала, чего хочет майор. Но знал ли он, что я чувствовала? Стараясь не поддаться его гипнозу, я была настороже. В действительности, я не знала точно, чего ему надо, но я инстинктивно чувствовала, что он не напрасно пригласил меня на частную квартиру. Как бы угадывая мои мысли, офицер сказал:

— Я пригласил вас сюда, чтобы спокойно проверить ваше дело. Оно особенное. — При этом он улыбнулся, стараясь, вероятно, завоевать мое доверие. Он действительно был мил. И его улыбка была даже очень привлекательной. Она как-то успокаивала меня. Есть люди, которые так улыбаются, что меняют настроение человека.

— Вы думаете, майор, что мое дело заслуживает особого внимания? — сказала я, немного осмелев, но тотчас же немного испугалась своей смелости.

— Пожалуйста, угощайтесь! Вот бисквиты, — сказал майор и подал мне тарелку с бисквитами. Я взяла бисквит и сунула его в рот.

— Может, меньше говорить будет лучше. Ведь недаром же — молчание золото.

— Вчера в общих чертах вы рассказали мне о своей жизни. Начните с того, как Верховный суд приговорил вашего отца к ссылке в Сибирь.

Вероятно, он хочет проверить мою преданность родине. Я немного помолчала. Этот период моей жизни не был одним из лучших. В те годы я жила у бабушки и дедушки и только во время летних каникул ездила домой. А мама одна работала на всю семью и мы жили в невероятной нужде. Это также было время, когда моя вера в советское правительство сильно пошатнулась. Я даже писала стихи против режима. А дядя Федя, будучи уже преподавателем в Военной академии, тайно помогал нам материально, и никто из его начальства не знал, что у него есть репрессированный брат, — все это невозможно было рассказать офицеру НКВД.

Майор закурил папиросу и начал смотреть папку с моим делом. А я, сначала запинаясь, начала говорить. Говорила я медленно, не вдаваясь в подробности, но в то же время, стараясь дать ему понять о тяжелом для нас времени без отца. К концу

рассказа я еще раз вернулась к теме отца в Сибири. Я чувствовала, что это было то, на чем майор испытывал мою преданность родине — ведь в глазах правительства семьи репрессированных всегда считались ненадежными элементами.

— Когда это случилось, — сказала я, — я была еще подростком. Поэтому я почти ничего не знаю о причинах и обстоятельствах, приведших к ссылке отца. Его судили как врага народа. Пару раз он писал нам из Сибири. Но вскоре после объявления войны всякая связь с ним прекратилась.

— А что вы об этом теперь думаете? — спросил майор.

— Я люблю мою родину, — ответила я, — и готова служить моему отечеству.

Конечно, что я могла ему еще сказать на такие вопросы? Эти стереотипные фразы я помнила еще со школы. Так все говорили с официальными лицами.

— А вы не думаете, что в Германии лучше, чем у нас на родине? — спросил майор, меняя тему.

— Да. В определенном смысле лучше, — ответила я. — Особенно в материальном отношении. Но я думаю, что скоро и у нас будет лучше.

Это тоже нам вбивали в головы и в школе, и по радио, и в газетах. Весь Советский Союз жил для будущего.

— Вы действительно так думаете, несмотря на то, что ваш отец был сослан? — майор опять вернулся к моему больному месту и с едва заметной улыбкой посмотрел на меня.

Я выпила мой чай с ромом и, казалось, сделалась немного развязнее. Я уже меньше боялась его вопросов и высказывала свое мнение довольно смело.

— То, что мой отец в Сибири, не является для меня причиной меньше любить родину. — Ведь я же возвращаюсь! Это одно уже есть достаточным доказательством, что я люблю нашу страну!

— А что вы думаете о Коммунистической партии, — спросил майор.

— Это одна из лучших партий в мире, во главе которой стоит самый мудрый вождь и учитель, — ответила я избитым коммунистическим лозунгом. — «Верит ли он тому, что я ответила?» — промелькнуло у меня в голове.

И вдруг майор расхохотался.

— Как вы все хорошо отвечаете, как по книге.

Я немного смутилась. Но он тотчас же спросил:

— А вы бы хотели принадлежать к этой партии?

— Да, конечно… Это было бы самое большое счастье в моей жизни…

Я вдруг замолчала. Это было уж слишком. Если он умен, он

никогда не поверит, что я говорю правду. А кажется, он даже очень умен. Все эти шаблонные ответы даже самому обыкновенному человеку показались бы подозрительными.

Несколько минут майор внимательно смотрел на меня. Его глаза медленно скользили по всему моему телу и на секунду задержались на левой груди, где поблескивала серебряная шпала американского офицера! В спешке я совсем забыла ее снять. «Он сейчас начнет спрашивать об этом», — подумала я. Но он не спросил об этом, а только произнес:

— Ну, дальше.

Он посмотрел в папку. А я начала рассказывать ему о моей работе в Германии, о наших унижениях, о голоде, о непосильной работе на заводе и, наконец, о нашей забастовке в лагере, о моем побеге, завершившемся неудачей.

Он слушал, не прерывая. Когда я закончила, он спросил:

— Вы сказали, что у вас есть дядя, который был комиссаром в армии. Где он теперь?

— Я не знаю. Мы ничего не слыхали о нем с самого начала войны. В последнем письме он писал нам, что его посылают в Прибалтику и что он оттуда напишет. Но мы не получили больше ни одного письма.

— А вы встречали власовцев в Германии?

— Да, я встретила несколько человек. Но мой дядя никогда бы не сдался в плен, — поспешила я добавить. — Он убежденный коммунист, и однажды, когда он гостил у нас, он сказал, что в случае войны и плена он должен застрелить себя.

Несколько минут мы опять молчали. Потом майор, как бы что-то взвешивая, начал медленно говорить:

— Вы должны знать, что эти люди — враги нашей страны. Если вы любите нашу родину и Сталина, вы должны помочь нам в борьбе с врагами. Вы интеллигентная, знаете языки. Такие люди, как вы, нужны родине. Ведь мы освободили вас от рабства в Германии. Но и среди освобожденных прячутся наши враги.

Я качнула головой в знак согласия. А майор после минутного молчания, сопровождавшегося пристальным взглядом, продолжал:

— А что вам говорили власовцы?

— Они, конечно, рассказывали нам о своих идеалах, как они хотели создать демократическую Россию. Сначала вместе с немцами они должны были разгромить коммунистов, затем — изгнать немцев из России.

— Вы называете это идеалами? — спросил майор.

Я улыбнулась — мне надо было быть начеку. Очень легко придраться к каждому необдуманно сказанному слову.

— Это, конечно, утопические идеалы, — поправила я себя. — Ведь такую программу нельзя же принимать всерьез.

— Вы знаете фамилии этих власовцев?

— Нет, товарищ майор. Я не запомнила их фамилий. Это было два года тому назад, и я видела их всего несколько минут.

От его настойчивых вопросов о власовцах мне сделалось немного не по себе. Он, вероятно, заметил это.

— Может, еще чаю?

— Нет, спасибо.

Майор закурил папиросу, встал и, прохаживаясь по комнате, начал говорить. Он говорил не спеша, четко произнося каждое слово:

— Ответственность, которую на нас возлагают партия и родина, должна быть высшей честью каждого советского гражданина. Верность партии и родине должна стоять на первом месте. Активным трудом нужно помогать нам строить коммунизм…

Я уже чувствовала, куда он ведет. Он еще долго говорил о чести, о великом русском народе, о героической Красной армии и о вожде, о большой победе над врагом и прочее, и прочее. Я сидела, как в полусне. Его монотонная речь почти убаюкивала меня. Хорошо, что в комнате было полутемно и он не мог видеть выражения моего лица. Только когда он опять обратился ко мне с вопросом, я вздрогнула, как бы проснувшись.

— Ну, вы согласны работать на нас? Мы должны найти всех наших врагов.

Я молчала. Вопрос был ясен. Неужели меня хотят зачислить в категорию шпионов, вернее в категорию презренных сексотов, да еще без всякой романтики?! Тут мне вспомнился мой отец, который всегда говорил с невероятным презрением о доносчиках. Минута прошла в молчании. Наконец я сказала:

— Не знаю, товарищ майор, гожусь ли я для такой работы, о которой вы говорите. Я должна об этом подумать.

— Я даю вам три дня для обдумывания, товарищ Виктория, — сказал он и через секунду добавил: — но учтите одно: если вы любите родину и Сталина, — здесь нечего долго раздумывать!

Мне стало все ясно. Тем временем его прищуренные глаза — я видела их блеск даже в полутьме — испытующе уставились на меня. Прошла еще минута молчания, затем он сказал:

— Может, выпьем вина?

— Да, пожалуйста, — ответила я и вдруг почувствовала себя усталой и разбитой. Офицер вышел в другую комнату, но тотчас же возвратился с бутылкой и стаканами на подносе. Я тоже

встала и подошла к окну. Небо было покрыто темными тучами. Как перед грозой, сильный ветер гонял по улицам клубы пыли. Деревья и кусты наклонялись во все стороны, а на стекла окон уже падали первые крупные капли дождя.

Майор налил вино и тоже подошел к окну, протягивая мне стакан.

— Это хорошее вино. На здоровье!

— На здоровье!

Он выпил свой стакан и несколько минут стоял рядом со мной. Он был хорошего телосложения: широкоплеч, немного выше среднего роста; его густые каштановые волосы были ровно зачесаны назад. Теперь я вспомнила, почему его лицо с первого взгляда, еще там, в здании НКВД, показалось мне знакомым. Он немного напоминал того молодого лейтенанта, с которым в самом начале войны в Краматорске было мое первое свидание. А может, это и был он? Ведь и имя его Николай…

Между тем уже совсем стемнело. Я поставила свой стакан на стол и села опять на диван. Офицер повернулся ко мне и стал смотреть на меня, руки в карманах. Вокруг было совсем тихо. Мы оба молчали. Вдруг мне почудилось, как откуда-то долетает до меня та тревожная мелодия, которую пел молодой лейтенант, проходивший мимо нашего ночного лагеря…

На мгновение комната вдруг ярко озарилась, и раздался сильный раскат грома. Я вздрогнула — еще с детства я всегда боялась грозы. Этого страха я до сих пор не могу преодолеть. Начался проливной дождь. Если бы не гроза, я бы встала и ушла. Но теперь я сидела, как прикованная, и боялась пошевельнуться от страха.

Офицер подошел к столу, налил опять вина и выпил свой стакан, не обращаясь ко мне, затем в темноте опять пристально уставился на меня. А я под этим взглядом почти застыла… Я взяла свой стакан и начала пить вино медленными маленькими глотками. А молния то и дело озаряла нас, гром еще больше усилился, и дождь непрестанно барабанил в стекла окон.

Быстрым, легким движением майор подошел к дивану и сел рядом со мной.

— Почему вы дрожите? — спросил он и положил руку мне на плечо. Его рука была мягкая и теплая. Да. Она напомнила мне многие руки — руку дяди Феди, руку Сергея, руку Потапова, руку того красноармейца, который первый раз обнял меня…

— Я боюсь грозы.

Офицер рассмеялся и притянул меня к своей груди. А я не оттолкнула его. Да и могла ли я? Ведь здесь я была в его руках, как в плену. И почему-то мне вдруг сделалось хорошо и легко.

Может, это от вина или от воспоминаний… Волосы мои рассыпались и запутались в его орденах… Я не могла больше сдержать рыданий. А он во тьме взял мое лицо в свои руки и начал целовать глаза, губы, волосы. Все расплылось, все помутилось…

Гроза прошла. Было уже за полночь, когда я медленно возвращалась почти опустевшими улицами к своему ночлегу. А в моей голове назойливо вставал один и тот же вопрос: как избежать ада, куда влечет меня этот молодой, красивый НКВДист? Через три дня я должна явиться к нему с окончательным ответом. Ибо: «здесь нечего долго раздумывать!» И эти слова, как рефрен, всю дорогу вертелись у меня в голове. Но три дня я еще свободна! Три дня. А потом? Потом меня завербуют в стукачи. Это начнется, вероятно, с незначительных доносов. Со временем дело будет осложняться и, наконец, дойдет до того, что я не смогу больше распоряжаться личной жизнью…

Вдруг я остановилась — эврика! Я нашла выход! Через три дня уходит эшелон с репатриантами на родину. Доктор Волков должен помочь мне. Он может послать меня с этим составом в числе медицинского персонала сопровождать отправляющихся.

— Через три дня мы едем домой, — сказала я Нине, когда она спросила меня, как было в НКВД.

— Как так?

— Я тебе завтра все расскажу. Ты сделаешься санитаркой. А сейчас уже поздно. Давай спать.

Когда на следующий день я явилась в больницу, сейчас же отыскала доктора Волкова. Он был один в своем кабинете. Вкратце я рассказала ему о моем разговоре с майором и о том, что через три дня мне надо явиться с ответом.

— Это, конечно, очень неприятно, — сказал доктор Волков. — Ну, и что же вы решите?

— Я уже решила. Вы сделаете мне одолжение, а именно: вы пошлете меня и мою сестру, как медперсонал, сопровождать эшелон на родину, который уходит через три дня.

— Теперь, без сегодняшнего дня, два дня, — поправил меня доктор и не без удивления уставился на меня. — Неплохо рассчитано! Ну, допустим, я вам дам направление. Но ведь вы опять должны будете явиться в этот же лагерь, так как без удостоверения НКВД вам оставаться там невозможно. Фильтровку все проходят за границей.

— Да, я знаю. Но мне лишь бы попасть туда. А там я уже найду выход. Вы только напишите мне направление. Все остальное я беру на себя.

— Хорошо. Я вам дам справку на вас и на сестру. Но, кроме

вас двоих, едет еще и армейский персонал. Вам это известно?

— Я буду вам очень обязана, товарищ доктор, — закончила я, немного шутя. Доктор Волков только хмыкнул и махнул рукой.

Вечером я ушла с удостоверением в кармане, а на следующий день его заверили в военной комендатуре. В обед, когда я ела свой бобовый суп в военной столовой, — как медперсонал мы могли есть в их столовой — вошел доктор Волков и подсел ко мне.

— Завтра, значит, вы бы начали свою новую работу в НКВД… кроме больницы, конечно, — сказал он, ехидно улыбаясь. — Лучшую работу для служения родине вряд ли можно и придумать. Вот почему вас вызывал майор к себе на допрос, — продолжал он. — А я уж думал, что он просто хочет переспать с вами.

— Это тоже… между прочим, — ответила я.

В это время к нашему столу подошел молодой красноармеец и положил какую-то брошюру, затем стал раздавать их всем присутствующим. Доктор Волков взял ее в руки и дал мне:

— Читайте! Я начала: «Советское правительство приветствует возвращающихся граждан…» Я отложила брошюру в сторону:

— Какая ерунда!

— Делайте, по крайней мере, вид, что вы читаете! Черт ее побери! — почти сердито сказал он. — Пожалуйста! Думаете, что здесь нет доносчиков?!

Говоря это, он продолжал хлебать свой суп, а я взяла опять брошюру и сделала вид, что читаю.

— Между прочим, — добавил он, — было бы лучше, если бы вы о вашем разговоре с майором НКВД никому не говорили. Понятно? Я тоже об этом ничего не знаю.

— В порядке! — ответила я.

На следующий день Нину и меня представили военному медицинскому персоналу, который сопровождал транспорт репатриантов на родину. Их было всего три человека: еще довольно молодой врач, медсестра и санитар. У каждого из них на рукаве были повязки Красного Креста. Затем нам выдали сухой провиант: хлеб, сахар, муку, бобы. Абсурдная идея! Как будто мы могли готовить себе в вагоне горячую пищу! Правда, нам также дали несколько банок консервов.

Перед самым отъездом я пошла в больницу, чтобы попрощаться с коллегами.

— Не забудьте о том, что я вам вчера говорил, — сказал доктор Волков. — И приветствуйте от меня родину!

— Обязательно! Я надеюсь, что и вы в скором времени последуете за нами.

Некоторые коллеги мне немного завидовали и не понимали, почему именно меня, а не их послали с эшелоном на родину.

Упаковка скудного багажа заняла минут пятнадцать. Мы не везли с собой много. По глупости мы надеялись, что на родине всего будет вдоволь — ведь наши же победили! Не знаю, откуда у нас появились такие наивные мысли. Другие репатрианты тащили все, что только возможно. В сущности, потому, что у нас было так мало вещей, на нас даже как-то странно посматривали. У каждой из нас было по два небольших чемодана. А впрочем, это тоже неплохо — кто бы нам тащил все это барахло? Без него легче двигаться.

Хотя репатрианты уже с утра толпились у поезда, погрузка в вагоны началась только после обеда. Нина и я присоединились к военной группе медперсонала. Нам всем отвели отдельный вагон. Вагоны были товарные. На полу лежало сено или солома, и это все. Каждый мог располагаться, как угодно.

Кроме сена, в нашем вагоне было еще две пары носилок и ящик с медикаментами для первой помощи.

Я начала волноваться. Уже был пятый час. В пять я должна была явиться к майору НКВД. Скоро ли уйдет поезд? Через час, если меня не будет, он, вероятно, пошлет своего денщика в больницу, чтобы узнать, где я. А может, и не пошлет? О моем отъезде ему вряд ли сообщили, так как мое отсутствие считалось временным.

Возле эшелона царил полнейший хаос. Многие репатрианты пытались пролезть в вагоны без всяких документов. Но военные всех быстро находили и выталкивали. Сотни остававшихся провожали друзей и родственников. Все громко разговаривали, плакали, смеялись, махали руками, обнимались и целовались. В такой суматохе ничего нельзя было разобрать, и я не слыхала, что мне кричала на прощание моя коллега Люда, которая пришла меня провожать.

Наконец около шести вечера поезд двинулся. Я с облегчением вздохнула. Итак — до свидания, майор. Теперь мне ничего не страшно! Я смотрела на проплывавших мимо людей, на домики, улицы, деревья и на широко раскинувшуюся, сухую венгерскую степь. Было жарко. Какая-то унылая тоска налегла на мое сердце… Куда мы едем? Что будет впереди? И опять эта грустная, ночная мелодия…

Путь домой

В нашем вагоне молчали. Каждый сидел на своей кучке сена и раздумывал о своем. Только часа через два мы начали разговаривать. Оказалось, что почти все мы ехали в одном направлении, — на юг Украины. Только военная сестра была из Курска. После того, как наш поезд развезет всех по южной части страны, она должна будет продолжать свой путь одна. Но теперь она лежала на спине, на свежепахнущем сене, и казалось, что мысли ее были далеко отсюда. Ее усталое, загорелое лицо, немного грубоватое, поразило меня своими классическими чертами. В молодости, вероятно, она была очень красивой. Даже под выцветшей военной формой видно было, что ее тело было гибкое и крепкое. И руки, которыми она время от времени подпирала голову, тоже были большие и крепкие. На воротничке ее блестела звездочка — она не была простой медсестрой. Она чем-то отличилась во время войны, и звездочка была знаком награды.

Молодой доктор и санитар были из деревни. Об этом свидетельствовал их провинциальный говор. Им обоим было не больше лет тридцати. Они сидели рядом и довольно живо разговаривали друг с другом. Санитар рассказывал врачу о своих любовных похождениях с немками после занятия Берлина. Его имя было Василий.

— Одно я должен сказать, — говорил Василий уже в третий раз, — немцы действительно знают толк в порядке. У них всегда и везде порядок. Не то, что у нас!

Очевидно, ему очень нравились немецкие квартиры и та чистота, которой славятся немки. Он особенно хвалил большую, чистую спальню, где он со своей любовницей — вдовой погибшего Фрица — провел много ночей. Совершенно открыто он сожалел о том, что должен был расстаться с ней. Теперь он едет в свою деревню, где в одной большой комнате живет вся его семья.

Меня интересовало положение в Советском Союзе, и я стала расспрашивать их об этом. Но, к сожалению, я не получила удовлетворительных ответов. Мне казалось, что они чего-то не договаривали, ибо каждый из них отделывался одними и теми же фразами:

— Много работы. Немцы все разрушили и разграбили.

— А есть немецкие военнопленные в Советском Союзе? — спрашивала я.

— И немецкие военнопленные должны у нас работать, — говорил врач. — Ведь они-то все и разрушили.

— Пусть работают, — поддакивал ему Василий.

Почти каждый день нашего медленного путешествия на восток приносил нам какой-нибудь сюрприз. Однажды поезд остановился на широкой равнине. Поодаль виднелась рощица. Все начали быстро выпрыгивать из вагонов, чтобы пройтись, размяться и, конечно, сходить туда, куда и царь пешком ходит. А по другую сторону транспорта я заметила костер, вокруг которого сидело несколько мужчин и женщин. Возле них стояли две брички, нагруженные разным барахлом, а немного подальше — паслось стадо коров.

— Что вы здесь делаете? — спросила я одну из женщин, сидевших у костра.

— Мы тоже, как и вы, репатрианты, — ответила она. — Разница только в том, что домой мы идем пешком и гоним это стадо коров.

— Пешком в Советский Союз? — удивилась я.

— А что нам делать? Это теперь наша работа.

— А кто распорядился насчет этого?

— Конечно, НКВД. Но мы тоже имеем некоторую выгоду от этого. Каждый день пьем свежее молоко.

— А где вы работали в Германии?

— В Лейпциге на заводе.

Наш поезд загудел — знак того, что надо садиться в вагоны. И мы поехали дальше. А еще через день, когда поезд остановился в степи, мы увидели большое стадо лошадей. Мужчины и женщины, сопровождавшие этих лошадей, тоже сидели у костра и варили обед. Я подошла к ним и узнала, что и эти, как и те люди с коровами, тоже гнали лошадей в Советский Союз по приказу НКВД. Может, этих лошадей когда-то угнали немцы к себе, а теперь их возвращают обратно? А может, это немецкие лошади, которых в процессе демонтажа забирали победители.

Наконец состав остановился в одной из деревень Галиции. Был дан приказ всем выгрузиться и идти в деревню, которую, как, городок в Венгрии, превратили в лагерь для репатриантов. Но, в отличие от венгерского городка, здешнее население не убежало. Все крестьяне были на месте, в своих домиках. Нам сообщили, что дальнейшее путешествие на родину будет продолжено через неделю.

Мы неохотно начали выгружаться. Ругань и возмущение слышались на каждом шагу. Каждый тащил свои вещи — сундуки, чемоданы, мешки, узлы в сараи и дворы крестьянских домов, куда нам указали административные чиновники лагеря. Почти всех репатриантов разместили в сараях, так как в домиках жили сами крестьяне. Казалось, наша медицинская миссия здесь окончилась.

Военные пошли в комендатуру, а нас с Ниной, вместе с другими, поместили в одном из сараев какого-то крестьянского двора.

Такую примитивность и страшное неудобство, как в этом лагере, трудно было себе представить. Отсутствовали самые элементарные условия для жизни. Сараи, в которые нас поместили, были непригодны не только для людей, но и для скота. Это были полуразвалившиеся остатки каких-то сооружений. Во многих не было ни крыши, ни сена, на котором мы могли бы разместиться, и когда шел дождь, негде было укрыться от него. Если и были где крыши в сараях, то они все протекали, и каждый жался на маленьком кусочке. А дождь моросил здесь каждый день. Было сыро, прохладно, и почти никогда не показывалось солнце. Теперь сухая, горячая венгерская степь казалась нам чуть ли не раем. Но главное неудобство было в нехватке сена или соломы, на которой человек мог бы хоть сесть или лечь. Каждый пучок сена или соломы был почти сокровищем для местных крестьян. Они выменивали за них у репатриантов одежду, мыло, щелок, сигареты. В то же время крестьяне плотно запирали от нас свои дома и никого не пускали даже на порог. Их неприязнь отражалась и в их глазах. Иногда казалось, что они просто убивали нас своими взглядами. Они ненавидели не только советское правительство, которое лишило их частной собственности и заклеймило «кулаками» и «пережитками буржуазии», но и невинных жертв этого правительства — всю эту возвращающуюся массу репатриантов. Они демонстративно не хотели и разговаривать с нами, и только если видели у кого-то сигареты, мыло, одежду, готовы были вступить в переговоры и пойти на сделку. За папиросы, мыло, одежду и прочие заграничные вещи можно было получить от них не только солому, но и кое-что съедобное, как сало или хлеб, и даже воспользоваться их кухней и сварить себе чай, бобы или картофель.

Относительно питания этот лагерь был хуже всех, которые нам пришлось пройти на нашем этапе на родину. В день прибытия в лагерь нам и здесь выдали сухой провиант: ломоть черного непропеченного хлеба, сухие бобы или горох, ячменный кофе и немного маргарина. Как и везде, каждый сам должен был беспокоиться, как и где готовить свою еду. Некоторые умудрялись соорудить небольшую плитку из двух брикетиков и, если у кого был котелок, варили суп из бобов или гороха. Для топлива собирали сучья и сухие ветки в роще. Но все это было нелегко. От непрекращающегося дождя огонь в плитке все время гас, вся процедура длилась пять-шесть часов, особенно если не было котелка и приходилось варить суп в консервной банке. Поэтому

для многих единственным выходом из положения был опять-таки черный рынок, который процветал в конце деревни.

Иногда на пару часиков пробивалось солнце. Тогда все тянулись к речке, протекающей недалеко от наших стоянок. Там мы мылись, стирали белье и отогревались от сырости или просто лежали в бездействии, ожидая чуда. Из одной недели нашего пребывания в этой Богом забытой глуши стало две. И только в начале третьей недели нам приказали грузиться в вагоны. При этом объявили, что это была последняя остановка на пути домой и что поезд пройдет через всю среднеюжную часть Украины и, таким образом, каждому представится возможность как можно ближе приехать к месту назначения.

Во время погрузки я сразу же пустилась на поиски вагона Красного Креста и быстро нашла его. Один из красноармейцев, стоявший на страже у вагона, потребовал мои документы, затем указал нам с Ниной, куда грузиться. Вскоре пришли и военные коллеги: врач, сестра и санитар.

— А я думала, что вы уже на родине, — сказала я, обращаясь к ним.

— Куда там! — ответил Василий. — Путь на родину далек.

Перед отходом поезда пришел пожилой полковник в сопровождении офицеров и солдат. Это был начальник нашего транспорта. Он делал инспекцию. После этого вместе со своей свитой он скрылся в последнем вагоне, вокруг которого стояла толпа молодых красивых девушек.

— Это его поклонницы, — сказал, улыбаясь, Василий. — Я бы тоже не прочь иметь такой гарем.

На следующий день езды наш эшелон опять остановился в конце какого-то поселения.

— Опять выгружаться? — испугалась я.

— Нет, — ответила сестра. — Здесь должны прицепить еще несколько вагонов с репатриантами. Вероятно, все это продлится пару часов.

— Значит, за это время мы смогли бы пройтись погулять? — предложила я.

— Давайте сначала состряпаем поесть, — сказал Василий.

Все согласились. Василий вынул небольшой примус и поставил чайник. Заварив чай, он начала жарить на сковородке яичницу. Яйца он, конечно, выменял у галичан за какую-нибудь тряпицу. Мы разделили на всех хлеб, яйца и чай и хорошо подкрепились. Что бы мы делали без этого практичного крестьянского парня?

Поев, мы вышли на воздух. Доктор подозвал одного из красноармейцев:

— Товарищ красноармеец, присмотрите за нашим вагоном Красного Креста. А мы пройдемся в деревеньку.

— Есть, товарищ лейтенант, — ответил тот и стал на страже.

Все направились к зеленому леску, который был недалеко от состава. После медленной и долгой езды под знойным венгерским солнцем и после угрюмых двух недель у галичан этот лесок молодых сосен показался нам настоящим оазисом в пустыне.

— Смотрите! — показала военная сестра на деревья. — Какая красота!

— Пойдемте туда, — сказала я, и все двинулись в направлении рощи.

Мы шли под душистыми, прохладными соснами и вдруг очутились среди большой поляны, на которой стояло множество палаток. Все остановились в удивлении.

— Это транзитный лагерь для репатриантов, — пояснил врач. — Отсюда разные эшелоны подбирают их на родину.

Посреди поляны стоял длинный деревянный барак. На одной из его стен висел большой экран, а рядом на столбе — громкоговоритель. Как только мы подошли поближе, раздалась громкая, почти оглушительная музыка патриотических советских песен. Я, невольно взглянула на лицо военной сестры: оно скривилось в мучительной гримасе — нельзя было понять, улыбалась она или сожалела о грубом нарушении лесной тишины.

Когда смолкла музыка, из громкоговорителя посыпались целые тирады избитых советских лозунгов о непобедимой Красной армии, о мудром вожде и учителе Сталине и о достижениях во время войны с врагом. «Все это было уже раньше, все эти фразы мы слышали и прежде. Неужели там ничего не изменилось теперь?» — так думала я, слушая поток этого напыщенного пустословия, и странное подозрение, что там все то же, что и было до войны, заставило меня погрузиться в уныние и даже сожаление о том, что мы с Ниной едем на родину. Хотя бы скорее кончился этот кошмар!

Внутри барака, куда мы вошли, был Ленинский уголок. На столах лежал пропагандистский материал, — брошюры и газеты. Заглавия статей большими буквами так и пестрели перед глазами: «Домой на Родину!», «Родина знает о ваших мучениях на чужбине!» «Факты о достижениях Красной армии», «Руководство партии во время военных действий» и прочее, и прочее. В одной из статей ТАСС (Телеграфное Агентство Советского Союза) я прочла следующее: «Репатрианты получили 800 000 экземпляров политической и творческой литературы, больше 600 000 брошюр,

90 000 плакатов, 300 000 листовок…» Я пробежала глазами некоторые статейки — безличным, полным пафоса языком говорилось о достижениях рабочих в труде, о героях Великой Отечественной войны и об особых заслугах Коммунистической партии.

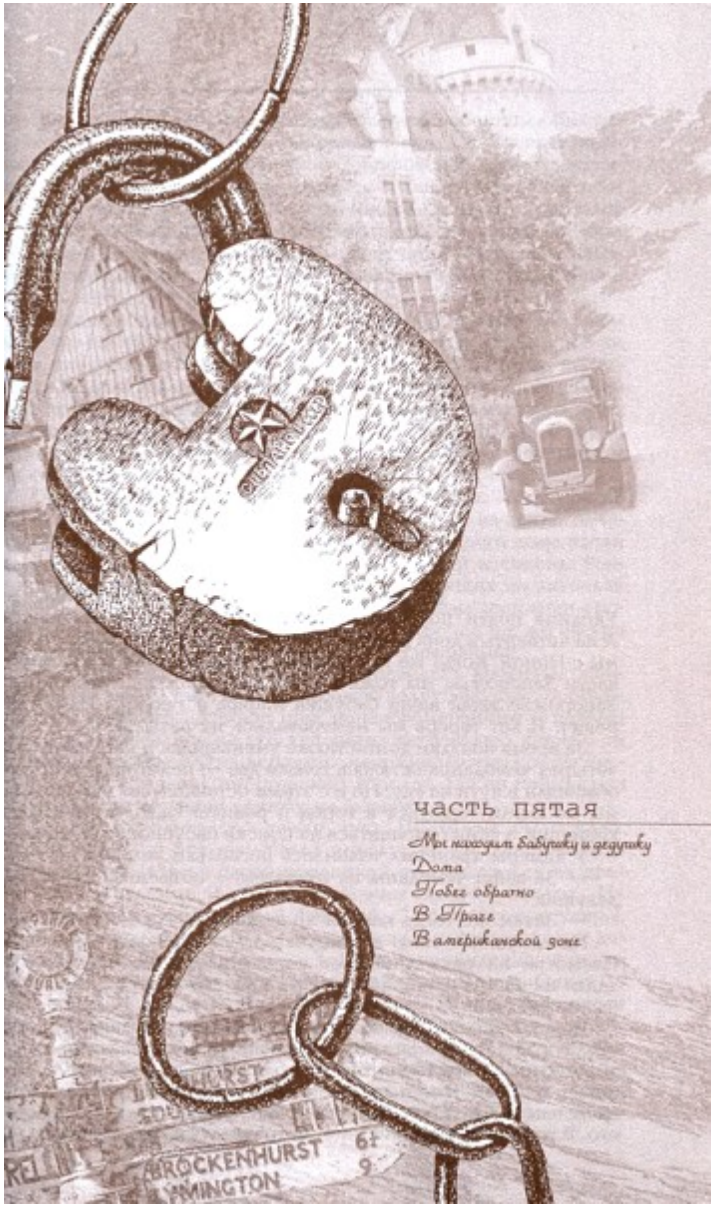
«Кто все это читает? — подумала я. — Кому все это нужно именно теперь, во время этой мучительной Одиссеи домой?»

Я огляделась вокруг: комната была пустой. Только огромные портреты Маркса — Энгельса — Ленина — Сталина вытаращились на меня со всех сторон. Даже здесь, на чужбине, среди такой нужды и лишений, они как бы преследовали человека, стараясь загнать его в этот Ленинский уголок.

Итак, ничего не изменилось! Мне стало почти дурно. Нагнув голову, я поскорее вышла на свежий воздух.

После захода солнца наш состав двинулся дальше. В пути и днем и ночью были короткие остановки на маленьких станциях, где нас сразу же окружали высохшие, седые старушки в лохмотьях. Они приносили к станции теплые пирожки с картофелем или капустой и старались выменять у нас за них что-нибудь из одежды. Долгие годы войны лишили их самого необходимого. Почти все они были одеты в толстые, грубые юбки, в основном из немецких защитных палаток. Все на них было какое-то серое, вылинявшее, и, казалось, что и они ничем не отличались от этой опустошенной, выгоревшей степи. Только их добрые, простые улыбки своей теплотой и сердечностью смягчали эту жуткую картину, оставленную войной.

Часть пятая


часть пятая
Мы находим бабушку и дедушку
Дома
Побег обратно
В Праге
В американской зоне
BROCKENHURST

Мы находим бабушку и дедушку

К третьему дню нашего путешествия по Украине почти половина репатриантов оставила транспорт. А на четвертый день в вагоне Красного Креста остались только мы с Ниной. Когда же после обеда поезд остановился в старой части Запорожья, мы тоже вышли на вокзал. Еще до войны в Запорожье жили наши бабушка Марфа и дедушка Илья Петрович. И вот теперь мы намеревались их разыскать.

За время поездки домой также уменьшился и наш багаж. Из четырех чемоданов осталось только два — некоторые вещи мы обменяли в пути на еду. Но и с этими оставшимися чемоданами мы не могли тащиться в город и решили сдать их в камеру хранения, а сами отправиться на поиски бабушки и дедушки.

У камеры хранения толпилось несколько человек.

— За ваши чемоданы не отвечаем, — объяснила служащая девушка.

— Зачем же тогда камера хранения? — спросила я.

Но девушка только взглянула на меня и пожала плечами. Несмотря на риск лишиться последних тряпок, мы все же сдали их на хранение, ибо таскать их с собой через весь город было нелегко.

Через каких-то полчаса езды на трамвае мы, наконец, приехали в новое Запорожье, где до войны я ходила в школу и хорошо знала эту часть города. Мы сошли с трамвая и дальше пошли пешком. Я то и дело останавливалась и оглядывалась по сторонам. Лицо города так изменилось, что я с трудом узнавала его. В то время центр все еще застраивался и был всегда полон жизни. Это была та часть города, которую особенно любил дедушка Илья Петрович. Она находилась почти у Днепра, недалеко от Днепрогэса — большой Днепровской гидроэлектрической станции. Отсюда доносились гудки пароходов и шум текущей через гигантскую плотину воды. Днепрогэс считался большим достижением коммунистической индустрии. Он был построен, конечно, как и все, на костях принудительных рабочих и заключенных. Тем не менее Днепрогэс был гордостью не только города, но и всей страны.

Раньше, когда мы с дедушкой приходили в центр, мы садились где-нибудь в тени аллеи на скамью и смотрели на прохожих, спешивших по своим делам. Обычно в обед город наполнялся школьниками, домохозяйками и служащими, идущими в библиотеку, в магазин, в столовую. А вечерами по ярко освещенным улицам люди гуляли до полуночи. Одни шли в

театр, другие — в кино, третьи просто прохаживались с друзьями и разговаривали.

Особенно красив был город весной и летом. Несмотря на тяжелую промышленность, Запорожье — один из самых зеленых городов Украины. Вдоль улиц и возле каждого дома росли деревья, цветы и кусты. Весной цвели акации и сирень. Роскошные деревья ласкали прохожих или сидящих на лавочках своими распустившимися ветвями. Воздух был наполнен ароматами цветов, и эти пестрые цветы сливались с так же пестро одетой весенней толпой в одну живую симфонию.

Как бывшему моряку, дедушке нравились красивые женщины. Он любил смотреть на веселую толпу девушек, проплывавшую мимо нас. А когда они, напарфюмеренные и разодетые, засматривались на его красивую матросскую форму, он довольно улыбался. Это, вероятно, напоминало ему его беспечную жизнь в гаванях иностранных городов, где он побывал за свою двадцатилетнюю службу на корабле.

Теперь же центр был почти пуст. Прохожих было мало. Только время от времени белел вдали платочек какой-нибудь бабушки, которая со своей корзинкой шла охотиться за продуктами. Прежние большие магазины были закрыты. Их окна — забиты досками или фанерой. С обеих сторон улицы, как призраки, стояли обугленные стены жилых высотных домов. Деревья были сожжены и тоже, как привидения, торчали черными ветвями над тротуарами. Вглядываясь повнимательней, можно было заметить, как некоторые из них уже начали понемногу оправляться от пережитой катастрофы: из их стволов и веток несмело прорывалась зелень. — Я смотрела вокруг, недоумевая. Город, когда-то живой и красивый, был похож на опустошенное каким-то неведомым ураганом место. И трудно было себе представить, куда делась вся эта пестрая толпа людей, наполнявшая раньше его улицы шумом и суетой.

Мы остановились перед бывшим детским садом. Здесь наше внимание приковало к себе странное зрелище: в большой двор только что въехало два грузовика с красивыми молодыми девушками. Большинство из них были блондинки. Смеясь и громко разговаривая, они бросали с машин какие-то узелки и обменивались шутками с красноармейцами, которые помогали им слезть. Затем все они скрылись в здании.

— Кто эти девушки? — спросила я одну прохожую, которая тоже остановилась и смотрела на них.

— Это немки. Их мобилизовали сюда на работы, — ответила она. Затем добавила: — Им-то хорошо. И еды у них вдоволь. А вечерами гуляют с нашими красноармейцами.

И мне невольно вспомнилось наше пребывание в Германии, на работах во Фрейтале, куда несколько лет назад отсюда же привезли тысячи наших девушек. Вначале мы тоже были беспечно веселы и доверчивы, надеясь, что у немцев нам будет хорошо. И наш смех тоже звучал громко и беззаботно. Но вскоре все изменилось — нам отрезали волосы, яркую одежду заменила монотонная зеленая форма, на которой вдобавок красовался рабский штемпель: нагрудный знак «ОСТ». Наши силы с каждым днем высасывала непосильная работа, и многие из нас никогда больше не увидят своей родины…

— Им-то хорошо! — повторила женщина, отворачиваясь и идя дальше.

— Это моя бывшая школа, — сказала я Нине, показывая на трехэтажное здание из красного кирпича. Я остановилась и, как очарованная, смотрела на окна, на широкий двор, на сухие, безлиственные деревья — и годы учебы проплывали передо мной, как марево. Вдруг мне почудилось, что я слышу звонок и шумная толпа школьников ринулась на переменку во двор…

Неодолимое желание овладело мной — войти в это здание, пройтись по его коридорам, сесть за парту… Уже моя рука коснулась калитки, чтобы открыть ее и войти во двор, но внезапно промелькнувшая мысль остановила меня: а что, если меня встретит наш «Лорд» и спросит, где я была? — В Германии… Значит, немецкая коллаборатorша. Он посмотрит на меня с пренебрежением, повернется и уйдет… Я отдернула руку от калитки.

— Пошли, Нина, дальше…

Через некоторое время мы опять остановились перед живописной руиной, бывшим Дворцом культуры. Кругловыпуклый по форме, он напоминал огромный купол и был построен по последнему слову архитектуры. Внутри было бесчисленное множество комнат, в которых можно было заблудиться. Там играли в шахматы, занимались музыкой, читали, смотрели фильмы, танцевали, играли в разные игры и прочее. Как часто я проводила здесь свое свободное время с одноклассниками!

Я принимала участие в кружках самодеятельности, училась танцевать, играть на сцене.

А пару сотен метров вниз лежал Днепрогэс. Плотина пустовала. Трамваи больше не ходили на правый берег Днепра. Турбины тоже молчали, и вода не шумела, как раньше. И вся электростанция, гордость страны, казалось, тоже уснула.

— Вот что наделала война, — сказала Нина.

Мы пошли дальше. Выйдя на окраину города, мы

направились по знакомой мне набережной к Первомайскому поселку, где до войны я жила у дедушки и бабушки. Уже издали мы увидели желтую глиняную гору, на которой раньше теснились друг к другу землянки и мазанки «обломков империи». Но теперь гора облысела — на ней не было никакого признака жизни. От удивления мы остановились. — Где же все жители?

Но мы все же поплелись дальше, подымаясь на эту гору. Почти без труда отыскали то место, где когда-то стоял крошечный домик бабушки и дедушки. Там мы с Ниной сели. Все заросло бурьяном, и высокая трава совершенно скрывала нас от внешнего мира. Нина вынула из торбочки ломоть хлеба, и мы тут же его съели. Что дальше? Куда идти? Где наши родные? Что с ними случилось? Немного отдохнув и от пути, и от впечатлений, мы решили идти обратно на станцию и ехать дальше на юг, в Ново-Воронцовку, где раньше жила одна из наших теток. До войны ее муж был там секретарем партийного комитета.

Узкой дорожкой мы начали спускаться вниз к обрыву, на другой стороне которого находился рабочий поселок из деревянных бараков. В то время его прозвали «Клопной колонией», потому что там водилось много клопов. Но там был также большой продовольственный магазин, куда я иногда ходила делать для бабушки покупки. Навстречу нам шла женщина, и я обратилась к ней с вопросом, что случилось с Первомайским поселком, куда делись все домишки и их жители.

— Это работа наших, — ответила она. — Как раз перед приходом немцев дали приказ всем выбраться. А потом начали взрывать всю гору. Позже и немцы стреляли сюда с правой стороны Днепра.

— Может, вы знаете нашего дедушку Илью Петровича? — спросила я. — Он здесь жил с бабушкой.

— Илью Петровича? А сколько ему лет?

— В 1941-м ему было приблизительно лет пятьдесят пять.

— Как он выглядит?

Я описала женщине моего дедушку.

— Илья Петрович, — сказала она. — Я знаю одного Илью Петровича. Он живет в старом городе. А он член партии? — спросила опять женщина, немного подумав.

— Нет.

— А может, он вступил в партию? Многие это сделали после войны.

Я посмотрела на Нину. Все может быть, но вряд ли…

Женщина написала нам адрес Ильи Петровича с фамилией нашего дедушки. Мы с Ниной сейчас же пошли обратно в город и трамваем опять поехали в старое Запорожье.

Через некоторое время мы отыскали квартиру Ильи Петровича. Она находилась в рабочей части города, где жили и служащие. Мы позвонили в дверь, и мужчина лет пятидесяти, немного похожий на нашего дедушку, открыл нам дверь и спросил, что нам угодно.

— Мы ищем Илью Петровича, — сказала я.

— Это я, — ответил мужчина.

— Но вы… не наш дедушка, — запинаясь ответила я.

— А ваш дедушка тоже Илья Петрович? И у него такая же фамилия?

Я утвердительно кивнула головой. Несколько минут мужчина с любопытством осматривал нас, потом спросил:

— А вы откуда будете?

— Мы только что прибыли из Германии. Наши бабушка и дедушка до войны жили на Первомайском, в новом Запорожье. Но теперь там ничего не осталось. Поселок взорвали.

— Это интересно, — ответил Илья Петрович. — Я не знал, что у меня есть однофамилец. А кто ваш дедушка по профессии?

— Он служил на корабле.

— Нет, — ответил он. — Я его не знаю.

Итак, наша надежда разыскать дедушку и бабушку не увенчалась успехом. Мы возвратились на станцию, забрали наши чемоданчики и направились к пристани. На станции мы узнали, что оттуда пароходом можно поехать в Ново-Воронцовку.

Было уже около трех часов пополудню. Пароход уходил через час. К четырем часам гавань наполнилась людьми, главным образом женщинами. Так как у нас не было денег, я тут же продала одно из своих платьев, и мы купили билеты до цели нашего путешествия. Одна из женщин, купившая мое платье, объяснила нам, что большинство пассажиров возвращалось с базара, куда они возили продавать фрукты и овощи со своих огородов. Некоторые приобрели на базаре гусей или кур и даже поросят. На пароходе все это общество кур, гусей и поросят подняло невероятный шум. Внизу, в душном и низком отделении стало почти невыносимо, и я поднялась на палубу. Туда еще раньше ушла Нина. Наверху было свежо и хорошо. Солнце ярко светило на спокойную воду. По обе стороны Днепра проплывали мимо нас зеленые берега, небольшие островки с их белым песком, и все это невольно напоминало мне мое детство. Тогда я еще не знала никаких забот и мы все были вместе и, казалось, счастливы…

На пристани в Ново-Воронцовке вместе с нами сошло около десяти человек крестьян. Несколько минут мы с Ниной стояли в стороне, не зная, куда идти. Заметив нашу нерешительность, одна

из женщин подошла к нам.

— А вы не дочери Айны? — спросила она, называя нашу маму, как ее всегда звали в деревне.

— Да, — ответила я. — А мы что, похожи на нее?

— Немного. Я знала ваших родителей. Вы, наверное, из Германии?

— Да. Вам кто-то сказал, что мы…

Я не договорила и замолчала. Я испугалась, что и здесь на нас будут смотреть, как на немецких коллаборационистов.

— Никто ничего не говорил мне. Но это видно по вашей одежде и по чемоданам, — ответила женщина.

— Вы, может, знаете, где живет наша тетя Анюта? Мы ищем ее.

— Ваша тетка уже давно не живет здесь. Она уехала еще перед войной. Но ваша бабушка — в соседней деревне.

— Бабушка Марфа? — воскликнули вместе Нина и я.

— Да. Но она одна. Вашего деда тоже угнали в Германию.

Женщина посмотрела на нас, на наши чемоданы и сказала:

— Ложите ваши чемоданы на бричку. Мы едем в соседнюю деревню, в колхоз. При этом она показала налево, где мужчина, единственный среди нас, грузил какие-то вещи на подводу.

— Эй, Мишка, — крикнула она ему, — возьми эти два чемодана. Девки едут с нами в деревню.

Мишка тотчас же подхватил наши вещи и положил их вместе с другими на свою бричку. Когда он окончил погрузку, он взял вожжи и пошел рядом с лошадьми и подводой. А все мы медленно поплелись за ним. Я старалась держаться немного в стороне от женщин, боясь разных расспросов. Но никто нас ни о чем не спрашивал, и под конец казалось, что о нас совсем забыли.

Солнце почти село, но последние его лучи озаряли уже убранные поля, на которых то там, то здесь еще работали одинокие женщины. И эти женщины были одеты в уже знакомые нам толстые, грубые юбки из немецких защитных палаток. А головы их были покрыты белыми платочками.

— Почему так поздно работают в поле? — спросила я шедшую рядом со мной женщину.

— Мало рабочих. Все мужики в армии. В колхозах остались только женщины и старики.

— А пища есть в деревне?

— Как вам объяснить? У нас почти все есть, кроме хлеба.

— В колхозе и без хлеба? — удивилась я.

— Все идет на выполнение плана, а для нас самих ничего не остается.

Я задумалась. Через некоторое время женщина опять

заговорила:

— Весной было особенно тяжело. У нас почти ничего не было из продуктов, и нам ничего не выдавали от государства, а на работу посылали. Тогда мы решили бастовать.

— Забастовка? — почти не веря своим ушам, спросила я.

Я не могла себе представить, что в Советском Союзе можно устроить забастовку. Но женщина ничего не ответила. Может, она не хотела об этом говорить. Но я не сдавалась:

— Ну, и как же? Получили хлеб?

— Нет. В этот же день приехали два грузовика и забрали всех мужчин. Некоторые совсем не вернулись… Нет смысла. Ничего не выйдет.

Мы молча шли дальше, нагнув головы. Чтобы переменить тему, я спросила женщину об одном из наших родственников:

— А вы не слыхали о дяде Антоне?

— Он тоже здесь. Он вступил в партию.

— В партию? — спросила Нина, которая тоже хорошо знала дядю Антона. Она гостила у них перед отъездом в Германию.

— Он живет один. Вашу тетку Фросю и детей он бросил.

Мы с Ниной замолчали, не веря тому, что говорила женщина. Добрый, тихий и скромный дядя Антон, которого все считали примерным семьянином, бросил свою семью?! Как это могло быть! А может, эта колхозница спутала его с кем-нибудь другим? Дядя Антон не мог оставить свою семью! Он весь свой заработок тратил на детей, которых у него было пять человек, два сына и три дочери. Все они учились в школах и высших учебных заведениях. Как он мог вступить в партию! Он, который тайно интересовался запрещенными науками, астрологией, парапсихологией. Я вспомнила своих родителей, которые часто подтрунивали над ним, когда он по пути в командировку иногда останавливался у нас. Они считали его немного «не того». Но чтобы это его «немного не того» привело к вступлению в партию, этого тогда ни они, ни я не могли себе представить.

— У него есть другая? — спросила я через некоторое время женщину.

— Нет. Живет один. А ваша тетка живет с дочерьми в этом же селе. Оба сына в армии.

Теперь всю дорогу я думала о моем дяде и его семье. Эти неожиданные новости были для меня шоком.

Уже совсем стемнело, когда мы с Ниной вошли во двор, куда нам указала женщина-колхозница. Я постучала в дверь скромного домика, но нам никто не ответил. Тогда я сама открыла дверь и мы вошли в маленькие сени, затем прошли дальше в комнату. Бабушки там не было, но мне сразу же бросились в глаза

некоторые вещи: большой, теплый шерстяной плед лежал на кровати. Ее мягкие бархатные туфли стояли тут же рядом. — Она всегда носила эти туфли, потому что все другие давили ей на большой палец на ноге. На стене висели некоторые фотографии дедушки: его пароход «Виктория», а рядом он сам в своей белой морской форме. Вдруг мы услышали поспешные шаги и оглянулись:

— Бабушка! — вскрикнули мы с Ниной и бросились к ней.

— Мне только что сказали, что вы приехали — Я была у соседей, два дома отсюда.

— Как хорошо, что наконец мы нашли тебя! — сказала я.

— Мы были в Запорожье, — сказала Нина.

— Ваша мама живет с Клавдией и Иваном в Марганце, недалеко от Никополя.

— А папа? Где он? Слыхала ли ты что-нибудь о нем?

— Он ранен. Лежит в госпитале. В Москве.

— В Москве? Ранен? — переспросила я.

— Он был в армии. Его мобилизовали на фронт, — сказала бабушка и сразу же засуетилась:

— Садитесь, садитесь. Что же вы стоите, как чужие?! Она подсунула Нине стул, единственный в комнатке, убрала некоторые вещи с кровати.

— Ты, Виля, — так меня всегда звали дома, — садись вот сюда.

— Когда же приедет отец? — спросила я.

— Как будто он должен скоро приехать.

— А мама уже видела его?

— Нет. Его забрали на фронт прямо из Сибири.

Мы с Ниной все еще стояли ошеломленные и расспрашивали бабушку о разных семейных подробностях. И только теперь, услышав об отце, я почувствовала вдруг странную усталость. Я села на кровать и не могла больше удержать слез.

— А где же его ранили? — спросила я, всхлипывая.

— В Прибалтике.

— И как? — спросила Нина.

— В колено.

— Сначала как врага народа его послали в Сибирь, а потом он вдруг стал нужен этому же народу, — сказала я.

— А где же дедушка? Нам сказали, что и его угнали в Германию, — сказала Нина.

— В последние дни отступления немцы угнали и его, — ответила бабушка. — Они уже были под сильным нажимом наших и забирали всех мужчин, старых и молодых.

Теперь и бабушка вытирала глаза уголками белого платочка.

— А чей это дом, бабушка? — спросила Нина.

— Колхозный. Дядя Антон здесь председатель…

— А это правда, что он вступил в партию?

— Правда. Завтра пойдем проведаем тетю Фросю.

— Были ли известия о дяде Феде?

— Нет. Никто о нем ничего не слыхал и после окончания войны.

Бабушке пришлось еще долго отвечать на наши всевозможные вопросы. Уже было за полночь, когда она постелила нам, и мы, усталые и измученные за этот длинный день, сразу же уснули. А на следующий день перед обедом мы вместе с бабушкой отправились к тете Фросе. Но не успели мы пройти и половину пути, как бабушка показала пальцем на дорогу:

— А вот и тетя Фрося! Она, наверное, к нам.

Я взглянула в том направлении, куда указывала бабушка. Посреди улицы нам навстречу шла высокая женщина в сопровождении трех девушек.

— Ну, давайте вернемся ко мне, — предложила бабушка, после того как мы поздоровались.

Я глядела на моих двоюродных сестер — Надю, Любу и Веру. За время войны они выросли и похорошели. Но тетя Фрося очень изменилась. Когда-то она слыла красавицей. Это была старшая дочь бабушки, та, которая окончила Институт благородных девиц с золотой медалью. Тогда у нее было много поклонников, но она вышла замуж за странного, бедного студента экономики, который теперь, после долгих лет замужества, бросил ее. Никто не мог понять, почему ему вдруг пришла мысль бросить семью. Он не ходил с другими женщинами и всю жизнь любил и уважал тетю Фросю.

Я смотрела на нее со стороны, и мне все представлялось, как на экране: вот она, одетая в какие-то лохмотья, на босу ногу, высокая и стройная как тополь, идет посреди пыльной улицы. Ее лицо, руки и ноги темны от загара и ветра. Но голову она держит прямо и красиво и со странным упорством глядит вперед.

— Жаль, что я вас не вижу, — вдруг сказала она. — Я почти совсем слепая.

Холодея от непонятного чувства не то жалости, не то ужаса, я посмотрела в ее лицо и только теперь заметила, как в ее больших темных глазах отражалось целое море горя и забот. И на мгновение мне почудилось, что это не моя тетя, а сама богиня страдания шествует по пыльной деревенской улице. А лохмотья ее одежды, как ореол, обвивают ее загорелое тело. Отойдя немного в сторону, я спрятала лицо в платок, чтобы она не слыхала моего всхлипывания.

Мы с Ниной оставались у бабушки с неделю. За это время мы помогли ей подготовиться к зиме: сделать небольшой запас дров для отопления. Каждый день мы ходили в лес, собирали там сучья и тащили во двор. Потом мы рубили их топором и складывали в маленький сарайчик или под навес дома. А вечерами, когда садилось солнце, мы на примитивной мельнице каменного века растирали на муку кукурузу или пшеницу. В колхозе хоть и была мельница, но ее не разрешалось использовать для личных нужд. Таким образом приходилось самим делать мельницу — брали два больших камня и на них терли зерно. С этой муки бабушка потом пекла оладьи или хлеб, но большую часть она откладывала на зиму.

Однажды после обеда Нина и я рубили во дворе дрова. Вдруг мы увидели, как во двор вошел старик. На его сгорбленной спине висел вещмешок. Старик шел прямо к нам и, казалось, странно улыбался. Нина и я молча переглянулись. Затем, бросив дрова, мы в один голос вскрикнули и бросились к нему:

— Дедушка!

Да! Это был дедушка Илья Петрович. Но в то же время, как не похож он был на прежнего Илью Петровича! Перед нами стоял почти чужой человек. Ни Нина, ни я не смогли бы его узнать где-нибудь в другом месте. Да и здесь… если бы не его синие глаза и улыбка…

— А вот и вы, — сказал он. — А я вас в Германии везде искал. Я писал в каждый лагерь.

— Дедушка! Как ты изменился! — вскрикнула я. — Тебе, наверное, плохо было в Германии?!

— А где же… — сказал он, осматриваясь по сторонам.

Но бабушка, спотыкаясь, уже бежала во двор. Он пошел ей навстречу, и его лицо засияло… Затем бабушка повела его в комнату.

Через несколько минут мы с Ниной пошли за ними. Дедушка уже сидел в чистом белье на кровати. Он улыбался. Но эта улыбка не нравилась мне. Это не была его прежняя улыбка. Да и сам дедушка не был прежним дедушкой, которого я знала лучше моего отца. Его согнутая спина, сильно поседевшие волосы и этот беззубый, улыбающийся рот… Его худые, запавшие щеки… все было не то! Такая разительная перемена за четыре года… Возможно ли это? Еще четыре года тому назад вместо пятидесяти пяти ему давали сорок. На его щеках всегда играл здоровый румянец, а когда он смеялся, сверкали белые крепкие зубы. Его легкая, немного враскачку походка моряка указывала на еще сильного духом человека.

Теперь перед нами сидел дряхлый старик. Что его сломило?

Я не могла говорить. Я только смотрела на него, и мое горло сжимала судорога.

— Рассказывай, рассказывай, дедушка, — торопила его Нина.

— Ах, нет, — начал он. — В Германии было не так уж плохо. Моя работа там не была тяжелой. Я жил в Лейпциге, в лагере, конечно. Меня заставляли там подметать двор. Мои земляки хорошо относились ко мне.

Дедушка замолчал. Несколько минут он сидел задумавшись, потом продолжал:

— Но здесь, когда меня угоняли… Здесь было нехорошо. Очень даже нехорошо. — Он посмотрел на бабушку. — Ты ведь знаешь, я не хотел уходить. Мне жаль было оставлять Марфу Савельевну одну. Но меня погнали. Мы шли пешком много километров. За нами шли немцы и подгоняли нас. Однажды, когда стемнело и мы находились в степи, я спрятался в канавке. Я думал, меня не найдут… Но они нашли и начали бить прикладами винтовок. После этого я лежал почти мертвый. Меня бросили на телегу и так довезли до станции. А со станции — всех нас погрузили в поезд и — в Германию. В Германии я сначала лежал в больнице. Потом меня выписали. Так у меня осталось только пару зубов во рту и спина стала кривой…

Дедушка опять странно улыбнулся, потом добавил:

— А я вас везде искал. Некоторые там находили родственников…

— Дедушка, мы были в Австрии, а Виля — под чужой фамилией, — сказала Нина.

Я взглянула на дедушку и почувствовала, как вдруг мной овладело невероятное негодование против немцев. Сердце мое колотилось, голова и лицо горели.

— Варвары! — вскрикнула я приглушенным голосом. — Ох, какие варвары! Их нужно мучить, как они нас мучили!

Я встала:

— А ты, — подступила я к дедушке, — ты мне годами рассказывал об их честности, порядочности! Ты считал их народом высокой культуры! Ты мне рассказывал об их музыке, архитектуре, искусстве! А теперь ты испробовал на себе эту их культуру!.. Дедушка, как ты мог!

Я стояла против него со сжатыми кулаками. Я не помню, что еще я говорила. Помню только, как я выбежала из дому и сквозь кусты понеслась к реке. Там я долго ходила вдоль берега. Через некоторое время свежий воздух успокоил вспышку моих чувств. Потом я села на лежавший ствол дерева и, как в оцепенении, просидела там, пока совсем не стемнело.

Когда я вернулась в комнату, все уже готовились ложиться в

постели. Мне предложили поесть, но я отказалась и легла, не раздеваясь.

Дома

Наконец Нина и я попрощались с дедушкой и бабушкой и пароходом поехали в Никополь. Мы выехали рано и к обеду уже были в городе. Здесь и в порту и на вокзале было много народа. Среди них особенно много было возвращенцев из Германии. Их сразу же можно было узнать по мешкам, узлам, чемоданам и сундукам. Вокзал был похож на цыганский табор, а пассажиры — на кочующих цыган. Из Никополя уже поездом мы поехали на Марганец, где, по рассказам бабушки и дедушки, жили наша мама с сестрой и братом. Городок находился всего в каких-нибудь сорока минутах езды от Никополя, и мы скоро, еще в обеденное время, прибыли туда.

Вокзал в Марганце был маленький и почти пустой. На широкой платформе играло несколько мальчишек. Они возились с каким-то велосипедом, вероятно, учились ездить. Один из них, самый высокий, схватил велосипед, сел на него, проехал немного, затем упал вместе с велосипедом. Другие мальчишки сразу подскочили к нему, и один из них опять завладел велосипедом. Он тоже проехал немного, тогда как его собратья бежали вслед за ним.

— Да это же наш Иван! — сказала Нина.

— Который?

Я посмотрела на него, и мы с Ниной вскрикнули:

— Ваня!

Мальчишка повернулся к нам и, увидев, бросился нам навстречу:

— Нина! Виля!

Вероятно, он стеснялся своих товарищей и не поцеловал нас.

— Идемте домой! — сказал он и, подхватив наши чемоданы, помчался вперед.

— Там наш поселок! — сказал он, указывая на четыре кирпичных здания, стоявших недалеко от вокзала.

— Второй дом, вон там мы живем!

Несколько минут спустя мы были в маленькой комнатушке. Мама стояла у печки, а младшая сестра, Клавдия, сидела у стола и писала. Ее густые красные волосы тяжело падали на плечи. Она подняла голову и посмотрела на нас. Мы все молчали. От такой внезапной и неожиданной встречи никто не мог еще опомниться. Только через несколько минут мы стали приветствовать друг друга. Но потом опять все умолкли. Мы не знали, с чего начинать. Кроме того, мы еще не все были дома. Не было отца. Как бы угадывая наши мысли, мама сказала:

— Отец написал, что через месяц приедет. Раньше его не пускают. Рана еще не зажила.

— А вы совсем не изменились. Не стали выше ростом, не выросли, — сказал Иван, обращаясь к нам с Ниной.

— Зато ты стал вдвое выше, — сказала Нина. — Кажется, в семье у нас никого нет такого высокого.

Мама, несмотря на все лишения, которые ей пришлось испытать за время войны, выглядела еще молодой и красивой. На лице ее не было морщин, волосы — без седины, только глаза, казалось, были глубже и лицо немного потемнело от солнца.

К обеду мама подала мамалыгу — это своего рода каша из кукурузной муки. Мы резали ее ломтями и ели с поджаренным салом с луком. Потом мы запивали ее чаем и, рассевшись, где было место, по очереди начали рассказывать свои приключения за годы войны и разлуки. К концу нашей с Ниной истории я сказала:

— Если мы хотим остаться здесь и не возвращаться в лагерь, нам надо немедленно зарегистрироваться в НКВД. Тогда, вероятно, нас пошлют куда-нибудь на работы.

— Я думаю, — сказала мама, — что вряд ли вас пошлют обратно в лагерь в Венгрию. У правительства нет транспорта, а фильтровку НКВД можно пройти и на месте. — Помолчав, она добавила: — Но вы подождите регистрироваться. Только что приехали и опять уезжать? Еще успеете. У нас много дел. Надо убрать огород. Я посеяла кукурузу, картофель, морковь, бобы, свеклу, капусту. Мне дали за городом участок. Кроме того, вам надо подождать отца, а потом можете и регистрироваться.

Итак, уже на второй день мы приступили к работе. Мамин огород находился недалеко за городом. Иван раздобыл где-то ручную повозку, и теперь два раза в день мы везли ее, наполненную овощами, домой. Работы было порядочно: надо было выкапывать картофель, собирать огурцы и арбузы, помидоры, капусту и другие овощи. Часть всего этого мама прятала в погреб. У каждого жильца был свой погреб. Он находился перед домом, в земле, и запирался сверху замком. Другую часть она солила, квасила или варила для консервирования. Так мы были заняты весь день, и только к вечеру все сходились в нашей крошечной комнатушке. А в ней негде было даже повернуться, и кому-нибудь из нас надо было всегда выходить в коридор, чтобы другие могли двигаться. Но все это было не так важно. Главное — мы были вместе.

По пути к огороду или домой нам встречались иногда грузовые машины, возившие немецких военнопленных на работы в колхозы и совхозы. Однажды, когда мы проходили мимо

проезжающих военнопленных, они начали что-то кричать нам. Я не сразу поняла и остановилась. Теперь я их хорошо могла слышать. Они выкрикивали грубые ругательства по-русски, сами, вероятно, не понимая того, что кричали. Их лица, измученные, худые и небритые, совсем не гармонировали с тем, что они выкрикивали.

К моему удивлению, я даже не почувствовала к ним никакой ненависти. Именно к ним, к этим немцам, которые изувечили моего дедушку, убили дядю Федю и ранили отца, оставив ему одну ногу. Мне вспомнились вдруг разбомбленные и опустошенные города, и вместо злости мне захотелось вдруг крикнуть им какое-нибудь приветствие на их языке. Но вид неподвижно сидевшего вооруженного красноармейца остановил меня. Кто знает, может он доложит обо мне как об иностранной шпионке?! Всем жителям строго запрещалось разговаривать с немецкими военнопленными. Разве не так же было и с русскими военнопленными в Германии? Ситуации повторяются…

В другой раз я опять проходила мимо группы немецких военнопленных. Они были заняты постройкой дома. Я остановилась и начала смотреть на них: они таскали камни, мешали цемент, носили в ведрах воду. Вся эта работа, казалось, была им совершенно безразлична. В остатках своей изорванной в клочки военной формы, которая болталась на их телах, как лохмотья на каких-то дикарях, они двигались, будто в трансе. Но вдруг картина совершенно изменилась: им привезли пищу, и они наперебой подставляли вместо тарелок свои консервные банки, в которые им наливали жиденький ячменный суп. Не отходя от котла, они тут же, стоя, выпивали его и опять подходили за добавкой. Затем, тщательно вылизав свои банки до последней капли, привязывали их опять к бедрам. Красноармеец, их надзиратель, заметив, что я стою и гляжу на них, направился ко мне:

— Что вам здесь надо, гражданочка? Идите дальше!

И я, конечно, пошла дальше…

Однажды в воскресенье мы с мамой пошли на базар. Вещей, которые продавались там, было немного. Но все же, несмотря на невероятные цены, были и хлеб, и молоко, и масло, и даже кое-где мясо. Один литр молока стоил тогда десять рублей. Один фунт масла — сто рублей. Никто, конечно, не мог питаться с базара. Средний заработок рабочего был от 150 до 250 рублей в месяц. В то время мама работала на мельнице. Работа считалась тяжелой, и она получала 250 рублей в месяц. Но и на такой заработок прожить было невозможно.

Продавались на базаре также и некоторые

западноевропейские вещи — часы, костюмы, платья, обувь, пальто. Особенно дорогой была теплая одежда — к зиме готовились летом. А зима была уже не за горами. Конечно, все это западноевропейское добро привезли или же репатрианты, или же сами красноармейцы, которые, вероятно, награбили его там, занимая немецкие города. Но кто об этом теперь станет здесь спрашивать? Это никого не интересовало.

Больше всего меня поразило на базаре огромное количество нищих и инвалидов. Официально попрошайничать не разрешалось. Чтобы обойти запрет, они продавали какие-то безделушки: открытки, деревянные ложки и другие мелочи. Но многие и ничего не продавали, а просто просили подаяния. А если приходил милиционер и старался прогнать попрошайку, тот не только начинал ругаться, но готов был вступить в драку.

Однажды я видела, как милиционер подошел к инвалиду, у которого не было обеих ног. Он ничего не продавал и открыто просил милостыню. Блюститель порядка что-то сказал ему, на что тот ответил сплошной руганью. Тотчас же со всех сторон подошли и другие инвалиды, и на милиционера посыпался град матерщинных слов.

— А ты думаешь, где я ноги оставил? — кричал инвалид милиционеру. — Они пошли к черту за родину! На 150 рублей пенсии я не могу прокормить семью, а ты меня гонишь! Иди ты к такой-то матери!

— За родину надо воевать, а хлеба не спрашивать! Х… получишь!

— А где все обещания, которыми нас кормили во время войны?! — вскрикнула пронзительным голосом одна женщина, тоже инвалид. — Когда нам дадут, наконец, вдоволь поесть?!

От такой солидарности со стороны инвалидов милиционер не мог защищаться. Втянув голову в плечи, он быстро исчез.

Я возвратилась с базара печальной и расстроенной. Вот как выглядят победители! — думала я. А я себе представляла совсем иное. По крайней мере, достаточно пищи и приподнятое настроение народа — ведь наша страна победила врага! На деле же все выглядело иначе. Пищи не было. Настроение у всех было подавленное. Обещания остались невыполненными. В сущности, они те же, что были и до войны: пустые фразы обещаний, настоящей заботы о человеке ни в чем не было видно. Человек — ничто. Козявка, которую можно раздавить, если она мешает. Какой-то невидимый аппарат управляет жизнью. И этот аппарат — бездушен, безразличен к страданиям людей, к их нуждам, интересам, к их жизни. Неужели все так и останется? Мной овладела глубокая депрессия. Она не покидала меня ни днем, ни

ночью.

Наконец мы убрали мамин огород. Запас на зиму был сделан. Теперь можно было и регистрироваться, и я сказала:

— Сначала я пойду в нашу местную больницу и разузнаю насчет работы. Все же я медсестра. Может, у них найдется свободное место, тогда мне не надо будет уезжать куда-то на Урал. Мама согласилась, и на следующий день я направилась в местную больницу.

Меня встретила директор больницы, средних лет полноватая женщина. Она пригласила меня в свой кабинет, где я села в красивое плетеное кресло. Директор больницы сидела за письменным столом, а за ее спиной, в венке из колосьев, красовался большой портрет Сталина. «Вероятно, она член партии» — подумала я.

— Я ищу работу, — сказала я и вкратце объяснила ей мои обстоятельства и где и как я получила медицинское образование. Я также рассказала ей, что работала в Венгрии в лагере для репатриантов и не умолчала о том, что я еще не регистрировалась в НКВД. Выслушав меня, она сказала:

— Без регистрации в НКВД я не могу принять вас на работу, товарищ Виктория. Я могла бы только побеспокоиться о том, чтобы после регистрации вас направили к нам в больницу.

У нас большая нужда в медперсонале, особенно в отделении туберкулезных и венерических.

— Хорошо, через пару дней я пойду в НКВД, — ответила я.

— Вы должны знать, — добавила она, — что у нас нет никаких медикаментов. Ко всему — плохое питание. Мы очень надеемся, что положение вскоре улучшится.

Я кивнула в знак согласия. А директор опять обратилась ко мне:

— Но вы сами тоже, конечно, должны хорошенько подумать о том, хотите ли вы работать у нас. Никто охотно не идет в отделение туберкулезных или венерических.

— Если можно, я хотела бы посмотреть больницу, — ответила я.

— Конечно, — сказала она. — Я сейчас же пришлю сестру, которая вам все покажет.

С этими словами она встала и вышла. Через пару минут она возвратилась с медсестрой и передала меня ей.

Сначала мы пошли в хирургическое. Там лежало много раненых. Сестра объяснила мне, что многих из них должны скоро выписать, что некоторые находились еще здесь только потому, что ожидали протезов, без которых они не могли ходить. Нужда чувствовалась во всем: не было простыней, одеял, подушек,

посуды, а главное, как мне уже сказала врач-директор, не было медикаментов. От недоедания все больные выглядели плохо — худые со впалыми щеками лица, кости торчали даже сквозь одежду, а животов у них почти не было.

— Наша еда состоит из ячменной похлебки. Совсем небольшое число получает диету. Нет достаточно молока, — объясняла сестра.

Хуже всего было в отделении немецких военнопленных. Железная решетка, как в тюрьме, разделяла коридор на две половины, в одной из них — немцы.

— Какие здесь больные среди немецких военнопленных? — спросила я.

— Главным образом туберкулезные и венерические.

Мы зашли в одну из палат. Некоторые пленные сидели на своих постелях, другие стояли у окна и глядели во двор. Несмотря на то, что они заметили, как мы входили, никто не поздоровался с нами, никто даже не обернулся и не посмотрел в нашу сторону. Когда я взглянула на их лица с потухшими глазами, я поняла, почему они ни на что не реагировали: эти люди уже давно были душевно мертвыми. Им было совершенно безразлично, что творилось вокруг них. Их вид напомнил мне людей из концлагеря, которых немцы в Тироле перед самым концом войны угоняли с собой, чтобы, вероятно, где-нибудь в горах пристрелить. В своих полосатых брюках и рубашках они так были похожи на этих больных в пижамах! Как и те, эти тоже были слабы и бессильны и тоже безразличны ко всему окружающему. Душевно их давно уже убили.

Мы приблизились к концу коридора, откуда шел неприятный запах.

— Достаточно, — сказала я сестре. — Хватит на сегодня.

— Я понимаю, — ответила она. — Никто здесь долго не выдерживает.

Придя домой, я сказала маме:

— Работы в госпитале достаточно, но сначала мне надо зарегистрироваться в НКВД, иначе не примут.

Мама молчала. По ее лицу я видела, что ей это было не по душе. И она сказала:

— В таком случае, ты можешь еще немножко подождать.

— Сколько же нам ждать, мама? Мы вот уже четыре недели как дома.

— Нина поедет завтра к тете Анюте и побудет там пару недель. А между тем приедет и отец. Тогда и регистрируйтесь.

Несмотря на мамины возражения, на следующий день я все же пошла в НКВД.

— Ваша фамилия? — спросил меня служащий в приемной.

Я назвала ему мою фамилию, и он скрылся за дверью, которая, вероятно, вела к начальнику. Возвратясь, он сказал:

— Полковник сейчас вас примет.

Через пару минут я уже сидела в кабинете полковника. Это был пожилой мужчина, лет шестидесяти, высокий и стройный.

— Ваши бумаги из лагеря репатриантов? — спросил он.

— У меня их нет.

— Как так нет?

— Я их еще не получила. Как раз перед оформлением моего дела в НКВД меня послали в качестве медперсонала сопровождать транспорт репатриантов на родину. Вот справка, — ответила я и подала ему заверенное в военной комендатуре направление доктора Волкова. Он повертел ее в руках, а я добавила:

— Ввиду транспортных затруднений при нынешних обстоятельствах, я думаю, что могла бы зарегистрироваться и здесь.

— Откуда вас забрали в Германию? — спросил он.

— Из Никополя.

— Тогда вам надо ехать в Никополь и там регистрироваться. Там вам выдадут документы.

— Какие документы?

— Всем, кто был в Германии, выдаются паспорта на два года. Если за это время вы докажете, что заслуживаете считаться полноценным гражданином нашей страны, тогда получите такие же паспорта, как и все советские граждане.

— Что вы имеете в виду под словом «заслуживаете»? — переспросила я. — Значит, теперь нас не считают полноценными советскими гражданами? Правильно я вас понимаю, товарищ полковник?

— Да. Вас не считают наравне со всеми, товарищ…

— Но… — начала я опять, запинаясь от негодования, — мне нужны такие документы, какие имеют все. Я хочу записаться в университет и изучать медицину.

Прищурив глаза полковник пристально посмотрел на меня.

— Вы хотите учиться в университете?

— Да. Я хочу стать врачом.

— Нет, — ответил полковник. — Учиться будут те, которые были с нами. Вам же придется поработать.

Мне показалось, что полковник как-то особенно подчеркнул слова «с нами».

— Так вот что! — сказала я и встала. — Это награда за рабство в Германии, за непосильную работу, за унижения,

которым нас подвергали из-за того, что… — Я не могла больше говорить. Кровь хлынула к моему лицу и отобрала речь. Полковник тоже молчал. Но на его лице была явная насмешка. И встретясь с ним глазами, я увидела, что между нами была целая пропасть…

— До свиданья, товарищ полковник! Благодарю вас за информацию, — сказала я и вышла из его кабинета.

— «Лучше бы я осталась там», — промелькнуло у меня в голове, когда я очутилась на улице.

Через пару недель возвратилась Нина от тетки, где она гостила. Она тоже жаловалась:

— Я была в НКВД, и меня посылают работать за Урал.

— Оставайтесь вы дома и никуда не ходите, — сказала мама. — Я вам что говорила? Что мне с этого, если вас ушлют куда-то на работы! Через неделю приедет отец.

И отец приехал через неделю. Нина, Иван, Клава и я пошли на вокзал. Мама осталась дома. Она боялась идти встречать отца. Она боялась, что за столько лет разлуки она не выдержит и открыто, при людях, слишком разволнуется и расплачется. Она решила тем временем заняться обедом.

Ожидая прибытия поезда, все волновались. Иван не стоял на месте и то и дело бегал с одного конца платформы в другой. Нина, бледная от напряжения, глядела куда-то в пустоту. Я тоже нервничала и каждую минуту смотрела на большие часы на стене вокзального здания: мне казалось, что стрелки совсем не двигались. Только Клава была спокойна и даже улыбалась. Она почти совсем не помнила отца. В руках она держала несколько полевых цветков, которые сорвала по дороге, и когда показался поезд, она начала махать ими.

— Вот он, — закричал Иван, когда поезд остановился.

Тогда мы все бросились к вагону первого класса, откуда сходил на костылях черноволосый мужчина. Еще до того, как он успел заметить нас, мы окружили его. Он остановился и молча смотрел на нас. Затем каждого прижал к своей груди, и я заметила, как его глаза наполнились слезами. Он все еще молчал. Слова, вероятно, застревали у него в горле. И вдруг он всхлипнул. Это было первый раз, когда я видела отца плачущим…

Наша встреча была похожа на похороны. По дороге домой мы молчали — каждый из нас был потрясен и возвращением, и необычным видом отца.

— Вы все здоровы? — наконец проговорил он. — А где же мама?

— Она ожидает тебя дома, — ответил Иван.

— Ты нам не писал, что ты на костылях, — сказала Нина. —

Это тяжело, папа?

— Я вам этого не писал… Я думал, что вы еще увидите…

Придя в нашу крошечную комнатушку, мы все расселись вокруг отца. Успокоившись от встречи, мама наливала нам чай из большого чайника, который она одолжила у соседки.

— Подложи мне, Нина, под ногу подушку, — сказал отец. — Я думаю, что рана еще немного кровоточит.

— Я тебе перевяжу ногу, — сказала я. — Дай мне бинты, Иван.

Иван подошел к окну и взял оттуда маленький чемоданчик, который привез с собой отец. Я вынула из него вату и бинты, сняла с ноги отца, высоко, почти у бедра, старую повязку. Действительно, рана в одном месте открылась и кровоточила. Очистив ее ватой, я наложила новую повязку.

— Ты не должен много двигаться, папа, — сказала я. — Я думаю, что ты слишком рано выписался из больницы.

— Ничего, — ответил отец. — Все будет хорошо.

Восемь лет, которые отец провел без нас, не прошли бесследно. Его волосы были еще густые и темные, но на висках уже появилась первая седина. Лицо чуть-чуть как бы осунулось, но глаза все еще смотрели остро и ясно. На нем тоже была вылинявшая форма советского красноармейца…

Как кучка потерянных, мы сидели вокруг него, а он, глядя на нас, медленными глоточками тянул свой чай. Вдруг его глаза засверкали. Он встряхнул головой и сказал:

— Я завтра же пойду в коммунальное учреждение и попрошу большую квартиру.

Он опять хотел быть нашим отцом, опять, как и прежде, заботиться о нас. И на следующий день он упорно поковылял на своих костылях в коммунальное учреждение. Возвратясь, он радостно заявил:

— Мне обещали квартиру!

— Ну, надеемся, что они исполнят свое обещание! — сказала мама.

— Я буду ходить к ним каждый день, пока не дадут мне квартиру, — твердо сказал отец.

В один из следующих дней отец начал нам рассказывать о своих друзьях, о военных, особенно о тех, которые рядом с ним сражались за родину и пали. Он рассказывал, как отчаянно они дрались с врагом, об их успехах и поражениях. И его голос — так казалось мне — подымался от гордости и вдохновения. Это вдохновение удивило меня — неужели пустые обещания Сталина сделали его слепым? Неужели он верил в эту лживую советскую пропаганду? Я не могла с этим согласиться.

— Ну, и что же вы получили за это? — сказала я.

Отец запнулся. Он внимательно посмотрел на меня и, как бы на замечая моего вопроса, продолжал говорить дальше. В другой раз, когда он опять рассказывал о победах и геройстве друзей, я перебила его:

— Папа, расскажи нам о своем пребывании в Сибири. Об этом ты ничего не говоришь.

— Об этом невозможно говорить, — ответил он.

— Конечно, — сказала я, — о зверствах сталинского правительства говорить невозможно. Наверное, уж так хорошо было там, что об этом нельзя даже и вспоминать, — настаивала я.

Тогда отец рассердился.

— Я запрещаю тебе так говорить! — почти крикнул он.

Я замолчала. Но когда в следующий раз он опять начал рассказывать о боях в Прибалтике, я не выдержала и спросила, чем же родина наградила его за то, что он боролся за нее. Почти вне себя, отец ответил:

— Моя родина мне дороже всего на свете, и я всегда готов отдать мою жизнь за нее. Знай это!

Итак, все мои старания добиться откровенности в разговорах с отцом оказались напрасными. Мои замечания о советском правительстве только вызывали его раздражение и вели к ссорам. Иногда мне казалось, что мы с ним совсем чужие. Что-то было не так, как раньше. Что-то изменилось, что он стал таким скрытным. Но нет! Мне не верилось, что после всех лишений, которым он подвергся до войны в Сибири и после войны, он мог превратиться в убежденного коммуниста. Это невозможно. Но то, чему я была свидетелем, угнетало меня. Как мы будем жить дальше, если даже в семье, со своими, нельзя быть откровенным?! Такие мысли прежде не приходили мне в голову. Но прежде, когда он был среди нас, я была еще неопытной девчонкой…

Спустя некоторое время я поехала в Никополь, чтобы зарегистрироваться в бюро НКВД. Оно помещалось в том же здании, где во время войны была биржа труда и где нас зарегистрировали немцы. Перед зданием стояла длинная очередь репатриантов. Это здание я заметила еще издалека. Оно, как чудовище из красного кирпича, неуклюже возвышалось над кустами и деревьями улицы. Высокого забора больше не было. Вероятно, он сгорел во время войны или его разнесли люди на топливо. Теперь оно выглядело, как огромная казарма, массивная и неприветливая.

Некоторые женщины привели с собой своих мужей, девушки — женихов, бывших красноармейцев или еще находившихся на службе в армии. В те времена их ручательства, иногда даже их

присутствие, могло облегчить участь «немецких коллаборационистов».

Каждый репатриант должен был заполнить длинный формуляр и отдать чиновнику НКВД. А через пару дней приходило сообщение явиться за паспортом и направлением на работу.

— Волчьи билеты выдают нам, — сказал кто-то в очереди. — Как будто мы какие преступники!

Волчьими билетами в царские времена отмечали бывших преступников, которые отбыли свой срок ссылки и заключения.

— Так вот тебе и родина! — послышалось опять в толпе.

— Это нам награда за немецкие издевательства и тоску по родине! — сказал опять кто-то.

Подобные замечания можно было слышать отовсюду. Люди не боялись высказывать свои мысли среди «своих», таких же потерпевших.

Вдруг все притихли. С улицы послышалось какое-то звяканье металла. Сначала почудилось, что это ведут стадо коров с прицепленными к ним колокольчиками, чтобы они не разбегались. Но я ошиблась. Мимо нас по пыльной дороге шла колонна мужчин. Со всех сторон их окружали вооруженные красноармейцы. Их лица были заросшие, одежда не похожа на одежду — какие-то тряпки болтались на их худых телах. Обуви на них не было, они все шли босиком. А на их бедрах висели консервные банки, ложки и вилки, производя этот странный металлический шум. Я также заметила, что у некоторых из них были связаны руки.

— Это кто? Преступники? — спросила я стоявшего рядом парня.

— Преступники? — удивленно глядя на меня, переспросил он. — Это наши солдаты, которые были в немецком плену.

— О!.. — простонала я. — Почему же они под конвоем?

— Да, почему? — ответил парень.

— Почему они не свободны? Ведь они теперь дома! Что же с ними здесь делают?

— Потому что они изменники родины! Даже хуже! — сказал кто-то рядом со мной четко и ясно. За моей спиной стоял молодой человек в новой форме НКВД. Я невольно шагнула в сторону. НКВДист молча смерил меня с ног до головы, затем отвернулся и ушел. А через несколько минут ушла и я…

Я ушла без оглядки, без регистрации в НКВД, хотя моя очередь была уже близко. В одно мгновение пронеслось перед моими глазами: мебельная фабрика, наш страйк против получения нагрудного знака «ОСТ», фрейтальский лагерь на Черной горе, наш перестук колодками, когда мы шли ранним

утром в тумане на работу, тоже окруженные охраной, сотни наших военнопленных за решетками возле бани с протянутыми к нам руками, мой побег, гестаповская тюрьма… И в эту минуту мне стало ясно: я должна оставить свою родину.

Я не помню, как долго я плелась к вокзалу. Мои мысли путались, щеки горели от негодования, а в левой руке я комкала формуляр НКВД… И в эту минуту острая боль в спине заставила меня остановиться.

— Немецкая б….!

— Фрицевская подстилка!

— Смотри, как прихорошилась!

— Давай! Давай покажем ей!

На минуту громкий смех повис в воздухе, и тотчас же на меня посыпался целый град камней. Только теперь я увидела с левой стороны улицы группу девушек, работавших на стройке. Это они кричали и смеялись, бросая в меня камни.

И я поняла почему: на мне было красивое платье, по которому они узнали репатриантку, то есть «изменницу родины». Они все были очень молоды, и, вероятно, никто из них не работал «с врагом». Их одежда была простая, грязная от работы, волосы спрятаны под пыльные белые платки. С утра до вечера они работали, как мужчины, и иногда видели, как какая-нибудь «немецкая б….» в чистой одежде иного покроя проходила мимо… Вот в чем дело: их тоже натравили против нас. В их глазах мы были «фрицевскими подстилками» и «изменницами родины».

Я бросилась бежать от строительства, зацепилась за какой-то корень и упала. И опять громкий, злорадный смех раздался за моей спиной, сопровождаемый непристойными ругательствами.

Когда я отошла от них подальше, я села немного в стороне от улицы на камень и заплакала. Но мой плач длился недолго. Внезапно, как молния, известная поговорка промелькнула в моей голове, и плач прекратился: «Москва слезам не верит!» В то же мгновение и будущее мое было решено: обратно «к врагам»!

К вечеру я вернулась домой. К счастью, в комнате, кроме мамы, никого не было. Я рассказала ей все подробности моей поездки в НКВД и под конец не утаила от нее своего намерения.

— Я решила уйти отсюда, мама. Я не выдержу здесь.

Мама помолчала. Для нее, как и для всех мам мира, только одно было главное: чтобы семья была вместе. Остальное она не хотела понимать.

— Я никогда здесь не буду счастливой, — сказала я.

— Может, ты должна поехать с отцом в Никополь. Может, он как-нибудь поможет. Все же он был на фронте.

— Нет, мама, — ответила я. — Папа не может сделать

невозможного. Сталин не изменит своей политики.

— Ты хоть ни с кем не говори об этом, — ответила она. — Особенно с отцом.

Но позже я сказала об этом Нине, и она тотчас же заявила:

— Я пойду с тобой!

— Нет, — ответила я. — Ты должна остаться и помогать родителям. Ты все же моложе меня и, может, привыкнешь.

Но Нина не хотела и слышать об этом.

— Как я смогу им помогать, если меня на целых два года отправят на Урал или куда-нибудь подальше! Я не смогу даже видеться с ними. Кроме того, мне тоже не нравится, как на нас здесь смотрят, — как будто мы преступники какие! Я тоже, как и ты, надеялась, что после войны многое изменится в нашей стране, будет свободнее. Поэтому я вернулась. А оказалось, все то же самое.

После моей поездки в НКВД все последующее время меня занимали мысли о возвращении на Запад. Эти мысли не давали мне покоя ни днем, ни ночью. Как оставить опять родителей? Что с ними будет? Как они начнут устраивать свою дальнейшую жизнь без помощи детей?

Когда я не могла уснуть, я вставала и выходила во двор. Там я садилась возле дома, и перед моими глазами, как во сне, проплывало все случившееся за последние годы: Сергей, гестапо, американцы, НКВД. Как прав был Роберт, когда говорил мне, что жизнь в Советском Союзе невыносима. Откуда он знал это? И как я была глупа, что не верила ему! Да, я была очень глупа, представляя себе, что после войны все изменится, будет легче жить, свободнее, не будет преследований, доносов. Теперь я знаю: пока Сталин жив, ничего не изменится! Как глупо, что я даже не записала адреса Роберта, настолько была уверена в том, что не вернусь. А теперь…

Однажды ночью, когда я сидела во дворе, раздумывая об одном и том же, — как возвратиться на Запад, — я услышала тихий голос за моей спиной.

— И вы не спите?

Я оглянулась: передо мной стояла одна из наших соседок. Это была пожилая, больная туберкулезом женщина.

— В комнате душно, — ответила я. — А вы? Вам тоже не спится?

— Нет. Я не могу спать. У меня всегда бессонница.

— Почему вы не идете в больницу?

— А что мне больница? — ответила она. — Мне там не помогут. Мне бы только дождаться сынка из армии. Он должен скоро вернуться. А тогда и помирать можно.

— Вам следовало бы обратиться в городское управление, чтобы вам выдали специальные карточки на продукты, или чтобы послали в санаторий.

— Я стара и больна. Такие не нужны государству. — «Кто не работает, тот не ест», — закончила она любимым тезисом Сталина. И она, конечно, была права. Именно так и есть в стране рабочих и крестьян.

— Кто не работает, тот не есть. Это — диктатура пролетариата, как она выглядит на практике.

Через месяц после приезда отца мы получили другую квартиру. Она находилась в том же доме, этажом ниже. Это была большая комната, которую мы разделили четырьмя перегородками: мать и отец в одной «комнате», мы, девушки, — в другой. Иван тоже получил свой угол, а кухня-столовая была общая. У нас была только одна кровать, которая досталась родителям, а все мы спали на полу. Из чемоданов мы сделали столы, но еще многого не хватало, еще не было ни белья, ни посуды, ни мебели, ни одежды. Но несмотря на эти недостатки, мы не очень страдали от материальных неудобств. В общем-то мы были счастливы, что опять вместе. В такие минуты, когда все сидели за столом, ели и разговаривали, у меня становилось тяжело на душе — я знала, что скоро мы опять расстанемся.

Однажды я попросила маму, чтобы она сделала намек отцу о моих намерениях оставить родину. И пару дней спустя она сказала:

— Он об этом и слышать не хочет.

— А ты, мама, что ты об этом думаешь?

— Если бы я была уверена, что вам это удастся и что вы там будете счастливы, то я ничего не имею против, — ответила она. — Что мне с того, если вас заберут и здесь в лагерь?!

Мы больше не говорили о моих намерениях. Но с этих пор у меня отлегло от сердца. Я была рада, что мама знала о наших планах и что она не станет уговаривать меня и Нину остаться. Теперь она чувствовала и понимала все, как только одна мать может понимать в таких обстоятельствах.

Перед тем как совершить задуманное, я еще раз поехала в Никополь. Я хотела навестить мою подругу Шуру и ее родителей.

Их домик находился недалеко от вокзала, и я скоро нашла его. Еще во Фрейтале Шура мне точно описала его.

— О! Моя дочь много говорила мне о вас! — сказала мать Шуры, когда я назвала себя. — Заходите!

Она провела меня в гостиную, поставила чайник, потом мы сели за стол.

— Я сейчас одна, муж на работе.

— А где же Шура?

— Шура теперь в Германии. Она с мужем недавно приезжала сюда. Она вышла замуж за офицера Красной армии.

— А как ее муж? Она счастлива с ним?

— Да, кажется, очень счастлива. Он очень добрый человек. Он и нас не забывает. Помогает нам.

Мать Шуры заварила чай и поставила на стол пирожные.

— А как отнесся ее муж к тому, что она была в Германии? У нее были затруднения выйти за него замуж?

— Ее муж многое понимает. Он добился того, что они с отцом быстро возвратились на родину — ведь в последний год войны Шура встретилась там с отцом. Она, кажется, писала вам об этом?

— Да, я слыхала об этом.

— Вот я вам покажу письмо от нее. Хотите? — сказала она, открывая ящик в столе, вынула оттуда письмо и подала мне.

Я сейчас же узнала почерк Шуры. Она писала большими детскими буквами: «Мамочка, — писала она, — Вася один из лучших мужчин, которых мне когда-либо приходилось встретить. Он образован и с хорошими манерами, что — редкость среди советских военных. Все мои подруги завидуют мне. Он им всем нравится. А я — я очень счастлива. Он освободил меня из рабства. Мы скоро опять приедем к вам, может, к Новому году. Тогда у Васи будет отпуск…».

Прочтя письмо, я на минуту задумалась. Интересно было бы узнать, как Шура встретилась со своим будущим мужем? Как она вообще встретилась с советскими войсками? Может, ей посчастливилось и с ней не случилось того, что случилось с сотнями советских девушек, которых тоже освободили наши войска. Я не хотела об этом спрашивать ее мать. Она, вероятно, ничего не знает, как вели себя советские солдаты, когда занимали немецкие города. Может, мои расспросы наведут ее на тревожные мысли и она только расстроится. Мы выпили чай, еще поговорили немного, затем я встала:

— Передайте Шуре от меня приветы. Я не знаю, увидимся ли мы с ней когда-нибудь. Я возвращаюсь обратно на Запад.

По дороге домой я увидела церковь. Она была открыта, и я зашла туда. Еще до войны Сталин опять разрешил открыть церкви…

Церковь была почти пустой. Возле алтаря две старушки стояли на коленях, усердно молились и били поклоны. Я тоже стала на колени…

Побег обратно

За последние дни, после посещения Шуриной мамы, я очень серьезно начала думать о возвращении на Запад. Нина все же решила идти со мной, но мы об этом, кроме мамы, ни с кем не говорили. Перед самым отъездом я еще раз пошла с мамой на базар, чтобы продать пару платьев и взять с собой немного денег. Была уже осень, и воздух стал прохладнее. Надо было подумать и о теплой одежде, тем более, что мы не могли представить, что нам предстоит в пути.

Возвращаясь с мамой с базара, я с удивлением заметила, что встречные красноармейцы отдают мне салют. Мама тоже испугалась. Вначале я недоумевала, но потом поняла — на мне был красивый тирольский костюм с погонами и полосками по обеим сторонам юбки. И встречные красноармейцы принимали это за военную форму какого-то высшего чина. И мне ничего не оставалось делать, как тоже салютовать в ответ. А дома мы смеялись…

Итак, уже более трех месяцев мы пробыли дома, не регистрируясь в НКВД, никуда не уезжая на работу. Официально репатриантам разрешалось оставаться дома всего две недели. Нам всем стало ясно, что дальнейшее пребывание без разрешения могло быть опасным. Для нас с Ниной пришло время либо двигаться на Запад, либо попасть в лапы НКВД. Но мы уже решили…

Рано утром в день нашего отъезда я пошла на вокзал и купила два билета вплоть до польской границы. Наш поезд уходил около десяти часов вечера. Отцу мы сказали, что едем в гости к одной из теток. Иван провожал нас до вокзала.

— Не забудьте же писать, — сказал он, прощаясь.

Я удивленно посмотрела на него. Знал ли он о нашем намерении? Если да, то от кого? Или же он просто догадывался, что мы уходим туда… Но Иван только улыбался. Мы все еще раз обнялись и поцеловались. Я ничего ему не сказала…

На вид большинство пассажиров в поезде были спекулянтами. И почти все они ехали в том же направлении, что и мы, — вплоть до польской границы. Там за продукты они выменивали одежду, табак, сигареты и прочее. А возвратясь сюда, все продавали втридорога. Кроме них, в поезде было много красноармейцев. Эти возвращались из отпуска на службу в оккупированные страны.

Ночь в поезде прошла довольно спокойно. Нам с Ниной удалось даже немного вздремнуть. Но под утро, часа в четыре, в

Полтаве, объявили контроль. В вагон вошел вооруженный красноармеец и стал проверять билеты и бумаги. Когда очередь дошла до нас, мы с Никой показали свои билеты.

— А ваше разрешение городской комендатуры на поездку? — спросил военный.

— У нас его нет, — ответила я.

Я совершенно забыла о том, что после войны запрещалось ездить из одного города в другой без разрешения городских властей.

— Мы только недавно приехали из Германии и ищем своих родителей, — отвечала я.

Такой ответ звучал довольно правдоподобно. В то время многие репатрианты, возвратясь на родину, не сразу находили своих родственников. Война разбросала людей во все концы. Тысячи погибли, другие эвакуировались, многих угнали немцы в последние дни отступления. Но красноармеец был невозмутим:

— Пойдемте со мной! — сказал он.

Мы сошли с поезда и поплелись за ним к его дежурке, тут же на вокзале. А там уже было человек пятнадцать таких же, как и мы, — без разрешения на поездку. У некоторых были даже билеты.

В дежурке нам объявили, что каждый должен заплатить сто рублей штрафа и может идти. Мы с Ниной были последними.

— Откройте, пожалуйста, чемодан, — сказал военный.

Я открыла чемодан, и он начал рыться в нашем барахле. С самого дна он вытащил немецко-английский и англо-немецкий словарь, который мне еще в Тироле оставил Роберт. Он начал перелистывать страницы.

— Что это? — спросил он.

— Это немецко-английский словарь, — ответила я.

— А зачем он вам? Вы говорите по-английски?

— Нет, но я хочу изучать английский язык.

Он опять начал перелистывать страницы, потом показал пальцем на слово.

— Что это значит?

Я нагнулась над словарем и прочла.

— Это «плэт», то есть по-английски это — тарелка.

— А это? — продолжал показывать он и на другое слово.

— Это значит «ту го», то есть — идти.

Через несколько минут он, вероятно, убедился в том, что книга не какая-то запретная литература и возвратил ее мне.

— А что это у вас так мало вещей из Германии? — спросил он.

— Мы оставили некоторые вещи у бабушки, — продолжала я

так же невозмутимо врать.

— А как там в Германии? — опять спросил он.

— Плохо, — ответила я.

— А как там живут люди?

— Некоторые хорошо, другие хуже.

— Где, вы говорите, ваши родители? — спросил он.

Я не помнила, сказала ли я ему, где наши родители. Может, он хочет поймать на удочку, подумала я.

— Мы не знаем, где наши родители. Нам сказали, что они уехали в Галицию, на запад Украины. Поэтому мы и едем в этом направлении.

— С каждой из вас по сто рублей, — сказал он и захлопнул наш чемодан.

— У нас нет денег, — ответила я.

— Тогда я должен вас запереть.

Мы с Ниной переглянулись.

— Тогда запирайте, — ответила я.

Красноармеец молча повел нас в комнату рядом с его дежуркой и запер ее снаружи.

— И не думай отдать ему наши последние деньги, — сказала Нина, когда мы остались одни. — Подождем немного, он все равно нас выпустит.

Так и вышло. Красноармеец вернулся через полчаса, открыл дверь и отдал нам наш чемодан:

— Убирайтесь вон, чтоб я вас здесь на станции больше не видел, — сказал он. — Иначе, если попадетесь, я должен буду отвести вас в главную комендатуру.

Взяв наш чемодан, мы с Ниной ушли подальше от дежурки военного, но остались на территории вокзала. Скоро мы опять увидели кучку спекулянтов и направились к ним. Эти всегда знали, когда и куда шел поезд. Через каких-то полчаса пришел товарный, и нам сказали, что он едет прямо во Львов, к польской границе.

С группой мешочников мы влезли в пустой вагон. Когда все уселись и, задвинув дверь, начали ждать отхода поезда, дверь вдруг отворилась и красноармеец с монгольскими чертами лица и винтовкой в руках крикнул:

— Выходите! Все выходите! Ехать здесь запрещается!

Но никто из сидевших не двигался. Тогда, вскочив в вагон, он начал нас выталкивать:

— Выходите, стрелять буду!

Своей винтовкой он толкал в спины сидевших, и мы, ругаясь, неохотно полезли из вагона. Но как только он ушел, все опять забрались в тот же вагон. Красноармеец вернулся и снова стал

всех выгонять. На его крик к вагону подошел еще один красноармеец. Некоторое время он стоял и смотрел, как монгол выталкивал нас, затем приблизился к нему и сказал:

— Чего орешь?! Оставь их в покое. Пусть себе едут!

— Запрещено. Закон, — ответил монгол.

— Закон! Закон! — передразнил его красноармеец. — Иди себе дальше! Пусть едут!

Монгол замолчал и нехотя ушел.

— Монгольская морда! — сказал красноармеец и, махнув нам рукой, тоже ушел.

Такой поворот дела даже не очень удивил меня. Монголов в России не любили. За их фанатичное повиновение закону их ненавидели даже в армии. Кроме закона, они не признавали никакого авторитета. Они все выполняли слепо по предписанию. А русский человек вообще законы недолюбливает. Каждому русскому присуща своего рода внутренняя анархия. Он предпочитает простор и свободу. Закон стесняет его. Его душевные силы так же необъятны, как необъятны привольные, широкие степи его родины. Может быть, эта недисциплинированность русского человека — причина того, что в России всегда господствовал тоталитарный режим, — будь то царь или диктатура пролетариата. Это неподчинение закону было, вероятно, одной из причин, почему Сталин в тридцатых годах ввел драконовские меры насчет работы — когда за пятиминутное опоздание судили и ссылали на принудительные работы. Удалось ли коммунистам привить русскому человеку повиновение закону, в этом я и теперь очень сомневаюсь. Поговорка, которую употребляли еще при царе, — «До Бога высоко, а до царя далеко» — и на сегодняшний день в силе в отдаленных регионах Сибири, Севера и на Кавказе. Мне кажется, нет в мире более анархичного человека, чем русский. Бесконечность просторов и кочевой образ жизни древних славян должны были создать человека с душой свободолюбивой и независимой. Вероятно, только из таких предпосылок могла возникнуть анархия Бакунина. Эту черту независимости и анархичности можно наблюдать даже среди русских эмигрантов за границей. В то время, как другие национальности более или менее сплачиваются и живут колониями, русские часто живут разбросано, среди них нет единства, нет взаимопонимания. Иностранцы нередко замечали, что русские сварливы, часто ссорятся между собой, не терпят друг друга. Все это, по-моему, из-за чрезмерно выраженной индивидуальности человека. Русская литература почти не создала типов. Все персонажи художественных произведений отличаются если не крайней, то

какой-то сверхъестественной индивидуальностью, так тонко отображенной в творчестве Достоевского. А если считать пушкинского Онегина и тургеневского «лишнего человека» типами, то эта их типичность, отпадая от общего течения, только сильнее подчеркивает стремление русского человека быть самостоятельным, т. е. «самим по себе». А персонажи Гоголя и Гончарова, хотя и имеют много типичных черт русского человека, являются извращенными типами, вернее, карикатурами.

Неуважение к закону среди советских граждан еще больше усилилось после Второй мировой войны. В свою очередь, правительство испугалось, что советский человек, побывав за границей, начнет требовать больше свободы. Да. Оно испугалось. И реакцией на требование свободы была ждановщина, возобновление террора. Иначе коммунизм мог бы легко превратиться во что-то совершенно иное…

Помню, как несколько лет спустя, когда я была уже на Западе и работала в Германии, меня навестил отец. Ему, как инвалиду Отечественной войны, разрешили съездить за границу. Он удивлялся западноевропейскому порядку, особенно урегулированному уличному движению с учтивой полицией. Он рассказывал мне, как все это разительно отличается от условий в Советском Союзе. За нарушение правил уличного движения их милиция применяет драконовские меры. Когда я возмутилась, он сказал:

— Нет, это правильно. С нашими людьми иначе нельзя. Будет хаос.

Но я отвлеклась…

Наш товарный наконец двинулся, и под вечер мы приехали во Львов, находившийся недалеко от польской границы. По выходе из вагона нам представилось невероятное зрелище: на станции, вдоль железнодорожной линии, сидели сотни и сотни людей в ожидании поезда. По их внешнему виду можно было заключить, что они сидели там уже много дней. Почти все они ехали на родину. А на вокзале даже не было билетной кассы — все места уже заранее были забронированы, главным образом для военных, которые ехали домой в отпуск или из отпуска на службу в оккупированные страны.

Ожидающие пассажиры сидели группами. Всюду шныряли воры. Не успевал человек оглянуться, как тут же, на глазах, тащили все, что попадется под руку. Поэтому, чтобы спасаться от воров, люди ютились кучками.

Сразу же за вокзалом находился базар, где на продукты и одежду были невероятные цены. Мы с Ниной не могли себе позволить купить хотя бы кусок хлеба. И нас тоже здесь постигла

участь ожидающих: мы примкнули к группе сидевших, чтобы спастись, особенно ночью, от воров. А в группе кто-нибудь всегда сторожил, и если нападал вор, то сторож сразу же будил остальных и тогда удавалось отбить нападение. Но иногда это и не удавалось, и у кого-нибудь утаскивали узел или чемодан. Милиция была совершенно беспомощна в борьбе с ними. Их было слишком много.

Львов нагнал на меня страх. Уже три дня мы с Ниной сидели на вокзале без малейшего представления, чем кончится наше предприятие «пролезть» на Запад. Запас еды кончился, и мне пришлось отдать последние рубли за полбуханки хлеба. Уже три ночи мы почти не спали. Только иногда на пару минут кому-нибудь удавалось вздремнуть. Не было где ни помыться, ни сварить горячего чаю. И я уже начала сомневаться в том, что мы пройдем советскую границу. Помимо всего, это было самым опасным. Переход границы считался предательством родины, и по закону преступника могли расстрелять на месте. За себя я не очень беспокоилась. Но о Нине я думала со страхом. Ведь если что-нибудь случится, родители скажут, что это была моя вина, что я уговорила ее идти со мной.

С каждым днем становилось все хуже и хуже. Уже не было чего и продать. Кое-какие вещи, которые мы захватили с собой, были нам самим очень нужны: два полотенца, кусок мыла, две простыни, по паре белья и одно тонкое шерстяное одеяло. Был еще мой тирольский костюм и Нинино осеннее, тоже тирольского покроя, пальто. А уже приближалась зима. Стоял ноябрь. Ночью и по утрам было холодно. Только чудо могло спасти нас из этого безвыходного положения.

На пятый день нашего пребывания в этом львовском аду рано утром я увидела, как на станцию медленно въезжал странный состав. Большинство вагонов были открыты и нагружены соломой, сеном и разным барахлом. В других, тоже открытых вагонах, стояли коровы и лошади. Только несколько вагонов были закрыты. Через несколько минут, когда состав остановился, из этих закрытых вагонов начали выходить люди: женщины в белых платочках, мужчины — в поношенной одежде. Детей нигде не было видно. А если они и были, то, вероятно, еще спали.

Эти люди не были похожи на репатриантов. Они также не были военными. Не долго раздумывая, я направилась прямо к ним и спросила одну из женщин, кто они.

— Мы поляки, — ответила она. — Мы возвращаемся из Сибири домой, в Польшу.

Теперь мне стало ясно. Это были польские крестьяне, которых в 1939 году, после раздела Польши между Советским Союзом и

Германией, мобилизовали на работы в Сибирь. Теперь этих поляков советское правительство обменивало на проживающих в Польше украинцев.

Поняв все это, я тотчас подумала, что этот транспорт может быть нашим единственным шансом пробраться дальше, и сразу загорелась этой идеей.

— А вы могли бы спрятать мою сестру и меня в вашем транспорте? — спросила я женщину дрожащим от волнения голосом. — Мы хотим переехать через границу.

Я знала, что поляки не любят Советский Союз и не выдадут нас. Видя, что женщина колеблется с ответом, я добавила:

— У нас нет денег, чтобы заплатить вам. Но у меня есть две простыни, которые я могу оставить вам. Спрячьте нас в сено. Нам бы только через границу, а дальше мы пойдем сами.

Женщина оглянулась. Вблизи нас никого не было. Затем она сказала шепотом:

— Приходите, когда стемнеет. Поезд будет стоять здесь до вечера.

— Хорошо! — ответила я и побежала к Нине.

Когда начало темнеть, мы с Ниной пошли к составу поляков.

— Вот наш чемодан. Поставьте его вместе с вашими вещами, — сказала я той польке, с которой договаривалась. Тут же я вынула две простыни из чемодана и отдала ей. После этого мы с Ниной залезли в соседний вагон и зарылись в нем в сено.

Но состав не отходил еще довольно долго. Наконец поздно ночью он двинулся. Однако на границе, которая была всего в нескольких километрах от Львова, поезд опять остановился. Здесь был пограничный контроль. Минуты решали нашу судьбу.

Мы с Ниной лежали молча и не двигались. До нас доносилась польская и русская речь — грубые ругательства пограничников, ржание лошадей, мычанье коров и лай собак. По этим звукам мы чувствовали, что контроль все ближе подходил к нам. Мы могли уже ясно слышать, какие вопросы пограничники задавали полякам и что те на них отвечали. Нам было слышно, как открывали сундуки и чемоданы для проверки и как их потом бросали обратно в вагоны. Вдруг, почти рядом с вагоном, я услышала голос той польки, которая спрятала нас:

— Господи! Господи! Выходите поскорее. Выходите и уходите прочь, а то мы все пропали.

— Но куда же мы теперь пойдем? — немея от ужаса, отозвалась я шепотом.

Затем раздался голос мужчины:

— Идут! Идут! Они проверяют сено штыками!.

— Куда же мы пойдем, — опять сказала я. — Ведь нас на

месте расстреляют!

— Если вас здесь найдут, — послышался другой мужской голос, — весь транспорт будет задержан!

— Мы рискуем своей головой, — услышала я еще чей-то голос.

— Если нас найдут, мы вас не выдадим! — бросила я в ответ.

— Уходите! Уходите! — почти в панике умоляла нас женщина. — Вот ваши простыни! — и она бросила нам наверх наши две простыни и чемодан.

— Но куда же? — спросила я уже в отчаянии.

— Куда хотите, только прочь отсюда! — ответила та же женщина.

Вдруг все голоса замолкли. Совсем рядом послышалась какая-то возня, и опять все затихло. Тогда мы с Ниной взяли свой чемоданчик и простыни и начали вылезать из сена. Стояла безлунная, темная ночь. От неподвижного лежания в сене наши ноги почти не повиновались нам. Спотыкаясь в темноте, мы прошли пару шагов вдоль транспорта. Вдруг я остановилась.

— Пошли, Нина, — сказала я, ухватив ее за руку. — Лезем в вагон с коровами и лошадьми!

Вагон, перед которым мы остановились, был без крыши, в нем стоял скот. Как только мы влезли в него и притаились — каждый в своем углу — под брюхами коров, совсем близко послышались голоса пограничников.

— Бумаги! Паспорта!

Они были почти рядом, в том же вагоне, где сидели поляки, которые выгнали нас. В то же самое время что-то сильно стукнуло чем-то тяжелым о наш вагон.

— Свет сюда! Здесь коровы и лошади! — раздался голос пограничника, и тотчас же свет прожектора упал почти рядом со мной под ноги лошадей и коров. Свет еще несколько раз прорезал тьму с одного конца вагона в другой и опять стало темно. Контроль пошел дальше… А через каких-то полчаса поезд двинулся. Мы с Ниной, скорчившись под брюхами коров и полумертвые от нервного напряжения, еле дышали. Но, наконец, мы были за границей!

Солнце еще не взошло, когда поезд остановился на одной небольшой станции. Здесь паровоз отцепили, вероятно, для перемены, и поляки начали медленно вылезать из своих вагонов. Нина и я тоже вылезли из нашего убежища. От ночной сырости и холода наши руки и ноги совсем закоченели. А от невероятного волнения мы почти забыли о голоде. Только увидев, как польские крестьяне готовили перед вагонами себе завтрак, мы почувствовали, как нам хочется есть. Дрожа всем телом, мы шли

вдоль состава, держа в руках наш чемоданчик, и смотрели, как на наскоро сделанных из кирпичиков печках жарилось сало и яйца, варился кофе и чай. Я почувствовала, как мой желудок сжимается от боли. Мы жадно смотрели на эту пищу, но никто не предложил нам ни кусочка хлеба. А поляки, которые нас спрятали, а потом выгнали, с удивлением смотрели на нас, но ничего не говорили.

Куда теперь? Недалеко от станции я увидела несколько хижин.

— Пойдем туда, — сказала я Нине. — Может, там удастся чего-нибудь поесть. Может, там можно будет отдохнуть и помыться.

У одной хатенки, к которой мы приблизились, стояла молодая женщина. Возле нее лежал огромный пес. Завидев нас, он начал ворчать и пару раз залаял. Женщина пригрозила ему и поздоровалась с нами. Я рассказала ей, что мы беженцы и спросила, нет ли у нее чего-нибудь поесть. Она направилась в избу, дав нам знак следовать за ней. Там она предложила нам сесть на скамью, а сама пошла на кухню. Через пару минут она вышла с большой миской горячего молока и ломтем хлеба.

— Ешьте, что есть, — сказала она и поставила миску перед нами на стол. — А мне надо посмотреть за детьми. Я теперь одна с ними. Мужа убили на фронте.

— Можно у вас здесь на этой скамье немного отдохнуть? — спросила я. — Мы уже несколько ночей не спали.

— Устраивайтесь, как можете, — ответила она.

После еды Нина и я просто упали на скамью и сразу же уснули. А когда я проснулась, то увидела хозяйку дома. Она сидела у окна и шила.

— Мы, наверное, очень долго проспали, — сказала я, извиняясь. Большие часы на стене показывали пять пополудни.

— Там в кухне можно помыться, — сказала женщина. — Я нагрела воды.

Только теперь я увидела, какие мы с Ниной были грязные: наши лица, руки и одежда были вымазаны коровьим навозом. Ночь, проведенная с коровами и лошадьми, оставила на нас свои следы. Когда я глянула в зеркальце, висевшее на кухне, я не узнала себя. Измученная и грязная, я была похожа на старуху. Но сон, пища и вода освежили нас. Добрая полька дала нам на дорогу еще кусок хлеба. За все это я оставила ей одну из наших простыней.

И опять мы направились к станции. А вечером сели в товарный поезд, шедший на запад. Так как мы все еще были уставшие, мы свернулись в углу вагона — в нем лежало немного угля — и быстро уснули.

— Вставайте! Вставайте! Поезд дальше не идет! — кричал чей-то голос, который и разбудил нас.

— Где мы?

— В Катовицах.

Кроме нас, мы это не сразу заметили, в вагоне находилось еще несколько человек. Все начали выходить. Оказалось, что поезд стоял на товарной станции в Катовицах. Было еще темно, но мы могли разглядеть, что недалеко было большое здание вокзала. Электрический свет ярко освещал его со всех сторон, и мы с Ниной поплелись прямо к нему.

Внутри огромного зала ожидания было тепло и уютно. Пассажиры сидели на длинных скамьях, возле них лежали горы багажа. Везде было чисто, люди — хорошо одеты. Измученных и затасканных репатриантов, как во Львове, нигде не было видно. И мы с Ниной поняли, что наш вид совсем не подходит к этому элегантному западноевропейскому миру. Нина, в ее меховой шапке, была похожа на эскимоску, а я, в моем грязном легком пальтишке, — на беженку.

— Нам надо обязательно переодеться, — сказала я, и Нина согласилась со мной. — В таком виде нам дальше идти невозможно.

Но что делать? Как нам привести себя в порядок? У нас не было ни денег, ни места, где мы могли бы помыться и почистить свою одежду. Я стала анализировать наши обстоятельства и, наконец, пришла к странному заключению.

— Я думаю, что нам надо пойти в советскую комендатуру и попросить помощи, — сказала я.

Нина с ужасом посмотрела на меня:

— Ты хочешь, чтобы нас арестовали?

— Нет, — ответила я. — Я все обдумала. Мы выдадим себя за возвращенцев в Союз. Скажем, что нас в дороге обокрали и что мы отстали от эшелона. Что они с нами сделают? В крайнем случае, направят в лагерь репатриантов. Но об этом мы подумаем позже. А сейчас самое важное — получить провиант. Это нам поможет двигаться дальше.

Нине ничего не оставалось делать, как молча согласиться на все. Ведь предводителем в нашем побеге на Запад была я. И я во всех ситуациях решала наши дальнейшие планы действия. Как старшая сестра, я также чувствовала ответственность и за нее. А она была не очень находчивой. В жизни ее всегда все толкали, и она не сопротивлялась. Может быть, именно поэтому я и находила в себе силы действовать и за нее. Несмотря на то, что иногда мне казалось, что без нее мне было бы легче, она все же была для меня своего рода моральной опорой. Может быть, без

нее я не была бы такой проворной и находчивой, и не сумела бы так ловко выкручиваться из разных безвыходных положений. Ее присутствие и чувство ответственности всегда вдохновляли меня на что-то новое. В то же время все это, конечно, делалось несознательно. Только теперь, спустя много лет, я поняла роль Нины в нашем побеге на Запад.

— Где здесь военная комендатура? — спросила я какого-то красноармейца, когда мы вышли из зала ожидания.

— А вон там. Недалеко отсюда, — сказал он. — Хотите, я провожу вас туда.

Такая внезапная приветливость ошарашила меня. Но я не растерялась:

— Если вас это не затруднит.

— О нет, — ответил он. — Я как раз иду туда.

Здание комендатуры находилось всего в паре сотен метров от вокзала. Это был большой старинный дом, вероятно, когда-то дворец какого-то польского вельможи, убежавшего теперь от русских на Запад. Здание было двух- или трехэтажное. По обеим сторонам лестницы стояли каменные сторожевые львы. Большие балконы и окна говорили о роскоши его владельца. У входа стояли два вооруженных красноармейца.

Наш гид подошел к ним и сказал, что мы хотим видеть коменданта. В прихожей навстречу нам вышел молодой лейтенант. Он записал наши фамилии, затем указал на большие, мягкие кожаные кресла, куда мы с Ниной сели.

Было еще рано, только половина девятого утра, и мы были первыми посетителями. Через полчаса пришел комендант. Его сопровождала целая свита советских офицеров. Лейтенант, который записал наши фамилии, доложил ему о нас. Комендант посмотрел в нашу сторону и кивнул ему головой. Затем со всей свитой скрылся за дверью своего кабинета. А минут через десять нас позвали к нему.

Роскошная мебель, ковры, цветы и картины на стенах украшали огромный кабинет. У камина стояло несколько больших кресел. Сам комендант сидел за широким письменным столом, стоявшим посреди комнаты.

Я оглянулась вокруг и невольно улыбнулась. Ситуация была сказочная: мы с Ниной в наших грязных лохмотьях напоминали нищих, случайно попавших во дворец короля.

Комендант встал, поздоровался с нами и, смерив нас с ног до головы, немного нахмурился. Его лицо выразило что-то вроде досады или, скорее, презрения.

— Ваши фамилии? — спросил он.

Я назвала нашу фамилию и сразу же начала рассказывать ему

о нашем положении.

— Мы репатрианты, сестры. По пути домой нас обокрали. А когда мы вышли на одной станции купить поесть, ушел наш эшелон, — закончила я.

— Когда это было? — спросил он.

— С неделю тому назад.

Комендант на минуту о чем-то задумался.

— Почему же вы не смотрели за своими вещами? Что вы теперь будете делать без них?! — вдруг почти крикнул он сердитым голосом.

Склонив головы, мы с Ниной молчали.

— У нас нет ни еды, ни денег. Может, вы сможете нам чем-нибудь помочь? — сказала я.

Комендант повернул голову к двери и позвал:

— Григорьев!

Из приоткрытой двери вышел молодой офицер.

— Вот здесь две репатриантки. Их по пути домой обокрали, и они потеряли свой транспорт. Их надо направить в лагерь С. Вы завтра, кажется, едете с венгерской делегацией в том направлении. Можете их захватить с собой и оставить там в лагере?

— Есть, товарищ комендант, — ответил Григорьев — У нас в вагоне достаточно мест.

Затем комендант опять обратился к нам:

— Этот лейтенант повезет вас в лагерь репатриантов. Оттуда вы поедете домой. Я вам напишу справку, которую вы там предъявите коменданту лагеря. А сегодня можете есть в нашей столовой и получите на три дня провиант.

Вместе с Григорьевым он вышел в другую комнату и через несколько минут вернулся, протягивая нам бумажку — направление в лагерь.

— В следующий раз смотрите в оба! Ведь вы здесь в чужой стране! — наставлял нас на ум комендант.

— Проведите их в столовую, Григорьев. И объясните им, куда надо явиться завтра.

Выходя вместе с Григорьевым на улицу, я бросила Нине несколько значительных взглядов — мы добились того, чего хотели! Нам выдадут провиант.

— Завтра я провожаю венгерскую делегацию обратно в Венгрию, — объяснял нам Григорьев. — Они осматривали здесь город. В нашем распоряжении есть два вагона. Если хотите, вы можете уже сегодня там ночевать. В вагонах тепло, а уезжаем мы завтра в два часа дня.

Я поблагодарила лейтенанта и ответила:

— Нам надо привести себя немного в порядок. Постирать одежду, помыться. Поэтому нам лучше было бы подыскать на ночь частную комнатку.

— Тогда я вас проведу в нашу столовую. Там вы можете позавтракать и в кладовой получите провиант. Обед выдают уже с половины двенадцатого. А завтра приходите на вокзал и спросите дежурного, где вагоны венгерской делегации. Он вам покажет.

В кладовой, находившейся тут же при столовой, нам выдали хлеб, муку, сахар, рис и немного жиру. Все это мы потом спрятали в наш, уже полупустой, чемоданчик.

— Теперь садитесь завтракать, — сказал Григорьев. — Будем пить кофе.

Мы сели за стол. Официант принес нам мармелад, хлеб, масло и черный кофе.

— Нет, — сказал Григорьев, — принесите нам настоящий кофе с сахаром и молоком. Я заплачу.

— Я думаю, товарищ лейтенант, — сказала я Григорьеву, — мы останемся здесь до обеда. А потом пойдем искать себе место помыться и почиститься.

Но и Григорьев остался с нами до обеда. Мы сидели за столом, и он рассказывал нам о войне, о своих родителях и друзьях. Он был молод, приветлив и симпатичен. Он много шутил, и мы с Ниной весело смеялись, — первый раз за долгое время! После обеда он попрощался с нами:

— До свидания! До завтра!

— До завтра, — ответили мы.

Прощаясь с Григорьевым я чувствовала себя неловко. Мне было неприятно, что мы должны обмануть этого милого юношу. Нам также было жаль расставаться с ним. Его присутствие и его внимательное обращение с нами, несмотря на нашу внешность, дало почувствовать нам, что мы были тоже люди, а не какие-нибудь грязные репатрианты, которых толкали в шею куда угодно. Казалось, Григорьев совсем не замечал нашей помятой и заерзанной одежды и обращался с нами, как с маленькими принцессами. Вероятно, он был из тех немногих русских военных, которые уважали женщин. Очутившись опять одни, мы с Ниной пошли на вокзал, где в камере хранения оставили наш чемоданчик. Действительно, все здесь выглядело совсем иначе, чем на востоке, откуда мы прибыли. Несомненно, это был мир уже иной цивилизации. Вероятно, в этой части Польши не было жестоких сражений, ибо мы нигде не видели разрушений. Все казалось, как в мирное время. Люди чисто и хорошо одеты. Даже спекулянты, которые и здесь везде шныряли, выглядели приличней, чем те мешочники во Львове или в городах нашей

страны. Люди были вежливы и всегда отвечали на вопросы. И чем больше мы смотрели на все окружающее нас, тем сильнее чувствовали себя неудобно.

Когда начало темнеть, мы с Ниной забрали свой чемоданчик и пошли по узкой улочке, недалеко от вокзала. Остановившись у одного подъезда, мы позвонили наугад. Нам открыла девушка лет пятнадцати.

— Добрый вечер! — сказала я по-польски, затем по-русски. — Мы ищем места переночевать. Мы можем заплатить продуктами. У нас есть мука, бобы, сахар.

— Моей мамы нет сейчас дома, — ответила девушка. — Но если хотите подождать… — продолжала она, открывая дверь и впуская нас в квартиру.

Квартира состояла из одной большой комнаты, кухни и ванной. Все в доме было чисто и опрятно и веяло спокойствием и уютом. Приблизительно через полчаса пришла мать девушки, симпатичная на вид женщина лет сорока. Я объяснила ей наше положение. Выслушав нас, она сказала:

— Если ничего не имеете против спать на кухне, то, пожалуйста, оставайтесь.

Конечно, мы не имели ничего против, но я удивилась ее гостеприимству. Несмотря на явную тесноту, она все же приютила нас. В благодарность я тут же достала весь наш провиант и положила на стол.

— Это вам, — сказала я.

Но женщина запротестовала:

— Нет! Он вам самим пригодится!

Мне все же удалось уговорить ее взять хотя бы сухие продукты: муку, бобы, сахар и жир. Ведь у нас все равно не было возможности готовить. Затем хозяйка провела нас в ванную.

— Здесь есть горячая вода. Вы можете мыться и, если нужно, постирать белье. За ночь оно высохнет.

— В ванной мы разделись, распаковали свой чемодан и начали генеральную чистку: сначала мы купались в горячей воде, и какая это была роскошь после почти недельного скитания без еды, без регулярного сна, без умывания, без отдыха! Мы мыли волосы, стирали блузки, чулки, нижнее белье. Вся эта процедура длилась более часа. Затем мы привели ванную в порядок и вошли на кухню. А там уже был накрыт стол на четыре человека.

— Будем ужинать, — сказала девушка. — Блины с мармеладом и чай.

— Все от майора, нашего русского друга, — добавила ее мать, улыбнувшись.

Но увидев наши испуганные лица, она тотчас же поспешила

нас успокоить:

— Не бойтесь. Он хороший человек, помогает нам, как может.

Во время ужина не было ни разговоров, ни расспросов. Мы ели вкусные блины, запивая чаем, и нам с Ниной казалось, что мы уже в ином мире. Но хотя наш разговор ограничивался семейными темами и нас не расспрашивали о нашей цели, мы чувствовали, что обе женщины видели по нас, кто мы и куда вела нас судьба. И сидя в этом маленьком кругу совсем нам незнакомых людей, я впервые поняла одну важную вещь: если кто хочет помочь человеку — много не расспрашивает.

После ужина дочь хозяйки дала нам подушки и одеяла, и в кухне на полу мы устроили свой ночлег. Когда мы уже разделись и были готовы ложиться, мать девушки, смеясь, открыла дверь и бросила нам коробку:

— Там крутилки для волос. Спите спокойно!

Я давно забыла имена и фамилию этих двух женщин. Но та тихая доброта и внимание, которые они оказали нам в нашей невероятной нужде, никогда не забудутся. И я уверена, что таких людей Бог никогда не оставит.

В Праге

На следующий день, после скромного завтрака с обеими женщинами, мы поблагодарили их и пошли опять на вокзал. Да. Опять на вокзал! За это время вокзал стал нашим главным убежищем. Где бы мы ни были, куда и откуда бы ни ехали — мы всегда оказывались на вокзале. Вокзал был местом, где начинались и заканчивались наши планы. Он также был нашим приютом от разных невзгод. Но в этот день мы с опасением подходили к нему. Нам надо было не попасться на глаза нашему гиду, Григорьеву.

Было еще рано, и до отхода поезда венгерской делегации оставалось часа четыре. Когда мы сели на скамейку в зале ожидания, недалеко от нас я заметила одного из спекулянтов, ехавшего с нами в товарном вагоне. Я подошла к нему и предложила за деньги нашу последнюю простыню. Он согласился и дал нам за нее несколько польских бумажек. Потом мы сдали чемодан в камеру хранения, а сами пошли шататься по улицам, чтобы избежать встречи с Григорьевым. На станцию мы возвратились только после двух часов пополудни. Теперь нам надо было узнать, ушел ли поезд венгерской делегации.

Несколько минут мы стояли у здания вокзала в нерешительности, не зная, что делать. Между тем я заметила, что прохожие обращают на нас внимание. Но я тотчас же успокоилась. В этот день мы с Ниной преобразились. Наши волосы были хорошо вымыты и завиты и сияли на солнечном свете. Наши блузки были снежно-белые. Нина одела свое красивое тирольское пальто, а я мой костюм, в котором военные в Советском Союзе отдавали мне честь. На нас были нейлоновые чулки, на мне — мои любимые туфли на пробковой подошве. Даже губы мы немного подкрасили. Здесь, в Катовицах, почти каждая женщина ходила с накрашенными губами. Польки, вообще, везде и при всех обстоятельствах умели отдать дань изяществу и красоте. Нигде в мире мне не приходилось встречать женщин, которые были бы одеты с таким вкусом, как они. В каждом скромном городке Польши всегда можно встретить больше элегантных женщин, чем даже в Париже. Мне кажется, в них есть что-то большее, чем простое желание хорошо одеться. Это — творчество. Каждая польская женщина — своего рода художница в миниатюрном масштабе. Польский народ очень одарен, и это, конечно, сказывается на внешности его женщин.

Мы шли по железнодорожным путям, где стояли разные составы и поезда. Дежурный по станции в красной фуражке

заметил нас и, подойдя к нам, спросил:

— Что вы здесь ищите?

— Мы ищем вагоны венгерской делегации, — ответила я на ломаном чешском языке, надеясь, что он нам сейчас скажет, что вагоны давно ушли.

— А вы… венгерская делегация?

— Да! — ответила я и громко рассмеялась. Но дежурный принял мой ответ серьезно.

— Идемте со мной. Я сейчас разузнаю об этом.

Мы проследовали за ним, и скоро он привел нас в свой домик-дежурку, стоявший между сетью рельс. Там он попросил молодого рабочего принести нам чаю, а сам ушел. Молодой рабочий тоже ушел, но через несколько минут вернулся с подносом, на котором был чай и пирожные. Мы с Ниной молча переглянулись. Неужели мы так преобразились, что нас можно принять за венгерскую делегацию? Но у нас не было времени раздумывать об этом. Мы набросились на чай и пирожные, и они нам показались такими вкусными, что я лично не помню, ела ли я когда-нибудь что-либо более вкусное.

Выпив чай, я посмотрела в окно. Дежурного нигде не было видно. Что теперь?

— Давай уходить, пока не поздно, — сказала Нина.

И мы ушли…

Было еще слишком рано, чтобы приступить к выполнению нашего следующего плана — перейти через польско-чешскую границу в Чехословакию. Катовицы находились как раз на польско-чешской границе. Нужно было дождаться темноты, а потом действовать.

Часов до восьми мы скитались то по улицам городка, то на вокзале. Затем в зале ожидания мы узнали, что через полчаса уходит пассажирский поезд в Прагу. Это, конечно, нам сказали спекулянты. Их и здесь было полно. Некоторые даже покупали себе билеты, несмотря на то, что не имели разрешения переходить границу. А формальности для перехода границы соблюдались строго. Нужны были разные разрешения от военных и местных властей.

Спекулянты объяснили нам, как можно обойти контроль и влезть в вагон. Мы точно следовали их советам и, когда стемнело, перелезли через забор вблизи контроля и незаметно сели в поезд.

В уютном теплом купе, где мы очутились, сидели хорошо одетые, вежливые пассажиры. Здесь не было ни репатриантов, ни мешочников, ни инвалидов. Может, они и были где, но не бросались так в глаза, как у нас на Востоке. Но несмотря на то, что внешне мы с Ниной теперь ничем не отличались от других,

рядом сидевших, мы все же волновались, не зная, что нас ожидает. Конечно, мы не показывали вида. Когда, наконец, поезд двинулся, мы вздохнули с облегчением.

Приблизительно на полпути в Прагу вошел кондуктор проверять билеты. А билетов у нас не было. Деньги, которые мы получили за простыню, мы потратили на выкуп чемодана из камеры хранения и на обед в городке, когда скитались по его улицам, ожидая отъезда Григорьева с делегацией.

— Билеты, пожалуйста, — сказал кондуктор вежливым тоном.

Пассажиры вынимали свои билеты и показывали ему, а он учтиво благодарил их. Когда очередь дошла до нас, я вытащила направление от коменданта и протянула ему.

— Что это? — спросил кондуктор, глядя в недоумении на бумагу.

— Вы не понимаете по-русски? — сказала я с напускным удивлением.

Я заметила, как кондуктор немного растерялся. Несколько секунд он вертел бумажку в руках и глядел на красную печать с серпом и молотом.

— Это значит, — поспешила я объяснить ему, — что по этому документу мы имеем право ехать без билетов.

Услышав это, кондуктор протянул мне бумажку обратно, вежливо поклонился и пошел дальше.

Опять нам с Ниной повезло. После освобождения от немцев на русских везде смотрели как на победителей, и все русское для иностранцев было большим авторитетом. Это особенно было заметно в Чехословакии. Чехи просто обожали все русское.

— Русская комендатура! — сказала я громко, когда нас задержали в Праге у выхода. Эти слова опять произвели чудо: нас без разговоров пропустили. Очутившись в большом зале вокзала, на одном из маленьких окошек я действительно увидела вывеску: «Русская комендатура». А немного дальше, на дверях у входа в отдельный зал была тоже вывеска по-русски: «Зал ожидания для офицеров».

Не долго раздумывая, мы с Ниной вошли туда и спокойно уселись на одной из лавочек. Была еще ночь, но скоро начало светать. Несмотря на такое раннее время, зал вокзала был переполнен. Люди входили и выходили. Одни приезжали, другие уезжали, третьи встречали или провожали своих друзей. А некоторые просто стояли группами и глазели на все, что творилось вокруг них. Как видно, и здесь вокзал был центральным местом встреч и расставаний. Но также и местом всевозможных сделок, легальных и нелегальных. И здесь, как в

Катовицах, еще сильнее чувствовался западноевропейский дух жизни. Конечно, Чехословакия почти не пострадала от войны. Не было разрушенных и сожженных зданий, как в других странах восточной Европы. Все шло своим нормальным путем. Люди занимались своими делами, почти так, как и до войны, работали, ездили, куда-то спешили, гуляли, веселились. Единственное, что нарушало эту мирную картину жизни, — везде было много военных, особенно русских.

В зале ожидания для русских офицеров многие сидя дремали. Некоторые играли в карты. Другие просто разговаривали друг с другом. На нас никто не обратил особого внимания, и мы успокоились. Мы просто сидели, отдыхая, но вздремнуть не решились. Немного позже в зал вошел высокий стройный офицер в военно-воздушной форме. В одной руке он нес маленький чемоданчик, а другая висела на перевязи, и из нее торчали какие-то бумажные кульки. Он сел недалеко от нас и сразу же заговорил:

— Вы куда едете?

— Мы репатрианты, — ответила я.

— Хотите со мной позавтракать?

— Спасибо. С удовольствием.

— Тогда подсаживайтесь ко мне и помогите мне это развернуть, — сказал офицер, бросая свои кульки на столик. Затем он открыл чемоданчик и вынул хлеб, масло, колбасу и сыр. Я начала разворачивать кульки и выкладывать на стол все остальное: рыбу, фрукты, сухие бисквиты. Затем я нарезала хлеба и принялась делать бутерброды.

— Я пилот, — сказал офицер. — Мой самолет сбили во время войны, и я долго лежал здесь в больнице. Но теперь, наконец, еду домой.

Он был очень молод, лет двадцати шести. За завтраком мы говорили немного. А после завтрака он быстро попрощался с нами:

— Пора на поезд. Желаю вам хорошо доехать домой!

Так мы с Ниной просидели, вернее прожили, в зале ожидания для русских офицеров почти два дня. Разные офицеры приходили и уходили. Иногда нас приглашал кто-нибудь поесть, и мы, конечно, не отказывались. По крайней мере, мы здесь не были голодными и не мерзли. А ночью умудрялись даже вздремнуть.

На третий день перед полуднем в зал ожидания вошла продавщица пирожных.

— Пирожное, пожалуйста! Кто хочет пирожное! — говорила она по-русски.

— Вы русская? — спросила я ее, когда она поравнялась с

нами.

— Да. А вы тоже? — спросила она в свою очередь.

— Вы продавщица пирожных? — продолжала я.

— Иногда перед отъездом русские офицеры покупают пирожные, — объясняла она. — Вы тоже хотите купить?

— Нет, спасибо, — ответила я. — У нас нет денег. Но я хотела бы вас о чем-то спросить, если вы разрешите.

— Пожалуйста.

— Не здесь, — сказала я тише. — Может, выйдем на улицу?

Мы вышли и стали немного в стороне от главного входа в вокзальный зал. Не знаю почему, но у меня возникло доверие к этой женщине, и я сказала ей, что мы беженцы из Советского Союза, и спросила, не может ли она нам помочь.

— Я тоже совсем недавно убежала из Польши, — ответила она. — Мой муж служил в польской армии. Его убили… Но, может, я смогу устроить вас продавщицами пирожных? В той фирме, где я работаю, ищут продавщиц. Тогда вы заработали бы себе немного денег и смогли бы снять комнату в гостинице. Можно в той же, где нахожусь я.

Выслушав ее, я, конечно, на все была согласна. Оставаться дольше в зале ожидания для русских офицеров было опасно — это могло навлечь подозрение. Мы условились встретиться через пятнадцать минут на этом месте, перед зданием вокзала, и я побежала за Ниной. Но каково же было мое удивление, когда, войдя в зал ожидания, я не увидела ни Нины, ни нашего чемоданчика. Несколько минут я стояла ошеломленная и смотрела во все стороны.

— Вы ищите девушку, которая сидела здесь? — спросил меня один офицер.

— Да.

— Ее только что увел военный патруль.

— Но почему же? — спросила я.

— Здесь не разрешается сидеть больше двадцати четырех часов.

В панике я выбежала в зал. Но там Нины тоже нигде не было. Тогда я подошла к окошку русской комендатуры и заглянула в него: тут же у окошка сидел красноармеец, а рядом стояла испуганная Нина. Перед ним на столе лежали документы. Нина заметила меня, в ее глазах были слезы.

И вдруг случилось что-то совершенно неожиданное. Из другой комнаты открылась дверь, и вошедший военный обратился к дежурному у окна:

— Вас к телефону.

Дежурный встал и вышел вместе с красноармейцем. Нина

осталась одна. Я быстро протянула через окошко руку, схватила Нинины документы и показала ей глазами на дверь. Она подняла чемоданчик и вышла…

Запыхавшись от волнения, мы остановились на противоположной стороне улицы. Как нам опять повезло! А через пару минут я увидела и нашу новую русскую приятельницу. Все вместе мы пошли в ее гостиницу. Там она сняла для нас комнату и заплатила за две ночи наперед. Эту ночь мы с Ниной спали хорошо и спокойно в настоящих постелях. С каких уже пор мы не чувствовали себя так удобно!

На следующий день мы устроились продавщицами в кондитерскую. Каждая из нас получила поднос с пирожными, и мы отправились продавать их на улице или на вокзале. Но наше дело шло неважно. За три дня мы заработали очень мало. Денег хватило только на то, чтобы вернуть нашей покровительнице долг за гостиницу и заплатить еще за ночь. Но мы не унывали. Как можно унывать, когда у нас были чистые настоящие постели, ванная и полотенца! Первую ночь мы спали как убитые, вторую — хуже. Но на третий день мы начали беспокоиться.

— Вам надо зарегистрироваться в полиции, — сказала она через пару дней.

— Но ведь нас не зарегистрируют. Ведь мы же советские подданные! — ответила я.

— Это правда, — согласилась она. — И для таких, как вы, здесь в Праге есть специальный лагерь. И если вы туда попадете, вас больше оттуда не выпустят. Надо найти другой выход.

Несколько минут она помолчала, потом сказала:

— У меня есть один знакомый, еврей. Он был в Германии, в концлагере. Он только пару месяцев как вернулся в Прагу. Я спрошу у него совета.

В тот же вечер она привела своего знакомого к нам в гостиницу. После того как она представила нас ему, он предложил всем вместе пойти в кафе. Мы согласились. Фамилия нашего нового знакомого была Каминский.

Мы с Ниной никогда не были в чешском кафе, и когда мы вошли, нас ошеломило то, что мы увидели: столы были накрыты белыми скатертями, в вазочках стояли свежие цветы, официанты были одеты в черные костюмы с белыми накрахмаленными рубашками, кресла были мягкие, обшитые бархатом, а на небольшой эстраде сидела группа музыкантов. В такой обстановке трудно было представить себе, что где-то есть голодные и оборванные люди, бездомные нищие и инвалиды, разбомбленные города. Контраст между тем, где мы теперь находились, и тем, что мы с Ниной так недавно видели, был

огромный. Казалось, что в Чехословакии не было войны, что чехи не знали бедствий.

Каминскому было лет пятьдесят. До войны он жил в Польше и Чехословакии и был владельцем текстильной фабрики. Когда началась война, он уехал в Германию в надежде именно там скрыться от охоты немцев за евреями. Это ему удалось на пару лет, но потом его схватили и отправили в концлагерь.

Во время чаепития он внимательно выслушал нашу историю, затем сказал:

— Я знаю, что нам делать. Завтра мы пойдем в чешскую полицию, и вы зарегистрируетесь, пока только на две недели. Чтобы это сделать, надо выдумать какую-нибудь причину. Иначе вас отправят в лагерь репатриантов для советских граждан. Вы скажете, что вы ожидаете из Германии вашу мать, что вы с ней сговорились встретиться в Праге. А через две недели регистрацию можно будет продлить.

— Это выглядит так просто, — сказала я. — Мне бы это и в голову не пришло.

— Это еще не все, — ответил Каминский. — Когда вас зарегистрируют, тогда мы с вами пойдем в канцелярию репатриантов. Это специальное учреждение здесь в Праге, но не для советских граждан. Там тоже можно временно зарегистрироваться. Если это нам удастся, тогда каждая из вас получит по триста крон деньгами и марки на питание. На первый случай это уже будет большая помощь.

После кафе Каминский отвел нас в гостиницу, и мы условились встретиться на следующий день. И в этот вечер мы с Ниной немного подбодрились. Нам казалось, что самое трудное уже позади, и что этот незнакомый мир, в котором мы так внезапно очутились, предвещает нам какую-то другую судьбу. Хотя наше будущее было еще совсем туманно, оно определенно будет иное. Как все вдруг изменилось за эти пару дней в Праге. Еще несколько часов тому назад мы ничего не знали о существовании Каминского. А теперь он стал нашим дорогим другом, путеводной звездочкой потерянному в море кораблику.

Каминский явился за нами рано утром. В чешской полиции мы сказали то, что он нам советовал вчера, и нас много не расспрашивали. Нас зарегистрировали на две недели. В этот же день мы зарегистрировались и в канцелярии репатриантов. И вот внезапно мы с Ниной оказались богачами: у нас теперь были талоны на завтрак, обед и ужин в специальной столовой для иностранных репатриантов и по триста крон чешскими деньгами. От такого внезапного поворота дел мы не знали, как отблагодарить нашего друга за такую невероятную услугу. Я

предложила ему часть денег, но он рассмеялся:

— У меня достаточно денег! А сейчас мы пойдем в шикарный ресторан обедать.

— Но мы ведь можем теперь есть в столовой для репатриантов, она здесь же при канцелярии, — запротестовала я.

— Пища в ресторане вкуснее, — ответил, улыбаясь, Каминский.

Мы с Ниной не стали сопротивляться и последовали за Каминским в ресторан. И этот день стал для нас неожиданным событием: роскошная обстановка ресторана, изысканные блюда, музыка, даже танцы на танцевальной площадке! После всех наших скитаний и мытарств все это казалось нам почти нереальным.

После обеда мы пошли гулять по городу. Каминский был нашим гидом и показывал достопримечательности Праги, этого старинного города с его историческим прошлым. Но, увы, все эти впечатления скоро отошли на второй план под нажимом действительности.

В витринах магазинов были выставлены красивые вещи: одежда, обувь, украшения. Теперь у нас были деньги, и мы решили купить себе самое необходимое. Нина купила платье, а я — синий длинный пуловер, закрывающий бедра, с отложным воротником. Такие пуловеры были тогда в моде. Но я больше думала о приближающейся зиме, чем о моде. Тут же в магазине я его и одела. Затем я купила маленькую красную звездочку и приколола ее с левой стороны груди. Так многие делали в Праге. И я хотела ничем не отличаться от других. Наш старый истрепанный чемоданчик мы выбросили и купили новый. И в довершение всего мы пошли в парикмахерскую и сделали себе завивки. Когда мы вышли, Каминский не узнал нас. В гостинице мы заплатили за месяц наперед, а через четырнадцать дней нашу регистрацию продлили. Таким образом мы остались в Праге на целый месяц.

Этот месяц стал одним из лучших воспоминаний нашей скитальческой жизни. За это время мы отдохнули от голода и холода, и главное, от всяких передряг на пути нашего следования на Запад. Город жил бурной жизнью, и мы тоже с головой погрузились в бездействие и веселье. Почти каждый вечер мы шли или в кафе, или в ресторан обедать. Нередко мы также ели в репатриантской столовой, а вечером наш друг Каминский тащил нас в бар или кабаре, где играла музыка и мы танцевали. Иногда мы шли на какое-нибудь театральное представление. Ни в одном из европейских городов я не видела в то время столько веселья и радости, как в Праге. Казалось, что чехи с каким-то неистовством

праздновали победу русских над немцами. — Безумству храбрых поем мы славу! — Как подходили эти слова Горького тогда к этому городу.

За это время Каминский очень привязался к нам. Иногда мы все вчетвером, Каминский с нашей приятельницей и мы с Ниной, шли в ресторан или на концерт, а после танцевали. Все русское в Праге было в большой моде. Как только чехи узнавали, что мы с Ниной русские, нас нарасхват приглашали на танцы. Парни подходили к нашему столику, где мы сидели с Каминским и нашей приятельницей, и спрашивали у них разрешения потанцевать с нами. Очевидно, они полагали, что мы сидим с родителями. Нам также вечно назначали свидания, но мы с Ниной никуда не ходили, боясь потеряться в этой суматохе безумного веселья. В это время мы мало думали о будущем. — Каминский обещал нам, что поможет продвинуться дальше на Запад, в Германию.

Итак, месяц нашего пребывания в Праге подходил к концу, но наш друг ничего не предпринимал для нашего дальнейшего следования. Однажды я решила ему напомнить об этом.

— Когда же вы нам поможете пробраться в Германию, — спросила я.

Каминский ничего не ответил. Вместо этого он положил на стол дорогие билеты на одно из представлений. Я нахмурилась.

— Это зачем? — спросила я. — Ведь вы знаете, что за все, что вы для нас сделали, мы вас ничем не можем отблагодарить. Вы лучше расскажите нам, как двигаться дальше.

Сказав это, я вдруг опомнилась. Что мы знаем о нем? В сущности, мы были полностью в его руках. В любую минуту он мог отправить нас в советский лагерь, и что тогда?

— Хорошо, — ответила я, соглашаясь пойти с ним на представление.

Прошло еще несколько дней, без каких-либо намеков на наше продвижение на Запад. Тогда Нина и я решили действовать сами. Мы пошли на станцию и купили билеты вплоть до американской зоны. Вернувшись в отель, мы попрощались с нашей приятельницей и в тот же вечер уехали.

На маленькой станции, как раз на границе с американской зоной, мы сошли с поезда. Недалеко от станции мы сняли комнатушку в отеле. Сначала надо было разузнать, как проехать в американскую зону. Вечером мы сели в ресторане отеля и заказали себе ужин. Людей было немного. В ресторане было уютно и тепло, как везде в Чехословакии. И мы с Ниной наслаждались тишиной и спокойствием этого вечера… Вдруг открылась дверь ресторана и вошли два советских майора.

Увидев нас, они сразу же направились прямо к нашему столику.

— Эти места свободны? — спросил один из них.

Я качнула головой, делая вид, что не очень понимаю, что они говорят. Как только они уселись, опять обратились к нам с вопросами, кто мы и куда едем. В сущности, я обрадовалась тому, что они к нам «приставали», ибо увидев их у входа, я на мгновение похолодела. Я думала, что они сейчас же арестуют нас. Теперь мне стало ясно, что они принимают нас за иностранок и просто хотят «подъехать» к нам. Чтобы отделаться от них, лучше всего было притворяться, что мы не понимаем их. Мы с Ниной стали говорить между собой по-немецки. Но так как немцев ненавидели в Чехословакии и даже преследовали, мы старались объяснить им, что мы австрийки. Отношение к австрийцам было лучше. Немцев, которые находились на территории Чехословакии, загоняли в лагеря, навешивали им на рукава повязку с буквой «Д», что значило немец, запрещали входить в рестораны, кафе и кино, даже ездить на трамвае. В общем, их старались так же унизить, как они в свое время унижали иностранцев, особенно славян с востока.

Майоры не понимали по-немецки, но кое-как объяснили нам, что они едут на работу в оккупационную Германию. Мы же сказали им, что мы из Австрии и посещали здесь родственников, а теперь едем обратно домой в Австрию. Разговор не очень клеился. Ко всему Нина и я волновались, хотя и не подавали виду. Мы обменялись еще несколькими фразами с майорами, закончили наскоро ужин, извинились и попрощались с ними. Они нам вежливо поклонились.

— Господи! Как я испугалась! — сказала Нина, как только мы вошли в нашу комнатушку.

Мы рано легли спать, надеясь, что завтра поедем дальше.

На следующий день нас разбудил стук в дверь. Еще сонная, я подошла к двери и открыла ее. Там стояла горничная. Она сказала, что нас кто-то ожидает в зале.

— Кто-то ожидает? — удивилась я. — Кто нас может ожидать?

— Какой-то господин, — ответила она.

Я быстро оделась и вошла в зал ресторана. Там за столиком сидел Каминский. Он сразу же набросился на меня:

— Вы даже не попрощались!

— Как вы нашли нас? — удивилась я в свою очередь.

— По регистрации гостиниц.

Об этом я, конечно, не подумала.

— Вы же знаете, что нам нужно дальше, — сказала я. — В Праге было очень хорошо. Но в конце концов все это должно было

кончиться. Ведь срок нашего пребывания истек. Дальше оставаться там было опасно. А вы и не думали помочь нам продвинуться дальше на Запад.

— Давайте сначала завтракать, — прервал меня Каминский. — Я тоже еще ничего не ел.

Я села к нему за стол и он подозвал официанта.

— А где же Нина? — спросил он.

— Она одевается.

Каминский заказал три завтрака. И мы пересели за другой стол.

— Принесите нам бутылку шампанского, — обратился он к официанту.

— Шампанское на завтрак? Не слишком ли это роскошно? — сказала я.

Когда официант отошел, Каминский взял мою руку в свою:

— Вы выйдете за меня замуж?

Последнее слово он произнес немного запинаясь. А я в первое мгновение просто растерялась. Он был старше меня лет на тридцать. Да мне и в голову не приходило, что он может думать об этом.

— У меня всегда будет достаточно денег, — продолжал он, — чтобы вам и вашей сестре обеспечить хорошую жизнь.

Я не знала, что отвечать. Все это случилось так внезапно. Конечно, если б я согласилась, все наши мытарства окончились бы. Но разве я только для того убегала на Запад, чтобы быть материально обеспеченной? А Сергей? Склонив голову, я представила себе Сергея и наше тайное обещание, обещание, не высказанное словами, что мы будем верны друг другу… Было слишком сложно объяснять все это Каминскому. Но какой дать ему ответ, чтобы он не обиделся? К тому же, он всегда был с нами любезен и вел себя прилично, никогда не позволял себе никаких вольностей ни в отношении меня, ни Нины. Теперь я поняла, почему он ничего не предпринимал для нашей поездки дальше на Запад.

— Но я, — начала я, запинаясь, — я… не хочу еще выходить замуж.

В это время вошла Нина. Она поздоровалась, подсела к нам за стол, и мы молча начали завтракать. Мои мысли перенеслись к Сергею. В последнее время я часто думала о нем. Иногда мне хотелось поехать в город П., найти его друзей и расспросить о нем. Но в то же время я знала, что это было бы неразумно. Во-первых, П. находился далеко на восток от Праги. А это — против наших планов двигаться на Запад. Во-вторых, я также знала, что Сергей никогда не останется там. По окончании войны, если он

еще в живых, он с головой бросится в активную жизнь страны и будет работать для своего народа. Он — неисправимый идеалист. И его путь на родине будет нелегким.

При этой мысли мое сердце больно сжалось. Я бросила есть и откинулась назад. Нина и Каминский немного с беспокойством посмотрели на меня.

— Ты что? — спросила Нина.

— Ничего.

Только выпив немного шампанского, я кое-как успокоилась, и мы опять начали разговаривать. Через некоторое время Каминский положил на стол конверт.

— Это для вас, — сказал он.

Я взяла конверт и распечатала. Там было письмо по-немецки и два билета в Пильзен.

— Вы? … Вы знали, что мы…

Я не могла дальше говорить. После всего, что случилось, — наш побег из Праги, мой отрицательный ответ на его предложение, такого великодушия я никак не ожидала от этого пожилого еврея. К тому же, предлагая мне свою руку почти в пути, он, вероятно, предвидел, что я откажу.

— Все хорошо! — отмахнулся он на мое выражение удивления со слезами на глазах. — Вы можете ехать в Пильзен завтра. А этот последний день подарите еще мне, — попросил он.

— Кому это письмо? — спросила я.

— Моему брату. Он владелец отеля в Мариенбаде. Но он также офицер американской армии. Дайте ему это письмо. Он вам поможет.

Я спрятала письмо и поблагодарила Каминского. Тогда мы все втроем пошли гулять по городку. Это был последний день в советской оккупационной зоне. Вечером мы пошли в местный театр, а потом в бар. А после полуночи, когда мы возвратились в гостиницу, мы поцеловались. На прощанье Каминский снял свое кольцо и надел мне на палец:

— На память обо мне.

Это не было дорогое кольцо. Только позолоченное. И я долго носила его на руке, затем я не помню, как оно потерялось в моей жизни. Но память об этом одиноком еврее, так много пережившем страданий в немецких концлагерях и так привязавшемся к нам на короткое время, все еще жива и сегодня. Да. Вероятно в то время ему не хватало молодости и он видел ее в нас с Ниной, в нашей наивности и доверчивости, в нашей жизнерадостности, которую мы, несмотря на тяжелые испытания, еще не потеряли. И это залечивало его раны. А мы под крылом этого пожилого человека, казалось, набирались новых сил, чтобы преодолеть дальнейшие

препятствия на нашем пути в изгнание.

В американской зоне

Итак, мы в поезде на Пильзен. Нина сидит у окна. Возле нее — толстый, солидного вида бизнесмен. Он бесконечно говорит, рассказывая нам об американцах. Я сижу напротив них.

— А контроль на границе строг? — спрашиваю я.

— Нет, — отвечает он. — Совсем не строг. Я езжу туда и обратно два раза в неделю, и за все это время нас контролировали только один раз. Американцы не очень строго контролируют.

Через полчаса поезд остановился.

— Бумаги, пожалуйста, — послышался энергичный русский голос, и тотчас в вагон почти влетел красноармеец с винтовкой. Все полезли в свои сумки за бумагами. Красноармеец, быстро проходя между рядами, смотрел направо и налево. Когда он поравнялся с нами, я сделала вид, что ищу бумаги в сумке. А тем временем он уже прошел дальше… Я с облегчением вздохнула. Кажется, нам опять повезло. Но, признаться честно, советский контроль я представляла себе строже.

Мы поехали дальше. Через несколько минут поезд опять начал замедлять ход.

— Американцы! — сказал наш сосед.

Я посмотрела в окно: у небольшой деревянной будки, руки в карманах, стоял американец, покачивая бедрами, увешанными патронами и пистолетами. Он стоял, немного съежившись, как будто ему было холодно. Затем он вынул одну руку и махнул ею… ОК. И поезд ускорил ход. Так прошел американский контроль.

Около полуночи мы прибыли в Пильзен. В пустом, неуютном зале вокзала было почти темно. У нас были деньги, и мы решили пойти в город и снять в отеле комнату. Когда мы очутились на улице, я спросила какого-то прохожего, где здесь ближайший отель. Он внимательно посмотрел на нас и сказал:

— В отеле комнату вы не получите. Здесь везде полно американцев. Или же вам придется спать с ними.

— Вот это здорово! — сказала я Нине.

Тем не менее, мы решили попробовать счастья. Мы шли из отеля в отель и спрашивали свободный номер. Но везде ответ был один и тот же: «Все занято американцами». Наши старания найти ночлег оказались напрасными. Мы уже повернули назад, чтобы возвратиться на станцию, как вдруг услышали за спиной громкий голос:

— Что вы здесь ищете?

Я оглянулась: в ярком свете, падающем из больших окон отеля, перед нами стоял толстый американец в форме МП. Что значило военная полиция.

— Мы ищем комнату на ночь, — ответила я по-немецки.

— Здесь нет свободных комнат. А кто вы?

— Мы немки, — ответила я.

— И куда вы направляетесь? — спросил опять он на хорошем немецком языке.

— В Германию, — ответила я, и американец тотчас же начал болтать с нами о разных вещах. Через некоторое время он сказал:

— Но вы не немки. У вас не немецкий акцент.

— Мы польки, — сказала я.

— А откуда вы из Польши? — спросил он на безупречном польском языке. И эта попытка соврать тоже провалилась. Он прекрасно говорил по-польски и сразу же узнал, что мы не польки. Тогда я решила сказать правду.

— Мы беженцы из Советского Союза.

— А я тот, который ищет именно таких, как вы, и отправляет обратно, — сказал он чисто по-русски. Но увидев наши испуганные лица, поспешил добавить: — Не бойтесь. Я сам был пять лет в Сибири. Ну что ж! Пошли со мной!

При этом он схватил наш чемоданчик и так быстро зашагал вперед, что мы еле поспевали за ним. Маленький, толстенький, он не шел, а просто катился по улице, а мы с Ниной, запыхавшись, семенили за ним. Но теперь мы уже не боялись. Американцы были для нас символом свободы и демократии. И мы чувствовали себя почти уже у цели.

Наконец мы остановились перед огромным зданием МП. Наш американец что-то сказал двум военным, стоявшим у входа, а сам исчез за вертящейся стеклянной дверью. Но через несколько минут он вышел в сопровождении еще одного МП. Затем они влезли в джип и сказали, чтобы мы сели за ними.

Через несколько минут машина остановилась перед большим отелем в центре города.

— Выходите, — сказал наш толстяк. — Здесь вы получите комнату.

Он вошел в отель, и мы все последовали за ним. Там он что-то сказал служащему у регистрационного стола, после чего тот повел нас на второй этаж и открыл дверь в громадную, уютную, даже роскошную комнату. Американец поставил наш чемодан на пол, а сам сел в кресло и закурил папиросу.

— Здесь вы можете спать, — сказал он.

Другой МП тоже сел в кресло, а Нина и я все еще стояли, рассматривая комнату: широкая постель, большой умывальник с

холодной и теплой водой, мягкие кресла, ковер и тяжелые бархатные гардины на окнах.

— Я вам очень благодарна, что вы нашли нам эту прекрасную комнату, — сказала я, обращаясь к толстяку.

— Эта комната совсем случайно сегодня свободна, — ответил он небрежно. — Один из наших коллег уехал на пару дней.

Прошло несколько минут. Американцы все еще сидели в креслах и, казалось, совсем не собирались уходить.

— Уже поздно, — сказала я, — и мы хотели бы ложиться.

— Ну, раздевайтесь, — ответил толстяк. — Мы будем спать с вами.

Хотя прохожий на станции уже раньше предупредил нас об этом и по их поведению я тоже чувствовала что-то вроде этого, я все же не верила своим ушам и думала, что не расслышала. Но когда я взглянула на его толстое, безразличное лицо и на то, как он развалился в кресле, мне стало ясно, что он серьезно намерен сделать то, что сказал.

— Ну, это невозможно, — сказала я.

— Еще и как возможно! — ответил он.

— Значит такая расплата за вашу любезность?

— Не болтай ерунды, — сказал он опять. — Раздевайтесь.

— Мы разденемся, когда вы уйдете! — сказала я твердо и в то же время почувствовала, как от негодования кровь уже приливает к моим щекам.

— Мы остаемся! — сказал он.

Несколько мгновений я взвешивала ситуацию, как отделаться от этих американцев. И тут я вспомнила Роберта с его сияющими от счастья глазами, его невинный, чистый, почти детский смех, его юность, бодрость и любовь к человечеству. И вдруг я преобразилась: и приподнятым от восторга голосом я начала говорить об американской армии, которая освободила нас от фашистского ига, об американской демократии и о мире, который принесли они миллионам людей… Наконец я сказала, что не будут же они, МП, представители справедливого режима, так низки, чтобы запятнать эту доблестную честь американского народа, используя безвыходное положение двух беженцев…

— Закройся! — прервал меня толстяк. — Довольно. Раздевайся!

Нина начала плакать. Его коллега, который до сих пор сидел молча, что-то прошептал ему на ухо, показывая на Нину. Но толстяк только отмахнулся. Затем он встал, подошел ко мне, схватил меня в свои крепкие руки и бросил на постель.

— Раздевайся, — кричал он, стаскивая с меня пальто.

Мой туфель соскользнул с ноги, я схватила его и со всей

силы бросила в МП. Но туфель пролетел мимо. Толстяк выругался. И тут другая мысль осенила меня:

— Я больна, — сказала я. — Сифилис!

— Ты врешь! — ответил толстяк, а его коллега что-то быстро опять заговорил ему. Может, он поверил мне и боялся заразиться.

— Ты врешь! — опять закричал толстяк. — Завтра я поведу тебя к нашему врачу на обследование. И если ты не больна, тогда я тебе покажу!

Как только я освободилась от него, я подбежала и со всей силы рванула дверь, распахнула ее настежь и что было мочи закричала:

— Уходите! Уходите!

Оба американца не ожидали этого. Они схватили свои жакеты и быстро ушли. Это случилось так неожиданно, что мы с Ниной не поверили своим глазам. Все же мы тотчас заперлись и, измученные от усталости и напряжения, не раздеваясь повалились на постель и через короткое время уснули.

На следующее утро я проснулась поздно. Я взглянула на Нину — она уже не спала. Ее глаза неподвижно глядели на закрытые гардинами окна, и слезы тихо текли по ее щекам. О чем она думала? Может, она теперь жалела, что ушла со мной?

Я быстро вскочила с постели и раздвинула шторы. Яркий солнечный свет наполнил комнату.

— Так вот какая свобода, — еле слышно сказала она. — Вот какая американская демократия.

— Забудь это, Нина. Ведь мы знаем и других американцев. Помнишь? Роберт, или тот, который хотел тебя украсть?

Но Нина все еще печально глядела в пустоту. На меня тоже нашла грусть. Вчерашняя сцена слишком ясно предстала перед глазами. И теперь я почувствовала, что то впечатление об американцах, которое осталось от Роберта, исчезло навсегда. То, что произошло вчера здесь в этой комнате, была тоже Америка — вторая сторона медали.

— Ну что ж! Еще шаг через грязь! — сказала я.

Мы с Ниной долго мылись, как бы стараясь очиститься от унижения и обиды, опять отдыхали и завтракали, пользуясь удобством комнаты. Только после полудня мы пошли к станции. Нужно двигаться дальше. Наша следующая цель была Мариенбад, по адресу, который нам дал Каминский. На станции нам сказали, что в Мариенбад ходит местный поезд и что это совсем недалеко отсюда.

Около пяти часов пополудни мы прибыли в Мариенбад. Тут же на перроне мы спросили, как найти гостиницу «Золотой замок».

— Едьте трамваем до конца, затем идите через лесок в гору. Эта дорога и приведет вас туда, — объяснили нам.

Трамваем мы доехали до последней остановки. Потом по дороге, которая вела через сосновый лес, начали подыматься в гору. Через каких-то полчаса мы вышли на поляну, где стояло небольшое замкообразное здание. У входа нас встретил пожилой приветливый швейцар и спросил, что нам угодно. Я подала ему конверт от Каминского. Он взял конверт и ушел, оставив нас у входа. Через несколько минут он возвратился с пожилым мужчиной в американской офицерской форме и молодой красивой девушкой. Мужчина был брат Каминского.

— Да, я знаю, — сказал он. — Вы хотите в Германию.

В подтверждение я кивнула головой.

— Вы можете остаться здесь, пока не найдете людей, которые помогут вам перейти границу. В Мариенбаде много беженцев. Вы также будете здесь питаться. Комнатка была, конечно, скромная. Высокая двуспальная кровать занимала большую часть места. Здесь был умывальник и туалетный стол с зеркалом и скамейкой. Было тесновато, но зато все — безупречной чистоты. Раньше, вероятно, здесь помещалась горничная или служащий гостиницы. Но мы с Ниной были очень рады любому убежищу. Наконец, покой. Без американских МПистов, требующих вознаграждения за милость. К сожалению, комната не отапливалась, а было уже довольно прохладно. Но высокие пуховики в накрахмаленных пододеяльниках и белые, как снег, подушки обещали теплый и уютный сон.

Но как только мы с Ниной сняли пальто и немного помылись, в дверь постучали. Та же девушка вошла и сказала:

— Наш хозяин хочет пригласить вас на чай. Придете?

— Да, с удовольствием, — ответила я.

— Я зайду за вами через полчаса, — сказала она.

Через полчаса мы вошли в роскошный салон. На полу лежали дорогие персидские ковры. На одной из стен висел огромный расшитый гобелен. Мебель была старинная. На разных причудливых столиках и этажерках лежали блестящие серебряные и медные тарелки и коробочки. А на накрытом для чая столе, вокруг тяжелого медного русского самовара, поблескивало серебро уютом и теплотой.

Кроме офицера, у камина в мягких креслах с высокими спинками сидели две пожилые дамы. Их руки и шеи украшали дорогие кольца и ожерелья — свидетельства иного мира. Мира, где царила традиция установившихся привычек и обычаев. Когда-то это был также мир моих бабушек и прабабушек. Но теперь нам с Ниной он был так далек, что даже воспоминания о нем были

тусклы и неясны.

— Мой брат пишет мне, — сказал офицер, после того как он представил нас своей жене и сестре, — что вы из Советского Союза. Расскажите нам об этой стране. Мы так много слыхали о русских.

Я ответила не сразу. Я еще раз окинула взглядом все вокруг меня: советский режим и эта роскошь несовместимы. Как им сказать об этом? Мне не хотелось омрачать их тихий мир тревогой и страхом. Как будто угадывая мои мысли, одна из дам сказала:

— Мы хотели бы побольше знать о русских, потому что Чехословакия скоро перейдет под русскую оккупацию. Американцы уходят дальше на запад. А нам надо будет жить с русскими.

— Большая часть России разрушена войной, — начала я. — От этого страна стала еще беднее, чем была до войны. Везде нужда. Много погибших, а еще больше инвалидов…

Далее я рассказала им о сгоревших и разрушенных городах, о переполненных ранеными больницах, о недостатке медикаментов, пищи, одежды, жилища. Вероятно, я немного увлеклась, потому что женщины смотрели на меня как будто немного съежившись, а глаза их, казалось, были большие и немного встревоженные. Когда я закончила, офицер спросил о положении евреев в Советском Союзе.

— Какое положение евреев в Советском Союзе? — переспросила я.

В сущности, об этом я никогда не задумывалась. Этот вопрос даже удивил меня. Разве положение евреев хуже, чем положение всех остальных? Мне казалось, что нет. Все страдали одинаково в нашей стране, еврей или русский, украинец или казах.

— Я знаю только, — ответила я, — что во время войны многих уничтожили немцы. А до войны, честно говоря, я никакого антисемитизма не замечала. У родителей были друзья евреи, у меня были подруги еврейки, и никто из них не жаловался на антисемитизм.

— А почему вы оставили вашу родину? — спросила одна из дам.

— Наше положение особенное, — ответила я. — Мы были в Германии. За это нас обвиняют в коллаборатoрстве с немцами… Мне кажется, что наше правительство не очень справедливо…

Мы долго пили чай и разговаривали о войне, о положении народа, потерпевшего от немцев, о политике и о будущем, на которое мы все возлагали большие надежды. Когда мы попрощались с нашими благодетелями, пора ужина уже прошла,

но мы с Ниной получили на кухне горячий суп и вареный картофель с подливой. Согревшись от ужина, мы завернулись в наши пуховики и долго еще говорили о том, что нам предстоит в скором будущем.

Наутро я проснулась с головной болью. Заглянув в зеркало, я увидела, что вся левая сторона лица покраснела и опухла. Перед обедом я встретила в коридоре брата Каминского.

— У вас совершенно красное и опухшее лицо, — сказал он. — У вас определенно температура.

— Наверное, я простудилась, — отвечала я.

— Вы обязательно должны пойти к врачу, — настаивал он, и тут же написал на бумажке адрес местной поликлиники.

Возвращаясь в свою комнату, я чуть не заблудилась. Хотя снаружи эта гостиница казалась небольшой, внутри было много разных коридоров и комнат. До войны, вероятно, это был просто роскошный дом богатых владельцев, возможно, самого Каминского или его брата. Позже мы узнали, что брат Каминского — хозяин этой гостиницы, несколько лет проживал в Америке. Там он вступил в армию и стал офицером. Теперь он превратил свой дом в гостиницу для американских офицеров, где с сестрой и женой поселился и сам. «Золотой замок», как называлась эта гостиница, находился на возвышенном месте в сосновом лесу и был скорее похож на дом отдыха, чем на простую гостиницу. Здесь всегда стояла тишина, только изредка нарушаемая приезжающими и уезжающими американскими офицерами. Мы с Ниной только изредка видели их и, после нашего недавнего столкновения с МПистами, были рады не попадаться им на глаза.

После обеда я все же решила пойти в поликлинику. Была суббота. Большинство из медицинского персонала не работало. Но дежурный врач осмотрел меня и сказал:

— Воспаление среднего уха. Вас нужно срочно оперировать. Я позвоню хирургу.

В то время как он звонил, сестры уже укладывали меня на операционный стол и делали приготовления к операции. Через несколько минут явился и хирург. Мне положили на лицо маску, в которую начали капать какую-то жидкость.

— Считайте: раз, два, три.

— Раз, два, три, четыре… Я почувствовала резкий запах, а потом понеслась в бездонную тьму…

Когда я очнулась, я смеялась. Врачи, мывшие руки в умывальнике, смотрели на меня и что-то говорили между собой. А я не могла остановить смеха. Мой рот сам растягивался в улыбке. По всей вероятности, это было действие наркоза.

Затем меня увезли в комнату, где, кроме меня, лежала еще одна женщина. Все было чистое и белое. Скоро мне принесли горячее молоко и немного хлеба. Какая роскошь! За мной ухаживала сестра в черном одеянии монахини. Это была католическая клиника.

Почти две недели я пролежала в этой клинике. Нина навещала меня каждый день после обеда. Однажды она пришла рано утром и взволнованная сообщила, что на следующий день в Мариенбад вступают советские войска. За время моего пребывания в больнице она связалась с русским священником, эмигрантом Первой мировой войны. Он сказал ей, что, если мы хотим, мы можем примкнуть к нему и этой же ночью уйдем в Баварию.

Я сразу же встала и пошла к главному врачу.

— Я должна сейчас же оставить больницу, — сказала я и объяснила ему наше положение, на что он ответил:

— С беженцами только хлопоты.

Он дал мне подписать какие-то бумаги, что я ухожу из больницы добровольно и под свою ответственность. Счет за мое лечение и пребывание в больнице берет на себя Красный Крест. Затем мне забинтовали голову и дали с собой бинты и некоторые медикаменты.

Возвратясь в гостиницу, мы поблагодарили наших благодетелей и начали паковать узелки. Чемодана мы с собой брать не могли. С ним было бы тяжело тащиться через лес до чешско-баварской границы. Когда стемнело, мы встретились в условленном месте со священником. С ним было еще пять молодых парней.

Священник молча перекрестил нас всех, и мы пошли лесом в западном направлении. Скоро начался мелкий дождик. Было сыро. По полянам и между деревьями тянулся туман, что немного затрудняло наше продвижение вперед. Чем глубже мы входили в лес, тем чаще слышался какой-то шум, вроде дальних выстрелов. Иногда слышно было, как где-то совсем близко пролетала машина, вероятно американский джип. Так как мы старались держаться поближе к дороге, нам часто приходилось бросаться на землю, чтобы нас не увидели проезжающие мимо американские пограничники.

— Когда мы придем в Баварию, мы зарегистрируемся в лагере беженцев. Мы выдадим себя за поляков, венгров или чехов, потому что никого из этих национальностей не принуждают возвращаться в их страны, — рассказывал нам священник. — Только советских граждан насильно отправляют на родину. А потом когда-нибудь мы сможем эмигрировать в другую страну.

В нашей группе было два немца. Они убегали из Чехословакии, потому что чехи обращались с немцами, как с пленными. Они шли домой, в Германию. Один из них был баварец. Он знал эти места и вел нас к нашей цели.

Уже стоял декабрь, и было холодно. Сырость пронизывала нас до костей. Трава была мокрая и высокая. От ползания по земле наша одежда отяжелела. Время от времени мы молча останавливались и, оглядываясь по сторонам, прислушивались к шуму леса. Было нелегко пролезать через кусты и заросли деревьев. Но нам надо было не терять направления и не отходить далеко от главной дороги. Так мы пробирались всю ночь. Но вот на востоке засветился горизонт.

— Если все обойдется хорошо, — шептал наш баварский спутник, — то минут через пятнадцать мы уже будем в Баварии.

А через пятнадцать минут он опять прошептал:

— Немцы!

Мы посмотрели в том направлении, куда он показывал рукой, и увидели двух немцев в зеленой пограничной форме. Они спокойно шагали по поляне и вскоре скрылись в кустах.

Еще через несколько минут, когда все опасности, казалось, миновали и мы уже находились на полкилометра внутри Баварии, мы вышли на широкую асфальтовую дорогу. Было совсем безлюдно. Мы остановились и оглянулись на восток: там осталась часть нашей жизни. Там подымалось солнце.

Первым шел священник. За ним, слева и справа, Нина и я. А за нами — пять молодых парней, немцев и русских. Из-за ходьбы всю ночь по мокрому лесу наша обувь намокла и стала тяжелой. Мой бинт на голове сполз на бок, и в одном месте просачивалась кровь.

Мы тяжело ступали по мокрой дороге. Еще раз остановились и в последний раз посмотрели на восток. Затем мы опять повернули на запад, и на наших молодых лицах просияла улыбка: перед нами свобода!

Только священник не улыбался. Он был стар и уже во второй раз покидал свою родину. Вероятно, он знал, что нас ожидает. Свобода! Да. Политическая. Но будет ли свобода в человеческом смысле? Сможем ли мы преодолеть все предубеждения, которым поневоле каждый подвергается на чужбине? Сможем ли мы смириться с потерей родных и друзей?

В то время как мы, молодые, улыбались от счастья, он шел с поникшей головой, задумчив и печален. А солнце за нами поднималось все выше и выше, и его косые лучи бросали перед нами длинные тени…